



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

5-6 (492)

2021

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Родион Мариничев. «Тронешь землю ладонью, подышишь – взойдут ростки...» <i>Стихи</i>	3
Юлия Сиромолот. Подсолнух и яблоки. <i>Роман</i>	10
Мария Галина. «Их вагоны полны юных горячих тел...» и др. <i>стихи</i>	81
Николай Фоменко. Ради первых десяти. <i>Повесть в диалогах</i>	85
Евгений Волков. «Талисман» и др. <i>стихи</i>	140
Евгений Вольперт. «городок наш называется [непонятно]...» и др. <i>стихи</i>	145
Мила Борн. Дети Гамельна. Яма. <i>Рассказы</i>	149
Вячеслав Харченко. Городок. <i>Рассказ</i>	168
Александр Марков. Новые псевдопереводы и топорные не-переводы.....	172
Амаяк Тер-Абрамянц. Имя твоё (Август 91-го). <i>Рассказ</i>	176
Юрий Гудумак. Начало различий. <i>Стихи</i>	179
Михаил Окунь. Дедушка. <i>Рассказ</i>	186

ПЕРЕВОД

Андрей Хаданович. «Чётные числа» и др. <i>стихи</i> . <i>Перевод с белорусского Станислава Бельского</i>	190
--	-----

NON-FICTION

Юрий Никитин. Непридуманное в повести «Время возвращений».....	199
---	-----

ПУТЕШЕСТВИЕ

Михаил Бару. Отпечаток ноги Ивана Грозного.....	211
--	-----

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Вера Меркурьева. Письма и стихи. Из неопубликованного. <i>Публикация, вступление, комментарии Татьяны Нешумовой</i>	241
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Алия Ленивец. Дорога к любви, или Путь маленького бесстрашного камешка <i>О кн.: Оксана Васякина. Рана</i>	257
Андрей Пермьяков. Мир, каким он мог быть и однажды почти стал <i>О кн.: Андрей Гришаев. Останься, брат; Евгения Риц. Она днём спит</i>	261
Юлия Подлубнова. Мак, люпин, примула, колокольчик <i>О кн.: Анна Бабяшкина. И это взойдет: усадебный роман</i>	267
Гала Узрютова. Перевод как преступление <i>О кн.: Стивен Эллис. Делай так / Пер. с англ. Г.-Д. Зингер</i>	269

Родион МАРИНИЧЕВ

Тронешь землю ладонью, подышишь – взойдут ростки
В белый полдень в конце зимы. Колоски, а потом цветки
Загорятся, зардеются вплотную к раме, к стеклу.

Завязываешь шнурки,
Идёшь пустырём полусонным,
Двором заоконным.
Там, на углу,

Обернувшись, видишь в нарастающей тишине:
Верёвка с прищепками на солнечной стороне,
Тень от разросшейся липы на шершавой стене,
Кремовые занавески, цветы на окне.

«Завтра оттепель. Послезавтра – жара...»
Слышишь, как радио надывается на обоях нагретых?
Спасаясь от завтра, хотел бежать на край света, –
Вот он, ветреный, белого света край:

Ржавой пожарной лестницей обрастает последний дом,
Силуэт теплотрассы в клочках прошлогодней травы.
Отступающий снег пахнет свежим бельём,
Воздухом полевым.

Энергия прошлогодней листвы
Согревает остывший воздух.
Синий на молнии дождевик
Накинешь – и поздним
Утром – молодая осока, сныть
В стороне от асфальта.

Родион Мариничев родился в 1984 году в Саранске, детство и юность провёл в Петербурге, окончил факультет журналистики СПбГУ. С 2005 года живёт в Москве. Публиковался (в том числе под псевдонимом Родион Вереск) в журналах «Нева», «Урал», «Октябрь», «Новая Юность», «Знамя», Ното Legens и др., на порталах «Сетевая словесность», «Ликбез». В «Волге» печаталась проза (2011, 2015, 2016, 2018). Живёт в Москве.

Озябшими пальцами
За пазуху – нырк...

Тело твоё
Дрогнет, припомнив,
Как пахнет стружка на пилораме,
Как сухие травы перешёптываются под ногами,
Уступая место свежей крапиве,
Жёлтым цветкам,
Упругим стеблям.
Медленная земля,

Одуванчиковый материк
Никак не уйдёт из-под ног, нелепый.
Чёрный асфальт на виду, трава на слуху...
Вымерших листьев кофейный цвет,
Запахи прошлого лета.
Мокрый бетон стойко сопротивляется мху.

Пасха была.
Пахнут костры
сквозь пыль,
сквозь (**),
сквозь ветер неспешный хвойный.
Мимо (***) тянется путь окольный.
Время, воздух, зола.

Земля под скамейкой –
яичная скорлупа,
битый кирпич,
луковая шелуха.
Небо над крышами,
над (**),
над проводами, –

перистые облака.

Встань и иди
неровной дорогой привычной
сквозь этот мир
подоблачный мозаичный,
сквозь это (**),
сквозь это житьё-бытьё.

Манна. Тропа
в прошлогодних сосновых иголках,

поселковая слякоть:
(**), (**), осколки.
Хлебные крошки под лапками воробьёв.

Как не подать руки
гному из пенопласта,
От которого ничтоже сумняшеся
избавились, как от балласта?
Как не потрогать
гремящие велосипедные цепи,
Пальцы испачкав в масле,
в ржавчине цвета сепия?
Стрелы, пули, пистоны
на дне неглубокого схрона.
На завтрак, обед и ужин –
ускользающие макароны.
На белых больших кастрюлях
писали «чай» красной краской,
Чтоб понимать хоть что-то
в обрезках колбасы ленинградской.
Самолётов бумажных стая
кружится, как живая,
Над токосъёмником
поворачивающего трамвая.
С неба летит шелкунчик,
деревянные зубы стиснув,
Чтоб, побарахтавшись, согнуть
в водах дворового стикса.
Оборотни и куклы,
мёртвые и живые,
Не пойду на Васильевский –
пойду на Пороховые.
Медленный серый лес
у соединительной ветки.
Лихо шагает ЛЭП,
едва колеблются ветки,
Булькает теплотрасса,
по бетону стелется пакля.
Ржавая речка из коллектора
каплет и каплет.

Ветер на Воробьёвых. Добежать, дожить
До елового перекрёстка, где всё белым-бело...

Мама и папа сидят за белым столом.
«Ешь», – говорят, разбавляют чай молоком.
Снег за стенами кружит.

Неторопливый бульдозер,
Лыжный трамплин над рекой.
Что ещё в жизни было?
То ли скрип двери в подъезде,
То ли какой-то похожий звук.
Соседская девочка, разматывая шарф, говорила:
«Вырасту – уеду в Москву!»

До ночи играть в города –
Вьюжная широта-долгота,
Отколовшаяся, будто Гиперборея.
Лифт набирает ход.
Выше, прохладней, сырее.
Тридцать второй этаж.

Стремительные. Крылатые –
То ли голуби, то ли качели.
Мама заглянет в комнату:
«Пора вставать!»
Серая метель, голубые ели.
Москва – Москва...

Подует с юга,
Размякнет-раскиснет, –
Иди, не раздумывая.
Потолок, как утро само,
Грязно-бел.
Вода прибывает,
Вода оmyвает,
Раскачивает, как колыбель,
Твою жизнь бесшумную,
С продранными обоями цитадель.

Уходя, приоткрой окно,
В прихожей оставь свет,
Иди сосновыми тропами,
Заснеженными болотами,
Как северный человек,
Крадущийся между ветками...

Уходя, не срывай замызганного календаря,
Оставь себе что-нибудь цепкое,

Что-то неброское, редкое,
Как 29 февраля.

В голове прокручивай:
Ось Земли,
Движение литосферных плит –
И снизу, и сверху плавится ломкий снег,
Вода низвергается по стене,
И свет горит.

Чья-то дочь
Надевает сандалии
В парке возле пруда
Поправляет волосы
Выгоревшие на солнце
Сгибает коленку
В позе «на старт»
Затягивает застёжку
Готовясь в бега пуститься
Выискивать
Сниться
Ждать
На солнце
Ветру
На мосту
В феврале
Високосного года
На платформе
Бирюлёво-Товарная
У подземного перехода

Снежными вёснами,
На ярком небесном свету,
Я так отчётливо видел свою мечту:
Выйти на большой поворот,
Сесть в заводной самолёт,
Когда снег провалится и потечёт...

А в самолёте пружинка туга, звонка,
Река внизу белая, будто из молока.
Мама! Я усну и улечу далеко!
«Пей! – скажет, – Я согрела тебе молоко!»
Коротковат красный свитер колючий,

В руках – чашка с отбитой ручкой,
Осколок, куда-то под стол упавший,
Как таблетка горького валидола.

Заглядываешь за угол коридора –
И вот – лампочка догорающая,
Искра от электрического разряда,
Колыбельная от снегопада до снегопада,
Женский голос уставший,
Самолётчик, на брюхе лежащий.

* * *

В стране опоздавших грачей –
Гаражи, кирпичи,
Песок по обочинам,
Песок на зубах, на плече.

Окно распахнёшь – силуэт котельной
Отбрасывает длинные тени.

Утро твоё – тропинка через пустырь,
Грач на бетонной плите,
Солнце ведёт подветренной стороной.
Подыши в окно,
Посмотри на себя в окно.

Пылинки вспыхивают в высоте.
Ты идёшь стороной подветренной.
Мир разворачивается, вспыхивает у тебя в виске,
Как на картинке из книжки:
Солнце, следы на песке.

Что там, за поворотом,
Куда не велено?
Крадёшься, выглядываешь за угол дома:
Подснежники за кирпичной спиной котельной,
Мать-и-мачеха перед грудой металлолома.

* * *

Мои соотечественники
С умиротворёнными лицами,
Пристёгнутые ремнями
К дерматиновым креслам,
Закрывают глаза,
И им снится

Густое облако
Над островерхим лесом.

Снится, как хотелось куда-то прочь
Улицей, полем, оврагом.
Чаячий силуэт
Вспыхивает зигзагом
И пропадает, сжимается в точку,
В воздушном токе кружа.
Жизнь на семи виражах,
Ты у меня одна,
Словно внизу страна.

Катер у песчаного берега,
Деревянный пирс,
Яркий след над опушкой утренней –
Петропавловск-Камчатский – Новосибирск,
Дальний внутренний.

Пятна воды под крылом
В колких солнечных бликах.
Туже ремень затяни
(Здесь чуть-чуть поболтает),
Пролетая над крышей и грядками,
Где отходит клубника,
А картошка только вот, зацветает.

Юлия СИРОМОЛОТ

ПОДСОЛНУХ И ЯБЛОКИ

Роман

В память о CRS, истинном друге моей души

Сестра, подруга, сестра дорогая, говорят они... Шепчут прямо в ухо, будто сквозняком, касаются шеи. Расскажи. Говори за нас, потому что у нас нет сил, нет голоса, жизни. Потому что мы исчезли, нет нас на этом свете, а может быть и в других. Они приходят в сны, показываются среди белого дня, незнакомый язык становится вдруг знакомым. Почему-то это важно. Но мне от этого нет покоя, сплошные заботы, поэтому я тоже настаиваю: почему? Почему вы все ко мне, по мою душу, для чего вам мой голос?

Потому что ты умеешь. Потому что ты можешь.

А я что же?

Я умею.

Ну, вот и говорю.

Келли Райан О'Шоннеси убежал из дома в неполные шестнадцать. Беглецы из его краев обычно направлялись на Запад (если, конечно, их не везли против их воли в Австралию, например), хотя и не всегда прямоком. Поэтому в один прекрасный день он ступил на мостовую большого города далеко на западном краю света. Город вдохновлял. Имя его напоминало о рае. Он и вправду был прекрасен. Келли соскочил с подножки грузовика, который вез его с юга, и глубоко вдохнул океанский воздух.

Ему был почти двадцать один год. Он уже повидал белый свет – Европу и Америку, видел лавандовые поля и свалки, дороги и порты, большие города и захудалые деревни. Он был тощий, быстрый, настойчивый и бесстыжий. Знал несколько языков, был рыбаком на траулере, бухгалтером, вышибалой, наемным танцовщиком. Если случалось драться – дрался, не задумываясь. На груди, там, где сердце, у него была татуировка – сложный ирландский узел. В конце концов, и сердце-то у него было ирландское – горячее, веселое и стойкое.

Он знал, что останется здесь. Что город будет принадлежать ему. Что все впереди, и что жизнь прекрасна.

Пусть будет – Симон. Приятное имя, и к внешности подходит. И вызывает доверие. Родился в соседней стране, учился в Англии, вернулся было домой, но там сейчас беспокойно, потому жить и работать приходится здесь. По профессии – журналист. Нет, не политика сама по себе.

Юлия Сиромолот родилась в 1970 году в городе Ясиноватая Донецкой области. Окончила Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева. Работает техническим переводчиком. Участвовала в литературном проекте «Фрам» (издательство «Амфора» и Макс Фрай), рассказы печатались в сборниках, а также в рамках ежегодного литературного конкурса в журнале «Химия и жизнь». Живет в Киеве.

Но чтение, фильмы, книги. Общественное мнение. Это важно, а общественное мнение нового поколения – это будущее. После великой войны мир изменился. Он обновился и стал моложе. Поэтому очень важно, что читают молодые, чего они хотят и каким путем пойдут те, кому сейчас двадцать. А в этой части света вообще молодые силы ощущаются сильнее, чем где бы то ни было. У этой страны огромный потенциал. Жизнь – интересная штука, и самое интересное, безусловно, впереди.

А еще он любит океан.

А океана тут хватает на всех.

Бенедикт Карре родился и вырос в этом городе. В лучшем городе на земле. У лучших в мире родителей, под самым ясным небом – между горами и океаном. В городе, который каждый день улыбался ему миллионами лиц, удивительными образами парков и улиц, окнами, оградами, узором облаков на небе. В городе, который весь был праздничных цветов, словно прекрасный цветок между холмов и гор. В четырнадцать лет родители подарили ему на день рождения фотоаппарат.

Катерина Славичкова родилась в Праге. В Златой Праге. В сердце ее были зимы великой войны, хотя она была тогда еще совсем мала, и была в ее сердце та чудесная, сказочная, святая весна, когда вместе со всем белым светом – а он стал золотым и зеленым – проснулись и люди от страшной военной зимы. Были в ее сердце и нежные осени – шелковые, золотые, нежно-серые... А потом наступило лето. То самое. Жгучее, страшное. В тот год вся жизнь Катерины пошла кувырком. В тот год у нее было два лета.

Часть первая

Город по имени «Рай»

«Понимаешь, танки!»

– Ты понимаешь, дядя Иржи, танки! – я рывком поднялась с диванчика, подошла к окну... За окном теплый ветер трепал чахлые пальмы. Здесь весна. Рождество скоро. А здесь весна. С ума сойти.

Дядя Иржи – квадратный, краснолицый, с бритой головой. Он вовсе мне не дядя, а так, дальняя родня, седьмая вода на киселе, и та по бабушке. Но все-таки родня...

– Не видала ты танков, что ли, – бурчит он. – Небось лет-то тебе сколько?

– Видала. И эти даже видала, со звездой. Но только тогда... тогда другое было, тогда они немцев прогнали, и все надеялись... А мне ведь как казалось: вот я родилась, а тут война, я и не помню почти ничего, только что холодно и страх, а толком ничего. И потом вдруг весна, май, яблони цветут – и русские приходят, смотрят, повторяют за нами – «Злата Прага... Злата Прага...». И все мне казалось, что вот как я расту, так и мир со мной тоже растет, и все будет только лучше, а тут...

Горло сдавило, я еле сдерживалась, чтобы не заплакать.

– А тут вдруг... как будто мы им враги. Как можно вообще? Так... как к себе домой... и Прага уже не Злата, понимаешь? И уже не наша тоже...

– Политика, – угрюмо вздыхает дядя Иржи. – Но и леший бы с нею, но что ж тебя аж сюда-то закинуло? Мать-то где, к примеру?

– Мама там... осталась. Сказала, ей уже что... а я молодая, мне еще жить и жить... А Павел в Дюссельдорф уехал, а я вот... потому что, знаешь, если они к нам как к себе домой зашли, что их остановит? Какие границы? А тут хотя бы... океан.

– Ну ладно, океан тебе. А жить-то как думаешь? Язык знаешь?

– Испанский нет... не знаю... Немецкий знаю, конечно. Английский немного. Французский так... с пятого на десятое...

– А дело какое-нибудь знаешь?

– Ну... я учительницей работала... а потом в журнале для молодежи писала... о книгах там, о музыке – что слушают, что поют... а журнал первым делом и закрыли, потому что «тлетворное влияние»...

– Учительницей... В журнал... И о чем только твоя мать думала... Кому тут учительница нужна, что чешского, что немецкого... Я сам человек простой, я тут «сервесеро чеко», пивовар, ну, у меня всех дел пивоварня, и рабочее место если есть, так на складе...Эх, Ката, Ката, задала ты мне задачу...

Я молчала. Что тут скажешь? Дура и есть, конечно, и надо было дома оставаться... Но вся эта тоска и страх... и Павел с распухшим чужим лицом... И танки. Проползают медленно, с хрустом, давя белый свет.

– Ладно, – говорит дядя Иржи и набычивается так, что белая рубашка с короткими рукавами аж хрустит у него на спине. – Ладно. Не отсылать же тебя назад, раз уж так далеко. Поживешь у нас пока, пристрою тебя учетчицей на складе, все-таки пиво я варю хорошее, а они тут до него не дураки... и в школу с Марженкой моей походишь, а нет, так хоть учебники ее считаешь, ты девка разумная, глядишь, через полгода уже и лопотать будешь, язык у них нехитрый, раз уж я тут как заправский дон Хорхе болтаю, и ты сумеешь... А там, может, замуж тебя отдадим, или еще как жизнь устроится... ну, не реви, не реви, а то и реви, вода дело такое, как пришла, так и уйдет...

Поднимается из кресла и выходит, и по пути бормочет себе под нос: «Ишь ты... танки...»

Радио

В студии неяркий свет, пахнет деревом, пластиком, немного озоном и горячим металлом. Микрофон свисает со штанги, как звезда. И мерцает в полутьме, как звезда. «С вами радио “Эль Хирасоль”...»

*Мне нравится, как ты молчишь: как будто тебя и нет,
Как будто мой далекий голос не трогает тебя.
Кажется, и взгляд твой упорхнул,
И поцелуй сомкнул твои уста и запечатал.*

Лампочка на длинной ножке освещает часть пульта, листки с текстом, но человеку у микрофона сейчас не надо смотреть в текст. Он закрыл глаза, он читает по памяти.

*Поскольку все на свете наполнено моей душой,
Ты простишаешь из всего на свете, моей души полна.
Мотылек моих снов, как с моей душой ты схожа
И с печалью, со словом печали.*

Кто его слушает? Кто не спит ранним утром – молодые матери, старики, рабочие в порту, больные, которым неймется в этот час? У кого есть радиоприемник, время, бессонница, кто вращает ручку, чтобы услышать его голос?

Он не знает наверняка. Он просто говорит наизусть.

*Мне нравится, как ты молчишь – как будто в отдаленье
Безмолвно жалоба твоя как мотылек трепещет.
Меня не слышишь, голос мой тебя не достигает.
Позволь и мне молчать в твоём молчанье.*

В городе замирает ночная жизнь. Повара и охранники, официанты и танцовщицы выходят в бледный рассвет. Вот идут трое парней и девушка, похожая на мальчика, у одного из компании – долговязого и стремительного в движениях – радиоприемник висит через плечо. Музыки не хочется после целой ночи грохота и рока, новостей еще нет, и вдруг – голос. Негромкий, медленно отпускающий слова в наступающий день. Долговязый замирает. Компания обгоняет его, машет, окликает, он отмахивается – стоит и слушает с удивленной улыбкой на лице.

*Позволь мне говорить с твоим молчаньем
Светлым, как светильник, простым как кольцо
Ты как ночь, полная тишины и созвездий –
От них твое молчание нисходит.*

Радиостанция невелика, слышно ее только в пределах видимости. Но бухта уже близко, уже видны знакомые рыжие холмы. Корабль возвращается домой, вахтенный ловит шальной эфир. Прислушивается, погружаясь в воспоминания. Все хорошо. Скоро дом. Скоро берег.

*Мне нравится, как ты молчишь: как будто тебя и нет.
Далекая и скорбная, как если бы умерла.
Единственного слова, одной улыбки довольно –
И радуюсь, радуюсь: это неправда¹.*

Микрофон выключен, наушники сняты, можно выйти из кабинки. Симон улыбается звуко-режиссеру, тот в ответ показывает большой палец. Странный парень этот Симон. Взять хоть это радио. Три часа эфира в сутки, рано утром и вечером – ни тебе спорта, ни рекламы, короткий выпуск новостей, а потом только музыка, немного юмора, иногда весьма едкого, стихи, какие-то консультации в прямом эфире – то врач, то юрист, то учительница что-то рассказывает...

Три минуты, пять, снова три – все идет по заранее рассчитанной сетке, радио «Подсолнух» встречает и провожает день.

Звукоорежиссер прижимает чашечку наушника, и голос Луи Армстронга заполняет мир.

And I say to myself,
What a wonderful world...

What a wonderful world.

Tango loco²

...Знаешь, танго – это не обязательно про сердце на разрыв, про соблазн или там про гибель. Танго нежное бывает, такое даже... со смехом, с шуточками, да и вообще простое бывает, даже семейное. Но я еще и маламбо танцевал. А это уже совсем другое дело. Там все такое, знаешь, ну, неприкрытое. Я когда в Байресе жил – увидел одного такого прямо на улице. Гитарист сидит, бренчит себе в два аккорда, а парень этот – он был сразу и как огонь, и как лед, и человек, и конь, и нож, и тот, кто с ножом... Я за ним пошел, приставал к нему, чтобы научил, обещал ему все, что пожелает, ну просто вообще все, только бы научил... Вот он надо мной смеялся... Я тогда даже еще испанского толком не знал, а они там считают, что нужно родиться в Аргентине, в пампе этой, а

¹ Пабло Неруда. Пятнадцатое стихотворение о любви. Подстрочный перевод А. Гарридо.

² Чокнутый тангеро (исп.). Тангеро – профессиональный исполнитель танго.

чужаку-де маламбо не дается, кишка тонка. Но я все-таки кое-чему научился, да. Не знаю, в чемпионате их этом, может, и не выступал бы, но все-таки выучился неплохо. Ну, потому я и «локо» – «чокнутый», потому что дух этот их свирепый, наверное, хорошо перенял. Такая у меня тогда была жизнь – веселая, горячая, счастливая – ничего не скажешь.

А потом я тебя встретил.

Помнишь?

Вспоминаешь хотя бы?

Не знаю, каким ветром тебя тогда в «Мальвы» занесло. Я сам там отирался только потому, что на мадам Фло фискалы наехали, вот она нам на целый месяц вольную дала – гуляйте, милые, только не прое..тесь вдрызг, вы мне в новом сезоне нужны живые и целые... ну вот я и гулял. А ну-ка, работаешь и так каждый день, кроме воскресенья и больших праздников, а еще же и просто жить хочется, и красивых вокруг полно, и все это – для тебя, потому что на сцене танго совсем не такое, как в городе где-нибудь. За деньги страсть изображать, – ну, за неплохие деньги, да – это одно. А когда парень или девушка нравятся, то и двигаешься по-другому... И все как-то... милее, что ли. Когда точно знаешь, что это просто для себя, просто потому, что жизнь такая классная, потому что они есть, и ты есть – сам по себе и для них, конечно, но по своей воле. Вот что важно – знать, что ты это все по своей воле делаешь.

Вот с тобой я точно знал – про себя, если уж на то пошло. Раз увидел – и попал. Ты ведь был такой... словно кругом вычерченный, вокруг темно, а ты сидишь на свету – и сам свет. И еще кое-что я тогда увидел сразу: как будто за тобой – стена. Есть такие люди убогие, геморройщики, всю жизнь перед собой стену толкают – защищаться, прятаться. Нет. Ты не прятался. Словно стена всегда за спиной – можно на шаг отойти, ну, на два, но дальше уже нет. Упереться можно, а вот отступать нельзя. И ничего ты с таким не сделаешь, ничем не отопрешь, если сам не захочет.

Но я все-таки к тебе подошел. Спрошу, думаю, с меня-то не убудет. И прямо сразу такого дурака сваял, и смех и грех: смотрю, блондин, глаза синие, и я решил, что ты англичанин, что-то такое у тебя в лице было... И вот я по-английски здороваюсь, имя свое грешное называю, а ты-то в ответ тоже по-английски, но только «Симон», не «Саймон». Ну, тут я так и сел, ну да, сел себе на стульчик, который там стоял, и говорю – чисто как дурак: «А почему?» Вот ты, небось, решил, что я и вправду «локо»... Но из-за этого и разговор уже завязался, то да се, кто и откуда, кто что любит, чем живет... А я не столько рассказывал, сколько слушал. Не то чтобы я так уж любил английский-то, но у тебя выговор был такой чистый, приятный (кто его знает, может, тоже ирландские учителя у тебя были, где ты там учился в этой Великобритании) – я прямо слегка одурел, пять лет вокруг сплошной испанский... Ты ведь как и я был – и не изгнанник вроде, нет, добровольно тоже вроде бы с родины уехал, а может, и не совсем добровольно, потому что если больше парнями интересуешься, то может и туго прийти... Ну и я тебе так – мол, для чужака в чужой стране ты ее слишком любишь, похоже: и города, и обычаи, и вино, да и парни, небось, местные тебе нравятся. Ну, подкалывал, понятно. А ты посмотрел на меня так серьезно, будто измерял во мне что-то, и говоришь: «Вот прямо сейчас мне очень нравится один ирландец». Я тебе честно скажу, никогда такого со мной не было, чтобы аж дыхание перехватило. Продышался я малость и отвечаю: «Ну, тогда этому ирландцу страх как хочется у тебя кое-что спросить». «Спрашивай». Ну вот, говорю, я и то про тебя уже знаю, и это... Одного не знаю только пока – что ты любишь в постели.

А ты молчишь и смотришь на меня – как будто огонь на меня глядит, страшно ведь... Но я все-таки улынулся. И ты в конце концов свое слово сказал, и все у нас началось...

Ничего никому не расскажу, это только наше с тобой... Об одном всегда буду помнить, – как ты меня спросил, что это я такое там бормотал, пока мы друг друга любили – не ругался ли. А я объяснил, что это мой родной язык, гэльский. «*Мо ивнэс*» – это значит «радость моя», «*мо гра*» – любимый... Ну, может, еще Господа нашего пару раз все упомянул, но недаром, недаром. Хотя

и грешен я, пробы ставить негде, но милость Божья ведь никому не заказана... Ты засмеялся и спросил, что еще я такое говорил про свет. Мол, одно только слово понял: «luz», по испански – «свет». Но на нашем языке «лус» значит «цветок», а «Грене» – солнце, «Луснагрене», «подсолнух», так я тебя назвал. А ты удивился: почему подсолнух? Что за прозвище такое? И тогда я объяснил, что ты и вправду на подсолнух похож – высокий, стройный, нестигаемый, смелый – небось, и на солнце глядишь, не щурясь, не уклоняясь от того, что день несет. И пока я всю эту поэтическую фигню нес, ты на меня серьезно так смотрел, а потом и говоришь: «Значит, Лус... Что сказать, бывали у меня прозвища и похуже. Но тут ты как-то очень в точку попал, потому что меня и вправду называют “сеньор Подсолнух” – из-за передачи на радио». Вот видишь, говорю, ирландское слово-то что копье – попадает точно в цель, но кто же тебе гадкие прозвища-то осмеливался давать? «Ну, не так чтобы гадкие, но кое-кому казалось, что “Блондиночкой” меня называть в самый раз будет». Ох, говорю, нет, какая ж ты к чертовой матери блондиночка, ты воин настоящий, ты Подсолнух, цветок мой золотой, *иш туса мо гра мор*, великая любовь моя, настоящая!

Взял я тебя за руку, и стало на самом деле так.

На время. Ненадолго.

Со знанием иностранных языков

...Маржене пятнадцать лет, и для подружек и приятелей она Марисоль. Все тетрадки, с которыми она ходит в католическую школу святой Урсулы, подписаны: «Маржена Гавличкова», но в учебнике испанского, который я у нее зачитала, в середине книги на полях, ближе к корешку, несколько раз тем же самым почерком, что и на тетрадках, написано: «Марисоль Гавальда». Бедный дядя Иржи...

Я очень стараюсь говорить по-испански. Но чаще приходится писать немецкие письма дядиным контрагентам в Аргентине, вычитывать прайс-листы на английском, а однажды он даже принес мне какие-то английские технические бумаги – манометры, змеевики, еле справилась. Но, если я не хочу до окончания дней просидеть у него на складе или в конторе, мне нужен испанский, поэтому я уже одолела два учебника для младших школьников (исписала две толстые тетрадки упражнениями) и пытаюсь разговаривать с грузчиками (они-то меня понимают, но в ответ разражаются тирадами, в которых я не понимаю ни слова). Я хожу на уроки в вечернюю школу, там учат писать и читать, но со мной учительница Элиза занимается отдельно – писать-то я все-таки умею, не черточки же мне выводить.

А еще я слушаю радио.

Здесь тоже иногда читают стихи, как дома... Чаше, конечно, слышишь новости, или спортивные передачи, или какие-то радиопьесы без начала и конца: про донью Исабель и ее семейство, про зловещего доктора Мортиса... И музыка, музыка, музыка... Но два раза в день, утром и вечером, выходит в эфир станция, которая называется «Подсолнух» – вот там, насколько я понимаю, рассказывают о книгах. И читают стихи. У диктора очень приятный голос, четкая речь. Здеших поэтов я не знаю, но однажды он читал Уитмена, и, честное слово, я чуть не расплакалась. Мой-то Уитмен, до дыр зачитанный, остался за морями. До того ли, когда садишься в поезд с одним чемоданом... Слов я тогда не поняла, но ритм был знакомый... иногда совсем немного надо и чтобы заплакать, и чтобы утешиться.

Время если и не летит, то идет – был декабрь, когда приехала, а теперь настало лето, да только здесь ведь все наоборот. Так что ледяным летним днем, грея на складе пальцы о кружку с кофе, прочла на задней страничке журнала «Консуэло», который выписывает Маржена-Марисоль: «нужен сотрудник со знанием... со знанием иностранных языков». И телефон.

Конечно, я позвонила. Говорить по телефону на полужнакомом языке... Я даже не подумала об этом. Женский голос с той стороны тараторил, в трубке трещали помехи. Что? Надо быть в четверг в столице?

В четверг в столице?

Мне?

Да, Сеньорита, в три часа, пожалуйста. Я вас записываю. Всего хорошего.

И «бип-бип-бип».

Я думала, там скажут – пришлите биографию, что-нибудь еще, напишите статью на заданную тему – я почему-то была уверена, что писать надо будет не по-испански, а на этих самых «иностранных языках», о Господи, ни я же не спросила, на каких, ни она не сказала...

И дяде еще как-то надо же будет объяснить.

Дядя, впрочем, оказался меньшим из препятствий. Он, конечно, бурчал и ворчал весь вечер, и возмущался, и «а как я буду без переводчицы?» – «А как ты раньше был?», и придирчиво рассматривал Марженин журнал – мол, фу, чего еще выдумают! – но в журнале было про то, как быть хорошей девочкой и, слава Богу, никакой рекламы с верблюдами... и закончил тем, что «пропадешь ты там, в столице, и нас совсем забудешь».

Я совершенно не собиралась никого забывать и вообще не собиралась пропадать ни в каких столицах, ответила, что меня еще никто никуда не взял, а только собеседование... и тут до меня дошло, что от нас туда больше ста километров, везти меня некому, а своей машины у меня нет, потому что куда мне тут ездить, от дома и до склада?

И ехать, значит, придется автобусом.

О том, что это другой город, другие люди, вообще все другое, я сообразила только в автобусе. Слишком много «другого» – и об этом стараешься не думать, не пускать это в себя, устроился как-то на краешке – и лады.

И тут вот снова краешек. Ну что же. Посмотрим, краешек чего.

На нужном этаже надпись «Консуэло» была сразу на нескольких дверях. За третьей подряд меня попросили присесть. Было без пяти три. Через пятнадцать минут секретарша спросила, не хочу ли я кофе. Мы выпили кофе, и я поняла, что нервничаю. Солнце уже исчезло за соседними зданиями. Скоро вечер. Последний автобус уходит – я посмотрела на часы – через сорок пять минут, а отсюда еще до вокзала добираться минут двадцать... Я очень тщательно составила и произнесла фразу: «Мне было назначено на три, я опаздываю», на что секретарша, виновато вздернув брови, сказала: «Фотографы!» – как будто это что-нибудь объясняло. Еще через десять минут из-за двери с табличкой «Творческий редактор» вывалилось несколько человек с какими-то треногами, штангами, папками и тубусами. Люди эти были мрачны и суровы, а один – с физиономией такой, будто его там публично пороли. При этом в приемную не доносилось ни звука. Секретарша снова двинула бровями, мол, проходите. И я, настроенная очень решительно, вошла. У меня оставалось всего десять минут.

Творческий редактор сидел на подоконнике, уткнувшись лбом в стекло. Я собралась кашлянуть или еще как-то привлечь внимание, но он уже обернулся и легко соскользнул вниз.

– Добрый день, – сказал он голосом, который отчего-то показался знакомым. – Ради Бога, извините, я сам еще недавно работаю, и пока не понял, что в этом деле нельзя планировать так, как я привык... Ведь это вы – тот человек со знанием иностранных языков?

Я кивнула. Неужели я правда его понимаю – каждое слово? Может быть, он сам иностранец – светловолосый, голубоглазый...

– Проходите. Садитесь, пожалуйста. Меня зовут Симон, – он дал мне визитную карточку, и я скосила туда глаза, ожидая увидеть немецкую фамилию – с такой-то нордической наружностью, но фамилия была на удивление здешняя – не то испанская, не то итальянская... У меня не было карточки, конечно. Я просто назвалась. Он не проявил никакого удивления.

– Катерина, – сказал он, как бы пробуя звуки на вкус. Он что, в актерской школе учился? – Вы из Европы, так ведь?

Я, как могла, коротко объяснила. И с удивлением заметила, что он не то чтобы опечалился – но какое-то серьезное выражение сложилось на его лице. На очень живом, очень приятном лице.

– Все это так печально, – сказал он. – Вы здесь устроены?

Я не очень его поняла, и, кажется, по мне это было видно.

– Может быть, мне лучше говорить по-немецки? – немецкий у него был всяко лучше моего испанского, но я помотала головой.

– Нет. Говорите по-испански, пожалуйста, просто я не поняла, почему вы спрашиваете... Что это значит – устроена?

– Я имел в виду – документы, жилье, работа?

– По поводу работы я как раз к вам пришла. В остальном все хорошо, – и тут я посмотрела на большие настенные часы и поняла, что нет, нехорошо.

– Что-то серьезное? – тут же спросил он. Господи, не человек, а стрелочный прибор какой-то. – Я пропустила автобус до побережья. Последний. Придется ночевать на вокзале.

– Может быть, и не придется. В конце концов, это я заставил вас ждать. Наша с вами встреча на сегодня последняя, и я тоже еду на побережье. У меня там эфир в семь часов, так что мы как раз успеем – если вы не возражаете.

И тут я поняла, отчего мне знаком и сам голос, и эти мягкие интонации.

– «С вами радио “Эль Хирасоль”»? Это вы?

Он просиял.

– Вы знаете? Слушаете?

– Да. Помогает... учить язык.

– Если бы я знал... Вы могли бы не ехать в такую даль, встретились бы на месте. Но Серена никогда не спрашивает такие мелочи... Ну хорошо, давайте тогда перейдем к делу. Мне нужен сотрудник со знанием иностранных языков, и вот зачем...

Он объяснял, а я в какой-то момент, к своему стыду, почти выключила понимание и немного послушала просто так – как песню, как радио. Дал же Бог человеку такое богатство! Рефераты зарубежных журналов? Как это называется – «дайджесты»? Книги, молодежные течения, кино, музыка? Хорошо. Я уже делала такую работу. Нет, французский, к сожалению, нет... Но немецкий и английский – безусловно, да. Да, конечно, я буду писать на испанском.

– На первых порах поправим, если будете ошибаться, не беспокойтесь. Вам придется ездить сюда работать – в библиотеку. Надо будет купить машину. Подумайте об этом. Ну, да это дело будущего. А сейчас нам пора.

Я кивнула. В голове у меня тоненько звенело. «Нам пора». У меня есть работа. Мне не придется ночевать на вокзале (я вспомнила типов, которые там шныряли при свете дня – в ночи бы я там и глаз бы не сомкнула, даже если было бы где). И этот человек – такой обходительный, спокойный, такой уверенный в себе...

Секретарша в приемной кисло улыбнулась нам.

– До завтра, Серена. Сеньорита Славичкова будет нашим референтом. Всего доброго.

На лестнице он остановился и внимательно на меня посмотрел.

– Вот что. Там внизу на стоянке такой... бежевый «Мустанг», верх черный. Вот ключи. Подождите меня там, я через пять минут буду. Через десять самое большее.

И побежал вниз по лестнице. Я посмотрела вслед. Белокурый принц-молния и сеньорита Славичкова, запомнил, надо же, – как Золушка. Не хватает только туфлю на лестнице потерять...

Он и вправду пришел ровно через десять минут. Подал мне бумажный пакет:

– У них там внизу очень вкусные булочки. Кофе ужасный. Я бы не рискнул вам предложить, но булочки просто фантастические. Если хотите – ешьте, это вам.

Так мы и поехали к океану – а булочки оказались с корицей.

Бо Финне

Меня зовут Бенедикт – спасибо папочке. И матушке спасибо – второе мое имя Бонифас.

Так что для нормальных людей я – БиБо. Но теперь уже чаще откликаюсь на Бо Финне. Это значит, кажется, «Белая Корова», сначала я понятия не имел, а когда узнал – привык уже и не обижался. Звучит, во всяком случае, не хуже, чем Бенедикт Бонифас Карре Четвертый.

Я – фотограф. Ну, как это – алюминиевые «зонтики», свет, подиум, на нем кто-нибудь более или менее одетый, а посреди картины раскоряченная задница в джинсах. Эта задница моя, потому что я ловлю ракурс. Я люблю такую работу не потому, что можно увидеть девушек почти без одежды – когда на них глядишь через камеру, это совсем не то, что вдвоем. Это известная штука. Но хороша в моем деле свобода – ты сам по себе, весть о тебе, какая ни на есть, впереди полегоньку бежит. Там оставишь снимок, тут – глядишь, ты уже на слуху, без куска хлеба не останешься. Если, конечно, не обещают заплатить в конце месяца или после того, как уйдет тираж.

А вот Келли платил сразу. Больше того, он обычно платил вперед, потому я часто соглашался с ним поработать. Хотя сказать, что Келли – странный тип, – считай, ничего не сказать. Из-за него были у меня знакомства и приятные, с красивыми добрыми девушками, и нелепые – с девами-лесбиянками в кожаных штанах, и с липучими парнями, которых я не привечал – еще чего! Но одно знакомство буду помнить до последней доски – теперь уж точно.

Позвонил он – и с ходу:

– Бо Финне, я тебе должен двести.

– За что?!

– Приезжай.

Я приехал. Две сотни на дороге не валяются, а у меня еще блок питания сдох... Отсчитывая задаток, Келли сказал, чтобы я завтра послал всех на фиг, потому что мы будем снимать целый день.

– Я уговорил его, он придет.

– Кто?

– Лус. Бо Финне, ты пропадешь. Какой парень!

– Мне-то что? Я парнями не увлекаюсь, ты знаешь.

– Глупый! Людей надо любить. Всех.

– И без разбору.

– Ладно тебе. Не подведи, Бо Финне, не вздумай – дорогого человека я позвал, не прошу, если продинамишь.

Я весело послал его, куда обычно посылают, вышел – посмотрел на новенькие десятки и побыстрому зачеркнул все другие дела на завтра, написал новое.

Мы с Келли пришли раньше времени – ему не терпелось, засели в «Апельсине» и успели выпить по пиву. Тут Келли толкнул меня:

– Вот они, там – Лус. И этот его... Хайме. Вон, у входа.

Ким – надо думать, вон тот, маленький, с проволоочной копной черных волос, брови густые, глаза – запятые, рот скорбный – *чинито*¹. Тьма ночная. А Лус... Я просто обалдел. Никогда не видел такого красивого парня... и подумал, до чего Келли мастер давать прозвища. Лус. Свет. Он рядом с этим черным пятном просто светился. Я сразу увидел то, что для меня было важно: как держится! Как всадник. И лицо – в любом ракурсе обозначается четко, это хорошо... Я не удивлялся, что Келли смотрит на него, нервно скалясь и терзая сигаретку. Лус оглянулся, заметил нас,

¹ Латиноамериканец китайского происхождения, букв. «китайчонок».

положил руки тому раскосому на плечи. Наклонился и поцеловал. И черный мальчик ушел, топорща локти и не оглядываясь.

Вот тут мне стало страшно. От приятелей Келли – чего еще ожидать... Я испугался, потому что ухватила за горло дикая мысль: как бы я на месте этого чинито... О-ой, пропал БиБо, все – набрался от тех, с кем повелся. Это что ж такое, что? Ох, морда-то горит, как свекольный салат – спрятал в кружку с пивом, а он уже здесь...

– Привет, друже! – Келли его обнял, но целоваться они не стали. – Это Би Бо Финне, он будет снимать. Бо, знакомься – это Луснагрене.

– Лус... что?

– Подсолнух, – отвечал Лус, усаживаясь. – Келли всех клеймит, обычай у него такой... Иногда попадает в точку.

– Всегда попадаю. Подсолнух – так и есть. А вот он – Бо Финне, потому что он белая корова. Глупая белая корова. Посмотри, как он на тебя пялится. Лус, ты бы хоть щеки сажей мазал. Парень влюбился с первого взгляда.

– Вообще-то, меня зовут Симон, – Лус улыбнулся... – «Подсолнух» – это радиостанция, я там иногда передачи веду, вот ему и показалось очень удачным... Хорошо, Келли, сколько у нас времени? Кофе успею?

– Успеешь, – отвечал тот, суетливо пододвигая сахарницу, делая зазывную гримасу официанта и пр. Я уже опомнился от первого потрясения, но острое чувство беды ушло, а осталось напряжение – как будто струна. Я собственными глазами видел, как Лус поцеловал того мальчишку. Я знал, что он из тех, кого называют «марикон», но не мог поверить. Передо мной сидел парень как парень – красивый, но мужской красотой, не слащавый, не с тайной тоской в глазах, как у Келли, который за пять минут скурил две сигареты и порывался вытащить третью. Бедный Келли. Бедный я... Вдруг накатило: сообразил, что не знаю, какую именно съемку задумал чертов ирландец... Я ужаснулся от одной мысли, что Марьям положит влажный блеск вот на эти твердые губы, и воин превратится в проститутку... Я, наверное, побледнел. Келли прекратил ковырять пачку, сообразил, что она пустая, смял и выкинул. Тут и перехватил мой взгляд. Не знаю, догадался ли, но прочистил горло и сказал, что нам пора.

Всю дорогу до студии, даже в лифте, я думал только том, как бы мне отмазаться и уйти. Но для этого нужно было по-хорошему отдать Келли его вчерашние полста, а я уже купил пленку, да и лампу для вспышки новую, и от денег остался гулькин нос. Угораздило же связаться с этой похотливой сволочью, которому все равно – с парнями или с девушками. Я уже забыл, как вчера обрадовался задатку – видел только, что Келли поглядывает на Луса и улыбается нервно. Блядски улыбается – так мне казалось в сумеречном лифте, и только когда я у дверей студии увидел Марьям, толкающую две фирменные стойки с одеждой от Паса Калье – бросился ей помогать, зарылся лицом в холодный шелк и в рубчатые твиды, чтобы только ни Лус, ни Келли не увидели, какое облегчение...

Снимали долго. Келли был в ударе. Он вроде бы носился по студии, участвовал, обсуждал каждую позу, застегнуть или расстегнуть пуговицу, то или это надеть вот под этот пиджак, растрепать волосы или, наоборот, попросить Марьям пройтись щеткой... Но выходило так, что ничего от Келли не оставалось, и снимал я так, как хотел, очевидно, Лус – я бы сказал, строго. Я знай себе шелкал затвором и думал – этот парень понимает, что делает. Ему не надо притворяться, усаживаться верхом на стул, оглядываться через плечо... все эти расхожие приемчики просто не существуют. Я делал пять-шесть кадров, потом Лус шел в угол переодеваться, и от меня требовалось все самообладание, чтобы не смотреть в ту сторону. Как он отпускал пальцы, проверяя застегки – с ума сойти, ведь это молнии-пуговицы, а если бы там было живое – кожа, или волосы, или губы... Мне было уже все равно, я под конец сессии настолько одурел, что и мыслям этим не ужасался. Наконец мы пошабашили – Паса пришел за своими вещичками, у Келли кончились сигареты из недельного запаса, я с ног валился, и Лус, поглядев на часы, улыбнулся сердечно и сказал, что ему пора.

Мне бы ехать домой, проявлять, смотреть, что и как, – но я сразу сказал – режь меня, два дня – не меньше. Келли кивнул. Время шло к полуночи, но мы оба были немного на взводе, а он еще и от табака – и дорога нам была в «Апельсин», мы и не сговаривались.

Келли посигналил бармену, и ему принесли кофе с виски, но не дамский айриш, со сливками наверху, а просто пополам – без сахара и молока. Келли прихлебывал и щурил воспаленные глаза, а я для чего-то заказал пива и теперь с отвращением смотрел на высокую пену «Стеллы». Так мы сидели, помалкивали, и я сдался – или будем молчать о нем, или заговорим.

– А ты – давно его знаешь?

– Давно. Слушай, купи мне сигарет.

– Почему я?

– Я на них уже смотреть не могу...

– А курить будешь? Чудак ты.

– Давай, Бо Финне, слушайся старших. На вот.

Я слез с табурета.

– Ладно. Каких тебе?

– Все равно. Только покрепче и не женские.

Я проторчал у автомата минут пять, выбирая покрепче и не женские, потому что на «Премиум» явно не хватало, а поганые «Кармен» без фильтра я из одного человеколюбия покупать бы не стал. Вернувшись, заподозрил, что Келли просто меня отсылал подальше, потому что он быстренько отошел от стойки с телефоном. И – чокнутый, ей-Богу, – все-таки закурил, уставился сквозь дым прямо в душу. Уж не прикидывает ли виды на меня? Вот чего бы совсем не хотелось... Но Келли не прикидывал. Хорошее у него было правило – если знал, что товарищ не склонен, то и не пытался. Правда, после сегодняшнего – как бы не передумал. Нет уж, извини, наваждения – это одно, а по жизни...

– Ты не расстраивайся, – Келли заговорил тихо, голос у него сел от курева и виски. – Это все так. Все, кто его в первый раз видит.

– А во второй?

– И во второй. И всегда.

– Он модель?

Келли покачал головой.

– Писатель. Что, не веришь? Думаешь, у писателя перо за ухом, седалищная мозоль и нимб?

– Да ничего я не думаю. А что он пишет?

– Так... Классные вещи... А что снимается – это тоже... для удовольствия, и чтобы мне помочь. Он хороший друг... Я тебе дам почитать, если хочешь, или сам у него попроси.

– А разве я его увижу еще?

– Почему нет?

– Не знаю... Как-то он... Как ангел. Разве люди такие бывают?

– Бывают, Бо Финне. Это ты хорошо сказал – как ангел. Или как *фьярши*, знаешь, кто такие?

– Не от мира сего?

Келли снова кивнул и допил кофе. И тут же показал сонному бармену – повтори.

Я подумал и сказал:

– И я еще... знаешь, как это – что такой парень – гей? Я бы никогда не поверил...

– Отчего же? – отвечал Келли, вкручивая недокуренную сигарету в пепельницу. – Я, например, с ним спал.

– И... как? – Богом клянусь, ничего другого у меня не вырвалось.

Келли ткнул в губы окуроч, спохватился, чиркал зажигалкой, затянулся все-таки и стал смотреть уже не на меня, а на дым, как он тяжело всплывает вверх.

– Любовник он замечательный, если ты это имеешь в виду. Но, наверное, не это. Видел Хайме? Вот кто счастливчик. Черт, что-то меня совсем развезло – что он там, мензурки перепутал?

Келли взглянул на меня мутно, было похоже, что он вправду пьян – от усталости или от тоски.

– Я бы его убил, этого Хайме. Только смысла нет.

– Почему? – я тоже порол чушь, дальше – больше, но сил не было перестать.

– Ха! Потому что тут уж ничем не поможешь. Ладно, я... болтаю всякую хрень. Не слушай, – и он стал пить свою адскую смесь, как теплое молоко, большими глотками. – Лус... Так уж вышло. Он – верный... Не то что некоторые.

– Подумаешь... – от «Стеллы» не опьянеешь, но я тоже устал до синевы в глазах, и охмелевший Келли казался мне теперь братом по несчастью. – Ну, не ангелы мы с ним... – зато ты можешь выбирать...

– Ничего ты не понимаешь, Бо Финне, – горько отвечал Келли и поднялся, сунув деньги под блюдечко. – Ты еще маленький. Жизнь... короткая. Но можно быть верным. А можно быть шлюхой. Вот я и... Ладно. До завтра... то есть, ну, ты понял. Позвони, когда напечатаешь...

Так я познакомился с Лусом. Келли сказал, что снимки пошли на ура, но больше снимать Симона не пришлось. Встречались по другим делам, потому что теперь уже Лус нашел мне кусок работы у своих знакомых – в каком-то ансамбле народной песни, где на флейте играл тот самый Хайме. Я им помогал оформлять альбом, делал постеры – было весело и немного страшно, – а ну, как они у меня на глазах истекут голосами, как кровью, – но, конечно, обошлось... Однажды я набрался нахальства и попросил у него что-нибудь почитать – и пропал совсем, потому что Лус, один Бог знает, как – писал обо мне. Короткими стихами в четыре строчки. Рассказиками в пять. Я читал и представлял его лицо – ясное и спокойное, читал и думал – эти глаза видят не то, что можно увидеть даже из самой высокой башни, если это не сны, не трава – то как это? Откуда? Почему обо мне? Если бы меня уже тогда спросили, я бы сказал – люблю. Если бы он позвал меня – я бы не сомневался ни секунды, и мне не было страшно. Может быть, потому что я знал – он не позовет.

Потом как-то все наладилось, и я привык – сам себе удивлялся, например, девушке своей не сказал ни слова, она и не догадывалась, по-моему, какие меня одолевали страсти... А еще потом неутомонный Келли снова затащил меня в «Апельсин» – показать, в какую, по его словам, феири влюбился Лус. Наверное, бедняге очень хотелось в это поверить – что Лус пусть и не такой уж, как он сам, но все же не верный настолько... Женщина была, правду сказать, очень красивая, может быть, тоже с ирландской кровью – рыжеволосая, отчего Келли ее феей и назвал... Но я разглядел, как она на него смотрела – да так же, как и я сам. Как Келли. А Лус был спокоен, и чуточку лишь печалился, глядя на золотые волосы... Я хотел было высказать Келли все, что я насчет этого думаю, но только взглянул на него – увидел настоящее горе, какого никакими словами не отрезвишь и не разведешь, вот и промолчал. Жизнь короткая...

Я тогда и не подозревал, насколько.

«Ты похож на Библию»

...А еще ты читал много, иногда даже зла не хватало. Вот, скажем, поехали мы куда глаза глядят, к океану – вокруг, наверное, на километры ни одной живой души, ну, может, старушка какая-нибудь в холмах на огороде ковыряется, – а ты в книжку уткнулся. Лето, океан, черешня... Я косточкой в тебя стрельнул, а ты только взглянул мельком и опять в книжку... Тут меня прямо взяло: что там, говорю, у тебя такого интересного, я разве не лучше какой-то книги? Помнишь, что ты мне сказал? Что каждый человек на книгу похож. Что человека тоже можно читать. Я стал тебя подзуживать – мол, ну так вот я, весь тут, и даже без обложки, может, почитаешь? И ты ведь вычитал во мне кое-что. Мы вроде и шутили оба, но я видел, что для тебя это почему-то важно. Вся эта дурацкая история, в которую я в Байресе влип, когда певицу нашу, Лусию, из комнаты вытолкали – а там военных шестеро. Не понравились они мне. Глаза такие – пустые, стеклянные. Не знаю, наглотались они чего, обкурились, или, может, ширнулись какой-нибудь хреновиной...

А им мое самоуправство не понравилось. Могло и хуже обойтись – Хорхе, гитариста, они вообще просто из окна выбросили, насмерть разбился. А мне что, меня они только пугали, играли на мне в «крестики-нолики» – как пацаны, как дикари, – даже и резать толком не резали, только поцарапали раскладными своими ножичками да ноликов окурками натыкали. А ты остроглазый – как раз эти следы и увидел. И знаешь, что странно? Что тебя это так... расстроило. Мне-то ничего, а вот тебя я таким еще ни разу не видел. Как будто тебя это волновало сильнее, чем даже меня. Ты разозлился, потому что какие-то неведомые уроды издевались надо мной. Никому до этого сроду дела не было, даже и мне самому – ну жив, и ладно, мог бы и погибнуть, ну, осторожнее стал, конечно, да и из Байреса, в общем-то, потому и уехал, тем более что одному из тех военных пару дней спустя в доках на голову кое-что свалилось, кирпич ведь не спрашивает, ты мастер боевых искусств или нет... Я как будто забыл – ну, не вспоминал, это уж всяко. Но тебе было не все равно. «Такое насилие – это ужасно». Ну, ужасно, и что? Было и прошло, ну, осталась парочка шрамов... Мне до того даже в голову не приходило, что это было что-то большее, чем просто неважное приключение... И ты, кажется, сильно этому удивился. Я тогда очень ясно понял, насколько ты другой. Не такой, как все. И как мало у нас общего. До мурашек проняло – так вдруг внезапно... Но я тогда все сумел как-то в шутку обратить. Сказал, что ты тоже на книгу похож. Догадаешься, говорю, на какую? На Библию. Ты удивился. А я ведь не так уж и шутил. Ты и вправду был похож на Библию, это книга неласковая, немилая – я же ее читал, в школе ею голову морочили больше чем учебой, да и потом, бывало, сидишь где-нибудь в каталажке – делать нечего, а Библия всегда есть. Не знаю, как там тебе в твоей вере, а для меня это книга огня. Суровая, не терпящая греха, людей не терпящая, я так и сказал, что ты, наверное, жег бы грешных... нет, не грешных – неправедных, если бы была твоя воля. Сказал, что вижу в тебе этот огонь, что ты не только Подсолнух, но и сам светишь. И я уже не шутил. Такой ты был, любимый мой, грозный, как войско иудейское, как Солнце ясный и такой же жгучий. Но это теперь – только воспоминание, только память. Меньше, чем слово.

Больше не страна самбы...

– Ну что, Ката, как день? – Симон задержался у моего стола, улыбнулся. – Что у тебя? Можно посмотреть?

– Да, конечно. Это арпильеры, помнишь, я тебе говорила? Коврики такие джутовые, лоскутное шитье...

Он взял несколько фотоснимков, прищурился, разглядывая яркие цвета: домики и фигурки, горы и море, как на детском рисунке.

– Они очень выразительные. Здорово, что они тебя заинтересовали. И может получиться интересный материал. Ты, наверное, знаешь, что их в Лувре выставляли, да?

– Да, в шестьдесят четвертом, я читала об этом... Но все-таки Виолетту Парра все знают, а вот, скажем, донью Хосефу Мартинес – разве только соседки...

– Ну, что для Лувра было хорошо, то и для «Консуэло» сгодится. А эта донья Хосефа – это вот ее работы?

– Угу. Собиралась сегодня к ней в поселок поехать, еще поснимать, как она за работой... а потом смотрю – а из моей «букашки» масло потекло. В мастерской сказали, завтра к обеду только сделают...

– Тогда в «Апельсин» надо вместе ехать. Мне еще надо побывать в одном месте, там дел на полчаса примерно. А потом я за тобой заеду, идет?

– Слушай, если на полчаса, может, возьмешь и меня с собой, а то голова уже гудит? Я все равно тут за полчаса и даже за час ничего не высижу, наверное, а так хоть воздухом подышу.

– Там может быть... неприятно. Но ты, конечно, можешь поехать со мной, если что – подождешь в машине.

- Конечно, подожду. Это же твоя встреча.
- Тогда пойдем, пойдем. Ты готова уже?
- Да, я... – снимки и блокнот я сунула в сумку, остальное – в ящик стола. – Вот. Все. Готова.
- Ну, пойдем.

Вот это его «там может быть неприятно» ужасно меня заинтриговало. Куда же это он собрался? В машине не утерпела:

- А что за встреча?
- Беженцы, их будут там снимать для частной телестанции. Американцы.
- Беженцы?
- Ну, не совсем... Те бразильцы, которых обменяли на посла, ты, может быть, слышала...
- Террористы, да.
- А, террористы, – тут он посмотрел на меня и бровь поднял – так красноречиво... – Ну, можно и так сказать.

Я вспомнила Павла – каким он вернулся после тех трех дней, когда мы с мамой не знали даже толком, где он. И какие названия подбирали для тех, кто против танков выходил с лопатами.

– Как минимум, я сама политическая беженка. А насчет террористов... ну, может, я сама на них посмотрела и послушала? Чтобы решить?

Он отвел взгляд от дороги и поглядел на меня.

- Ты храбрая, Ката, я знаю. Но там может быть очень тяжело. Ну вот, мы и приехали.
- Я пойду с тобой. Если вдруг что не так – я всегда смогу уйти ведь.
- Конечно.

Он взял свою сумку, я – сумочку и шарф. Мы вошли в парк – там была какая-то сельскохозяйственная выставка, много людей с детьми, лязгающие машины, воздушные шары, огромная пластмассовая корова... Симон быстрым шагом прошел – мне пришлось поспевать чуть не бегом – куда-то за главную аллею, за поляны, занятые комбайнами, и мы оказались на высушенном пятачке с другой стороны летнего театра. Там стояли ржавые остовы каких-то древних автобусов, а между ними – один более-менее новый, на ходу, и еще джип с иностранными номерами... и дальше я увидела десятка полтора людей – мужчин и женщин, совсем молодых людей и постарше. Они окружали корреспондентов – один был с камерой, и у них уже шел оживленный разговор. Симон отстал – кажется, с ним заговорил кто-то из съемочной группы, а я прошла вперед, люди расступились, и я увидела, что там на траве сидит бородачатый парень – почти нагишом, в одних плавках. Он слабо улыбался, а двое других, посмеиваясь и подмигивая, связывали ему руки и ноги. Все говорили по-португальски, и я понимала с пятого на десятое. «Вот так», – сказал один из них, из тех, кто связывал, – «вот так это делают». И они отошли, похлопав голого по спине. И тут же двое других просунули связанному между коленями и руками длинную палку, подняли, и он повис на ней, как большая нелепая птица. «*Пау де арапа*», – сказал корреспонденту высокий молодой человек в очках, прилично одетый. – «Сорок минут», – дальше я не поняла. Связанный запрокинул голову. Кто-то из мужчин взял шланг с водой и стал поливать висящего, стараясь попасть ему в нос и в раскрытый от напряжения рот. Все засмеялись, подвешенный закашлялся. Я никак не могла понять, что происходит. Подвешенного снимали на камеру, Симон был где-то в стороне, а вокруг люди разговаривали и смеялись. У меня зашумело в ушах. «Тортурас», – вылетало из общего гомона. пытки. Вот так это делают. Дамочке плохо, сказал кто-то прокуренным голосом. В это мгновение я почувствовала, что меня слегка тянут за рукав. Наверное, Симон... но это оказалась застенчивая девушка в красной футболке и в брюках.

– Вы тоже американка? – спросила она по-английски.

– Нет, – я не стала уточнять. – Я приехала со здешним журналистом, он там... и никак не пойму... что это?

– Это наши товарищи, – сказала она. – Рассказывают американцам, тем двум, что с ними делали в ДОПС.

– В ДОПС?

– Ну да. В службе безопасности, в полиции... Это «*пау де арапа*», «попугаячий насест»... там рано или поздно кровь приливает к голове, человек теряет сознание, и очень больно...

– Вам... с вами тоже так?

– Ой, нет, – сказала она и улыбнулась. – Нет. Для этого я никак не годилась. Меня подстрелили во время облавы. Пойдемте. Посидим вон там в тени, а то вы и правда бледная очень...

Пока мы шли в тень, она сказала, что ее зовут Питанга, что отец у нее американец. Что она жила в Нью-Йорке, училась там в католической школе, а потом отец умер, и они с матерью вернулись в Рио... А там уже – «так получилось», – сказала она и развела руками, и я увидела, что на правой руке у нее нет большого пальца. Мы присели под деревом, Питанга рассказывала про университет, про то, как пришлось жить в подполье, потому что среди студентов было очень много арестов. «Да разве только студентов... Они там всех хватают, понимаете? Вон тот парень, видите, такой, в сильных очках – это брат Тито, его прямо из монастыря забрали, очень мучили... А вон тот – он адвокат. Его тоже подвешивали... Тут все разные очень – студенты, врачи, рабочие, священники. У нас там страна всеобщего равенства теперь... всех ловят, всех пытаются...» Я знала, что такое «подполье», и когда ловят всех подряд, это было у нас при немцах, – слышала от матери, я сама была слишком маленькая, чтобы помнить, а теперь вот они, подпольщики... Между тем того парня уже развязали, и теперь корреспонденты снимали его со спины, а другие мужчины показывали, как тушили сигареты о живого человека.

– У меня тоже есть такие следы, – сказала сидевшая рядом женщина с длинными волосами – она была красивая и мрачная, недоброе лицо, дерзкая усмешка. – А у Питанги шрамы от пуль. Девочка, покажи *леди*... пусть они знают.

Питанга слегка улыбнулась и подняла футболку. Живот у нее был исполосован грубыми рубцами от швов.

– Две пули, – сказала она, – в печень, в легкие. Рука – это тоже тогда.

– О Господи.

Я отвела глаза от Питангиного живота. К нам, оказывается, подошел оператор – это у него вырвалось «О Господи» – и парень с микрофоном, и с ними был, наконец-то, Симон.

– Добрый день всем. Ката, пойдем, не будем им мешать.

– Да, Пойдем... Конечно... Прощайте... Спасибо...

Симон крепко взял меня за руку. Где он был десять минут назад? И тут вдруг еще один бородач шагнул нам навстречу.

– Франко... – и он, кажется, хотел не то пожать руку Симону, не то обнять его. – Ты...

– Вы ошиблись.

– Извините, – пробормотал бородач. – Извините... обознался...

Все тем же быстрым шагом Симон увлекал меня к выходу из парка.

– Франко?

– Обознался человек, бывает.

– С тобой-то?

– Как раз со мной и обознался. Блондинов в Латинской Америке не так много, это верно, зато все они слегка... как бы это сказать... на одно лицо. Ты как, девочка?

Девочка. «Девочка, покажи *леди*...»

– Не очень, если честно. Скажи... зачем ты меня сюда привез?

Симон остановился у водительской дверцы «Мустанга».

– Ката, – сказал он очень серьезно. – Ты сама попросила взять тебя, если помнишь. И сама согласилась пойти посмотреть. Тебе очень плохо? Чем тебе помочь?

– Я не знаю. Подожди. Я сама не пойму... В «Апельсин» я сейчас точно не поеду, извини...

– Отвезти тебя домой?

– Нет.

– Тогда поедem ко мне.

Мотор заурчал, воздух тронул лицо. Хотелось закрыть глаза. Но я знала, что если я это сделаю, то буду видеть подвешенного, спину в рубцах от ожогов, девичью ладонь без пальца, шрамы на животе. В школе я бегала кроссы, и сейчас ощущение было такое же – сосущая пустота под ложечкой, слабость в ногах. В столице Симон снимал домик в тихом пригороде, и это было такое облегчение – не придется проходить мимо консерва, не дай Бог, с кем-то ехать в лифте... Он помог мне выйти и все время, даже открывая дверь, держал меня за руку – пока не усадил на диван в гостиной и не пошел в кухню за стаканами.

– У меня ром... и виски еще есть немного. Что будешь?

– А, все равно. Ром так ром.

Я выпила полстакана, обожглась, захрипела.

– Ты как?

– А ты как думаешь?

– Я же не знаю, что это для тебя значит. И спрашиваю, потому что хочу знать.

– Все-то ты хочешь знать! Зачем тебе это? И... беженцы эти? И что со мной теперь? Зачем тебе это, Симон?

– Я ведь журналист, – сказал он. – Я интересуюсь тем, что происходит в этой стране.

– А я интересуюсь ковриками...

– Коврики – это очень важно. Поверь мне. Все важно, Ката – коврики, мыльные оперы, журналы для девочек. Все, что облегчает жизнь. Что делает ее выносимой.

– Потому что невыносимой ее сделать очень просто, да?

– Да.

У меня к горлу подступали слезы. Коврики... где коврики – а где это все, о Господи... как от этого ковриками защититься?

– Я думала, что... хоть немного спасусь от этого... а тут...

– От этого – от чего?

– От этого... от произвола. От насилия, когда оно везде...

Он коротко и невесело рассмеялся.

– В Южной-то Америке?

– Не где-нибудь ведь в Южной Америке. Не в Парагвае каком-нибудь... или в Гватемале... Это мирная страна, все об этом знают. Здесь все-таки демократия, гражданские у власти... а теперь понятно, что и здесь может быть такое...

– Да. Тут многие мечтают, чтобы военные пришли...

– Конечно. Потому что коммунисты, будет революция, как на Кубе, придут русские. О Господи, Симон, ну вот стоило сбежать аж в Южную Америку, чтобы снова русские, а?

– Ты их уже видела? Здесь? Русских?

– Нет, конечно... Нет. Но я тебе честно скажу – я... боюсь. Я видела, как они приходят – как к себе домой, Симон, как будто им все можно. А мы никто... и звать нас никак...

– И все-таки именно русских на танках тут нет.

– Но говорят, что со дня на день будут... Что все к тому идет...

– Ты же сама видела – здесь, если что, прекрасно и без русских справятся.

– И ты... хотел, чтобы я это... вот так знала? Усвоила? С какой стороны ждать беды?

– Ката, – сказал он тихо и жестко, – Катерина, не дай Бог тебе... узнать это так, как эти люди узнали.

Я поняла, что сейчас разрыдаюсь. Было стыдно, страшно и вполне ясно – ни от чего я не спаслась и не спасусь. Не те, так эти. Не те, так эти, и разницы никакой. Я сложила пополам на стуле, зачем-то старалась хотя бы спрятать лицо, чтобы он не видел... но все уже было бесполезно.

Не знаю, сколько времени я выла и скулила, как щенок... Опомнилась и поняла, что все это время Симон обнимал меня – держал, не давал упасть, дышал вместе со мной. Я упиралась лицом в его согнутую руку, и рукав был весь мокрый. Я тихонько завозилась, и он тут же мягко меня отпустил.

– Я пойду... умоюсь...

– Иди. Останешься здесь, ладно? Тебе сейчас нужно поспать. Завтра будет легче. Я тебе на диване постелю и буду рядом. Если что – зови.

Я не позвала. Я умылась, легла и лежала тихо – в мутном отупении. Помню, что я даже злилась на него, как будто это он был виноват во всем – в русских танках, в бразильском ужасе, в том, что не хотел от меня это скрыть, в том, что напомнил. Я была не слепая, я чувствовала, что надвигается что-то тяжелое, но Боже мой, как же не хотелось замечать это, как хотелось просто жить, радоваться, любить...

Любить!

Сквозь полуприкрытые ресницы я видела, как Симон устроился на широком подоконнике и закурил – безответная моя любовь, мой безупречный рыцарь. До сих пор при мне он курил лишь однажды; предметом разговора тогда был Хайме... Только этого еще не доставало... Ревность, боль и страх – не самое лучшее сочетание... я снова всхлипнула. Симон оглянулся, но я уже опять лежала тихонько, и даже глаза прикрыла поплотнее. Я слышала, как он поднялся с подоконника, сделал несколько шагов, закричали доски пола, снова тишина... Прошло несколько минут, и я опять приоткрыла глаза. Симон сидел на полу в простенке между окном и дверями, вытянув одну ногу и подогнув другую, с недокуренной сигаретой в руке. На меня уже наваливался тяжелый сон от выпитого и выплаканного, но если бы ему нужна была помощь, я бы очнулась, конечно.

Но помощь ему была не нужна. Он сидел, глядя поверх меня куда-то очень далеко... очень – и лицо у него было на редкость суровое и мрачное.

Сидя

День рождения у меня в этом году так себе вышел. Он нынче на государственный праздник приходится, только мне как-то и праздновать особо нечего. Работа есть – а отчего бы ей не быть, у нас же теперь жизнь веселее с каждым днем... А что внутри тесно и снаружи страшновато, и то одного, смотришь, нет человека – как в воду канул, то другого, и все помалкивают... ну что. И не к такому привыкаешь, говорят.

Так и живем.

Но все-таки подарок я получил – письмо. Толстое. С фотографиями. Это Сэм Халин меня вспомнил, друг детства. Сэм в торговый флот подался, так что весточки от него бывают не часто, но всегда с подробностями. Вот и сейчас расписал, как протекает его новая рекламная кругосветка (да, помню, помню, что-то такое читал), а вот и снимки... Ну, это Сэм и его девушка из Глазго... Сэм со всей таможенной Порт-о-Пренса, Сэм с перевязанной рукой (вскрывал кокосовый орех ножовкой!) – и громилы из береговой охраны Сан-Томе... Сэм под кружевными эвкалиптами, в обнимку с каким-то тощим парнем, черные очки сдвинуты на лоб...

Я еще удивиться толком не успел, а рука сама увеличительное стекло на столе нашарила – да, как же, рассмотри лицо, попробуй, у фотографа руки из задницы растут...

Это где? И – это... Что там на обороте написано?

Порт Хобарт какой-то, Тасмания?!

Келли?!

Не может быть!

Так я себе сказал – и оставил почту, ушел на балкон. Сигарету скурил – мало показалось, за вторую взялся – стоп! Вспомнил, даже передернуло – у него такая точно привычка была – одну за другой ...

Я ведь его похоронил, в некотором роде. Как всех, исчезнувших бесследно.

Келли...

И тут я понял, что мне, в сущности, не с кем даже перемолвиться об этом – Симон, который мне про его исчезновение рассказал, тоже сгинул – в последний раз я его после мятēja танки-

стов видел, когда пленку со снимками отдавал... Он мне тогда, собственно, и сказал, что к Келли опоздал, видимо, – что квартира разгромлена, и похоже, что хозяин ее покинул недобровольно... А больше – никого... Или, наоборот, полгорода – всех его одноразовых парней и подруг... Да они и не помнят такого!

Я и так еще посмотрел на снимок, и эдак. У меня в рабочих альбомах были фотографии и самого Келли – конечно, хорошие, не чета этому, но человек под эвкалиптами был очень, очень похож. Смотрел в камеру почти так же, как глядел, бывало, в мою – ухмыляясь только ртом, а глаза – будто в прицел глядят...

Как это может быть?

И зачем?

И что мне теперь с этим делать?

Я еще раз взял письмо Сэма, дочитал до конца: «А в Хобарте мы в клуб зашли, “Сида” называется, а там хозяин – вот этот чувак – как узнал, откуда я, просил знакомому записочку передать, я взял, а потом смотрю – а там адрес твой. Тесен мир».

Тесен, конечно. Я глубоко вздохнул. Записочка, точно, нашлась внутри: «Привет, Бо, это я, Шонесси. Слышал ли что-нибудь о Л.? Будешь в наших краях – заходи. К.».

И адрес.

Сида. Вот оно как. В подоконник застучал дождь, настроение стало – совсем никуда. Надо же – Келли объявился... Пока он был жив – то есть пока он тут был жив... вечно мы с ним были немного на взводе – то он мне должен, то я ему, то его очередная любовь на меня запала, то я, неправильный, не западаю на каких-то исключительных, по его мнению, особ... Всегда вокруг него – будто озоном потягивало, и всегда какая-то адова кутерьма, кавардак, все не слава Богу.

А ведь я один, наверное, знаю, что к чему, и что за Сида такая... Только я все это время думал, что она ему правду сказала, а выходит, что ошиблась...

А было так: пришел я к нему должок забрать, позвонил, а дверь не заперта и даже вроде приоткрыта... захожу, а хозяин навстречу – в чем мать родила. Я чуть на пол не сел.

– Господи, Келли...

– Ну? Что? Ты проходи, только поберегись, не вляпайся. Извини, у меня сегодня тут бардак. Дверь не закрывай, проветрить хочу, дышать нечем.

Надо было смыться, но я так и застрял в прихожей. Шонесси тогда с какой-то художницей жил, с той, что городские стены расписывают – и в квартире у него страшно разило сейчас этой краской. И на двери было свежее синее пятно. И везде валялись вещи, тоже живописно залитые красками – одежда, обувь. На потолке и стенах растопырились весьма живописные кляксы. А Келли уже маячил задницей в гостиной.

– Садись. Кофе попьем, того-сего.

– Ничего я не буду. Я вообще за деньгами пришел.

– Не повезло тебе. Видишь, не то что без денег – без штанов остался.

– Да уж, вижу. Я пойду.

– Подожди. Посиди со мной. Недолго. Сейчас Дихи придет, привезет...

– Что?

– Шмотки. Это... Кармен натворила. Сядь. Будь человеком. Я тебя не съем. А одному тут киснуть...

– А вдвоем – что? Веселее?

– Ну да. Ты сядешь, или тебя усаживать?

Я сел. Келли тоже плюхнулся в кресло – и хорошо сделал. Так я, по крайней мере, ничего особенного не видел. До чего все-таки унылое зрелище – голый человек... даже если он любезно скалится и предлагает кофе.

– Я тебе все расскажу. Я просто лопну, если не расскажу, – он глотал кофе пополам с дымом, поперхнулся, закашлялся. – Кармен-то моя совсем рехнулась. Орала тут на меня, скандалила... Одежду вот мою всю перепортила, и смотри, художеств мне каких навела... Что я хозяйке-то скажу?

– Всю? У тебя что – даже полотенца нет?

– Есть! – радостно воскликнул Келли, – в ванной осталось, вот такое! Только прикрыть... и пальцем придерживать. Хорошо, что в доме тепло...

Я промолчал. Келли допил кофе и закинул ногу на ногу. Глаза у него блестели, уголок рта подергивался – похоже, он не то был напуган, не то перебрал чего-то...

– Зачем это она?

– Да так, я тут встречу кое с кем назначил, а она уперлась – не ходи и все! Время, кричит, мутное, и дружки у тебя странные, и вообще орала так, будто я ей законный муж... Ну и вот... другого способа не нашла помешать. Наши ирландские женщины – это, конечно, дьяволы в юбке, но и ваши жару дают.

– Ты наших женщин почему зря не обижай. На себя посмотри, шут гороховый.

– Ну, я – мне положено, – почти с гордостью отвечал Келли, – ирландцы все немного с прибабачом.

– Почему?

– Так остров же. У нас там все время – ветер, вот и надувает в голову всякое. Ну и вода еще – ее вокруг много, а пить сырую нельзя, и вся Эрин хлещет виски.

– Мда... ну как же это ты без штанов-то оказался?

– Да мы ругались-ругались – я в душ пошел, а она мои шмотки сгребла, какие порвала, половину красками своими залила – вон, в углу лежит... а какие в окно выкинула... Обувь в мусоропровод спустила... Орала так, что чуть потолок не рухнул, а теперь и вовсе вон умотала куда-то. Да я не сержусь на нее, это она как лучше хотела, конечно... Но ничего, сейчас младший-то придет, принесет чего-нибудь, я ему уже позвонил...

Младший брат у Шонесси был очень странный. Я его видел пару раз – чистое дитя эльфов, писаный красавец, волосы золотистые, глаза не просто синие, а какие-то даже с фиалковым оттенком, но что-то с ним было не так немного – кажется, не большого ума юноша. Жил он в какой-то общине хиппи и на белый свет показывался нечасто.

– А ты уверен, что он тебя... эээ... правильно понял?

– Не знаю, – сказал Келли, – но надеюсь, что хоть как-то понял...

– Странный он у тебя, совсем вы не похожи, я бы не подумал даже, что вы родные братья.

– Сводные. У нас отцы разные, – объяснил Келли, пихая окурки в пепельницу и тут же закуривая следующую, как будто глотал не дым, а кислород. – Это ты еще старшего не видел, Пэдди – он у нас моряк, здоровенный, что твой шкаф, кулачищи как арбузы, чтоб ему... У Пэдди батюшка был фермер. И мамочка Роуз жила с ним в такой деревне... на хуторе, до войны еще. Звали мужика Галлахер, или там Даффи, или Риггс – я уж не знаю. Ну да. Когда Пэдди лет пять было, фермер на тракторе по пьяному делу в болото въехал – и не выехал. Утоп. А тут война, в общем, весь этот срач... Матушка Пэдди подхватила и в метрополию, на заводе работала в Кардиффе, там и платили, и паек – ну, все не то, что в деревне надрываться. И вот там я не знаю, что было, вообще, дело темное. Я ведь отца своего совсем не помню. Матушка говорила, что американец был из конвоя, но тоже из наших, из ирландских. В общем, они вроде даже как бы поженились, но война дело такое. Мать говорила, что он погиб, но я думаю, что, может, просто уехал домой, в Штаты. Война, в общем, кончилась, а году в сорок шестом, что ли, всех ирландцев обратно попросили, не нужны уже мы были метрополии, ха... Мне, значит, года два было, и матушка опять вернулась в Эрин, только не в деревню. А в городе осела уже, в Слайго. Ну как город... не Кардифф, понятное дело, но все же и не хутор. И в третий раз замуж вышла. Вот этот мужик, Майки... Дихин отец – он, конечно, был тот еще тип. Учитель он был начальных классов, и такой «*Эйрин го бра*»¹... в общем, из

¹ «Ирландия вовеки», ирландский патристический лозунг.

нас троих Дихи у нас настоящий гэлэх, он и по-английски-то в семье принципиально не говорит. Этот наш третий папаша даже с Пэдди задираяться пытался, чтобы тот, мол, на языке проклятых оккупантов не изъяснялся, но с братцем, в общем, такие штуки тогда уже не проходили, да... А у нас же там до Ольстера рукой подать, в общем, недолго матушка замужем была. Поэтому нас у нее трое, а отцов – ни одного. А Дихи...

Зазвенел телефон в прихожей. Келли вскочил (я быстро отвел глаза) и снял трубку. Я ни слова не понимал из его быстрой речи.

– *Амадан*, – прошептал он, возвращаясь на место, – ха... бедный мальчик.

– Что?

– Это Дихи. *Амадан*...

– То есть?

– Дурачок. Он тут заблудился... Вот же Господь привел мне родню... Подожди, пока он придет, сделай милость, я что-то сегодня не могу один совсем...

Я хотел было все-таки уйти, потому что чувствовал себя очень неудобно, и тут пришел Дихи. Дверь на лестницу была открыта, но он нажал кнопку звонка и держал, пока Келли к нему не вышел. В прихожей бурно заговорили по-гэльски, сын ирландского патриота влетел в гостиную, швырнул холщовую сумку чуть ли не в лицо брату. Келли полуохапкой схватил вещи, свободной рукой отвесил младшему подзатыльник и умчался в спальню.

Мальчик что-то буркнул и остался стоять столбом.

Я вежливо улыбнулся – кто его разберет, может, это ругательство...

Минут пять прошло в отчаянной скуке. Все время разглядывать друг друга – неприлично, но Дихи, кажется, меня не очень-то замечал. Он даже не пошевелился, пока Келли не крикнул что-то из спальни. Юный ангел встрепенулся и сердито отвечал. Келли прорычал совсем уже яростно и внятно послал младшего на хер. Дихи прикусил губу, дернулся было к выходу, но я – почти невзначай – вытянул ноги поперек проема.

Келли показался из спальни.

Ангел не иначе как по всей колонии побирался. В одной руке Келли держал ослепительные оранжевые шлепанцы, а другой безуспешно пытался застегнуть молнию расклешенных штанов ядовито-зеленого цвета. Штаны были ему маловаты. Гавайская рубашечка с русалками и моряками довершала зрелище. У меня даже дух захватило.

– Что я, по-твоему, блядища подзаборная? – накинудся он на брата. Гэльский получил отставку. – Да я и слов-то не найду, чертова мать... Куда я в таком виде? Что мне там – яйцами звенеть, если выпадут? А! Бо Финне, погляди! Келли-мудозвон! Клоун!!! Я в приличное место должен идти, а ты...

Младший Шонесси не проронил ни слова, только зыркал угрюмо из-под соболиных бровей.

– Да девушку-то не строй – все понимаешь, я знаю, но вот что ты меня перед людьми позо-ришь, – Келли драматически простер руку... я не выдержал и заржал.

Дихи чуть не плакал. Келли выпучил глаза на меня... и тоже захохотал, согнулся пополам, упал на диванчик. У него еще и нервное это было, думаю – он все смеялся, смеялся, и вдруг перестал.

Богом клянусь, он изменился в лице – смотрел мимо меня, и не на брата, а куда-то в белый свет. Смотрел и как-то сползал по дивану на бок.

– Что с ним?

Дихи наклонился, заглянул в остановившиеся глаза. Что-то произнес, по тону я догадался: «Ничего страшного».

Келли всхлипнул и зажмурился. Его качнуло. Я невольно сунулся поддержать, а Дихи в этот момент, не прощаясь, выскользнул в прихожую и смылся.

Но я на Дихи не смотрел. Келли висел у меня на плече и ерзал ногами в дурацких шлепанцах, пытаясь сесть поровнее. Кажется, он что-то пытался сказать.

– Что, Келли?

– Сиди... Сиди...

– Да что такое?

Келли оттолкнул меня, чуть не на животе дотянулся до столика – но чашка из-под кофе была пустая. Я сходил на кухню и принес ему воды. Келли напился и посмотрел на меня уже почти осмысленно.

– Эй Келли, ты как?

– Да ну... ничего уже... Бо Финне, я ведь Сиду видел.

– Кого?

– Деву... с той стороны. Черт, что же она так на ту похожа... Рыжая, платье синее на ней такое...

А лица не помню – ее или нет.

Я не понимал, о чем и о ком он говорит. А он продолжал:

– Вон в том углу она... как из стены вышла... посмотрела на меня и говорит: ох, Келли, страшной смертью ты погибнешь. Спасайся говорит, только радости тебе не будет... Господи, что же это, я же и не ел ничего такого, и не курил, и не нюхал...

Он и так был тощий, а тут вовсе осунулся прямо на глазах – будто и в самом деле привидение увидел. Я помялся еще с минуту, но он вроде меня уже и не замечал, сидел и бормотал: «страшной смертью... радости не будет...»

Ну, я и ушел.

А он, выходит, все-таки спасся.

Рыжеволосая

...вот скажи, почему я все время с тобой разговариваю, а? Не могу не разговаривать, имя твое по сто раз на дню вспоминаю, не крещеное, а то, что я тебе дал, когда понял это про тебя, что ты цветок-солнце, мой Лус.

Хотя нет, не мой же.

Больно это все, очень.

Верил бы в бога, так точно считал бы, что это мне за мои грехи, а так – не знаю, за что. То есть за что я тебя-то полюбил – с этим как раз все ясно: нельзя было тебя такого не увидеть, не разглядеть, а раз увидел – не захотеть, а раз захотел – не подойти... Я ведь бесстыжий, ты сам так говорил. Ну, я и не стал долго рассусоливать, сразу спросил – сладится или нет. До сих пор понять не могу – как ты согласился, почему? Не красотой же я тебя сразил своей невдолбенной – какая там красота... И не танцами – тебе как раз все равно было, что я там танцую, ты и не видел никогда... Но ты пошел со мной, любил меня... Что такого ты во мне нашел, чего я и сам о себе не знаю? Ты же не такой, как я, ты слишком другой был, зачем же ты тогда согласился на это все, сердце мое?

Не должен был бы по всему – но вот ведь. А я потом так и не утешился. С кем потом, как говорится, ноги не сплетал – все не то. И не в том даже дело, как один для другого в любви старается... Просто раньше я и не думал, что может быть что-то еще, кроме тела и желания. Как будто оно в мне было, это что-то, а я и понятия не имел... Как будто я через тебя до этого невидимого дотронулся, но что с этим делать – не знал. И никто не знал, кроме тебя. Такая от этого всего тоска, знаешь... Никогда раньше со мной такого не было. Да я ведь с самого начала понимал, что ненадолго, и каждый раз думал: ну, пусть не в последний... Но потому, наверное, и расстались спокойно с виду – что я понимал, ненадолго это все. Разошлись, а сердце-то болит. Не хватает ему тебя, твоего ясного света.

И кому он, тот свет достался – это надо же, китайчонку тому, черному как ночь. Ну ладно бы, я бы еще понял, что ты от этого мрачного типа ко мне сбежал, но почему вернулся от меня – к нему? А мне только приятелем и был. Другом, так ты сам сказал, когда прощались, но знаешь, Лус, после того как любил тебя... вся эта дружба – это как морскую воду пить, когда от жажды подыхаешь: глоток сделал, и все, сил нет больше, а горло все так же жжет... А совсем тебя не видеть, отказаться

– не мог я, слаб оказался. Может, лучше было бы, если бы ты сам меня бросил и не встречался уже никогда, но тогда это был бы не ты. Потому что ты ведь верный, суть твоя в этом. В верности. И ему, да и мне, если уж трезво рассуждать-то.

А только я не могу трезво. Завидую я этому *чинито*. Как увидел вас вместе – ну, может, я и легкомысленный придурок, но ведь не дурак, я сразу понял, что между вами не просто связь, общие какие-нибудь там дела, а слово, обещание. А твое слово – оно же нерушимое. Правда, грешен, однажды я все-таки подумал, что ты его на женщину променял. Господи боже мой, Лус, ну каждый же по себе судит... Да и недолго я так думал, правду сказать. Хотя пацану тому, фотографу, тоже так сказал – ну, грешен же, говорю. Потому что это была неправда. Хотелось мне очень, чтобы так было, ан нет. Поглядел я на нее внимательно и понял – сестра по несчастью. Как и мне, как и бедолаге Бо – ты ей тоже только друг верный, но не любовник.

Сестра, да... Я потому с нею и заговорил. Ох, если б только заговорил... Есть поверье, что с рыжими любиться – на горе, но тут я, видать, стал ей на горе, хоть и не рыжий.

Ну вот, вышел я тогда к ней из угла своего, смотрю – а она чуть не плачет. И тут я подумал – один человек нас обидел, один нашу жизнь заедает – почему бы нам друг друга не утешить? Я ведь, когда захочу, сладкий бываю, что твой мед, а огня мне всегда не занимать было. Ничего я ей о том, конечно, не сказал, просто улыбнулся, дал понять, что я не опасный, что только и хочу – согреть ее... А она, пташка моя, сидела там одна – такая бледная, и платье синее, а волосы – как золото. Губы у нее распухли, и внизу, знаешь, такая полоска отпечаталась – видно, кусала, чтобы только не заплакать. Подумал: целовать буду нежно, чтобы боли ей не причинить. А сговорились мы с нею быстро, она отважная была, не боялась, хотя чего там было меня бояться, я бы ее ни за что не обидел. Проводишь меня? – спросила в конце концов.

Конечно!

И, – почти не помедлив – останешься?

С тобой, говорю – радость моя, останусь...

И остался. Пока мы с нею шли и ехали, ничего такого я себе не позволял. Только когда она уже ключи стала в сумочке искать, немного прижал к двери, чтобы голову закружить – попалась, милая... Она с каблучков оступилась, ключом еле в замок попала...

В прихожей я тенью держался – трясти-то ее трясло, кто бы решил – оголодала, бедная, но я в глаза смотрел – нет, эти – темные, без жара, будто ей не себя тешить, а воевать. Оттого, что я понимал – с кем, а она – ничего не знала, меня самого будто огненным шнуром по позвоночнику протягивало – стерпеть бы!

И вот стоит она ко мне спиной, нагая, над поясницей еще капельки воды, – и волосы расчесывает, а они даже в потемках отсвечивают огнем...

И я первым делом пустил их через руки, а там все просто – запутался, будто нечаянно, глаза ей прикрыл – ресницы мягкие, как бабочки, кончиками пальцев – по губам, по шее – не уйти тебе, чужая радость, а теперь – моя, раз ты не захотел такую красоту...

А она уже вся – как бубен, и вот-вот ее прихватит, все-таки долго выбирала, видать, с кем его наказывать...

Она, конечно, на ногах не удержалась, вот и славно, я ее, как шелк живой, бережно на постель сложил и себе воли дал немного. А она оттрепетала, отдышалась, говорит – ты что это делаешь? Отвечаю – массаж, лежи, хорошо ведь? Ах, какой массаж, ты что же... И я ей объяснил ласково, что меня и так-то еще на пару раз хватит, а если она постарается, то и еще на пару, и как тебе несколько часов бессонницы, моя радость?

Тут она оттаяла, наконец – эндорфины, как, помнится, ученая хозяйюшка рассказывала, объясняя, почему не больно... и все пошло у нас замечательно. Но я в мыслях – ему, то и дело: ну, смотри, какая она, и как мы с ней, и как нам вдвоем, ты бы мог нас обоих иметь, да все со своей любовью возвышенной, – так вот, смотри!

Потом она задремала... точно, через пару часов. Я тоже провалился слегка – не помешает, для восстановления сил, потому что еще оставалось кое-что в программе.

Мы с нею прямо как образцовые любовники начали – в полусне, она ли меня приласкала нечаянно, или я руки не отнял... не помню, да и не суть. И она была теперь сама по себе сладка мне, и я уже ни о чем таком не думал, я только ее ритм ловил, усиливал, возвращал... я бы мог и не уйти от такой – пока не погонит сама, и придумал бы, как сделать, чтобы не погнала... но тут стало обоим горячо, я ее видел уже только красным шаром, огнем, и вдруг из этого огня она не закричала, не выдохом изошла – а именем! Она тебя звала по имени – шепотом, громче, в голос, – ведьма, а в судороге билась подо мной... и ты уже – тут как тут, за моей спиной, руки твои – на моих плечах, вся тяжесть, весь жар твой, но руки, руки! Я ошибиться не мог, я кольцо твое кожей узнал – еще бы нет! – ты ничего другого из украшений не носил, только крестик да это кольцо с чернью, с такими узорами волной...

А говорят, страх не позволяет...

Ерунду говорят.

Только потом – так... Холодно, и тошнота... И я терпел, подкатывало – ее запах, мой запах, лимоном еще тянуло от лампы... Не знаю, как она – может быть, тоже... Но я только одним защититься мог – на спину перекатился, чтобы видеть – никого нет, кроме нас, а то была мара, насланное, совесть – какая там у меня совесть? – ну, уж не знаю что... а плечо левое просто огнем пекло, и ссадина там была настоящая, но от того кольца ли... какая разница? Мне хватило и того, что я знал – так было.

Долго не вытерпел, поглядел на нее – лица не видно, отвернулась, но не спит.

И что бы мне промолчать? Так нет: что это ты, говорю, что же – со мной... а сама другого зовешь?

Она вскинулась, обернулась, в глазах одни зрачки:

– А ты?! Ты кого звал?

Я и не подумал, что имя-то это – Лус – она наверняка знает, и все поняла, конечно...

– Не твое дело, – отвечаю, и такой стыд, а слова сами вылетают: – А вот не твое дело, шлюха!

Ну, и что? Может, она мне в лицо вцепилась? Или оплеух надавала, или лягнула, или еще как-нибудь?

Нет. Сглотнула только и велела убираться к черту – чтобы я тебя больше не видела!

Надо думать, мутило ее от меня не на шутку – поднялась тяжело, но простыню так потянула – я чуть на пол не слетел. Собрала постель в охапку – и в ванную.

Мне там ловить было уже нечего – все, что мог сказать и сделать больного, кривого – все успел.

Прощения бы попросил – сейчас. А тогда – ни слова ей не сказал.

А что потом с нею стало – не знаю.

Бегство

...Что-то было там, шагах в ста впереди, у самой арки моста. Никакого движения, тихо – до звона в ушах. Но солдат Мосс замер, повел носом – деловито, как пес.

– Стой! – и шагнул вперед, вынимая нож.

Я присела на ржавый теплый рельс. Зачем он это? Не хватало только, чтобы под мостом кто-нибудь сидел в засаде. Хотя – какие тут засады, ясно, что вокруг больше никого нет, даже запах бензина и шпальной пропитки выветрился. Никто тут не проезжал уже давно, а пешие Моссу не страшны. И все-таки не удержалась: встала. В высокой траве что-то шевелилось, показалась спина, обтянутая серо-рыжим, тут же пропала, послышался тяжелый шорох. И Мосс, раздвигая граненные стебли, пошел ко мне.

– Что там?

– Мертвец. Пойдем.

– Что? Ты его...

Солдат спрятал нож, поправил заспинный мешок.

– А, ну тебя... Дура и есть. Столкнули сверху. Или сам бросился. Вперед!

Я двинулась за ним, закусив губу. Ужасно – идти по заросшим шпалам в туфлях на шпильках. Каблуки я давно отломала, но все равно больно... Чтоб не думать о ногах, посмотрела туда, где лежал убранный с дороги труп. Ничего особенного – из травы видна была лишь прядь светлых незапыленных волос да узкопалая кисть.

– Мосс, а кто это?

– Не знаю. Документов нет. Свежий еще, вот что нехорошо...

Я посмотрела вверх. У меня глазомер никудышный, да все равно – высоко.

– А он точно мертвый?.. Ты уверен?

– Не такой свежий. Уверен.

– Я просто так... на всякий случай. Когда мы доберемся?

– Заночевать придется.

– Где?

– Да где получится.

Что тут скажешь? Под мостом Мосс задержался и бросил мне мешок.

– Держи.

– Это что?

– Переоденься.

– Это... твое?

– Его, – Мосс недвусмысленно ткнул пальцем в сторону мертвеца.

– Ты... с ума сошел? Чтобы я это надела?

– Как хочешь. Имей в виду, я договорился тебя проводить. А тащить – найди другого. Самому мне до поселка шесть часов еще ходу, с тобой – хорошо, если завтра к полудню дойдем. А не переобуешься – упадешь. И платьице это твое... Ну, как, будешь ломаться или одеваться?

– Тьфу, Мосс, а если этот... если у него болезнь какая-нибудь? Или вши?

Солдат покрутил пальцем у виска.

– Шея у него сломана! – сердито сказал он. – А это все при нем в мешке было. Вырядилась как на праздник, за километр видать...

– Помолчи, – сказала я. – И отвернись, хорошо?

– Не видал я вас...

Но все же отвернулся, сел на рельс, закурил.

– Дай нож.

– А?

– Нож, говорю, дай.

Он протянул мне нож рукоятью вперед. Тяжелый, лезвие широкое, – таким разве что врагу промеж глаз... Платье от бедра подалось легко. Хорошее было платье, новое... К черту... Я заправила остатки в джинсы, потертые на зад, на коленках прожженные какими-то химикалиями. Завязала потуже шнурки конверсов. Ночью, пожалуй, будет прохладно – надела и свитер, и куртку. В рукав оказался засунут платок. Просто черный, без узоров – я и голову повязала.

Мосс оглянулся и пригладил рыжие усы.

– Ну, на человека похожа. А то в таком, – он поднял лоскуты бывшего платья, – ни сесть, ни лечь.

Ложиться я не собиралась, но об этом лучше было помолчать. Хозяйственный Мосс сложил тряпки в мешок, туда же запихал бескаблучные туфли, бормоча: «Следов не оставлять...», и поднялся:

– Два часа еще идем.

Я особенно не интересовалась, как Мосс разжигал костер, таскал какие-то ветки, что-то втыкал и расставлял. Опустилась прямо на землю, а подняться уже не могла: мышцы свело. Глаза закрывались.

– Поешь.

– М-м... Не хочу.

На это Мосс пробурчал что-то презрительное. Пахло от костра жареным, но это ведь наверняка какая-нибудь подножная гадость: хорошо, если ежик. Ведь Мосс и гадюку съест запросто, или что им еще там положено по науке выживания. А я потерплю. Завтра накормят. Если, конечно, в этом загадочном поселке вообще кто-нибудь живет.

– Подвинься.

Я не пошевелилась. Мосс подхватил меня за плечи и куда-то перенес. Щеки жгло, сквозь опущенные веки пробивался неровный красный свет.

– Вот возня... – он устраивал меня вблизи костра, – да обопрись ты, дура! Совсем отключилась...

Я и не спала, и не бодрствовала: плечом ощутила, как Мосс устраивается рядом; рука его протянулась, что-то поправляя, подтыкая. Потом стало тихо.

Роса пропитала платок, уголок свесился мне прямо в рот. Я очнулась, с трудом повернула шею: Мосс спал рядом, опершись на ствол дерева. Нас обоих обертывало одно одеяло, и что-то угловатое угадывалось там, втыкаясь заодно мне в бедро. Я двинула ногой, и Мосс тут же открыл глаза.

– Тихо, – сказал он. – Не дергайся.

И потащил автомат из-под одеяла. Черт! Всю ночь этот вояка проспал, положив палец на спуск!

– Береженого Бог бережет, – он чем-то щелкнул. – А ты что, испугалась?

Я молча развязала платок, стряхнула росу.

– Выпалась хорошо? А думала, небось, что я к тебе полезу?

– Просто удивительно, что не полез... – я отвечала сквозь зубы, пытаюсь выпрямить и снова согнуть совершенно ооченевшие ноги.

– Если б я полез, – Мосс нагнулся над костром, – то из кустов бы кто-нибудь... непременно. Это как закон. А когда ты с голым задом... Что?

– Смешно: с голым задом.

– Был бы на тебе... посмеялась бы – почти сердито буркнул Мосс. – Чай ты пьешь?

– Давай.

Я неловко перехватывала горячую кружку. Мосс обглаживал какую-то кость из вчерашней еды.

– Мосс... а как же ты здесь? Ведь армия в городе...

Вчера мы об этом не говорили. Он облизал пальцы:

– В городе. Да я сам себе командир. Для здоровья так полезнее.

– А... Симона ты давно знаешь?

– Тебе какая разница?

– Что ты за человек, Мосс! Слова нельзя сказать...

– Просто не твое дело. Допила?

– Да. Забирай свою кружку...

– А спасибо?

– Пребольшое тебе...

Он сполоснул кружку, упаковал вещи. Покосился на меня:

– Гляжу, ты язва. Ну, брат он мне, скажем. Довольна?

Я пожала плечами. Брат? Разве что названный... Симон меня ему поручил – как брату ли, как другу, либо же как обязанному – рыжий солдат, чужой и страшный на той страшной вечеринке, был недоволен, однако подчинился. И вот...

– Ну, подъем! Не засиживаться.

Поселок показался внизу, залитый маревом.

– Тихо, – сказал Мосс. – Куда рванула?

Он поймал меня за пояс.

– Пригнись! Тьфу, что ты вся растопырилась, ты прижмись ровнее, – мы лежали в траве на обочине, вокруг на мили ни живой души – так мне казалось. Но у Мосса было, видимо, другое мнение. – И голову пригни!

Я, как могла, распласталась по рыжей земле... Тонкий стебелек полыни попал в рот, я невзначай прикусила – и весь мир стал горьким по-настоящему. Мосс долго вглядывался, – что там было видно без бинокля? Потом сказал: «Можно».

Одна только черная коза, привязанная к тополи, встретила нас на поселковой улице. Солдат заглянул через один забор, через другой, выругался тихонько.

– Никого нет?

Он не ответил. Толкнул калитку, и мы вошли в сад.

– Уна!

Солнце жгло затылок. Мосс крикнул еще раз и сбросил автомат с плеча. Пошел к двери, загородив рукою мне дорогу. Коза с той стороны подошла к забору и заедала противно. Тут дверь все-таки распахнулась.

– Моисей, ты? – спросила особа, вставшая на пороге. На ней был серый брючный костюм, вовсе не деревенский, с каким-то ярким пятном на плече. – Симон с тобой?

– Нет, – угрюмо отвечал Мосс. – Велел вот... привести.

Все это вдруг показалось мне невыносимым. Голова кружилась. Пятно ползло, – это оказался рыжий котенок, он нагло мяукал... на лице Уны было страдание.

– Входите, – стеклянным голосом велела она. Отступила в сторону, и темная прохлада дома поманила меня – свыше сил. Я на что-то опустилась, сквозь звон в ушах донеслось:

– Если вдруг – скажи... Нет уж. Ладно. Прощай, Моисей.

– Да что... увидимся еще. Я скоро вернусь за ней.

– С Богом. Ступай.

Потом Уна возилась в прихожей, шаркала веником, цыкала на кота. Вошла, неся глиняные кружки.

– Молоко. Пейте.

– Спасибо.

У нее в кружке, может, и что другое было – осушила она ее залпом, уставилась в окно.

Господи, поплакать, что ли, – пока не видит эта баба в шелковом костюмчике...

– Где мы? Что это за место?

Уна обернулась, смерила меня равнодушным взглядом и снова уставилась в окно.

– Очень глупо...

– Что – глупо?

– Смотреть на меня так, будто я виновата.

– Дорогая вы... – тут снова на меня взглянула и переменила немного интонацию, будто хотела сказать: «дорогая вы штука...», – дорогая моя, все дело в том, что Мосс должен был привести его! Его, а не вас. Понимаете вы, что это значит?

– Понимаю, – я уже была злая как черт, потому что Уна говорила чистую правду. – Но зачем-то же он так поступил!

Она не ответила, отцепила от рукава котенка, спустила на пол. А я подумала о том, что маячило в уме все эти часы: он ведь меня предупредил. Два месяца я носила с собой везде паспорт и немного долларов – потому что после мятежа танкистов он сказал, что нужно быть готовой в любой момент бежать. Мне не хотелось это понимать, не хотелось знать и даже думать я об этом, казалось, не могла – куда бежать? Как? Где может быть для меня место? Кроме того, я полагала, что одного бегства в жизни мне хватит – но Симон, как всегда, оказался прав.

Как всегда.

И вот я снова в бегах, а он – он остался там.

«Вы не стройте ему глазки, милая, – сказала Серена где-то через пару недель после начала моей работы, – наш шеф-то – *гей*». Я еще запомнила, что она употребила именно это слово, английское, вежливое... Я тогда очень удивилась. Не то чтобы я до этого знала геев или хотя бы видела их, но представление-то было, и Симон в него никак не укладывался. В нем не было ничего против природы. Вопреки очевидности, и здравому смыслу, и тому, как это касалось меня лично. Может быть, я никогда до этого не встречала мужчины с таким чувством собственного достоинства. Обычно ведь демонстрируется совсем другое... А тут – обаяние, ясное, как летний воздух. Чистота. Строгость. Видит Бог, как я старалась все увязать и поставить на свои места. А он просто был – ежедневно. К нему нельзя было прикоснуться как бы ненароком, он не поддерживал этой всеобщей манеры чмокать при встрече в щечку. Иногда он целовал мне руку. Смейтесь, да! А я готова была плакать, потому что лишь кончиков пальцев он касался губами. И он не признавал, – умел не признавать, – моих по этому поводу переживаний. Другом, помощником, выручателем из иногда не очень приятных положений он готов был быть. Но не любовником. Было время, когда это сводило меня с ума. А он заметил, конечно, – было ли что-то, чего он не замечал? – и случился у нас откровенный разговор... О природе и выборе, об одиночестве и дружбе, такой, какой сейчас вспоминать было больно, потому что там была тишина, и музыка, и хорошая еда, и, несмотря на всю мою печаль – было ощущение покоя, того, что вся жизнь впереди. Помню, что признавала его правоту и злилась, как всегда, и сказала, мол, хорошо, все поняла, заведу себе парня, красавца и умницу – а ты возьмешь да и влюбишься в него? А он ответил – очень серьезно – чтобы я не волновалась. «Я абсолютно надежен», – сказал он, и это было не похвалой, а правдой.

Хозяйка со мной особо не церемонилась. Как только Мосс ушел и молоко было выпито, она сунула мне в руки полотьник, и до заката я проторчала на грядках, рыхля, поливая и таская выполотую траву козе. Чем в это время занималась Уна – я не знала, изредка она являлась, оглядывала сделанное и исчезала, не говоря ни слова.

Ужинали тоже в молчании. Мало того, что поперек горла вставал кислый творог, так еще и не на чем было успокоиться сердцу. Тишина – как в гробу, свет от свечи неровный, хозяйка жутковатая... Уна смотрела мимо меня, я все больше – в свою миску. Потом хозяйка собрала посуду и вышла в кухню. Рыжий котенок вспрыгнул на стол, обнюхал доски, мою руку. Лизнул бы, протянул лапку... Но звереныш не собирался разделять мои внутренние движения, сел на порядочном расстоянии. Свеча его не пугала, пламя в золотых глазах дрожало бабочкой. Даже кошке нет до меня дела. Я поднялась, тихонько прошла в сенях, спустилась с крыльца.

Господи, я-то и забыла, что ночью темно. То есть – ничего не видно буквально, и даже звезды не сразу проявились в глухой черноте наверху. Меня разобрал нервный смех. Куда собралась? Далеко я отсюда уйду... Ну, что же мне делать, что делать?!

Ах, нет, это только ветер откуда-то из сада... Не знаю, что там у нее росло, в том углу, но запах... Я осторожно двинулась: не то, это укроп, а это... тьфу, и не знаю, гадость какая-то... Я потеряла направление и стояла в незнакомом огороде, пригнувшись. И ведь видела днем, кажется, но тут поди разберись! Тут снова потянуло – по правой щеке. И я стала пробираться направо, давя какие-то хрусткие плети, и – вот они, такие холодные даже на ощупь, ребристые стебли, узкие волнистые листья... Вот это не обманет и не уйдет, я сорвала веточку и, как глупый кролик, примяла и разжевала мятный листок.

Да, единственное, черт возьми, что примирило меня с этим дурацким миром: я сидела на корточках и жевала мятку. Зеленое, горькое мое солнце, – пусть и в темноте, пусть хоть немного, но все-таки не сухая земля у самого лица, пропахшая полынью.

– Что это вы делаете?

Я качнулась и села прямо на задницу. Черт бы ее побрал... эта сухопарая ведьма стояла надомной, простирая руку.

– Что там у вас? Дайте мне.

Я повиновалась. Именно: я не собиралась отдавать ей мятую, и все-таки отдала... Она понюхала и сказала:

– Пойдемте в дом.

И опять я не нашлась, что возразить. Но она не вошла в дом. Села на крыльце, и я, не желая торчать столбом, тоже опустилась на ступеньку. Уна повертела веточку и вздохнула:

– Курите?

– Нет...

– Принимаете наркотики?

– Да что такое?! Что вы... Отдайте!

Она легко забросила мою бедную мяту подальше.

– Вот. Как вас легко вывести из себя... В общем, это правильно, вы как моя кошка, ищете свою траву. Когда больше не к чему прислониться. Видите, как легко отнять даже это? Причем, именно это легче всего... Вы пойдите, вернитесь сейчас туда. Ничего не будет. Противная горькая трава. В этом нет утешения, дорогая моя.

– А в чем же оно есть?! Сами держитесь за что-то, ну и на здоровье! Что вы ко мне привязались?!

– Вас привел Мосс, не забывайте. И я вас ни о чем не спрашиваю и ничего вам не предлагаю. Вы тут просто ждете, пока можно будет двинуться дальше. Симону мои уроки ни к чему, у него были свои учителя, и они хорошо знали свое дело. А вот вы... У вас не отняли ничего существенного. Вы живы. Но у вас под ногами, – тут она с видимой даже в ночи презрительной миной повела рукою, – пустота.

– Ну? – я уже закипала, а пауза была чрезвычайно весомая.

– А меня у меня отнять невозможно, – изрекла Уна и, поднявшись, оставила меня на крыльце одну.

...Может быть, это все оттого, что я укоренилась в мысли – на Симона действительно можно положиться. Когда было по-настоящему плохо, когда после бразильских беженцев мир казался нарисованным кошмаром, – разве не вышло так, что Симон оказался единственной, абсолютной реальностью? Он был озабочен, я помню – но он не боялся. И у него все было, похоже, расплавлено и предусмотрено – даже и на такой случай... Но если он отправил меня... вместо себя... Боже, Симон, ты кто? Ты зачем? Разве так можно?

...Симон уселся в оконной нише, а я пристроилась на краю подоконника и все время чувствовала плечом стену.

– Ну, нет, – говорил он. – Зачем мне убегать? Я и так, по-моему, в полном порядке. А вот ты, я гляжу, много плакала. Отчего?

– Страшно ведь.

– Ну-ну, в городе сейчас страшнее.

– Вот именно, ты опять обо мне позаботился. А сам-то?

– А что я?

– А вдруг бы тебя арестовали? Вдруг военные решили бы, что геи противоречат задачам текущего момента?

Симон рассмеялся, и тут до меня дошло, как мы странно разговариваем: как будто все дело только в геях... и еще – как будто мятеж кончился. И тут я на мгновение проснулась. Наполовину я понимала, что сижу на крыльце, прислонившись к поручням... Но этот разговор – он не мог же быть во сне: такой отчетливый. Сны ведь всегда путанные, да и у Симона было бы чье-нибудь другое лицо... Меня вдруг проняла сильная дрожь – ночной воздух был холодный, жгучий. Я кое-как поднялась и проковыляла в дом. Света нигде не было, я на ощупь пробралась в комнату и легла на

тот самый диванчик, на котором сидела днем. Постепенно дрожь прошла, и я, видно, задремала снова.

Потому что Симон снова был тут, как и не исчезал.

– Вот именно, – он все еще смеялся, как будто там, где он был, время не шло или шло как-то по-другому. – Текущий момент! Вот тебе текущий момент, – он распахнул створки, и я увидела дерево со сбитыми ветками. – Видишь, дерево посекло? Но со мной ничего не случилось. Я тут сидел три дня безвылазно, занимался своим делом.

– Ты всегда занимаешься своим делом... всегда у тебя какие-то тайны, недомолвки. А я боюсь за тебя!

– Напрасно, Ката. Ничего страшного. Я просто писал.

– Писать-то тоже можно разное. Ты же не роман для девочек, небось, сочинял?

Он не ответил и закурил. Я даже не различала теперь его лица – только черный силуэт на светлом, и дымная струйка, ускользающая между пальцев. И что у него за табак, – просто дышать невозможно!

Нет, это был не табак. Фитили свечей тлели в кадильном дыму вокруг Уны. Снаружи в окна барабанил дождь. Покойник к дождю снятся... О нет. Нет. Только не это, пожалуйста, нет. Мучительное ощущение: и сон – не сон, да и явь уж такая – хоть вой... Я спустила ноги с дивана. Что же это за разговоры во сне, к чему? И Симон совсем как раньше – спокойный, деловитый, излучающий уверенность... Что это? Пустой обман или, всему вопреки, какая-то надежда?

– Сны не содержат ничего, – вдруг подала голос Уна. – Они не ведут, не предостерегают и не могут служить опорой духу.

Я вздрогнула. А хозяйка продолжала:

– Садитесь. Нет, на пол. Ноги под себя. Да. Руки положите на колени.

– Это неудобно.

– Ничего. Потерпите. Ничего не делайте, освободите разум. Не старайтесь понять. Просто слушайте. Отпустите себя.

И она запела, забормотала, как хиппи из Виньи – что-то на непонятном языке, нараспев.

Все это подкатило под горло как сладкий дым. Эзотерикой я никогда не увлекалась... Зачем я тогда подчиняюсь? Почему я всегда подчиняюсь? Почему всегда чужая воля? С тех пор, как те проклятые танки вошли в Прагу – воля моя, похоже, дала трещину, и я сначала убежала сюда, а теперь – куда? Снова не мне решать? Не мне решать, куда идти, и не мне решать, что делать, и еще было одно, что совсем лишало сил. Симон остался в аду. Конечно, у него там было дело, и явно это не роман для девочек... И мне было страшно думать о том, что это могло быть, – то, ради чего он нарушил тщательно составленные вокруг него планы, может быть, даже приказы... ведь здесь его ждали, и о том, какой ценой это обернется – то, что он зачем-то решил поберечь меня, мою бессмысленную жизнь... И я не знала в этот момент, чего в мне больше – любви, былой и привычной, и благодарности – или горькой злости и отчаяния.

Что за жизнь ты мне подарил, Симон? Без «попугаячьего насеста», без пытки электричеством и водой, без изнасилований раз за разом, без...

Без чего – я знала.

Но с чем?

И как мне теперь платить?

И кому?

Мантра зудела, жужжала, гудела... Никакого облегчения. Только обида. Только злость. Только отвращение к себе... Покой! Где мой покой?! Где я сама?! И тут за ровным плеском воды я слышала другой звук. Он повторялся, трескучий, раздраженный, и вот тормоза заскрежетали у самого дома.

Уна медленно повернулась к двери, но лицо ее ничего особенного не выражало. Шаги прогрохотали на крыльце, в прихожей, петли взвизгнули... вошел Мосс. То есть он остался в дверях. Ливень промочил его, я различала каждую каплю воды на пятнистом комбинезоне.

– Да, Моисей? – телефонным голосом спросила Уна.

В это мгновение вполне мог бы ударить гром, но вода только монотонно шумела.

– Катерина где там? – хрипло произнес солдат и утерся. – Пусть собирается, надо дальше двигаться.

И посмотрел при этом на меня. Я расправила затекшие ноги, но не вставала.

– Дальше? – я подала голос. Мосс буркнул:

– Ну, не обратно же...

Тут Уна вмешалась:

– Ты видел Симона?

Мосс не отвечал.

Мне не пришлось в голову сказать: «До свидания». Уна только чуть подвинулась, освобождая проход. Снаружи в лицо ударила вода. Прощай, благая и странная Уна... прощай!

Тент в джипе протекал, капало мне как раз на колени. Мосс плюхнулся на сиденье, с хрустом повернул ключ.

– Куда теперь, Мосс?

Мосс прилип к педалям, вцепился в рычаги и баранку, – не до разговоров ему было. Чокнутый: в такую погоду, ночью...

– Где ты был? Ты видел Симона?

Джип трясло, дорога почти не просматривалась – но мне показалось, что мы едем выше, в горы, и мне опять стало страшно.

– Мосс?

– Да утомонишься ты, женщина? – прорычал он. – И так не видно тут ни хрена, и ты еще ну-дишь! Забудь ты о Симоне, все, как будто не было его...

Я думала, что меня уже нельзя больше напугать, но эта холодная решимость – не злость, не гнев, не раздражение – а именно что холодная решимость, как будто Симона действительно *никогда не было* – она меня просто оглушила.

– Куда мы едем? Да что ты молчишь!

– В Аргентину, – проронил Мосс, и я поняла, что больше спрашивать не о чем.

Мы ехали без дороги несколько часов, наверное. Остановка была в каком-то совершенно заброшенном домишке – не знаю, кто бы тут мог жить, когда мы приехали, халупа была пуста и, кажется, давно покинута. При ней был сарай, Мосс загнал туда машину, и наутро с первым светом мы ушли в горы.

Шли вдвоем, без проводника. Это был поход, о котором и говорить нет сил – лютый холод и редкий воздух, злое солнце и один раз – удивительные звезды, на которые мне не хотелось смотреть и которые казались втрое больше из-за слез, сухая еда, негреющий огонь и довольно много боли – в сбитых ногах, в изодранных пальцах, в растянутых суставах. Мы почти не разговаривали – не до разговоров мне было в этом высоком поднебесном аду, и только когда на другой стороне гор показалось в долине что-то похожее на человеческое жилье – какой-то крошечный поселок, солдат остановился и сказал:

– Аргентина. Ну, как бы сестра, прощай.

– Прощай, Моисей.

– Там миссия, – сказал он, указывая в долину. – Доминиканцы. Они примут. А там сама разберешься.

Я кивнула.

Он повернулся и полез наверх – в ад.

А я спустилась с гор.

Часть вторая

Остров яблок

Тераи

Никто никого не собирался губить.

Никто не заказывал приворотного зелья, не втыкал иголок в куклу, не плясал противосолонь. Просто он двигался на сцене, пойманный в темноте золотым лучом, и сам золотой.

Музыка была, конечно, томная – на первый слух, а потом в ней отчетливо пробился, набрал силу ритм – как сердце. И, как сердце, плавился страстью этот юный, высокий, с прядью жестких черных волос, вынутой из гладкой прически – нарочно, чтобы притягивать взгляд.

Светло-смуглая кожа, глаза вспыхивают коротким проблеском, темные губы.

Я же видел их на материке, думал Келли, я же их сам вроде приглашал, но этого – не было, откуда же он?

Ничего, чтобы показать – ах, возьмите меня, вот я какой желанный, сладкий, томный...

Но другое – вот я, на лезвии, на кончиках пальцев, свет стекает по плечам, или это тело льется как жидкий металл, как пламя...

И вдруг текуче соскользнул в зал (жена мэра ахнула так, что услышали все...), легкой стопой прошел между гостей, ни на что и ни на кого не обращая внимания. Не просто шел, танцевал каждой мышцей, и танец закончился, когда вздрогнули раскрытые веером ладони – у самого лица сраженного напавал управляющего.

В стакане стукнул лед – надо же, не растаял... времени не хватило? Как не схватил его за руку, не принял вызова? И все видят, все же видят, как приходит на это золотое лицо победная улыбка – пробивается сквозь ресницы, трогает рот ...

Келли с места не двинулся до конца представления, но не замечал, что делалось, не слышал ни музыки, ни аплодисментов. Тони, официант, подошел узнать, не надо ли чего – посмотрел – и спрашивать не стал, принес еще минералки со льдом – умница...

Одна здравая мысль пришла в оглашенную голову управляющего: надо узнать все же, кто такой... надо посмотреть на него при свете дня. Когда не танцует, а, скажем, ест апельсин... что они там едят, эти мускулистые феи?

Помрачение помрачением, но за курткой пришлось зайти в контору, а на лестнице догнал Марча – очень кстати.

– Ох, Марч, вот это парни!

– Неплохие, да, – отвечал бесценный помощник и друг Эван. Глаза у него были лукавые. – Да. Особенно новенький их.

– Слушай, вот его, – Келли сглотнул, выровнял голос, – слушай, я бы его еще отдельно оставил, ведь это же просто черт знает что такое, какие чудеса делает...

Марч кивнул. Сам в эту сторону никогда не смотрел, был женат и двум дочкам отец, но друга осуждать – с какой стати?

– А он, между прочим, тебя внизу дожидается.

Келли ступеньку пропустил, споткнулся, оглянулся снизу:

– Как это? Дожидается?

– Ну да, – Марч весело скалился, ему-то головы не терять...

Келли тихонько выдохнул что-то – то ли Господа помянул, то ли другое, и ринулся к выходу.

Он в самом деле стоял там, в оконной нише – ночная тень, весь в черном. И, хотя роста был не маленького, все же взглянул на управляющего снизу вверх. Без суеты, как будто договаривались давно.

– Привет, я – Тераи, – звуки округлялись, перекатывались, как галька в волне. – Идем?

И пошли – как ни в чем не бывало, а идти-то недалеко, поначалу переговаривались будто бы о делах – о танце, и давно ли, и откуда родом, и что за имя...

Но дома, когда закрылась тяжелая дверь парадного, Тераи опустил на пол спортивную сумку – внутри звякнули колокольчики или другая какая его утварь, – и так же запросто, как смотрел, коснулся раскрытой ладонью – словно метку ставил. Сквозь плотный хлопок рубашки, сквозь тройной узел над сердцем прожог – о чем еще было говорить?

Не мягкий, но уступчивый, не жестокий – дерзкий до изумления, не мальчик, но и не взрослый – таким он оказался, и Келли знать не знал – за что ему такое? Почему? Они об этом никогда не говорили – Келли только думал, а Тераи, наверняка, и не помышлял. Он был жадный, рвался кверху, как бамбуковый росток. Обнимая его, прижимаясь щекой к животу или груди, Келли чувствовал прачнейшей лепки мускулы – непробиваемую броню.

Сам-то Келли с ним жадным не был. С жажды все начиналось, но она схлынула быстро, осталась новая, непривычная мягкость – вот, теперь буду так жить, любить Тераи – просто. Но просто – не получалось. И вовсе не потому, что Тераи был капризен, или ревнив, или непостоянен – как раз наоборот.

Каменный он был, золотой божок, само равновесие. Непокколебимое. Менялись ролями, любили, как только в голову могло прийти – бывало, Келли и слезы глотал – так сердце заходило, но Тераи словно знать не знал ничего такого. Принимал любовь бесследно. Отдавал свою – и не заглядывал в глаза – что там? Жизнь складывал легко – уволился из приезжего шоу, стал выступать в «Сиде» соло, сделался знаменит – еще бы нет! Но оставался при Келли – не домашним любимцем, приходил, когда вздумается обоим, а иногда – когда самому вздумается, жил день, два, неделю – как получалось. Не напояк сладкая парочка, и не семья – Господи упаси! – а двое. Не связаны вроде ничем, и не свободны.

Уйдет ведь, что буду делать? – думал иногда Келли и пугался будущей тоски – а раньше бы и в расчет не принял. Это потому, что он не просто молодой – юный... Не сравняемся, хоть двадцать лет вместе проживи. И сам ухмылялся – двадцать лет! Сколько дашь, судьба, столько и возьму, говорил себе, и ни разу не спросил – что дальше? Глупо спрашивать такое.

Слова – как яблоки. Зреют медленно, наливаются силой, повисают на языке... можно и проглотить, чаще это яблоки горькие. Но Келли свои не удержал – и проглотить не удалось. О чем думал, сдаваясь понемногу, о том и сказал в конце концов. От ранней весны до бабьего лета – хватило времени если не понять, то почуять – здесь беда. Здесь.

Когда жара донимала и не нужно было управляющему днями сидеть в конторе, а Тераи не репетировал, не был в Аделаиде по своим делам или не уезжал выступить где-нибудь еще – тогда обычно Келли брал скутер, и они вдвоем уплывали подальше от городских пляжей. Забирались за волнорезы, раздевались догола, оставляли лишь спасательные пояса сверху – и айда с ветерком по зеленой волне! На побережье были заливы, доступные только с моря, – чистый песок, выглаженные водой каменные плиты, нетоптаная красота... Прямо как в раю, – не без ехидства замечал Келли, догоняя танцовщика на мелководье, стараясь схватить за косу, – Тераи днем обычно заплетал волосы, но женственным от этого не становился. Иногда удавалось, чаще Тераи сам развязывал шнурок, потом его всегда искали подолгу, собираясь назад... Нет, конечно, они не были в раю, и невинными тоже не были, но все живое, кроме них, молчало в зное, и то, как они смеялись и что говорили друг другу – в полный голос, шепотом, или в крике – если не сдержать... казалось особенным. Во всяком случае, Келли за этим приезжал сюда. Тераи же просто играл – и с водой, и с песком, и с Келли. Никакой хореографии, никаких танцев – от природы у него было тело пловца, и душа гладкая, как вода в прогретой бухте. Но и в танце, и в любви он величаво и тщательно «сохранял лицо», не уступая ни черточкой, только глаза закрывал. Келли тоже научился не подглядывать – потому что видеть эту совершенную маску было мучительно, а понять – и вовсе невозможно. Верил телу, рукам своим, этой радости – сколько мог, потому что сердце – сначала исподволь, потом все настойчивее, – выстукивало: беда.

Тераи бы оказаться, или быть, или стать совсем другим – не как те, без числа и памяти, еще совсем вроде недавно, но уже не вернуться туда... И не как тот, один-единственный, о котором ни слова... Келли хотел, чтобы случилось так – может быть, больше, чем удовольствия от любви... Но самого Тераи как раз и не мог удержать. Все сейчас, только на это мгновение, на сегодня. И «сегодня» повторялось, но не наполняло ничего.

В начале осени вот так же вырвались из города – свой день есть свой день.

Ловили рыбу, порадовали друг друга, и это уже становилось обычным, вошло в привычку. Вот будет зима – Келли хмыкнул, представив себе, как сидят, прижавшись тесно, под проливным дождем... Сейчас-то было приятно лежать голым животом на влажной плите. Но позднее солнце придавило плечи, тяжело легло на затылок.

А скользнуть в воду, спрятаться – не получалось. На самом краю плиты сидел Тераи, свесив ноги в режущую бликами волну. Над ним – или в море, но так высоко, что казалось – прямо над ним, – качалась на восходящем потоке морская птица.

– Как ангел...

– Что?

– Птица. Смотри, как зависла...

– Птица, – фыркнул Тераи и откинулся на локти, подставил себя свету. – Толстая, белая жади-на... Правда, ангелы тоже толстые и белые. В белом.

Келли рассмеялся.

– С чего бы? Где ты таких видел?

– Дома в поселке. В церкви. Мой дядя рисовал. Они у него всегда на тетку Рангу походили – толстые, с томными такими глазами... Вот таких я видел. А ты?

Келли не ответил сразу. Толстые белые тетки... Высокий, открытый, повернутый к солнцу... Светловолосый... нет, это уже давно... Давно. Не со мной.

– Нет. Я все больше по людям... Однажды, правда, встретил – совсем не такого... и даже любить довелось...

Тераи многозначительно похлопал себя по груди. Келли отрицательно мотнул головой.

– Ну, что ты. Какой из тебя ангел.

Тераи задрал брови.

– Ты искустель такой... маленький маорийский дьявол.

– Хорошо еще, не сумчатый, – уточнил Тераи. – Ладно, допустим. А ты?

– Я-то? – Келли удивился – как легко соскользнули слова, – я всего лишь старая ирландская шлюха.

Он ожидал, что Тераи засмеется, или рассердится, или хотя бы скажет – какая чушь, мой милый! На худой конец удивится – почему же шлюха?

Но тот посмотрел, словно прикидывал что-то, и спросил:

– А сколько тебе?

Келли оторвал живот от камня, сел.

– Ну, сколько?

– Тридцать три. Через две недели будет тридцать четыре.

Тераи сложил губы дудочкой.

– О-о! Мне всего девятнадцать. Так что ты действительно... старый...

– Дьявол! Дьявол! – Келли вскочил, ему вовсе не было смешно, хотел схватить за волосы, но Тераи легко увернулся, подставил плечи. – Да на куски разорву!

Тераи не сделал даже вида, что испугался. Сквозь ресницы смотрел внимательно, словно пересчитывал, по частям складывал нависшего над собой любовника: так, это пальцы... ничего, крепкие, руки – ага, мускулы имеются, плечи – годятся, какие есть, крестик на золотой цепочке, живот – плоский пока еще, колено... и в обратную сторону: живот, татуировка, крестик, бешеные карие глаза...

Сколько ушло на это – секунда? Меньше? Но когда высвободил руку – притянуть к себе, ведь ничего же не случилось – было поздно уже. Келли сам его отпустил и сел поодаль.

– Не обижайся.

– Я не обижаюсь. Черт, где мои плавки, утопил я их, что ли?

– Они в скутере, под сиденьем. Келли... это же правда. Ты старше.

– И ничего кроме правды, детка. Ты спишь с богатой подержанной шлюхой. Она еще не морщинистая, правда, не дряблая даже... и не в маразме. Ты сам-то понимаешь, до чего это отвратительно?

Поднялся и отошел к скутеру, искать плавки. Тераи тем временем понял – что-то не так, повысил голос:

– А я думал, тебе нравится... И разве ты мне платишь за это?

Келли задохнулся.

– Еще чего! Хватит и одной бляди, пара – это уже слишком!

– Тогда что случилось? Почему отвратительно?

Келли в растерянности смотрел на Тераи – что с ним? А со мной? С нами?

– Ты не поймешь, – сказал через силу. – Если сейчас не понимаешь – то все уже... А если бы понял – ты бы не сказал, что сказал. Я ведь не за это тебе плачу, у тебя контракт, мальчик, и там ничего... Но ты-то... ты меня купил, что же удивительного, что не возражаешь... Я и есть шлюха. А кто же еще? Все верно.

Бормоча что-то, оделся сам, принес Тераи его шорты и белую рубашку.

– Собирайся. Скутер-то один, не оставлять же тебя здесь.

Тераи взглянул – ни слова не сказал.

– Давай, – и Келли молчать бы, но не получалось, несло куда-то... удержаться только. – Отдых закончился. Мне надо в клуб.

Возвращались – Тераи еще держался, обнимал за талию, по-другому на скутере никак, но на причале руки снял – и больше уже не прикасались друг к другу. Келли был мрачен, Тераи выглядел не то чтобы растерянным – такого выражения нельзя было даже представить у него. Но, кажется, сообразил, что «порвалось ожерелье», и от того, что не знал, что делать – и надо ли? – от этого и попрощался весьма непринужденно, и пошел с причала легкой походкой – куда? Ночевал где-то в городе, и слава Богу – Келли не вынес бы его рядом, хорошо – хоть это почуял, безмозглое создание... Вот как обернулось – слова, под солнцем сказанные едва ли не в шутку, к ночи вьелись клеймом, отчетливее охранных узлов, жарче прикосновения бесстыжей его руки.

Тераи, Тераи!

Разве виноват, что золото твое – не годится? Разве ты виноват, что этой боли не знаешь – я и сам-то только сейчас...

Говорил сам с собой, оправдывал его, вспоминал ясное лицо, звучный голос – но это же правда, Келли! – и ненавидел. Ничего нельзя было поделать, сказано же – не останется тебе радости.

И, уж конечно, ничего нельзя было поделать с самим Тераи. Бесчувственный – да, но в контуре явился, улыбаясь дерзко, и сумку поставил у дверей: скажешь слово – уйду, скажешь – останусь. С тобой останусь. Что ни выбери – я победил.

Но Келли не выбирал ни любовь, ни гордость.

Он тоже улыбался – совсем легко это оказалось, и с цифрами в руках как дважды два доказал, что контракт его – самый лучший сейчас из возможных, а истекает только через шесть месяцев, и все будут счастливы видеть «солнечного Тераи» три вечера в неделю...

Ах, как вздохнул свободно – только вздохнул, но и этого довольно... Потянулся коснуться, отменить снов, но Келли не позволил. Убрал руки, поднялся из-за стола.

– Ну, нет, – сказал, и горечью этой ничуть не обжег губы, – не это, мальчик. Этого – нет в контракте.

Мастер

На пляже было свежо – март, осень. Келли щурился на рябую волну, прятал подбородок в колени. Мышцы давно свело, но распрямиться, разжать пальцы, уйти...

Не шевелился, гадал – добьет прибоем... или нет... а еще песочком источит...

Нужно было идти в клуб. Но не хотелось. Вчера какой-то придурок запустил камнем в Сиду. Охранник замешкался, выскочил – пальнул в воздух, ну и что?

А у Сиды лицо разбито. Глаза бы не глядели.

Прибой лизнул кроссовку, просочился под ярлычок. Келли подобрал ногу, охнул: ну, сколько можно медлить, Мать Божья? Надо идти.

Надо.

Марч стоял на улице и, склонив голову к плечу, рассматривал фасад. Келли прикусил губу. Ай да Марч! Аккуратненько напустил на Сиду флаг Содружества. Атласное полотнище выглядело странно под сплетенными вязью газовыми трубками, однако же...

– Как он в свет не попал, – пробубнил Марч, не здороваясь.

– Угу, – буркнул Келли. – Я ему и за Сиду яйца оторву.

– Когда найдут. И – если.

Келли пожал плечами. Хренов городишко Хобарт, ломать мастера... ведь свет и Сиду заказывал на материке...

– Ладно, – сказал он. – Что с ублюдка возьмешь? Сегодня, Марч, мы открыты. С десяти, как всегда.

Сначала рылся в прошлогоднем ежедневнике, выпотрошил визитницу, пересмотрел пометки на старом календаре. Номера Ванессы не нашел. Ругаясь в голос, вспомнил – сам же вычеркивал, искоренял, как будто это что-то означало. Вот, только одно и означает – когда забылась чепуха и человек нужен для дела – изволь связываться через пятое на десятое... через задницу все...

Позвонил Лансу в агентство, того не было на месте, оставил сообщение. Ну вот, теперь еще и обойдется втридорога. Ланс своего не упустит. Черт, сто раз черт и тысячу раз!!! Суки! Сволочи! Труссы!!!

Все-таки после звонка полегчало. Ванесса приедет, все будет путем. Келли думать не хотел, что ей скажет, и как она посмотрит, и куда вздумает ходить гулять – а нечего гулять, пусть работает...

Просмотрел программу на сегодня. Дэф – ладно. Этот станцует что угодно... хоть похоронный марш. Райские птицы Рио... нет уж, это отменим... Посмотрел, что пришло с утренней почтой: сестры Мадзарелло – Боже милый, ну и буфера! – предлагали послужной список и жаждали поразить хобартцев танцем живота. Живота... как же... подождут. Подписал к оплате счет за дубовую панель (поморщился, представляя, как будет подписывать счегище за Сиду). Прикусил колпачок ручки, и с этой повадкой бывшего курильщика замер вдруг.

Нет, не увидел ничего.

Просто затосковал.

Сидел в удобном кресле – все тут было удобное, для себя старался, – распустив безвольно ладони, морщась, с пластиковой ерундовиной в углу рта.

Одна и та же была всему причина – и что порт Хобарт за окном, и Ванесса, и то, что не может закурить.

Сиди.

Успел уехать, ноги унес – и что?

Проскочили с Дихи буквально в последний момент, и в дурном этом угаре орали друг на друга всю дорогу – очень уж стыдно оказалось вот так выживать – во что бы то ни стало. Потом, правда,

малый наглotalся пилюлек «от стресса», по крайней мере, уже не спорил... Так и пер его, считай, на себе, полуобморочного... И ошaleвшая от чумовых суток девица за стойкой переспросила – подальше? Сидней, Австралия – устроит? Еще дальше? Оттуда – куда угодно, например – Порт-Хобарт...

А потом здесь уже телевизор включил – и увидел... Город. Танки. Разбитое здание. Военные патрули. Пожары. Первая мысль была – «А он? Он – там?» Тогда курить и бросил, потушил сигарету – последнюю. Снова закурить не смог... Удивлялся поначалу, потом злился, бесился в никотиновой ломке – но перехватывало дыхание от дыма, и все тут.

Когда Ванесса, ласкаясь, назвала мастером... Лежал подле нее, ни вздохнуть не мог, ни пошевелиться – с картона напротив Сиды глядела презрительно: неправда это, притворство, сам знаешь. А Ванесса все гладила, шептала свое, вот и взорвался, взбесился. Сбросил ее руки – наотмашь по пальцам, орал, мол, мастер – это платный ебарь, она в ответ – а ты-то кто, думаешь, не знаю? Да еще и полупедик! И пошло тут – с визгами и оплеухами, с дрянью и бранью, а Сиды усмеxалась, потому что вот это уж была чистая правда. Не то чтобы через край стыдная, какой уж есть, – но другое было горше.

Мастер, верно.

Умелец, черт и сто раз черт...

А сердца нет.

А там, где сердце, под свернутым втрое узлом татуировки – страшная провидица с глазами-маслинами.

Правду она сказала – не будет тебе радости, Келли, от того, что ты спасешься.

Телефон зазвонил с переливами.

– Келли. Говори, Ланс.

– Здравствуй, Келли. Как поживаешь?

– Херово поживаю, – сказал Келли. – Сиду разбили.

Ланс хмыкнул.

– Ну, прости. Привычка.

– Прощаю. Когда Ванессу пришьлешь?

– Э-э... собственно, Ванесса... не придет.

– Что?!

– Она... на меня больше не работает.

– Ланс! Не шути!

– Келли. Я ничего о ней не знаю уже полгода. Не вздумай швырять трубку.

Келли осторожно разжал пальцы, переложил трубку направо, чтобы лучше слышать.

– Найду, что швырнуть... из твоих бесплатных приложений, не беспокойся... Слушай, Ланс, я тут просто бешусь, Марч этот бардак флагом завесил, но у меня все-таки ночной клуб, а не гребаная мэрия!

Ланс захихикал.

– Да-да. Умница Марч. Хорошие у тебя люди.

– Да уж, – с нажимом отвечал Келли, заводя глаза. Боже, взять бы Ланса за шкуру, потолочь носом в столешницу... – по крайней мере, не сбегает без вести. Что ты можешь для меня сделать?

– Все, что угодно, – весело отвечал Ланс. – Это будет стоить тебе двести сейчас, а за самую работу – как получится. По факту, так сказать.

Келли стиснул челюсти. За три куска цветного стекла...

За Сиду – чтобы она смотрела на моряков темным взглядом...

– Завтра, – сказал он и не удержался, сошел в хрип. – Чтобы завтра, слышишь...

– Будет тебе завтра. Не волнуйся, солнце мое, – и трубка забибикала отбоем.

Были другие дела в остатке дня, Келли очень старался, чтобы мысль о Сиде не втыкалась то и дело осколком между ребер. Клуб открылся в обычное время, постоянные посетители смешались

с теми, кому завтра уплывать дальше, вокруг острова, к Аотеароа – Длинному Белому Облаку, к Австралии, к берегам Японии.

Келли не остался на вечернюю программу, как делал, если был в добром настроении. Ушел через кухню, чтобы никого не видеть – ни старых знакомцев, ни однодневных пришлых. Ешьте-пейте, шепчитесь-веселитесь, Марьян вам смешает, Тони, Лада и Орс поднесут... а Дэф спляшет... так, что у вас аж в глазах почернеет... Люди...

До дома идти было – всего ничего, несколько сот метров, но он встал под телефонной будкой и все перебирал на ощупь монетки в кармане. Позвонить Марине? Атану? Тераи? Нет, нет, да и не поможет это, потому что с ними и для них одно – спортивный секс, образцово-показательный, с обоюдными удовлетворениями. А как же – мастер! Черти тебя еще в аду за это мастерство... А того огня, что прежде был задаром, как вдох и выдох, нет и уже не будет. Ушел огонь, отступился, а куда, почему – вот, спроси-ка у Сиды!

Чего ж ты хотел, скажет она, когда убежал от судьбы? Разгребай теперь пепел.

Так никому и не позвонил. Холодно ему было в ту ночь, а Сиды, закрывая лицо ладонями, шептала жалобно, но ее языка Келли почему-то не понимал.

Мастер приехал затемно, еще туман не поднялся. Келли спал – не спал, до утра промаялся, в затылке плескалась тяжесть. А ведь один только глоток с вечера – вон, стакан стоит недопитый, уже и «Джемисон» не в радость и не впрок. В этой беде выбрался на балкон, уперся голым животом в холодные завитушки – аж под сердцем заныло, – и услышал, как у «Сиды» кто-то терзает что есть мочи сигнал. С минуту слушал – опомнился, побежал звонить на охрану. А еще через пару минут уже натягивал джинсы, путался в футболке – встречать дорогого гостя.

И встретились – мастер, уже немолодой, едва по плечо рослому управляющему «Сиды», и сам управляющий – встрепанный, серый после скверной ночи, больной.

– Я от Ланса, Ник Микаленич, работаю по стеклу.

– Да, – Келли прочистил горло, но голос звучал ржаво. – Это здорово. Доброе утро, Ник. Я Келли, управляющий... в общем, там мой клуб и все... Завтракать?

– Спасибо, – Ник улыбался, доброжелательно поглядывал по сторонам, дом ему нравился. – Я уже.

– Но я-то нет! – Келли воспрял духом при виде этого спокойного славного дядьки. – Заходите. Или нет, я сейчас... но все равно – заходите!

Усадил мастера в нижней гостиной, извинился раз пять за то, что в такую рань нечем угостить (Ник вежливо и терпеливо отнекивался); все-таки побежал под душ, оделся наново и спустился, голодный и почти бодрый.

– У меня пикапчик тут, – говорил мастер, выходя вслед за Келли в просветлевший туман, – там платформа, инструменты. Так я его подгоню, а ты мне покажешь, где там и что, да?

Выговор у него был мягкий, но не такой, как у местных. Мика... ле-нич, ну и фамилия, а дядька, кажется, в целом приятный...

Все еще в запале, Келли совершил налет на холодильник в ресторане, сварил кофе – но, пока жевал-запивал, тоска тут как тут – прогрызла подреберье, взялась за душу.

Мастер времени даром не терял – когда хмурый управляющий показался из парадного, платформа уже была собрана, Ник наверху осторожно отцеплял завязки флага.

Келли не сдержался, матерно охнул – в пол-лица ее черная рваная дыра, как же можно! Ник хмыкнул. Рассматривал витраж, то так, то сяк наклонял голову, осторожно трогал сколы. Наконец перепнулся через перила с отбитым куском стекла в руках:

– Хорошо. Прямо сейчас и займусь.

Три часа спустя в кабинет Келли заглянул Марч. Управляющий сидел на подоконнике, сонно смотрел на горизонт.

Оглянулся:

– Ну, что? Как дела?

Марч покачал головой.

– Ты лучше сам погляди.

– Что такое? Говори?

– Нет, Келли. Сходи сам. Чересчур он... самостоятельный.

Келли выбежал вон.

– Что ж ты делаешь, стекольник хренов! Слезай оттуда! – Келли захлебнулся. Этот... горе-мастер вынул стекла в половине витража, от Сиды остались только летучие завитки волос по краям да синее платье.

Ник аккуратно положил стекло, сошел с подмостков.

– Что это я делаю? Работаю... но могу и поговорить...

Похлопал по карманам, вытащил «Мальборо», закурил. Келли не успел и рта раскрыть – зашелся кашлем, ухватился за лестницу.

– Что такое, что?

– Не кури... при мне... ясно?

– Ясно. Виноват, не знал же.

– Да пошел ты... что с Сидой теперь?

Мастер посмотрел на витраж.

– А что с ней? Все будет хорошо... Как ты сказал? Как ее зовут?

Не осталось сил злиться, гнев утонул в горькой слюне.

– Ее не зовут... Это Сиды. Да ты все равно хрен поймешь... Я же тебя просил – что? На кой ты все разобрал?

Мастер усмехнулся.

– Вот как. Говоришь, ни хрена не пойму, да? По крайней мере, я работу свою знаю. Просто так не исправишь. Не окошко остеклить.

– Слушай, теоретик, – Келли снова закипал, – слушай, я твои художества поощрять не намерен. Что не окно – понятно, но ты... лучше не умничай, лезь наверх, ставь все на место, и завтра к вечеру чтобы я эту государственную символику отсюда прибрал! Мне нужна она. Живая... то есть целая, я хотел сказать, ну, ты понял.

– Понял, понял, – мастер посмотрел на Келли искоса, но без злобы или обиды. – Вот что, парень... Сразу скажу, чтобы без недоразумений – ни завтра, ни послезавтра Сиды... хе, Си-ды... у тебя не будет. Вот, спросить забыл – чья работа, кто ее делал?

– Ванесса ван Шпренглер, – отвечал ошарашенный Келли, – знаешь такую?

Ник пожал плечами: то ли да, то ли нет.

– Неплохо, – все-таки вытащил сигарету, сунул в рот. – Да. Рисунок хороший, стекло... Но раз испорчена – то не без причины. Неправильно что-то с твоей красавицей. Подумать надо... Так где у тебя можно курить?

– Там, – управляющий махнул рукой, – скамеечка, видишь?

В парадном околачивался осторожный Марч, без слов вопрошал – как, быть или не быть?

– Ну и дед... Думать он будет ... Марч, присмотри за ним. Я домой пойду, ночь не спал, совсем никакой.

Келли снилась гибель. Жестокий был сон и беспросветный. Один смертный ужас, – знал, что убивают... Мокрая подушка рассыпалась землей, простыни обжигали холодом спину, живот,

ладони. Умереть в том сне Келли не мог, только умолял – не надо! И проснуться не мог – наяву все кружилось и рушилось, осыпая лицо осколками, ледяные пальцы разжимали челюсти...

– ...!

Это был не его голос, и Келли не разобрал слов. Не до того ему было – глотнул какой-то горькой, вяжущей, кислой дряни, от которой свело диафрагму.

– Вот беда. Давай еще раз.

– Кто...

– Да это я, Микаленич. Пей, парень, это аспирин. Все равно, тебе пить надо. Марч уже за врачом побежал. Ну, постарайся.

Но Келли не стал пить. Его опять накрыло сверху жаром, снизу – холодом, пошло мешать словами... Микаленич – убийца, Марч – предатель, какой врач, ведь он уже умер, должен был умереть – страшной смертью, так сказала Сиды...

А тут и Сиды пришла за ним, лицо закрыто наполовину, села на постель. Келли не позволил ей откинуть покрывало – что ты, там ведь грязь, кровь, могила... Калифорнийский грипп, пневмония, ломким голосом шелестела Сиды. Ничего, отвечал кто-то с чертовски знакомым мягким выговором, я уже переболел. Но все равно, глобулин... и поддержите вот здесь.

Укол в плечо, нечем дышать, волна горячего пота, липкие губы, тишина.

– Ну вот, и ничего не умер, – старый Микаленич вошел по-хозяйски, он и в больнице не смущался. – Вот и гостей ему разрешают!

Келли повернул голову. Лихорадка высосала его до бледно-желтого цвета, порвала губы трещинами, и говорить в полный голос он еще не мог. Но все-таки две недели прошло, и ясно было, что управляющего не понесут хоронить. Микаленич поставил на стол бумажный пакет с яблоками. Сверху снял одно, пурпурное, с глянецом – положил на постель, под руку Келли. Тот накрыл яблоко ладонью, но пока молчал, даже не поздоровался. Он смотрел на Ника, как глядят в огонь – рассеяннo и сосредоточенно одновременно, не вспоминал – все помнил, и витраж, и ссору, и голос, протянувшийся над бредом. Но это было теперь словно за матовым толстым стеклом, разбивать же его Келли не собирался. Сил не было.

Ник, устроившись на высоком табурете, поймал этот взгляд и положил руку на тощие пальцы управляющего.

– Все в порядке. Слушай, Келли, мальчик, ты ешь. Это мои, у меня сад, – сад был далеко-далеко, за светло-серыми стенами больницы, под солнцем. – Все у тебя хорошо. Красавица твоя, Сиды, лучше прежней. Я бы, может, и еще постарался, но тогда надо было б нам разговаривать, это долго. Вдобавок ты еще вздумал коньки отбрасывать, да? Потому уж не обессудь: как понял сам, так и сделал.

Келли кивнул. Как понял – не все ли равно отсюда? Накатил яблоко на цветастое покрывало, подумалось: лежал бы под этим веселеньким ситчиком – с перекошенным, черным от удущья лицом... Нет. Теперь уже – нет.

Яблоко оказалось правильное, с хрустом и звоном. Защищало губы, мягко перехватило горло. Келли прикрыл глаза, жевал сладкое, незапретное – оживал, оторваться не мог. Пока он ел, Ник потихоньку ушел. Приходил сказать доброе слово, оставил вот яблоки – что еще? О чем бы им говорить долго – о Сиде? Чтобы снова встало поперек света все, чего не изменить и не отменить? Келли глубоко вздохнул, в груди отозвалось с хрипом, но уже без боли. Без боли, так. Сиды свое получила – провела по темной дорожке, что там было, чем откупился – но отпустила ведь.

Переждал вдох-выдох – не навалится ли кашель – и потянулся за еще одним яблочком от Ника.

Три дня спустя Марч потихоньку от врачей принес на сверку ежемесячный отчет, и Келли окончательно вернулся на круги земные. Оказалось, что клуб не работал три дня, и еще за три дня почему-то не было выплат персоналу.

– Ну, ладно один день, – Келли тыкал ручкой в график, – это мы все были в отпаде... А три-то почему?

– Работал Ник.

Келли остро взглянул на помощника. Марч был почтительно серьезен.

– Ох. Ладно. Не окошко стеклить, понял. Хотя фотку бы принес... ну, теперь уж не суетись, через неделю выйду, сам погляжу. Но это что – почему за эти дни выплат нет?

– Ты болел.

– Я уже три недели болею.

– Ты... совсем плохой был.

Келли швырнул график на постель.

– И что с того? Марч, да тебе детский сад доверить, а не клуб! Шесть дней убытков, черт, черт! Ты же отлично знаешь, сколько мы должны, за аппаратуру еще, теперь Нику... Господи, вот послал ты мне работничка!

– Насчет Ника – не знаю, он сказал, что сочтется через Ланса, я ему не платил. А за аппаратуру половину долга я вчера перевел, как договаривались.

– Ох, молодец. Хотя что-то. Но выплат-то какого черта нет? Вы все-таки работали или что?

– Келли, да работали, люди только сами от зарплаты отказались...

– Ничего себе! Эй, погоди... Да вы... небось на похороны скидывались, идиоты хреновы?

Марч покачал головой.

– И что ты корчишь из себя, Келли? Тебе не стыдно?

Келли исправил суммы, подписал отчет и вздохнул:

– Стыдно, Марч, а что делать? А вот возьми я да умри все-таки? Подумать страшно, во сколько бы обошелся мой хладный труп...

– Да я уже прикидывал, – невозмутимо отозвался Марч. – Гроб, свечи, служба...

– Вот уж я без этого бы обошелся...

– Цветы...

– Розы, угу. Только не красные.

– Арабия, знаю. Креп...

– Это на кой?

– Зеркала занавешивать. Всю стену. Так положено. Поминки, перевозка, землекопы... Ну, и минус еще один полный рабочий день. Стоял бы твой гроб в холле, весь в этих чертовых розах... и пол-Хобарта пришло бы попрощаться! Келли, сукин ты сын, да ведь о тебе никто плохого слова не скажет!

– Не могу, – Келли простонал в полотенце, хрипло захохотал, – либо хорошо, либо ничего? Марч, да я ведь живой еще! Ладно. Вот что я тебе скажу: не умеешь ты устроить мне правильные похороны. Музыку забыл.

Марч развел руками.

– Симфонический оркестр? Можно прямо из Сиднейской оперы, для тебя не жаль...

– Размахнулся! Всего-навсего народный квартет.

– Это еще для чего?

– Плясать.

Марч выпучил глаза. Келли сел в постели, нашарил тапочки, объяснил с самым серьезным видом:

– Так у нас полагается, не слышал разве? На поминках пляшут, чтобы покойник знал – и без него проживут, и шел бы себе искать яблоневого острова, а к живым бы почем зря не шлялся. Понятно?

Помощник отвернулся к окну.

– Да уж. Тогда пришлось бы еще святой воды приписать – тебя, я думаю, никакими танцами от «Сиды» не отвадить.

– Я тоже так думал, – Келли возвысил голос, заплескалась вода. – Но сдается, вы по мне уже в каком-то смысле отплясали.

Повесил полотенце через плечо, подошел к Марчу – тот все глядел в окно на дальние холмы.
– Да и остров яблоневый, получается – вот он.

Я боюсь, что ли, подумал Келли, выходя из джипа. Его все еще бросало в пот, а о платке не позаботился – вытер лицо рукавом свитера, так из-под руки и взглянул.

Такая же!

Нет. Совсем другая. То же нежное лицо, темные длинные глаза, золотые волосы, платье синее, и так же сидит в зеленой траве – листик к листику, но та, прежняя, в сумерках сияла бы тонко, подсвеченная изнутри, а эта – мерцала бархатисто, плотно. Келли запрокинул голову, вглядываясь, и понял – мастер написал ее заново, как картину, на толстой пластине полупрозрачного стекла.

И она была – с яблоками!

Конечно, он заметил это сразу – такое не пропустишь, но сначала старался понять, как сделано – и все-таки про яблоки не разгадал. Одно под рукой, другое в подоле, у колен, у ступней босых ее ног, и еще – над головой, над плечами бело-золотыми. А неразгаданное – вот: волнами краски, что ли, проступали на пунцово-красных, пурпурно-черных боках – глаза и губы, глаза и губы... Тянулись к ней, касались ее, смотрели на нее.

Это правда, подумал Келли, так и есть. Я сам такой. Это моя Сида, сестра моя – но, черт возьми, как он-то догадался?

Оглянулся – Марч стоял за спиной, помалкивал.

– Ну, с Богом, – Келли взялся за медную ручку двери. – Свои двести Ланс заработал, а остальное, – посмотрел еще раз вверх, – не его забота. Телефон-то тебе мастер оставил? Нет? Пойду, из сукиного сына встряхну.

Билет до Дублина

Ничего не складывалось как надо. Все рассыпалось. Сида, жизнь, память...

Сида новая, замечательная – поди-ка, разбей! Болел, выжил – а мог бы и в холодную землю лечь, «калифорнийская красавица» оказалась жестока. Память? Она и раньше-то ласковой не была, не привыкать...

И все же Келли подъезжал к мосту через Гордон в неизбывной тоске. Думал, до чего раздражает Австралия – весна осенью, дождливая сонная зима – летом. Думал о том, что вот картину Одудо («Партеногенетика», шла за двадцать, отдали за восемьдесят) – перехватили бойкие мальчишки из «Боуи Гэллери», деньги вот целы, а на что они – деньги? Еще один клуб учинить? И с этим забот хватает, долги выплатил – хорошо, а новый? Ну, был бы кто – тогда куда ни шло, подарить любимому человеку... ничего себе подарок, так ведь все равно некому... Никого нет – и поморщился привычно. Нет-нет-нет.

И – что это?

Сто раз проезжал тут, сто раз – отчего же теперь, на этом «нет-нет-нет» резануло: в линиях моста – скрещения стальных полос, острых, сверкающих на солнце лезвийной заточкой... в ритм попало, что ли?

Клетка. Настоящая стальная клетка. Не выйти, не вырваться, только резать...

Впереди и сзади потихоньку, на второй, ползли автомобили – мост был старый, узкий, никто бы не позволил Келли остановиться, перевести дух, сморгнуть наваждение. Он продолжал двигаться, бездумно... и глаза, слепнувшие от тоски, шарящие по пятнам плакатов и лозунгов над шоссе и около, поймали вдруг...

Teacht.

Возвращение.

Нет, это вопросительный знак! То есть – Teach. Дом.

Откуда здесь... Почему гэльский? Как такое может быть?

А, черт, это английский же... Do you teach with inspiration?

Учишь... как ты учишь... вдохновенно...

Глупости-то какие, что ты... учишь... возвращение... домой... Но дома нет, куда возвращаться, учить – чему? Кого? Вдохновенно?!

Teach.

Teacht...

Он пропустил поворот к порту... Остановился в каком-то тупике, сидел, зажмурясь, и видел одно:

Дом.

Путь назад.

Отделаться невозможно – языки смешались, путь домой... Эрин...

Так Келли стал собираться домой. Выждал время, поговорил с Марчем. Друг Эван изумился, возмутился – что тебе, плохо тут? Но Келли сказал, что дело не в том – плохо, нет ли...а вот «Сиды», Марч, будет тогда твоя вся...

Марч подумал, посчитал – основательный! – и согласился.

Но в глубине души не очень верил – даже когда они с Келли бумаги подписывали на передачу... Келли и сам себе не очень верил, но получил первый взнос от Марча – и три дня спустя на столе уже лежали билеты.

Хобарт – Сидней – Пунта-Аренас – Сантьяго.

И дальше – до Дублина.

Устроили прощальную вечеринку – для тех, кого от сердца отрывал, уезжая.

И все думали – за столом скажет – я ненадолго, туда и обратно, или хотя бы объяснит, что за стих нашел? Но Келли виду не подавал, что понимает – от него признаний каких-то ждут, слов, ясности.

Жена Марча, Патриция, не вытерпела – утащила Келли в коридор – поговорить. Но напрямую спросить – не получалось, не тот Келли был сегодня.

– И кто теперь мне скажет: «Падригин, мо хара»?

– А что? Будешь скучать?

– Это было... забавно.

– Ты же научила Дуду. Вот он и будет.

– Дуду – глупая птица. А ты – мой друг. Наш друг.

Келли посмотрел в стакан, поболтал соломинкой.

– Ничего, *Падригин, мо хара*. Это пройдет.

– Господи, Келли, какой ты странный... Ну, хорошо. Пусть тебе надо ехать. Но почему так? Отдал Эвану клуб...

– Не отдал, а продал.

– Да Бог с ним. И дом продал...

– А дом я как раз отдал, – полез в карман, вытащил визитку, – ох ты... Общество защиты прав диких животных, м-да... это потому, что прислали такую девушку симпатичную...

– Келли, я просто поверить не могу. Вот мы сейчас... ну еще час, два, три – допьем, доедим, допляшем... а потом?

– Пат, ну что ты... Со зверолобами я договорился, не бездомный, переночую, а утром рано – на паром.

– Вот именно! Келли, ты в самом деле не собираешься вернуться? Это же твой клуб!

– Не мой, а Эвана. Он справится, не волнуйся.

– Да знаю я, что справится, я не о том... Это же кусок твоей жизни, разве можно вот так?
– Вот именно, Пат, – он поставил стакан на подоконник, осторожно разогнул ее пальцы – чтоб не стискивала локти, будто от холода, отпустил ладонь. – Все правильно ты говоришь. Кусок. И еще кусок. И там. И тут... А жизни-то и нет.

– Значит, ты думаешь, она где-нибудь там тебя поджидает? Вся такая цельная и готовенькая? Как ребенок, ей-Богу!

– Да нет, Пат, не ребенок. Уже нет. Но и оставаться я тоже... не могу.

– Потому что это – чертова дыра на краю света?

– Глупости. Какая еще дыра – в наше время... Но есть люди, которых я должен увидеть снова... есть.

Как я объясню тебе, думал он, как расскажу – тоска: пять лет с привидением. И Сиды... и надписи на мосту.

– Так увидишь, и вернись! Зачем так – раз, и все, и наповал...

Келли покачал головой.

– Пат, я и сам не знаю. Но сделал, что сделал, и это правильно. У вас тут корни, а я пришел и ушел. Ну, только не надо, будто я святой или добрый волшебник, или что у вас тут до меня была проруха, а я все спас, это же неправда?

Патриция сердито отмахнулась.

– Неправда, конечно, неправда. Но ты... зачем быть святым? Очень хочешь? Хорошим парнем тебе уже мало?

Келли улыбнулся, взял ее за мизинец, как маленькую.

– Спасибо, Пат. Больше, чем я заслуживаю, честное слово.

Марч выглянул в коридор, фыркнул: вот они где!

– Пат, Келли! Ну, что вы там!

– Иду, – тяжелым, словно сонным голосом отозвался Келли. Пат забрала руку, поежилась.

– Идем. Идем.

Келли шел за ней, позабыв стакан на подоконнике, половина на половине – тут легкий, выбеленный, тут – свинцом налитый, не от «Джемисона» и не от горя – сам решил... Но будто ударило по горлу, когда почувствовал – никогда ему больше не держать за пальцы и эту женщину, подругу, о которой и подумать нельзя ничего, кроме – светлая... С ее Марчем, с ее вареньем из мелких яблочек, с их девоньками – Мэри постарше, Джоанна помладше...

– А это – специально для тебя!

Замер у входа – узнал мелодию...

Оба в черном, только у Тераи рубашка расстегнута – ну, не может закрываться! А Дэф правильный, и светлые глаза его еще светлее от черноты...

И ударили оба. В одну ногу, потом незаметно, легко перекинулись с правой на левую, пошли вышивать, выкладывать...

И за руки взялись.

И друг к другу повернулись.

И снова к нему – плечами не поведут, только ступни разговаривают...

Келли очнулся, отлепился от стены... плевать, что ботинки – не звонко, в три шага проскользнул к помосту, взлетел, ворвался между Дэфом и Тераи, взгляд налево, направо, сложили ритм...

О-о-о-о!

Ну-у-у!

Давай, давай!

Все. Поклонились в зал. И друг другу. Дэф, счастливый – он всегда счастливый, когда в танце, выговорил, почти не заикаясь: «На добрый путь...», Келли прижал к себе светлую голову, выдохнул: «Бог с тобой, Дэф, спасибо...». Тераи улыбался. Он подставил лицо, золотое лицо божка, и Келли в одно касание скользнул скулой по щеке. Давно не плясал – сбилось дыхание, и теперь просто сел на сцене, свесил длинные ноги в зал, развел руками.

Мастер Микаленич одобрительно вертел головой, цокал. С ним сидели три племянницы, и Келли прыгнул, по пути нагнулся за стаканом – как не выпить с Ником, с Маричкой, Ксеной и Прис?

– Ну, едешь, – пропыхтел Микаленич, – ну, даешь... Ох, далеко моя Украина, да и сам я тут... как то дерево...

Маричка улыбнулась. Ксена похлопала дядьку по могучей спине, выглянула хитро из-за плеча. Прис обрывала виноградную гроздочку, смотрела грустно. Она была самая старшая – годами, наверное, как Келли, – незамужняя дева-людовед.

– Не буду там, наверное, Ник... Далеко. Да и не к кому...

– А к старшему брату мог бы, к Петру... хотя... Охо-хо, тридцать лет прошло, нету там и Петра уже, наверное, давным-давно. Так куда едешь?

– Сначала в Сантьяго... и в Вальпо. Хочу кое-кого повидать. Оттуда в Эрин, домой. А там – не знаю...

Вечеринка закончилась не слишком поздно. Невеселая она была, хотя и попели, и поплясали, и выпили... Келли проводил всех в дверях, потом вернулся – попрощался с обслугой, с теми, кто убирал в зале и на кухне. Так, будто завтра вернется. Этим ребятам было, в общем-то, все равно. Один босс уедет, другой объявится. Но – свои все же, хорошие работники, и без них клуба тоже не будет...

На крыльце его ждал Марч.

– Пат домой поехала. Чуть не плачет...

– Прекрати, Марч. Хотя ты-то...

– Я-то... Смотри, что ты мне на шею навьючил, – и кивнул на трехэтажное, темно стоящее в ночи здание. Только Сида над парадным входом мягко светилась – теплая Сида мастера Микаленича.

– По-моему, неплохо. Ты что же, домой пешком пойдешь?

– Я у тебя переночую.

– Ты что? С Пат поругался?

– Она... велела. И я сам. Келли...

– Ну, Келли... С ума посходили... А она там тоже будет... реветь...

– Никто не будет. Я уж – точно. Келли, мы же больше не увидимся, так?

– Ой, ерунда! – Келли запахнул куртку и решительно сошел с крыльца. – Адрес же я тебе дал? Надо будет – напишешь. Я и сам тебе первый напишу ... И вообще, Марч, ну что ты? Мы же не дети. И не девицы. Ну, я решил уехать. Я почти двадцать лет не был дома. Матери под семьдесят, а я у нее, считай, один остался. Пошли. Ну, ты же не хочешь тут со мной ночевать, на крыльчке?

Марч нервно рассмеялся и сбежал следом.

В доме было гулко, жутко, хотя все почти оставалось на своих местах – на удивление мало увозил Келли с собой из Хобарта, всего одну сумку через плечо. Все прочее – книги, картины, керамика, даже одежда – уходило защитникам животных. Даже простыни, которыми Келли застелил кушетку для Марча.

Но зря стелил, потому что и легли, но не спалось, и говорили всю ночь. Тихо, то о делах – как и что, и Марч вроде оживлялся. То Келли, чувствуя, что вот-вот начнет вспоминать то, чего не стоило, принимался говорить про Эрин, и Марч тогда выспрашивал, как живут там, и сокрушался, что вот у Пат прабабушки-прадедушки с Изумрудного острова, но не выбраться. На другом краю земли, вздыхал он.

Да, отвечал Келли. На другом краю.

И про надпись рассказал, чтобы дружище Марч понял, какие знаки заговорили, как нельзя было устоять... Конечно, Марч понял бы и ту правду, что под знаками – ту, из стальных полос-лезвий. Но что было лишний раз резать по живому?

Когда уже стало светать, Келли, обессиленный этой странной ночью воистину дружеской любви, подумал ни с того ни с сего – не будь Марч просто другом, мужем красавицы и умницы Пат – тоже просто подруги, отцом – Господи, любил бы, как...

Нет, не как самого себя. Потому что себя...

Но любил бы так, что смог бы остаться.

О Господи, прошептал беззвучно, поворачиваясь на бок, чтобы хоть простынями согреть сердце, – что ж ты мне посылаешь-то... или ангелов, или чьих-то... или шлюх.

Потому что сам ты – старая ирландская шлюха, отвечал суровый Господь. Или больная совесть, которую не засластишь яблоками.

Нет, никак не хотели его отпускать. Притащились на причал – сонный Марч, грустная Патриция с зевающими от холода девочками, дядька Ник, с ним бледная, как сыворотка, Прис. Дэф и Тони пришли, слава Богу, Тераи не явился, и без того весь набор... Келли в сотый раз всех переобнял, почмокал в щеки и макушки, подхватил сумку. Он бы с радостью послал их всех к черту, потому что мечталось уйти совсем не так – а тихо, спокойно, как выходят из дома – и все... а тут будто на войну его провожают, всей семьей с родственниками... Сказал, чтобы не ждали, пока паром отойдет – раннее утро, сырость, девочки застынут. Пристроил в салоне сумку, вышел на другую палубу, поглядел на море.

И увидел краем глаза, как смотрит на него с верхней площадки паром женщина в синем свитере. Смотрит – и яблоко уписывает. Яблоко ест – и смотрит...

Так и началась дорога домой – с одного слова на двух языках и с неотступной Сиды.

До Сантьяго, однако, добрался без особых приключений. Сначала был Пунта-Аренас, аэропорт на далеком юге, выстуженный весенним ветром, потом уже – столица. Город выглядел неплохо: люди бодрые, везде государственные флаги – будто праздник какой. Келли собирался позвонить Бо – единственному, кто, как он надеялся, мог быть здесь наверняка. Но от перелетов он слегка одурел и, добравшись до города, сидел какое-то время в кафе недалеко от центра, тупо разглядывая прохожих. Среди них было немало военных. Но если бы не это... Кофе был такой же точно, и цветами пахло так же сладко, и незабытая речь мелодией плескалась вокруг. Ни следа войны или насилия не было заметно, город будто смеялся ему в лицо – какие еще уличные бои? Какие беспорядки? Какие еще танки, да ты бредишь... Келли и вправду с трудом отгонял от себя дурацкую мысль о том, что эти пять лет ему только померещились, что никуда он не бежал сломя голову, и – кто его знает – может, и Симон не пропал без вести, может, и Сида была только тенью совести, а не гостьей с той стороны... Вот же дьяволищина, только вспомни о ней, и вот, невероятная в этой стране брюнеток – идет мимо рыжая, слава Богу, не та, и не она, и не в синем платье... Женщина прошла мимо Келли, окинув его между делом холодным взглядом – так, что аж передернуло... Зато он скинул оцепенение и пошел искать телефон.

И надо же – и номер работал, и даже Бо снял трубку. Келли вздохнул с облегчением, услышав его знакомый глуховатый голос. Звонку фотограф как будто обрадовался, но на встречу согласился не сразу. «Я бы лучше сегодня не выходил», – сказал он как-то почти жалобно. Но Келли пояснил, что завтра уже его тут не будет, поэтому, если Бо не умирает от какой-нибудь редкой болезни, то неплохо было бы повидаться. «Ладно, – согласился Бо наконец. – Ты где? А, там и жди, я скоро буду».

Бо Финне узнал Келли со спины – по осанке, по манере держаться, по тому рисунку тела, который невольно привлек хватывать. Но внешне старый приятель изменился и казался старше своих лет, – может быть, из-за короткой черной бороды с заметной проседью. Да и сам Бо не остался прежним бодрым юношей – он стал плотнее и тяжелее, волосы сильно поредели, и на пальце у него было обручальное кольцо.

– Все-таки глазам не верю, Келли! До чего ж я рад, что ты живой! Как тебя к нам занесло?

– Да что мне делается? С чего бы мне не быть живым?

Бо как-то разом помрачнел и быстро, как бы украдкой огляделся из-под дымчатых очков.

– Забыл, что ли, что у нас тут творилось? Я поначалу думал, что и тебя... прихватило.

– Да не, я смылся же, помнишь... предупреждение мне было... Ну, само собой, кое-что про ваши дела доходило, но... я не очень следил. Но сейчас-то вроде как все нормально, нет?

– Ну... Слушай, Келли, давай куда-нибудь в другое место пойдём, а?

– Что?

– Ну, тут военных слишком много. Они, конечно, святые наши спасители, но...

– Да я и сам смотрю, у вас парад тут, что ли, какой-то?

Бо посмотрел на него так, как будто Келли был не в своем уме.

– ПРАЗДНЕСТВА у нас, – сказал он, и Келли, наконец, сложил два и два и сообразил, какое сегодня число. И кивнул.

– Слушай, а «Апельсин»-то еще работает?

Бо усмехнулся. Выражение привычной боли у него на лице смягчилось.

– Ну, вроде да. Поехали?

«Апельсин» был на месте и даже работал. И даже людей в форме там почти не было – какой-то кадет угощал девушку, оба смеялись, вид у них был счастливый и глуповатый.

– Твоим, понятное дело, рано еще, – Келли кивнул, имея в виду обручальное кольцо.

– Конечно. У меня дочери два года всего. А ты как?

– Я? Ты меня плохо знаешь, что ли, Бо?

– Ох, и вправду. Ты все с парнями.

– С девушками тоже, – улыбка сошла с лица Келли. – Если честно, Бо, я рад, что у тебя есть семья. Так мне уже это все надоело... Весело, конечно, но... Смысла нет, понимаешь? Был бы у меня кто-то... дороже других, разве бросил бы я все и поехал бы опять куда глаза глядят? Хотя, может, это последний раз будет, потому что я домой возвращаюсь.

– Домой?

– Да, в Эрин. В Ирландию.

– Бог ты мой, да это же на краю земли!

– Угу. Но там матушка, старая она уже... Про Пэдди давно не слышно ничего, вроде в Штатах где-то, а младший – ты младшего-то, Дихи, помнишь?

Бо кивнул, вспомнив «дитя эльфов».

– Дихи почти сразу того... Я его с собой было взял же, но он какой-то чертовой химии наглотался, не вычухался... Поэтому я у матушки теперь один. А еще у меня замысел есть один, сумасшедший немного, но... Хочу там, в Слайго, построить школу. Танцевальную. И работать там.

– Школу?

– Ну да. Деньги у меня есть, опыта хватает, и если в таком медвежьем углу, как Хобарт, я с нуля приличный бизнес сделал, то и дома сумею. Пусть бы дети учились и не уезжали. А то у нас там кое-где просто пустыня будет – все либо в Америке, либо в Австралии, наших во всем мире втрое больше, чем дома, таем, как соль. Ну, и я же помню, как оно там жить – или фабрика, или порт. Или пиво, или виски, а лучше и то и другое. Ну ладно, у меня еще вечно было шило в заднице, так я сбежал... Ну и выжил, а мог бы и нет. Короче говоря, тоска у нас там. А танцевать любят и умеют, ну и все-таки какой-то шанс, что ребенок не будет шляться под заборами, драться и вообще... Не наделает всяких дел, а наоборот, может, даже и добьется чего путного. Странная штука, – тут он приснул, но смех это был не очень веселый.

– Что странно?

– Что, может, и у меня там дети есть. Если живы, так должны быть уже почти взрослые со всем.

– В Ирландии?

– Ну да. Я же наверняка успел там кое-кому заделать... Вот черт, надо будет там поосторожнее с молоденькими.

– Ох. До чего же ты бесстыжий, Келли!

– Вот и он так говорил.

Стало тихо. Невыговоренное имя словно повисло в воздухе, как табачный дым.

– Что с ним случилось, Бо? – наконец спросил Келли. – Знаешь что-нибудь? Скажи мне, пожалуйста...

Бо Финне уставился в пространство куда-то мимо плеча Келли. У него слегка подергивался уголок рта.

– Думаю, он умер, – сказал наконец. – По крайней мере, Келли, я хотел бы так думать.

– Что ты имеешь в виду?

Бо потер лоб левой рукой, и Келли вдруг увидел, что два пальца на ней не гнутся.

– Я с ним виделся в последний раз уже почти перед самым... перед тем днем. Он тогда забрал у меня пленки – я «танкистов» перед этим снимал и другое еще там кое-что... и просил, чтобы я больше не фотографировал в городе – опасно.

Потом я слышал, что его вроде бы арестовали в первые дни, что он был на стадионе – у нас тогда многих же там собрали. Но некоторые вышли, а потом... Снова сгинули. Так и он. Я запросы делал, понимаешь... Официальные. Насколько было возможно. Ну и некоторых родственников расспрашивал, ты же знаешь, у нас семья была не из последних... Ну, и узнал только, что вот тебе говору – что его арестовали, потом выпустили, а потом он исчез.

– Но почему ты думаешь, что он непременно...

– Потому что. Потому что, когда я стал, видимо, ну... очень настойчивым, что ли... пришли за мной. И знаешь, очень так мне наглядно объяснили, что ничего разузнавать и расспрашивать не надо. Что для меня – и для всех родных моих – будет лучше считать, что человек, которого я разыскиваю, вообще никогда не существовал. Это мне мой собственный дядя пояснил, Келли, матери моей младший брат. А потом... Потом они меня просто били. Несколько дней. Спать не давали. Руку сломали, ребра. Запугивали. Не знаю, что он такого натворил, почему так. Но из-за того, что я там видел... лучше уж думать, что он умер.

У Келли засосало под ложечкой. Он смотрел на Бо Финне, на Бенедикта Карре, парня из хорошей семьи, которого приказал пытать собственный родственник только потому, что он решил спросить... Хотел узнать... Он не знал, что сказать: «Тебе больно?», «Тебе плохо?», «Сочувствую?» – и к тому же начинал потихоньку понимать, что видит, похоже, вестника из ада.

– Боже мой.... Боже мой, как же ты с этим живешь?

– Ну, так и живу, – Бо даже улыбнулся. – Один я такой, что ли? Живу. Девушек фотографирую в модельной школе. Цветочки там всякие. Счастливые города, избавленные от коммунистической заразы. Ну и все такое прочее. Матерей, – добавил он почти одними губами. – Женщин. У которых никого не осталось. Просто смотрю. Просто... Это так странно, Келли. Я из тех людей, которые должны бы быть счастливы. Ведь их же вправду спасли... От... Ну, не знаю, от чего. Кого-то от потери прибылей, кого-то от душевных, скажем так, страданий – ну, потому что «простые» слишком при власти... Но я... Что-то никакого счастья не испытываю. Наоборот, знаешь... Как-то и жизнь не очень складывается. У нас в каждой семье почти есть и пострадавшие, и те... Ну, которые с другой стороны. Люди разделились, судьбы разделились... Да и не в том даже дело. Если мне так явно показывают, что я должен забыть такого человека, как он...

Келли кивнул.

– Я думал, что готов был за него умереть, – выдал он наконец. – Но, видишь, не умер. Я сбежал, Бо. Позорно сбежал.

– Твоя жизнь бы его не спасла, – отвечал Бо. – Ты же видел, у него своя была. Другая какая-то, тайная, никто о ней не знал. Может, он из-за нее и погиб. Было в нем что-то такое... Больше, чем можно было увидеть. Ничего бы ты не сделал, Келли. И я ничего. И все, что могу – это помнить его, и тем яснее, чем сильнее его из меня пытались... вытащить.

– Помнить! Боже мой, да он же как будто в воздухе растворился, как будто я им дышу, понимаешь? Но нет места, где бы я мог сказать – да хоть бы и тени его – Симон, я пришел, я вернулся хотя бы проститься...

– Нет. В этом городе ты ничего такого не найдешь. Я сам обычно езжу в Вальпо, когда хочу его вспомнить.

– Почему? Хотя... Он же начинал там.

– Не поэтому. Там, говорят, было такое место – никто точно ничего не знает, но говорят, что многих заключенных держали там... Я бы не хотел, знаешь, рассказывать... Я просто еду и сижу там возле океана, смотрю и как будто с ним разговариваю.

– И я тоже, – сказал Келли, чувствуя, что горло совсем сжимает. – И я тоже.

Они даже успели это сделать – до самолета оставалось еще много времени, и они успели. Правда, ничего особенного не произошло – была долгая дорога, которую Келли хорошо помнил, вся в цветах национального флага, был холодный весенний океан и ветер, запах горных склонов, еще не очнувшихся от сухой зимы... Бо все помалкивал, а Келли чем дальше, тем сильнее ощущал что-то такое нестерпимое, чему не мог даже найти слов. Как будто он, со всей этой своей пламенной любовью, был виноват перед Бо, который прошел через муки и страх. Как будто Бо потерял больше, чем любовь. Как будто он со своей страстью был смешным рядом с этим парнем, который просто разыскивал друга, не возлюбленного, не звезду с неба, просто человека искал, а нашел такое, что не приведи господь...

Поэтому они просто посидели на берегу – каждый со своими мыслями. Бо, кажется, заметил, что Келли не по себе. Он не сразу решился нарушить тяжелое молчание, но все же сказал:

– Знаешь, это ведь Симон мне сказал тогда, что ты... что ты, видимо, погиб, – он ведь и тебя разыскивал, но у тебя дома было все перевернуто вверх дном, квартира брошена, никого... Разорение полное. А я вспомнил тот... Ну, тот твой приступ, видение, что ли... Ну и я тоже думал, что ты, наверное, страшной смертью... А потом письмо получил.

– Ну да, – Келли скривился. – Это же девушка та, рыжая, ну, помнишь? Та, что с ним в «Апельсине» была. Не знаю, как это вообще объяснить. Плохо я с ней обошелся, прямо как идиот поступил, скажем честно, обидел я ее, Бо, но она меня... предупредила, что ли? Я ее с тех пор иногда как будто вижу наяву... И потом вечно что-нибудь случается... Не он меня спас, а она. Ну, такое трудно в голову уложить, в общем. А она-то жива? Или ей тоже не повезло?

– Я не знаю, – сказал Бо. – Я ее сам видел только тогда, когда ты мне их показывал, а потом уже – больше нет. Да не надо и говорить ничего, Келли. Ты жив. Я жив. Это, в конце концов, разве не лучшая для него память? Как считаешь?

– Наверное, – сказал Келли. – Наверное, так.

В аэропорту было тихо, странно – ни прибытия, ни отправления... бывают, видно, такие передышки, но Келли принял это так, будто и здесь – никто не ждет и никто никого не встречает. Рейс до Дублина откладывался до утра – самолет с той стороны не прилетел.

Он устал, можно было пойти в гостиницу, там ему полагался номер и ужин... но в пустом зале ожидания сидела, склонив голову, в своей стеклянной клетке девушка из «ЛАН».

Келли подошел, она оторвалась от книги – чем могу помочь?

Я... (опять все сначала!) я... хотел бы обменять билет.

Какой билет? Куда вы хотите улететь?

Билет... до Дублина. Я... хочу (вернуться?)... мне нужно... на юг. Сидней или Аделаида...

Это очень далеко, сказала она, встряхивая челкой и улыбаясь. И расписание не самое удачное... Послезавтра – вас устроит?

Устроит, чуть было не сказал Келли – но это же... еще один день здесь, никуда нельзя будет пойти, хоть и не так больно уже – но это другое, по-прежнему стыд, будто виноват перед городом, и перед Бо, и перед той, в синем платье...

А эта, в небесно-синей униформе, поглядывая на недоеденное яблоко рядом с книгой, переспросила: столько-то в долларах – вас устраивает?

Конечно, они вроде будут рады... но Марч смутится, это точно, потому что клуб уже его, и что же?

Снова один, снова все сначала, и никого нельзя будет любить, потому что как любить того, кто не любит сам себя, как любить того, кто всегда бросает и предает...

Нет, пожалуйста, извините, сказал он. Я передумал. Слишком далеко.

Хорошо, отвечала дева-судьба, тогда вот он – ваш билет до Дублина.

Он не пошел спать в гостиницу, до рассвета просидел один в зале, где туда-сюда сновали прилетающие и улетающие. На жесткой дырчатой аэропортовой скамеечке, будто на покаянном сидении ночевал, чтобы себя горше наказать – а за что, еще и сам не знал. Все как-то образуется, твердил себе и сам не верил. Что-то будет. Как-то будет.

Вот только дайте домой добраться.

На последнем берегу

Наконец-то старой Роуз О'Шонесси повезло. Она все надежды на старшего возлагала, но уже сколько лет не было от него вестей – ни добрых, никаких. И тут этот средний явился как гром среди ясного неба, вернулся, когда уж и не ждали, – и ты смотри еще, настоящий джентльмен с виду, и при деньгах, будто все самые безнадежные материнские мечты взялся исполнять: «Матушка, негоже вам под старость быть совсем одной», и все такое прочее, и еще смотри что учудил, школу там какую-то затеял... У мэра-то глаза сделались, как у кота, конечно, денежки сами в руки ползут... Храни тебя Мария, Иосиф и святой Патрик, сыночка мой, всегда ты был сорвиголова, ни рук, ни языка не мог удержать, да и кое-чего другого, кажется, тоже... если правда то, что бесстыжая Энни МакГиллик всем раззвонила, будто ее Кейтлин – Келлина дочь... Хотя, когда исчез ведь, двадцать лет назад-то почти, ох и злы тогда были МакГиллики, но, в конце концов, не первая Энни и не последняя, кто по глупости парню поверил, а был то ее средний или еще кто... Упаси Боже мальчика моего от страшного греха, а с остальным он сам разберется, ишь, какой он у меня толковый оказался, и не думала, и не гадала, что из этого разбойника такое будет матери на старости лет утешение...

Келли О'Шонесси тоже должен был бы сегодня быть счастлив. Он наконец-то подписал соглашение с городом. Понятно, не через полгода, но месяцев через девять, самое большее – через год будет у школы свое помещение, а уже через несколько недель можно будет начинать занятия в рабочем клубе – для начала сгодится, а так он сейчас все равно без дела стоит, почти заброшенный. Родители детей помладше и некоторые подростки уже приходили к Роуз, расспрашивали. Танцы – это серьезно, они понимают. Шанс на другую жизнь. Не обязательно на лучшую – просто на другую. От этих мыслей Келли должен был бы преисполниться энергии и надежды, как всегда было, когда он начинал что-то новое, но сегодня он чувствовал себя усталым и тосковал. Они с мэром выпили немного, чтобы обмыть договор, но не столько, чтобы вот так впасть в мрачный хмель. Поэтому Келли решил, что ему не помешает прогуляться вдоль берега. Он шел себе на северо-запад вдоль узких улиц и домишек, а потом началось побережье. Был отлив, тут и там из мокрого песка торчали обломки скал и просто валуны. Чья-то полусгнившая посуда наполовину ушла в песок – она тут лежала, судя по облупившейся краске, добрых лет десять. Клубки водорослей, старые рыбацкие сети, всякий хлам... Келли осторожно прошел мимо этих жалких даров моря. Ему хотелось сесть – но не на песок же! Он взобрался на первый попавшийся камень и устроился там, не думая о дорогом костюме и светлом тренче. Ему нужно было побыть наедине с морем, так, как привык в последние пять лет. С морем – и с тем, кого уже не было в живых.

Вот видишь, Симон, сказал он, шурясь от ветра и чувствуя, что левое плечо грызет тупая боль. Видишь, вот я и дома. Я все сделал правильно, любовь моя. Наконец-то я сделал что-то правильное, но... Но почему я не радуюсь? Никто, конечно, не ответил. Ты никогда не отвечаешь, Симон. Ни пока был жив, ни сейчас, когда почти наверняка известно, что ты умер, и умер ужасной смертью... Я и сам чуть концы не отдал полгода назад, но это ерунда. Теперь я буду жить, но боюсь, что не видать мне и вправду радости – потому что я снова один. Боже мой, Симон, я же трахался,

кажется, чуть не с целым оркестром и двумя футбольными командами, я счет потерял тем, кто был со мной – и где они все? Почему я снова один как перст? Почему у меня в этом году будет две зимы? Какого дьявола? Я вернулся домой, и знаешь, что они говорят у меня за спиной? Что я чуть не трахнул собственную дочь! Допустим, я ей только улыбнулся... Но... Это же просто гадко все так... Городишко мерзкий. И сам я мерзкий. Люди невыносимые – подозрительные, ненавидят все подряд, а я и забыл, какого черта я от них сбежал... Святые силы небесные, у меня же друзья были... Некоторые вон даже плакали, потому что я уехать решил, так зачем же я вот это все сделал, вот это – правильное? Хотел себя, что ли, наказать? Какого черта я всю жизнь бегу за этой мечтой, как за дурью: вот сейчас, ну вот уже точно сейчас добежу, достану... Ох ты ж черт, больно как – небось, мышцу застудил, теперь вот все так и будет – стану старым вялым занудой, может даже женюсь, только возьму кого постарше, за тридцать, чтобы уж точно наверняка не мое семя было...

Почему мне так больно, Симон? Ну не молчи же, мертвая моя звезда, призрак мой, горе мое – не достать, не дотянуться, Подсолнух мой... Где те, кого я любил? Где, мать их, те, кто меня любил? Кто здесь?

От ветра (а может, от боли, которая понемногу росла в нем и теперь словно когти выпустила) у Келли слезились глаза, и белый свет немного потускнел, что ли, – но он и вправду будто видел их: Пат с девочками, Марка, доброго мастера Микаленича, он даже подумал, что видит его самого, белокурую фигуру, улыбку... Но все они отворачивались и уходили прочь, таяли, а вместо них из мерцающего, как в телевизоре, серого света вышли шестеро.

Убийцы.

Он узнал их – по нестерпимому блеску на раскладных лезвиях, по красным огонькам окурков в углах одинаковых ртов, по стеклянным, как морская вода, совершенно пустым глазам.

Нет!

Нет.

Келли тряхнул головой и невольно охнул – это тоже было больно. Морок, правда, немного развевался, и он увидел, что вокруг камня прибывает вода. Начался прилив! Он выругался, потому что застрять здесь, – нет, сидеть тут чуелом как дурак, и чтобы рыбаки потом еще какие-нибудь стали спасать, отпуская соленые шуточки, – после этого уж и вовсе житья не будет...

Спрыгнул в воду – ее оказалось немного, дюймов пять, но она сразу полилась в туфли и была просто ледяная. Дыхание перехватило. Злость, гнев, страх.

Боль, тоска, отчаяние.

Но он знал, что должен идти, двигаться к твердой земле, потому что те... те догоняли. Он очень спешил. Он сделал несколько шагов, но вода тащила за ноги – такая холодная, что казалось, будто она поднялась до груди и давит, давит страшно. Келли споткнулся, зашатался и упал. Он еще пытался подняться. Он еще помнил, что нужно встать, идти или хотя бы ползти туда, где свет, но было уже поздно. Острые лезвия впились под ребра, зрение затянула кровавая мгла. И не было никого, кто спас бы его, кто отогнал бы этих – ни белокурого ангела, ни друга, ни женщины с добрыми глазами... Только тень мелькнула, и он отчаянно рванулся к ней – к золотому отблеску на темном, должно быть, синем фоне.

– Сиди! Сиди... – крикнул, но это уже была сплошная мука, никто не услышал, никто не смиловился, и что-то вдруг треснуло, словно стекло разбилось, и Келли увидел себя самого сверху и немного слева: он лежал ничком, неловко раскинув руки и ноги, прямо в приливной волне, пальцы хватили песок с водой... И вдруг он перестал понимать, что все это значит, слова и образы утекали из сознания, а вместо них тупая, страшная растерянность стала очень быстро поглощать его.

И рыжеволосая женщина в синем платье выпустила из тонких пальцев это... красное, круглое, хрустящее и сладкое, теплое, и оно покатилося из стремительно пустеющей памяти и рассыпалось горящими углями над западным горизонтом. А потом и они погасли.

Часть третья

И роза...

5 дней, 6 ночей

«Катерина... Катерина...»

Что это? Кто это? Где?

Она просыпается и не может проснуться, пытается откинуть сон, как одеяло, но рука задевает только шершавую побелку.

«Оооох... пожалуйста... пожалуйста... еще...»

– Что? Кто здесь? Что такое?

«Потрогай... что-нибудь...»

Она наконец просыпается вся – ну, или большей частью – в пустой серо-белой комнате, в пустом серо-белом предутреннем свете, – бледное лицо, серо-зеленоватые глаза – тоже еще полупустые. Длинный рукав длинной ночной рубашки – и он серовато-белый. Рука, сжимающая серое овечьей шерсти покрывало. Темно-рыжая, мокрая от внезапного пота прядь из-под туго повязанной на ночь косынки.

Женщина медленно приходит в себя – это трудно. В себе почему-то тесно. Там еще этот непонятный голос. Мучительно знакомый, но чей?

Она совершенно одна.

Пальцы медленно разжимаются, выпускают одеяло, и сердце подскакивает, колотясь чуть ли не в гортань. Каждая ворсинка колет ладонь, все слишком ощутимо, по мышцам руки будто пробегает электрический ток. Я же не пила на ночь чай из сухих кактусов, думает она. Меня не кусали бешеные собаки, не слюнявили летучие мыши с мордами злых духов. Я не находила на себе боррелиозного клеща. У меня нет жара... кажется...

Она подносит пальцы к губам – старый способ, первым делом попробовать, не холодные ли, а потом приложить к шее – у ключицы, там надежнее, чем на лбу, но...

Но и это движение, простое и выученное с детства, ошеломяет ее – в изумлении она смотрит на руку, потому что ее рука не может быть такой... от ее прикосновения не может так бросить в жар, до сухого звона в ушах, сквозь который она снова слышит этот ужасный, невозможный голос.

– О... Катерина... какая же ты... живая...

Это было давно. Очень давно. В другой жизни. Той зимой, когда на улицы вышли танкисты... Их все-таки уладили, но Симон сказал, что это ненадолго, и так непонятно и страшно было – что делать? Симон сидел напротив и говорил буднично – как будто редакционное задание давал: уезжай, Катерина, Ката, уезжай сейчас же, завтра, послезавтра... денег я дам, если нужны, а на что деньги? Куда уезжать? Куда? На Север – не пустят, домой, за океан – в страну под красными звездами? Ждут меня там, а как же... Куда – не сказал, ушел... и оставалось только все это страшное запить чем покрепче и погорше...

И тогда откуда-то, из какого-то угла появился он.

Келли. Он сказал – меня зовут Келли, привет, красивая, в такое время не нужно сидеть одной...

О, думает она, замерев, чтобы ненароком не пошевелиться... А я была одна, одна-одинешенька, да еще и на пьяную голову... А этот... Келли... Он был нестрашный. Он не пугал, не говорил, что нужно принять решение, от которого все леденело внутри, – наоборот, в том холоде живым показался, и теплым... и горячим... И кто же знал, что так выйдет...

Оказывается, я помню все, думает она, боясь пошевелиться и вызвать неизвестно откуда вдобавок к огню еще и голос... Неужели я правда помню... ЭТО ВСЕ? У него еще волосы были... вьющиеся... и... О Господи, Отче наш, ты, что на небесах, да святится имя твое...

По укоренившейся привычке она представляет, как слова молитвы вырастают вокруг нее, будто защита. Будто клетка, да. Но ведь как иначе сдержать весь наружный ужас, и этот вот еще, явившийся откуда-то, не иначе как из женской ночной памяти, и не введи нас во искушение, но защити нас от зла, ибо твои сила, Царствие и слава, ныне и навеки веков, аминь.

Свет розовеет. Где-то далеко, на краю земли встает Солнце. Как тихо. Как тихо. Это был сон.

– Катерина, – сон, сон, наваждение, голос человека, который когда-то пообещал ей, что ночь с ним она не забудет. – Что с тобой? Не бойся! Поговори со мной, Катерина!

– Я не Катерина, – слова вырываются у нее вслух, и, может быть, кто-нибудь услышит, но ей не до того сейчас. – Я сестра Кармела!

Ей кажется, будто внутри – в какой части этого нутра? – тяжело откатывается назад ледяная волна.

– Ох ты ж распротреклятая чертовщина... Ты... монахиня, что ли?

– Нет.

– Но говоришь – «сестра»...

– Мирская. Третий орден доминиканцев. Тебе-то что до меня? Откуда ты взялся, Келли? Почему ты со мной разговариваешь?

– Помнишь мое имя, – это голос человека, умирающего от холода, когда ему внезапно дают в уже онемевшие руки бутылку с горячей водой, и он еще пока не чувствует боли, а только – что тепло... – Значит, я все-таки... не совсем...

– Не совсем – что?

– Не совсем... умер.

Умер?

Катерина задерживает дыхание. Жил там, в том городе и умер... Но как можно не знать, жив ты или мертв? Ох, всякое бывает.

– Послушай, – говорит она очень тихо и медленно. – Я не знаю, кто ты и что ты такое. Я не монахиня, но дьявольской работы я повидала достаточно. И знаю, что мертвые не говорят с живыми, а если говорят... то либо это от глубокого горя, либо дьявольское наваждение, либо в бреду. Горевать о тебе мне не с чего, и я сейчас со всей верой как следует помолюсь, и ты исчезнешь. А если ты бред, то... с этим, конечно, придется разбираться...

Она еще со страхом ожидает, что голос снова зазвучит (интересно, кстати, ГДЕ он звучит – в среднем ухе или сразу в мозгу?), но призрак не произносит больше ни слова. И обостренной чувствительности больше нет – она на пробу проводит еще раз ладонью по стене – но нет, стена – это просто стена, и рубашка – это просто рубашка, и ее тело и разум опять, кажется, принадлежат только ей. И когда мирская сестра Кармела встает на молитву – это снова просто молитва, а не огненный щит.

День начинается.

Еще один день той жизни, в которой, как она думала, ничего уже не будет прежним. Она сама позабыла себя прежнюю. Это какую? Ту, до пражских танков? Ту, до танков в другой столице? Ту, которая еще не мерзла и не задыхалась в горах? Которая не плакала часами в больнице миссии в Аргентине? Нет, это было уже по другую сторону, по настоящую, это памятно сердцу и телу, это – то, что есть. Это сестра Кармела. А Катерина – сон, детский, сладкий, каких уже не будет.

Спать ложиться тяжелее всего. Днем Катерина работает, двигается, смотрит и слушает. Она должна быть сильной, умелой и твердой. Она и учительница, и распорядительница, и врач, и ма-

стерица. Старшая. Ну или хотя бы равная среди равных. Почти. Тень среди теней женщин и девушек. Такое же горе. Такая же судьба беженки, изгнанницы.

Но все эти годы – рядом никого, и ночью в особенности. Только тьма, гулкая и пустая. Только страх и тоска. Катерина ночует одна, потому что других женщин здесь нет, но даже если бы здесь и был кто-то из них, все едино, потому что они такие же точно: шепчут молитвы, напряженно вслушиваются в темноту. Плачут. Все они со своими мертвыми, думает Катерина, укладываясь, но...

Но разве их мертвые не отвечают так же? Или, может быть, как раз отвечают?

Сегодня все как обычно – молитва на ночь, но вдруг Катерина понимает, что легла не навзничь, как обычно, а свернулась под одеялом как ребенок. Что она не ждет со страхом каждой минуты наедине с собой. И что вообще ощущение такое, будто она спиной, затылком, пятками прижимается к чему-то неразличимому, но мягкому и упругому. Будто там резиновая мембрана, что-то... Что защищает ее от ночи.

И она теплая.

Теплая.

«Вот и ты, сестрица, – снова этот голос. – Как дела?»

– Не знаю. Но мне тепло. Давно уже... Очень давно не было такого. Почему так?

«Это, наверное, из-за адского пламени».

– Не шути так, Келли. Не надо.

«Прости. Нет тут на самом деле никакого огня».

– Меня правда это тревожит. Это для меня очень серьезно.

«Что? Есть ли в аду огонь и сковородки?»

– Есть ли ад... вообще. И откуда ты. И почему ты слышишь меня, а я тебя. Ты ведь...

«Ну, говори, говори, что я?»

– Если ты и вправду мертв, то тогда... Тогда это называется «инкуб», и я не должна...

Она слышит его смех. Резкий хриловатый смех, обжигающий.

«То есть у тебя сомнения есть – злой дух ли я или просто так, бред какой-нибудь?»

– Это не смешно, Келли. Мне почему-то с тобой... хорошо. Но ты пойми, я...

«Mo chara, я и сам не знаю, кто я и что я такое сейчас. Что-то со мной случилось. Больно было, очень больно, потом я вроде как бы увидел себя... снаружи, что ли. А потом все потеряло смысл. Я как будто забыл, что такое смысл вообще. Все стало какое-то... никакое. Что ты говоришь, хорошая моя?»

Она ничего не говорит. Пересохшим от внезапного страха горлом она шепчет: «И со мной... И со мной тоже... А если... Если это я умерла?»

«О, нет! Нет! Как ты можешь быть мертвая? У тебя же там целый мир есть, я даже чувствовал то-то. Что это было там? Одеяло? Стена кирпичная? А у меня тут нет ничего, совсем ничего нет, и это очень страшно. И холодно, так холодно, я даже не могу объяснить, до чего...»

Я знаю, шепчет она, почти теряя сознание. Холодно. Страшно холодно и темно. В горах. В горах ночью.

«И тут я вроде как бы опомнился. Тепло. И это тепло, этот огонь – это ты. Единственный огонь, который тут есть, и весь свет... Я как будто снова стал... понимать себя, что ли. Слышишь?»

Она не слышит. Она оцепенела и уплывает по ледяной реке, повторяя про себя то, что твердила чуть не каждую ночь эти пятнадцать лет: «Я мертвая... Я мертвая...»

«Нет же, ты живая! Живая! Ох, сестра, не надо так! Что ты делаешь, сестра!!!»

Ее будто подбрасывает на постели. Она вдруг ощущает сильный жар в руках, в ногах, в пальцах – такой похожий на боль, которая грызла ее изуверенное холодом тело там, в той аргентинской миссии. А душу грызет до сих пор.

Это призрак зовет ее, кричит отчаянно и громко: «Сестра! Сестра! Не уходи! Не гасни! Я тут, с тобой, не бросаю тебя!»

Это не тот голос, который она хотела бы услышать. Но этот голос – он там, где долгие годы не было ничего вообще. Она вздрагивает, и слезы текут, не останавливаясь, словно внутри у нее

– бесконечное море, и вдруг сквозь собственные всхлипы и рыдания она слышит что-то непонятное. Это слова, знакомые, но они наполняют слух знакомым ритмом: «*Аур нахэр... Ата арнэв... Го нафер дайним... Го тага до рехт...*»

И можно легко продолжить: «Как и мы отпускаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь».

Келли?

Что это?

Ты... молишься?

Он отвечает не сразу, тишина длится почти столько же, сколько нужно, чтобы начав, снова прийти от «Отче наш» до «Аминь»:

«Молюсь. Это все, что я помню. Что же мне еще было делать?».

Обычно Катерина исповедуется в конце недели, но ждать еще три дня никак невозможно, и эта утренняя исповедь мучительна. Доверие, надежда, страх, стыд – все перемешалось, все перепуталось. Катерину ожидают ее мастерицы, скоро будут ждать дети в школе, но все пошло не так из-за этих ночных молитв с призраком. После исповеди Катерина должна бы успокоиться и окрепнуть, но нет – душа все равно будто переходит пропасть по стеклянному мосту. Катерина чувствует себя больной – словно у нее припадки, когда все время ожидаешь, что вот-вот опять...

Она сидит в своей комнатке и ждет. Нельзя с таким сердцем, с такими мыслями идти сейчас к детям. Она достает из ящика стола толстую тетрадь. Это дневник. Катерина пишет на том языке, который для всех других тут мертвый. Не существующий.

Она пишет по-чешски.

«Отец Луис говорит, что Господь не всегда посылает ангелов, и что в его власти открыть даже ворота ада, чтобы грешная душа вышла оттуда и напомнила о себе. Чтобы я могла молиться за него.

Может, в этом и есть смысл. Но он все равно предостерегает от разговоров.

Искушение.

А еще отец Луис сказал, что ад – это отсутствие надежды. Тогда я, наверное, в аду. Хотя там же не может быть ни священников, ни Церкви, что я как дурочка, в самом деле... Но если считать наверняка доказанным, что я жива и не умерла (потому что в аду не бывает Церкви?) – то все равно, ад, наверное, не должен слишком уж отличаться от обычной жизни. Вот Мария Игнасия (муж пропал, брат сгинул, отец умер, детей трое) – разве не адская мука ее жизнь? Или у старой Кармен – тоже одна-одинешенька, болеет. У Пако нет ни отца, ни матери, тетке он не больно нужен... Их разве не грызет боль – душевная и телесная? Вся их надежда – это я и еще несколько братьев, а мы же далеко не ангелы...

А я сама, что ли, не мучаюсь в аду каждый день, каждую ночь... Говорят, каких-то грешниц в аду заставляли наполнять водой дырявую бочку. Дурацкий бесконечный труд, тщета усилий, непонимание – тоже ад. Но я-то тружусь не напрасно?

Просто моя работа безнадежна. Я никому не могу вернуть счастья. И мое не вернется никогда. И бочка моего долга не наполнится.

Боже, послал бы ты мне надежду.

Но надежды нет.

Разве что... нет. Нет».

...Когда бывает, что сон снится всему телу сразу. Не только мозгу, или легким, или ногам... Катерина спит и не понимает, что это за сон, но проснувшись, даже еще только просыпаясь, она знает, что произошло.

Неважно. Что это было. Красные цветы. Рыбозмеи. Золотой огонь. Море.

Сон, несомненный, как вкус кофе на губах.

Как удар током.

И, как от удара током, ноют мышцы.

Она старается думать медицински. Потому что латынь. Ей нужна латынь. Прямо сейчас. Но мысли тоже будто перетряхнуты сразившей ее судорогой, и она не может вспомнить ничего, кроме – inferno. In Fer No.

Ад.

Ад.

Меня ожидает ад.

Она лежит спиной на очень узкой полоске реальности. Кроме этого есть еще только точка в ней, черная волна, красная волна – страх. Стыд. Ад. За этот огонь – гореть мне в аду, думает Катерина в отчаянии, половина ее мозга вспоминает нужные слова, но они белые и холодные, как жемчужины, и они падают с языка, как жемчужины с порванной нитки... и сгорают... и сгорают... а посланцу ада все равно, он и так уже здесь.

«Катерина, *то chara*, да что с тобой?»

Все это уже было однажды.

Задышавшись от гнева, Катерина сползает с постели, сбрасывает ночную рубашку... Голая – а то он не видел ее голой, а то он не...

Она снова пытается собрать жемчужное ожерелье молитвы, она становится в умывальной комнате на ледяные плитки, она включает воду – ледяную воду в душе. Вода, злость, страх, слезы, ее колотит, зуб на зуб не попадает, слова снова укатились во тьму, но ей все мало, и она успевает несколько раз ударить себя по лицу, прежде чем выходец из ада непонятно как перехватывает ее руку.

«Опомнись ты, женщина, – он сердится, он тоже испуган, но по-другому. – Да что ж ты делаешь-то, в самом деле».

Изыди, почти хрипит Катерина, я же с ума сойду, уйди, уйди, ради Бога, ради дьявола, ради кого угодно!

«Ох ты ж хрень господня. Женщина, если ты каждый раз так будешь швыряться под холодный душ... мы с тобой долго не протянем».

Мы с тобой? Да ты...

«Ведьма, чисто ведьма, – бормочет ночной дух, отступая в неведомые глубины, и все же не уходит далеко. – Чего ты так взбеленилась, ну подумаешь, сон приснился сладкий, с кем не бывает, тут радоваться надо, а она чуть в окно не сигает...»

Сон? Приснился?

Да разве это не твоя работа?

«Моя? Я даже обнять тебя не могу!!!»

Катерина плачет.

Она плачет в душевой, плачет, пока бредет вслепую в спальню, плачет, сидя без сил на кровати, завернувшись в пахнущее овцой одеяло. В общежитии холодно, ее бьет резкая дрожь.

«Я ничего не могу, – говорит пленный дух внутри ее памяти. – Не могу завернуть тебя в еще одно одеяло. Не могу вытереть тебе волосы. Не могу принести чаю. Растереть тебе руки и ноги. Не могу лечь рядом с тобой и просто тебя обнимать, не говоря уже о чем другом. Видит тот, кто видит, Катерина, я все бы это сделал для тебя, потому что сейчас ты все, что у меня есть – и ты плачешь, и тебе плохо и страшно, и я бы, конечно, с удовольствием занялся бы с тобой любовью, чтобы ты успокоилась и уснула... если бы мог. Но нет же. Я только... Может, вспоминаю тебя, что ли...»

– Уж прости, но как именно ты меня там вспоминаешь?

«С любовью. Как бы еще? С любовью и еще...»

– Что?

«Я бы хотел... Я... Прости меня, Сида. Мне бы еще тогда у тебя прощения попросить, ну... Потому что я тебя обидел, очень обидел ведь. Тогда. Мне бы просто любить тебя. Нельзя было так, как я... Назло, нарочно... Особенно в те дни. Прости меня, прошу. Если можешь».

Она молчит. Чувство тепла словно отдалилось, но нет и того, к чему привыкла – ледяного ветра из ниоткуда. Ночь – просто ночь, и может быть, еще немного... немного того, что может вмещать память. Ночь пахнет лимоном и табаком, душистым перцем, женщиной и мужчиной, обидой и одержимостью, и вдруг...

Вдруг все это уходит и оставляет ее опять в темном холодном ночном одиночестве.

– Я не держу на тебя зла, Келли О’Шонесси. Было и прошло. Я давно тебя простила.

Вот. Вот и все. Теперь он уйдет. Видишь, все не так страшно. Теперь он уйдет, и все будет как обычно – по крайней мере, бестревожно. Потому что терпеть это все... Колебаться все время, как на лезвии, отчитываться перед отцом Луисом каждую неделю, а то и чаще... Сознаться ему в том, что она...

Что она помнит. Что разговаривает с ним. Что даже сейчас вспоминает те их несколько безумных часов вместе, когда каждый в мыслях был с другим, и оба – с одним и тем же, и вот это и был настоящий, самый серьезный и неисповедимый грех, но...

«Но это все прошло, моя Сида. Спи. Спи, ничего не бойся».

Катерину словно подбрасывает, она испуганно всматривается в темноту, словно ожидает увидеть там адское зарево и страшный призрак.

– Ты... Ты тут еще? Ты не ушел?

«А я должен был? Да и куда мне уходить, милая моя, я же и так нигде? Ложись, ложись. Спи. Я тут тихо побуду с тобой... где-нибудь. Не буду смотреть. Трогать не буду. Но останусь тут, рядом. Спи, Катерина, спи, сестра моя. Сказать тебе еще раз “Отче наш”?»

Ее вдруг разбирает нервный смех.

– Нет, нет, Келли, спасибо, но... Не надо. Я тебе верю. Я...

«Да не говори уже ничего. Спи, сестра-огонек. Я, может, согреюсь немного. Спокойной тебе ночи».

И вот, не веря самой себе, она снова укладывается на бок, как маленькая, бормочет: «Спокойной ночи» призраку своего бывшего случайного любовника и засыпает.

Спит спокойно.

«Он называет меня Сидой. Что это значит? Почему?»

Что означают эти его молитвы, если он не верит в Бога и не стремится к тому, чтобы я за него молилась? Я думала, что прошу его, как он просит, и он успокоится и уйдет, но нет. Что-то, видно, его еще терзает. Я хочу (зачеркнуто).

Я не знаю, чего я хочу. Как сестра Кармела я хочу, чтобы он утешился и замолчал. Чтобы он увидел свет. Не мой, настоящий. Горний. Тот, которого я сама еще не видела. И, как сестра, я для этого готова делать все что угодно, даже говорить с ним... Нет. Как сестра, я должна только молиться за него. Как женщина, я хочу только разговаривать с ним.

Потому что тогда я чувствую, что я в ночи не одна.

Потому что я слаба».

– Келли.

«Что, милая?»

– Келли, а что такое «Сида»?

«Девушка из холма... Ну, такой дух».

– Я не дух.

«Нет, конечно. Просто после того, как я... Как мы с тобой поругались тогда... Я ее видел несколько раз. А она рыжая, в синем платье. Точно как ты. Напророчила мне, что я умру ужасной смертью. Сказала: убегай, но счастья не будет... Так и вышло. И убежал, и счастья не было, да и смерть, кажется, была дурная».

– Тогда почему ты меня так называешь?

«Потому что я думал, что это ты».

– Нет. Это не я. У меня нет привычки являться людям. К тому же это Симон.

«То есть?»

– Это же Симон тебе сказал, что нужно уехать? Он всем это говорил.

«Нет. До меня он не успел дойти. Я раньше слинял. Из-за Сиды. Но вообще на Симона это похоже. Он всегда обо всех заботился».

– Ты... Очень его любил?

«Очень, да. Я до него влюблялся часто, но это же как пришло, так и ушло. А он мне будто в сердце воткнулся, как нож я его поймал. Но я был ему не нужен. Как и ты, милая, как и ты».

– Что ты несешь, Келли! Он был мой друг. Лучший друг.

«Мой тоже. Но и мне, и тебе – нам ведь обоим этого мало было, я прав?»

Она молчит. Потому что сказать: «Да», – это уже как-то... жутко. Вместо этого она говорит:

– У тебя хоть немного было...

«Ох, да сколько там было той любви-то! Я хотел его всего, и себя всего отдал бы, но... Но только он почти ничего от меня и не взял – несколько ночей да вот имя, которое я ему дал. И сам мне из того, то у него внутри было, ничего не отдал. Ничего из того, что у него было для других. Для тех, кто ему на самом деле важен. Вот как тот *чинито*».

– *Чинито*? Хайме?

«Вот видишь, ты даже имя его знаешь».

Катерина ощущает волнение.

– Келли, да ты... Ох, Боже мой, да ты что, думал, они любовники?

«А разве нет?»

– Нет.

«А почему же он тогда...»

– Что?

«Ну... Бросил меня – ради него ведь».

Катерину бросает в жар. И Келли тут ни при чем. Сами по себе щеки пылают, и тысячи острых иголок втыкаются в подушечки пальцев, в запястья...

Все было не так. И так. Воспоминания наплывают одно за другим – рада бы остановить, но не может. Как нелюдимый угрюмый подросток какое-то время ошивается в редакции и оттаивает только при виде Симона... Потом сам Симон, озабоченный и сердитый. «Ты понимаешь, что он тебя провоцирует?» Черная тонкая Симонова сигарета, горький дым: «Я обещал присмотреть за парнем... Хорошенький присмотр получается. Я ему даже объяснить не могу, что к чему, еще не хватало, чтобы это все так выглядело, будто я его... совратил! Невозможно же, абсолютно невозможно и... Вот черт, ну и положение!» Две тени за матовым стеклом двери – надо уйти, нельзя подслушивать, но... «И как я вернусь? Как я тебе могу доверять, когда ты... С этими... С этим! Тьфу, гадость!» И твердый тихий голос Симона: «С кем я сплю – это тебя не касается. Но есть еще другие дела, который касаются нас обоих. И они... важнее всего остального. Возвращайся в город. Учись, работай. Ты знаешь, что на мое слово можно положиться».

AAAAAAAAAA!

Катерина вздрагивает, воспоминания рассыпаются и исчезают.

«Ох же, адовы сковородки! Вот оно что! Целомудренный, сука... Я ему, значит, просто мешал...»

– Келли, ты что?

Он не слышит. Он давится какими-то хриплыми словами – ничего не разобрать, наверное, какие-то ругательства, а потом снова кричит. Просто кричит.

Катерине очень страшно, еще и потому, что она вдруг словно видит его похожим на тех... правда, все измученные люди похожи... И сестра Кармела становится главной.

– Келли, – говорит она тихо и твердо. – Келли. За руку меня возьми. Дыши.

«...не только потому, что кричал. Я быстро опомнилась. Понимала, что кроме меня никто его не слышит. Понимала, что он не может дышать там, где он сейчас, и что еще раз он не задохнется. Но дышать – это все, что может человек, когда ему очень больно. Он не мог, и мне пришлось положить руку себе на грудь и сказать – повторяй за мной. Он все-таки успокоился.

Это было так странно, как будто я и в самом деле обнимала его.

Как будто он... Вошел в меня. Ко мне. Не в том смысле, в котором раз за разом тогда входил... Но все-таки, видимо, немного и в том. Никаких огненных струй или райских цветов, я даже не почувствовала ничего из того, что знаю о своем теле. Но что-то между нами произошло.

Как я буду в этом исповедоваться – ума не приложу.

Не знаю таких слов».

«Теперь я чувствую его и днем. Пришел со мной в мастерскую Марианы, дочери доньи Хосе-фы. Думаю, что выглядела я немного странно – потому что это он трогал лоскуты, вырезанные из старых пододеяльников, детских кофточек и мужских рубашек, внимательно рассматривал коврики и, кажется, пытался вместе со мной пить крепкий кофе, которым угощали работницы. Мариана потом сказала мне: «Если бы не знала вас столько лет, решила бы, что вы влюбились, сестрица... Улыбаетесь вы будто сами себе, и взгляд у вас такой стал... помягче. Надеюсь, это вам Господь утешение послал за все, что вы для нас делаете». А я ответила, что Господь послал мне испытание. «Святая вы женщина, сестрица, – отвечала Марианна, – раз вы Божьи испытания с такой радостью принимаете».

Знала бы она...»

«Спросил: “А твоя арпильера где?”

Моя?

“Ну да, твоя. Ты же тоже, как они... Почему бы тебе не сделать – на память... О нем?”

И вот я теперь шью».

«Я тебя в прошлый раз напугал...»

– Вчера.

«А! У тебя там есть “вчера”. “Завтра”. У меня нет. Все как-то сразу и близко, и далеко. Я, наверное, поэтому так орал. Потому что вот же где-то тут эти проклятые “Мальвы”, вот я в глаза его синие смотрю, – “Подсолнух мой...”, а вот, видишь, измерен, взвешен и признан негодным... Не стоящим каких-то его дел, которых и вообразить-то не хочу...».

– Это, наверное, очень горько.

«А то. Я вот даже тебе завидую».

– Почему?

«Ты для него что-то значила. Ну вот, как ты рассказываешь, что он тебя спас».

– Ох, Келли. Ну, спас. А теперь я перед ним в долгу, и как выплатить – не знаю. А я тебе завидую.

«Из-за того, что я...»

– Ну да...

«Ох, Катерина... Ну вот ты представь, вдруг что-то такое случилось, не знаю даже, что – чтобы он себе изменил... Ну, дал бы он тебе то, чего ты хотела... И что? Кричала бы тоже вот, да плакала, когда бы стало ясно, что есть что-то другое, что-то важнее тебя? Он ведь прежде всего себя соблюдал. Свое дело. Поэтому и меня бросил. И, знаешь, как вот с девушками расстаются: “останемся друзьями”... И остался. Друг, которому от меня ничего не надо. А мне-то он был нужен. Его солнце. Его свет. Его душа. Но что бы я ему взамен дала? Тело свое умелое, и все?»

– А любовь? Этого мало разве?

«Да черт же его знает... Что ему была та моя любовь. Что я вообще был – кожа, пальцы, губы, все такое прочее... Как будто души-то во мне и не было. Невыносимо это, сестра. Я на себя его глазами посмотрел – и все, уже не мог жить как раньше. Словно сам себе изменил. Все делал так, будто он стоял у меня за спиной и следил».

– Ну даже если и так. А вдруг он смотрел на тебя с любовью?

«Вряд ли. Но это все ерунда, кто знает, что живой бы вообще сказал... И почему это было так важно для меня? Разве есть такое правило – чтобы это было важным? Я сам выбрал мерить свою жизнь по нему – что ж тут удивительного, что оно стало никчемным? Ты вот выбрала сама быть в неоплатном долгу – что ж тут удивляться, что ты заживо умерла?»

– Ох, Келли, ты страшные слова говоришь. Разве жить для других – это умереть?

«Да я вон и умер, только попробовал... А ты – ты вспомни, что сама о себе говорила: "мертвая, мертвая"... Нет, милая, видишь, в чем разница между нами и им? Он себя строго сохранял, никому не позволял ослепить себя. А мы ему позволили. Потому мы сами виноваты. Что уж об этом говорить. Таким, как он, судьба, видно, – светить, оберегать. Заботиться – но не любить. Я только любил тебя несколько часов – а спас-то тебя он».

Несколько часов. Несколько часов, когда кто-то – нет, не кто-то, а именно он, Келли, – был с ней. Смотрел на нее. Касался ее – не только тела, но еще и души, измученной и замерзшей. Несколько часов тепла, после которых уже – только лед и мертвый камень. Ее последний мужчина. Ее...

– Ох, прекрати. Келли, прекрати! Замолчи!

Она не может говорить, она всхлипывает. Ей больно, но это не та боль, привычная, притупленная годами и безнадежностью. Эта – новая, острая, внезапная. И она не может сопротивляться, потому что это знание. Много знания – много боли.

«Хорошая моя? Я обидел тебя? Тем, что ругал его тут?»

– Нет, – наконец отвечает она. – Нет. Я плачу, Келли, потому что Господь так решил, наверное... Чтобы я... Чтобы мне любить только мертвых.

«Снова ты из-за него плачешь. Бедная моя. А я даже слез твоих вытереть не могу! Что за судьба!»

– Не только, – шепчет она, не может молчать. Не может. – Не только. Что за судьба!

Келли с минуту молчит. Потом голосом, осипшим от напряжения – как это может быть? – но сейчас она уже ничему не удивляется. – спрашивает:

«Это что же... И из-за меня тоже?»

Катерина молча кивает. Страшно говорить такое, но она кивает. Она не знает, видит ли это Келли или чувствует еще как-нибудь. Но он отзывается – и в этот раз голос у него почти удивленный. И почти гневный.

«Но я же... Я уже не мертвый! – и, словно воздух глотнув, снова: – Мы оба больше не мертвые...»

– Нет, – очень тихо, почти неслышно отвечает Катерина.

Потому что я должна жить своей жизнью.

И наступает тишина – совершенно отчаянная.

«Он спросил – почему роза? Что это означает?»

Удивительно, но он, кажется, в каком-то смысле слепой. Я знаю, что он может смотреть моими глазами – тогда все становится каким-то немного другим... Но в этот раз он еще и потрогать захотел. Я разрешила.

Подсолнух вышел такой, каким мы его оба помнили. Высокий, стройный, лицом кверху, к солнцу. Но вся арпильера была желтая, черная, зеленая и коричневая. А мне почему-то ужасно не доставало там красного. Может, просто увидела у кого-то из мастериц алые лоскуты. Уж не знаю, из чего они их нарезали – цвет был такой густой, не вылинявший. Я попросила несколь-

ко штук... И сложила из них розу. Прямо поперек стебля подсолнуха. Она там светилась, словно кровавая звезда в венке из зеленых листьев и шипов. Большие шипы получились, торчали, как единорожьих рога.

Он потрогал ткань.

“Подсолнух. Так. Так. А это...” – и что-то сказал на своем языке, что-то вроде: «Гьялем, агэс рос...» и тут же пояснил: “И роза. Роза. Почему она здесь?”

“Потому что это ты”.

“Я? Матушку мою звали Роза, Роуз, но я-то почему?!”

Ох, любимый, что тебе сказать... Может быть, потому, что роза всегда напоминает про свою дикую суть – как бы пышно ни цвела, а все старается выпустить веточку шиповника. А еще она нетерпеливо ждет тепла, жадно впитывает воду, свет, воздух – и вырастает пышным высоким кустом, иной раз почти даже деревом. Роза гордая, стойкая, цветет до самых морозов, да и потом еще нераспустившиеся бутоны остаются на стеблях... Скорбная она и радостная, щедрая и тайная. Неуловимая.

Иногда он словно слышит мои мысли. А может быть, просто совпало.

“А еще у нее шипы вон какие, – говорит он. – Я тоже... С шипами”.

О, я знаю, любимый, я знаю».

И правда, Келли похож на розу – растрепанную, огненную. Он очень окреп за то недолгое время, что они разговаривают по ночам и общаются днем тем странным способом, когда он будто вмешивается в зрение или другие чувства Катерины. Когда она чувствует себя странно. Очень странно.

«Родная моя. Моя любовь... Ведь ты теперь единственная моя любовь, а я весь твой, сколько осталось... Как было бы хорошо знать, что ты мое пристанище. Что я могу быть жив – хоть бы и через тебя, через твои глаза и душу...»

О нет, думает она, чувствуя, как искушение ядовитым медом течет из-под той невидимой преграды, что их разделяет – течет и облепляет, склеивает волю... О нет. Только не душу. Нет.

– Ты... Пытаешься войти слишком глубоко. Келли, есть места, куда тебе нельзя. Нельзя тебе быть мной.

«Но я и не хочу быть тобой. Я только хочу жить через тебя, насколько можно. Разве же нельзя, любимая? Это как секс, такое же слияние, но не навсегда. Чего ты боишься?»

– Гм... Э-э-э... В сексе я впускаю... Впускала тебя только в тело.

«И в сердце тоже».

– Келли, это другое. Ничего не говори про мою душу. Даже не думай об этом. Я даю тебе смотреть своими глазами, чувствовать мир своей кожей, ты иногда можешь даже ощущать вкус того, что я ем или пью. Но моя душа – это только мое. Нет. Нет. Не заговаривай со мной о моей душе, не делай этого со мной.

Он тяжело вздыхает и замолкает. Молчит, как могила. Как целое кладбище.

«Вдруг спросил – каким я его помню?

Сильным.

Физически крепким.

Неудержимым.

Нежным.

Желанным.

Молодым.

Отчаянным.

Грубым.

Глупым.

Одиноким.

Я разволновалась, вспоминая, даже дыхание перехватило, а он снова сказал с отчаянием: “Что за судьба! Так мне и надо...”

Ох, горе мне, он же был такой живой – глаза золотые, голос как мед, руки теплые... И душа у него была, была, что бы он там ни думал, что бы не говорил – как огненная птица она у него была, я же видела... Бедный... Последний мой. Последний. Любимый.

Любимый мой, как же мы сами себя разделили тем, что могло бы нас соединить, а теперь...

Теперь между нами что-то неведомое. Что-то такое, чего и не измерить. Чего не заполнить словами.

И нельзя протянуть руку сквозь эту пустоту».

Арпильеры и мороженое

– Сестра Кармела, там к брату Матео пришел человек, он хочет посмотреть наши арпильеры.

– Я сейчас приду.

У брата Матео в конторе сидит молодой мужчина в джинсовых штанах, в синей куртке. Немного полноватый, симпатичный, как плюшевый медвежонок, голубоглазый. Длинные волосы, стянутые в хвостик. Он смотрит на Катерину... потом снова смотрит на нее, и на его милом лице появляется какое-то странное выражение. Будто он озадачен. Или нервничает.

– Это сестра Кармела, она вас проводит. Сестра Кармела, это сеньор Карре, он фотограф.

– Провожу, – отвечает Катерина, – только два слова скажу брату Матео.

Фотограф торопливо кивает и выходит из конторы. Сумка его остается лежать под стулом.

– Так что ему показать?

– Третью кладовую.

В третьей кладовой хранятся такие коврики, что если их увидит посторонний... Даже сейчас. Даже сегодня.

– Брат Матео, мне все равно нужно спросить, вы уверены?

– Да.

– Он нервничает.

– Подумайте сами, сестра Кармела, он ведь к нам не о районной детской кухне договариваться пришел. Но это надежный человек, я его знаю. Я с ним общался раньше по розыску пропавших, он искал... своих.

– Нашел?

– Увы, нет. Что называется, бесследно пропал человек. Вы просто покажите ему все. Он покупать не будет, наверное, но сделает фото для книги.

В этой безоконной кладовке арпильеры сами как в тюрьме, думает Катерина, отворяя тяжелую обитую металлом дверь и зажигая зарешеченную лампочку под потолком. Пахнет джутовым волокном, пряностями (во многих мешках перевозили перец), анилиновыми красками.

Фотограф оглядывает комнатуху – в ней на трех столах стопки арпильер. Он берет несколько штук, раскладывает на свободном пространстве и не то вздыхает, не то хочет что-то сказать, но не решается. Стоит и смотрит, прикусив губу. Катерина знает, на что он смотрит. Все равно, тут на что ни глянь – на эту ли, где женщина стоит у окна, или на эту, где мужчин вытаскивают из дома, а над всем этим огромная полная луна, или на эту, где все лежат лицом вниз...

– Здесь очень темно, – говорит он наконец. – А... нельзя их куда-нибудь вынести, где побольше света?

– Нет, к сожалению. Вы же понимаете. Нельзя, чтобы это увидели... случайные посетители.

Он кивает, потирает лоб в задумчивости. Роеся в сумке, достает экспонометр, замеряет и прикидывает...

– Хорошо, сестра, я попробую, – кротко говорит он наконец. – У меня очень хорошая вспышка, совсем новая, должно получиться. – И снова ныряет в сумку, достает хитроумно изогнутую лампу.

На левой руке у него, там, где обручальное кольцо – два пальца не гнутся, безымянный и мизинец, это видно, когда он собирает фотоаппарат, прилаживает вспышку. Ничего особенного, мало ли у кого может быть сломана рука.

– Катерина.

О нет, только не сейчас. Ты видишь, я занята.

– Катерина. Дай мне... посмотреть. Пожалуйста.

Он очень взволнован.

– Пожалуйста. Я, кажется, его знаю...

Ну хорошо. В конце концов, пусть еще и Келли посмотрит. Хотя все равно, если этот человек из DINA, он уже видел все, что не нужно было видеть. Катерина делает вдох и выдох...

И Келли узнает его.

– Бо! Бо Финне!

Фотограф вздрагивает и роняет арпильеру, которую только что разглядывал.

Оборачивается и видит бледную, страшную, ледяную сестру Кармелу. Или нет.

– Что вы сказали?

Он весь сейчас как воплощение буквы «О»: широко раскрытые глаза, расширенные зрачки, приоткрытый рот. Непонятно, замечает ли он адскую подграничную возню: «Немедленно прекрати! – Дай посмотреть! Дай мне поговорить с ним! – Да ты с ума сошел, О'Шонесси, сиди тихо!», и чувствует ли он хоть чем-нибудь, как гнется и пружинит невидимая мембрана, в которую колотится всей оставшейся сущностью буйный дух.

Катерина-то чувствует. Это вокруг нее корчится и волнами идет белый свет. Но надо стоять ровно, дышать по возможности тоже ровно.

– Бо Финне, – повторяет он и наклоняется поднять коврик. – Вы сказали «Бо Финне»...

Он сидит на корточках и смотрит на нее снизу вверх, с лицом, залитым лихорадочным румянцем – это видно даже в полумраке кладовки.

– Это было мое прозвище... А я все думал, – он встает и бережно кладет арпильеру на стол, и левая рука с негнущимися пальцами задерживается, чтобы погладить выпуклое шитье. – Я все думал, откуда я вас знаю... Я вас видел... Однажды... давно. Но у вас такое лицо... незабываемое... Выходит, Келли и вам рассказывал...

Катерина кивает, она не может говорить, потому что Келли все еще здесь, и он в ярости.

– Вы очень бледная, – говорит Бо Финне, фотограф Бенедикт Карре, – тут и правда духотища такая. Простите меня, я еще недолго... просто... Они такие... Я...

Катерина наконец невидимым движением заталкивает разъяренного Келли в глубину: «Сволочь! *Damnu ort, a bhitseach!* Я тебя ненавижу...»

Теперь можно.

– Не беспокойтесь, – говорит она твердым, ровным, спокойным голосом. – Делайте вашу работу. Я в порядке.

Он действительно принимается за работу, выбирает арпильеры, раскладывает их на столе под лампой, примеривается, делает снимок – раз, два, три раза щелкает затвор. И спустя несколько минут все-таки начинает говорить – благо смотреть на Катерину ему не нужно.

– Значит, вы его тоже знали...

– Кого, простите?

– Келли. Ну, Келли О'Шонесси, это же он мне прозвище придумал. Я давно его не видел... Лет семь-восемь... нет, больше, да в семьдесят восьмом он был здесь.

– Да, мы... были знакомы, – отвечает Катерина.

Фотограф делает еще несколько снимков молча. Потом замирает с фотоаппаратом в руках, будто задумавшись.

– Он хороший человек. Станный, но... хороший. Беспокойный. Вечно что-то делал, придумывал, все вокруг него кипело... Эх... давно прошли те времена. Где он сейчас, не знаете?

Это больно. Когда ты – тюрьма из мягкой плоти, из хрупких костей, из несильного духа... Это больно.

– Он... умер.

– Ох. Не может быть. Как же это?

– Несчастный случай.

Бо наконец поднимает на нее взгляд и сам меняется в лице: начинает быстро, не глядя, разбирать фотоаппарат, укладывает его в сумку.

– Пойдемте, сестра. По-моему, вам совсем нехорошо. Мне... очень жаль.

– Это ничего, – отвечает Катерина, но она и сама уже снаружи, и запирает арпильеры на два замка, не забыв погасить свет. – Не беспокойтесь обо мне.

– Как же не беспокоиться, у вас такой вид, как будто вы привидение повстречали там... Конечно, эти... коврики, они... Тяжело это все, я понимаю. Знаете, я ведь помню вас в лицо, но не помню, чтобы мы как-то встречались. А сейчас каждый человек из тех времен... до этого всего... он дорог. И нас все меньше. Вот и Келли, вы говорите... Ох, печаль, простите, если я что не так, я ведь ничего не знаю... Я вот что хотел спросить...

– Так спрашивайте.

Фотограф останавливается. Голубые глаза его смотрят тревожно.

– Все вас называют «сестра»... Но вы... не носите монашескую одежду?

Это верно. На ней черная юбка – но не в пол, и белая блузка. Она похожа на учительницу.

– Вы мирская сестра, верно?

Хоть этому не надо объяснять.

– Я почему спрашиваю... если бы вы были монахиней, я бы не мог даже спросить, но раз вы в миру живете... Скажите, не могли бы мы встретиться?

– Встретиться?

– Да. Понимаете, я... Когда вы сказали... Меня очень давно так никто не называл. С тех пор, как... Если вы не хотите об этом говорить – не надо, но я бы даже и помолчал бы о них с кем-нибудь. С кем-нибудь, кто знал... Вот, простите, сказал все, – и он, как школьник, достает из кармана платок и вытирает лицо.

С кем-нибудь помолчал бы.

– Хорошо, – отвечает Катерина, ощущая внутри сосущий холодок. – Хорошо.

И вдруг, подхваченная потусторонней волной, добавляет резко:

– Только знаете что? Где угодно, кроме «Апельсина».

У Бо – кофе, у Катерины – кофе и мороженое.

– Ну вот, – говорит фотограф, теребя край скатерти. – Как-то так и получилось. Можно сказать, легко отделался. Я думаю, они просто хотели напугать. Условный рефлекс такой как бы... «нет такого человека и не было даже». Чтобы я не искал.

– И вы...

– Ну, нет, – Бо вздыхает. – Понимаете, ведь тут как вышло... Ведь оно понятно, что и рука срастается, и ребра тоже... и ожоги... ну, заживают, в общем. И спустя какое-то время уже совсем не больно, совсем. А вот что остается навсегда – так это страх такой липкий, склизкий такой, когда носом, извините, в пол лежишь и со всем белым светом и с самим собой прощаешься, – он отхлебывает кофе и его передергивает – вот это вот... Вот чтобы этого не было, я потом снова... потихоньку... Не сразу, конечно, все-таки я не герой, но потихоньку. В викариат даже вот обращался.

– Брат Матео сказал, что ничего не нашли.

– Не нашли. До казарм еще как будто есть какой-то след, намеки... а потом просто ничего. Священника не вызывали, это все, что они знают... А человек просто исчез, и все.

– Могли и не вызывать, – как-то рассеяно отвечает Катерина, – он, мне кажется, не был настолько религиозен.

– Так что не знаем и, наверное, уже никогда не узнаем, – тихо говорит фотограф. Он не смотрит в этот момент на Катерину и не видит, как странно она меняется в лице – рот будто сползает вниз и вбок, расширяются зрачки, словно от внезапной боли. Ложечка звякает, и Бо, вздрогнув, продолжает:

– Удивительно, как вы сказали – только не в «Апельсине»... А обо всем этом в последний раз так вспоминал именно там. Когда Келли приехал...

– Я помню.

Бо Финне наконец-то поднимает глаза, и это все, что он успевает сделать, прежде чем вовсе не Катерина накрывает его руку своей.

– Бога ради, – говорит это существо, – посиди спокойно. Просто посиди и посмотри на меня.

Фотографу очень, очень страшно. Он не может даже кивнуть. Даже моргнуть не может. Конечно, это совсем другой страх, не тот, о котором вспоминал только что, но парализует он точно так же. Вокруг жаркий вечер, людный город, солнце садится в океан, и Бо видит, как острые тени скользят по лицу напротив, будто скальпели: резче стали скулы, глубже уши, удлинились в разрезе и потемнели глаза, изменилась линия рта.

И голос тоже изменился.

– Она правду сказала, Бо. Я умер. Почти. А потом оказалось, что я могу ее слышать. Говорить с ней могу. Вот я ее и попросил... на время.

У говорящего при этих словах дергается рот. Бо, наконец, переводит дух.

– Ну что ты все тарашись? В кои-то веки вылезешь черт знает откуда поговорить с человеком, а он только глаза пучит! Сказал бы уж что-нибудь! Ты пойми, я ж не знаю, сколько она выдержит там...

– Где?

– Ну, там... – собеседник пожимает плечами. – О, кофе... это ее? Я допью тогда, – и припадает к почти остывшей непочатой чашке, и счастливая улыбка расцветает на лице.

– Я... просто не знаю, что тебе сказать, – выдыхает Бо наконец. – Ну... не спросишь же: «Как тебе там?».

– Хреново, – отвечает Келли. – Там – хреново, брат мой Бо Финне, и если что – торопиться туда не надо. И мороженое я ее доем, а то вон уже растаяло...

Он придвигает вазочку – совсем не так, как это сделала бы Катерина, – быстро глотает, замигает. У Бо начинается мерзнуть душа, а Келли, кажется, счастлив как ребенок.

– Черт, извини, Бо, я... так давно не пробовал... я почти забыл, как это...

Келли ест и пьет, потом шарит рукой по одежде – похоже, ищет карман и ничего не находит, хмурится, лезет в Катеринину сумочку, снова хмурится...

– А, черт, я же бросил курить, а она не курит, ну да ладно. Живой... Хорошо как, Бо, как хорошо... Все-таки у тебя сигаретки не найдется?

Бо отрицательно качает головой, и Келли порывается встать, но его, кажется, не держат ноги. Он наконец поднимается из-за стола, но тут все и заканчивается – глаза стекленеют, закатываются, и Бо едва успевает подхватить обморочное тело Катерины.

Расставание

Фотограф страшно смущен. «Мне очень жаль, – бормочет он, – надеюсь, мы еще с вами свидимся...» Со мной, думает Катерина, потирая лоб. Со мной. Или нет. Домой бы... то есть в общепит, туда, где постель... И лечь.

Фотограф ловит такси. Сажает Катерину на заднее сиденье, сам садится впереди, называет адрес и больше не произносит ни слова. Помогая ей выйти у общежития викариата, на мгновение берет за руку. У него теплые ладони. У Катерины – ледяные.

Ледяная и постель. Подушка как камень, одеяло как доска. Катерина ложится поверх, не раздеваясь. Врач хотел... хотел впрыснуть что-то, снотворное, кажется. Катерина отказалась. Налил лекарство в смешной стаканчик с делениями, хотел, чтобы она выпила – густое, бесцветное, горькое даже на вид. Она отказалась снова. У нее ясная, очень ясная голова, и очень ровно бьется сердце. Катерина не спит и знает, что не будет спать, покуда не сделает то, что должна сделать. Время пришло.

Очень тихо, очень темно. Ни молитвы, ни даже мыслей. Просто ожидание. Он придет. Он не может не прийти. И его нужно встретить. А пока – тишина.

«Катерина... Катерина... прости меня».

Катерина мысленно считает: раз, два, три, выдох. Теперь можно.

– Келли. Бывает так, что прощения просить нет смысла.

«Потому что я настолько... мерзавец?»

– Нет. Не в этом дело. Потому что все меняется. После некоторых... вещей.

«Я понимаю, что я тебя напугал... Все-таки прости меня, пожалуйста».

– Келли. Я не буду тебя прощать. Я хочу, чтобы ты понял. Мы не будем с тобой жить так. Ты и я.

Келли не отвечает. Но пространство между ними буквально ходит ходуном. Тонкое пространство. Узкая клетка, в которой она была. Не забыть. Не забыть. Не сбиться. Я сделаю все, что нужно. Все. Чтобы ты больше никогда не мог повторить такое, как сегодня.

«Ты настолько... ты так меня ненавидишь, Катерина?»

– Не ненавижу. Но я теперь не доверяю тебе. Я не смогу жить, ожидая, что ты в любой момент попытаешься взять контроль на себя.

«Я ненадежен».

– Ты ненадежен. Ты... С тобой нельзя договариваться. Понимаешь?

«Катерина, – его голос становится хриплым, как если бы мертвецу и в самом деле не хватало воздуха. – Катерина, за что... то есть я понимаю за что, но ради Бога, ты же в него веришь, может быть, ты дашь мне еще шанс? Я... не выдержу во тьме, не оставляй меня во тьме, Катерина».

– Ты не выдержишь. Это правда. Я тоже это знаю. И я тоже не выдержу там... в пограничье. Но я живая, Келли, и это моя жизнь. Это мое тело. Мой разум. Я не могу поделиться им – во всяком случае, не с тобой. Ты... ненадежен.

«Боже мой, – шепчет дух, призрак, – один только раз, один раз – и ты уже насовсем проклят... Катерина, я тебя прошу... Пожалуйста...»

– Нет.

«Пожалуйста. Я очень тебя прошу. Я обещаю тебе, я клянусь, Катерина... Ты даже говорить со мной не будешь?»

– Об этом – нет. Я хочу, чтобы ты ясно понял: мы не будем больше с тобой договариваться о том, как ты можешь... жить... об меня.

«И ты... думаешь, я соглашусь? Вот так просто сдамся на твою милость?»

Катерина чувствует, как он пытается повторить то, что было всего несколько часов назад – пытается оттеснить ее, занять все пространство, завладеть ею. Катерина в ответ начинает дышать на счет – так, как ее научили на медицинских курсах, так, как должны дышать женщины в родах. Незнакомая боль сводит мышцы, тело выгибается почти в дугу, но она все равно продолжает дышать и считать. Нельзя сбиться. Иначе боль станет неконтролируемой. Наконец приступ прекращается. Можно перевести дух.

«Хорошо. Сопротивляешься. Но это пока ты не спишь. Когда ты уснешь...»

– Когда я усну, да. Ну, у тебя будет спящее тело. Или снохотящее тело. Или тело без управления – ты видел сам. Но потом я все-таки проснусь и буду бороться за себя. Я перестану спать.

Перестану есть. Я буду больна. Я буду вести себя странно, буду падать в обмороки, как в кафе. У меня будут припадки, вот как этот. Как ты думаешь, чем все это закончится?

«Чем?»

– Больницей. Сумасшедшим домом, если угодно. Ты сможешь забрать то, что останется, если я не выдержу. Но все, что у тебя будет – это тело больной женщины, полумертвое от лекарств. Никакого мороженого, только галоперидол. Может быть, еще электрошок в придачу. А это ведь не та жизнь, какую бы ты хотел получить.

«Нет».

– Ну вот, видишь. Келли, я не могу делиться. Не с тобой. Не тем, чего ты хочешь. Мы прекрасно с тобой вспоминали и... плакали, но от тебя осталась та часть, для которой жить – это дышать, пить, есть, заниматься любовью. Этого в тебе было много... и это то, что сохранилось лучше всего. И это не то, с чем... с кем можно делиться. Ты обязательно захочешь всего.

«Откуда ты знаешь?»

– Ты тоже это знаешь. Ты даже сейчас пробовал.

«Потому что мне... у меня нет другого выхода. Я... хочу жить, хотя бы через тебя. Катерина, любовь моя, давай договоримся...»

– О любви только не говори, Келли. Я не могу так.

«Почему?»

Она отвечает не сразу.

– Потому что я... тоже хочу жить, Келли.

«Ну так живи! Разве я... если я буду сидеть тихо, разве я помешаю тебе?»

– Это ты-то – тихо? Ты уже не сидишь. А мне надо будет держать тебя там... где я и сама не смогла быть. Держать тебя на цепи, понимаешь? Долго ли мы продержимся так в мире и согласии?

«Что же мне делать? Это что же, выходит, или... мне, считай, убить тебя, или... Ты понимаешь? Или тебе...»

Тишина весит тонну. Или две. С усилием, чуть сильнее, чем нужно, разделяя слова, Катерина наконец отвечает:

– Или мне помочь тебе умереть.

У Келли вырывается крик – такой, что Катерину снова подбрасывает и выгибает дугой.

«Ты не можешь! Я – живой! Я хочу быть живым!»

– Это ты не можешь, Келли. Не можешь быть живым, как ты говоришь, «через меня». Ты застрелял, и доставались тебе крохи какие-то из милости...

«А я думал, из любви...»

– По соглашению. Из сострадания. Из того, что... соблазн, одиночество, Келли, мне очень тяжело говорить это все. Но это была нечестная сделка. Неправильная.

«Потому что я для тебя злой дух? Суккуб?»

– Инкуб. Нет. Не знаю. Просто я очень... я ощущаю очень сильное сопротивление тебе, Келли. Я не могу пустить тебя в себя. Тут занято, понимаешь?

«Кем? Твоим богом, твоими ангелами? Твоим... Симоном?»

– Нет. Нет. Если бы. Просто мной. И это... понимаешь, это очень важно! Я думала, что я... что меня нет. Что осталась только оболочка, только печаль, даже имени не осталось. Но ты пришел и...

«Назвал тебя по имени, дурак я...»

– Назвал по имени. Говорил со мной. Дал мне плакать не в одиночку, не в подушку, не в тишину, которая не отвечает...

«И ты назвала меня по имени. Говорила со мной. Выпустила меня из темноты, а теперь заговариваешь обратно?»

– Не обратно, нет. Послушай еще раз, что я тебе скажу: у тебя нет тела больше, но осталась – не знаю как – воля. Келли, если бы у меня было тело без воли, разве я не отдала бы его, просто из милосердия?

«Отдала бы?»

– Если бы у меня не было воли жить.

«А она есть?»

– Да. Она есть – благодаря тебе.

«Я, значит, редкий дурак... сам все испортил. Мог бы тихо зайти, пока ты спала... тогда... в самом начале...»

– Но ты не зашел тихо.

«Нет».

– Потому что ты не мог тихо. Потому что ты не вор. Ты какой угодно – но ты не вор. Может быть, как считает отец Луис, тебя со всей твоей любовью и дружбой и вправду послал ад... но если Бог хочет помочь, то он может приказать и Сатане открыть ворота ада... и прислать тебя...

«Катерина, что ты говоришь... Весь ад – это тишина, и тьма, и холод. Десять сантиметров океанской воды, два метра ирландской земли сверху. Никакого Сатаны и никакого Бога. И ты хочешь, чтобы я вернулся туда, потому что не можешь меня вынести... Ну так прекрати уже говорить. Давай, делай. Что там у тебя для этого? Распятие? Святая вода? Отец Луис?»

– Это если бы триста лет назад... Но я думаю, что ничего такого не нужно. Келли, мы с тобой если и не одной веры, то одного обряда. Когда... когда в нашей вере человек мучительно умирает, когда душа никак не может расстаться с телом... читают специальный чин, отходную молитву. То, что для тебя, наверное, не сделали там... тогда, в общем

«Это просто какое-то безумие, – бормочет Келли, – «чтобы живую душу... заживо... что ж ты за человек-то, Катерина?!»

– Ты сам когда-то говорил, что я твоя сестра. Это так и есть, Келли. Я твоя сестра милосердия.

«Ох, ничего себе, милосердие...»

– Милосердия, да. И я медицинская сестра. Если все, что я могу для тебя сделать – это взять за руку и вывести из этого... из этого каменного мешка, из этой адской щели так, чтобы самой там не застрять... я это сделаю.

Катерине кажется, что она слышит тяжелое бурное дыхание.

«Вывести, – наконец говорит Келли. – Вывести. И куда же ты меня выведешь, милосердная... сестра? На эти ваши... тучные пажити? Что со мной будет, скажи мне, святеница, Сиди проклятая, куда я иду?»

Катерина отвечает не сразу.

– Я не знаю, Келли, – говорит она, и голос ее дрожит. – Я... не знаю. Но я могу тебе точно сказать, что ты не вернешься туда... в это вот... в страшное это твое место, откуда мертвые говорят с живыми. Где ты ни жив, ни мертв.

«Как ты можешь знать, женщина?»

– Знаю. Те, кто ушли с миром – они молчат. У них если и не свет, то хотя бы покой. Я тебе обещаю, Келли. Если вся моя вера хоть чего-нибудь стоит, если стоит хоть капельку моя, – она отсекается, не договорив. – Словом, я знаю, что делаю.

«Я не верю в ад. И не верю в рай. Я не верю тебе, Сиди. Я не хочу умирать. Разве это так трудно понять?»

– Ох, Келли...

Она замолкает. Нет. Ничего из того, что застряло комом в горле, нельзя сказать. Нужно просто стоять на этой черте – и назад ни шагу, и вперед тоже.

«Что за судьба! Того упустил. Теперь тебя лишают навеки, – глухой смешок. – И ничего не успел. Ничего. И ты же права кругом, Сиди. Ты вот тут хотя бы дело делаешь свое, пользу... да все равно, живешь в себе, со смыслом – а как бы я жил, если бы правда было можно... Не давал бы тебе делать твое, и свое не мог бы... Что за судьба! Но как подумаю, что жизнь вот здесь, только... только выдохнуть и вдохнуть... и что ее все равно нет – так изматывает это вот... туда-сюда... Ты сильная, Сиди. Ты такая сильная. А я очень устал. Совсем нет сил. Ты... правда будешь держать меня за руку, пока я не кончусь... совсем?»

– Пока ты не уснешь. Да.

Тишина. Медленные неровные толчки с той стороны границы, словно вправду там – человек, которому не хватает воздуха. Тяжелобольной или раненый. Умиравший. Катерина и сама дышит с трудом, как будто десять сантиметров океанской воды недвижимо стоят вокруг, густея и превращаясь в ледяной песок.

И тут Келли вдруг говорит – негромко, но и не шепотом, очень внятно:

«Хорошо. Давай сделаем это».

Катерина вздрагивает и... нет, она не спит, не спит, но медитативная пелена, в которую она себя погрузила, сворачивается мгновенно и все чувства снова становятся острыми до боли. До боли. А ее будет много.

– Дай руку. И... повторяй за мной.

Она ощущает его хватку в левой руке, откинутой в сторону – жгучую хватку мертвеца, не то огонь, не то лед, и еще она слышит, как он из последних сил бормочет – нет, не слова молитвы: «ну вот... точно про пажити... Я же говорил... и на кой мне это все...»

– Келли, – строго и ласково говорит она, – Келли, дай мне делать свою работу, хорошо? Это старый способ, не хуже других. Тебе ведь там страшно?

«Очень».

– Ну вот. А это как лекарство. Как морфин, ты понял?

Он смеется. Он тихо смеется, а Катерина думает, что если кому и нужен сейчас морфин, так это ей, но ей нельзя. Она в бдении при умирающем, она должна быть в сознании. И она начинает снова, и упрасивает Бога принять эту душу, и упрасивает душу быть стойкой, и снова возвращается туда, к бесстрашному путнику в темной долине, и старается наполнить всю себя теплом, и верой, какая есть, и видением лугов, по которым им не гулять, и пажитей, да, пажитей непаханых, и ручьев, и покоем мирного сна, наконец, – пока десять сантиметров прилива поднимаются и навсегда, до последней Трубы отделяют ее от Келли О'Шонесси, и морская вода превращается в слезы. Просто в слезы.

Концерт

Это был билет на концерт. Кусочек бумаги с датой – 13 октября, год, имя выступающего.

Катерина медленно положила его на стол. В конверте была еще записка: «Уважаемая сестра, приходите, потому что ему теперь разрешили. Буду ждать. Искренне ваш, Бенедикт Карре».

Вдохнула. Четыре года, – да, четыре года прошло с последней встречи. Фотограф напоминал о себе разве только открыткой на Рождество, и вот теперь это...

Катерина знала эту историю – как английский певец написал песню о тех, кто танцует сам с собой: «Танцуют с теми, кто умер, с теми, кто без вести пропал, танцуют с братьями, мужьями и сыновьями... Танцуют одни. Одни». Генерал тогда был уже не ястреб, а старая унылая сова, но выступать в стране певцу запретили. И песню запретили. А теперь он приехал. Катерина вспомнила тех женщин, которые действительно выходили на улицу с самодельным плакатом: фото, имя, строчка других сведений – где исчез, когда. «ВЕРНИСЬ». «ПОМОГИТЕ НАЙТИ». «ВЕРНИТЕ ЕГО».

У Катерины такого плаката не было никогда. Она медленно прошла вглубь комнаты, открыла шкаф с бельем. Снова вдохнула. В ящике, запертом на ключ, под стопкой полотенец нащупала арпильеру. Ту самую. С минуту стояла так, водя пальцем по грубой мешковине, по бывшим рубашкам, платяицам, платочкам... Ни с кем она уже не делила это прикосновение. Не с кем было. Но она помнила.

Все знали, что в программе будет та самая песня. Поэтому по пути Катерина видела немало людей с памятными плакатами – большими и маленькими, у некоторых просто на одежде было

пришпилено фото. У Бо не было и этого. Только полоска бумаги с именем и фамилией Симона – над карманом куртки.

– У меня фото не осталось, – сказал он, словно извиняясь. – Все уничтожил...

– Ничего. Вот, возьмите. Я... Давно хотела вам подарить.

Она вытащила из сумочки туго свернутую арпильеру.

– Что это?

– На память. Держите.

Бо развернул пакет.

– Ох. Вы это сделали? Это... о нем?

Катерина кивнула.

– А роза? Это вы?

– Нет.

Фотограф всмотрелся в шитье.

– Я, кажется, понимаю, – сказал он тихо. – Извините, что спрашиваю, но... он тоже пришел?

– Он умер, – сказала Катерина, удивляясь тому, что голос звучит так твердо. – Он умер, Бо. Все умерли.

«И я хочу с ними проститься», – но вслух этого не сказала.

На стадионе они прошли в загородку, выстроенную прямо на поле. Люди прибывали, долго играла музыка – прекрасные мелодии, хорошо известные. Потом вышел певец. Стадион загудел, замелькали фотовспышки, на большом экране появилось лицо – крупно, хорошо было видно. Певец поздоровался, сказал, что рад приезду, рад возможности петь свободно, что...

– Бог ты мой, – сказал Бо. – Мне вдруг показалось... Но нет же?

Нет. Этот человек не был похож на Симона. Но ему – намного более молодому, конечно, – сейчас было примерно столько же, сколько Симону в тот страшный год, и он был такой же светловолосый, загорелый и голубоглазый. И двигался так же свободно, и словно тянулся кверху. И улыбался похоже – сурово и нежно одновременно.

Песня была медленная, задумчивая, и с самого начала из толпы стали выходить и подниматься на сцену женщины с плакатами. А те, кто оставался на поле, стали разбиваться на пары. Резкий голос англичанина, его чуть ломаный испанский – с акцентом, – все это отступило от Катерины. Остался только Бо и его руки.

– Сестра, – сказал он шепотом. – Не откажите ради них.

Она не отказала.

Они танцевали вдвоем, прижавшись друг к другу, закрыв глаза, а мертвые, погибшие, замученные, забытые – танцевали вокруг, кто сам по себе, а кто и парами, и постепенно их присутствие становилось все менее и менее ощутимо, как будто они таяли в остром саксофонном соло. С последней трепетной нотой Катерина снова почувствовала под собой твердую землю и поняла, что Бо осторожно прижимает ее к себе, а под курткой у него чувствовалась ее арпильера.

Стадион несколько мгновений молчал. Женщины с портретами стали уходить со сцены, им помогали спуститься. И в тот самый миг, когда еще не было музыки, но бешеные аплодисменты еще не разразились, Бо посмотрел в залитые слезами глаза Катерины и тихо сказал:

– Но мы, сестра, дожили с вами до этого дня. Мы – живы.

Эпилог

Воздух был резкий, холодный. Другая вода, другая земля, думала Катерина, осторожно шагая по сырому камню и по траве, легендарно зеленой. Снова октябрь. Тут осень, а там... дома – весна! Но ничего, скоро вернусь, – если будет на то Божья воля, добавила привычно и перекрестилась.

Она немного устала, потому что конгресс был в Дублине, а доехать до Слайго – для Ирландии это было уже целое путешествие. Вокруг нее менялись акценты, речь становилась то мелодичнее, то жестче, вот и по-гэльски заговорили (по большей части это были сварливые немолодые пары – высохшие женщины и старики с выдубленной ветром кожей). Язык показался ей неожиданно похожим на немецкий – некоторые звуки были такие же резкие, гортанные, но ни слова она, конечно, не понимала.

Надо думать, ее английский тоже звучал странно для местных жителей. Кладбищенский сто-рож ворчал и огрызался в ответ на ее вопрос, но потом все-таки развернул какую-то схему и ткнул костлявым пальцем куда-то в дальний угол. «Здесь».

И вот она идет – медленно, стараясь не поскользнуться. Голландская роза – не та, золоти-сто-алая, которые он любил, а обычная, наполовину искусственная, даже без запаха, – немного мешала. Катерина проходила могилу за могилой, не всматриваясь в них, потому что старик сказал что-то вроде: «под деревом». А деревья росли под самой стеной. Вот она и шла потихоньку – как-то уж дойду, хотя бы увижу, где его схоронили.

А другой встрече не бывать.

Он и вправду был там, под стеной – под плитой и под яблоней. Катерина никогда не нашла бы могилу, потому что надписи на плитах были на гэльском, и она ни за что не узнала бы на-писание имени. Поэтому спросила у какой-то женщины, которая шла навстречу, и та, почему-то удивившись, указала ей место. Она даже окликнула Катерину: «Мэм...» Катерина оглянулась, но женщина просто стояла и смотрела на нее. Просто смотрела.

В траве тут и там краснели маленькие яблочки. Катерина осторожно наклонилась и положила розу среди них. По крайней мере, годы можно было разобрать. 1944–1978. Двадцать лет прошло – с лишним. Нельзя встретиться с тем, кто ушел так далеко, как ты. Но я здесь, и обычай велит...

– Мэм?

Катерина оглянулась. Та женщина подошла поближе и смотрела на нее – пристально, с трево-гой. На вид средних лет, ближе к сорока, бледная, черноглазая, в бесформенном пальто, в косын-ке, из-под которой выбивались темные кудри.

– Мэм, извините... Но кто вы такая?

– То есть?

– Вы спросили о моем отце. Но вы не здешняя. Никто, кроме меня, не ходит к нему – некому же. Ну, так вы...

– Я его подруга.

Женщина не улыбнулась, не стала смотреть приветливее, а только сказала:

– Я Кейтлин. Он... Я тут с вами постою еще, если вы не против.

Катерина кивнула и повернулась к могиле. Она молилась про себя, как делала это – за упо-кой – годами, но здесь и сейчас молитва казалась ей не очень уместной. Счастье человеческое – не знать ничего наверняка. Он где-то. Христианская вера говорила, что они не встретятся, пока мир не перестанет существовать. Мудрецы Востока сказали бы, однако, что он почти наверняка здесь – может, в этой яблоне. Или в камне. Или в той птице, что парила на ветру. Катерина за-кончила молитву, перекрестилась и не слишком набожно улыбнулась, потому что не могла вооб-разить себе Келли духом яблони, вроде дриады, ни камнем, ни даже альбатросом. Вместо этого она вспомнила ребенка, которого видела в автобусе по дороге в Слайго. Совсем маленькое дитя, оно еще даже не ходило, но сидело у матери на руках и с большим интересом все рассматривало. Суровая старуха с тростью нисколько его не пугала (впрочем, Катерина не знала наверняка, маль-чик это был или девочка) – малыш заглядывал ей в лицо, смеялся и что-то бормотал беззубым ртом. Все его интересовало – набалдашник трости, вязанные перчатки Катерины, жесткая ткань ее пальто... Дитя словно впитывало мир – высматривало и ощупывало крохотными пальчиками, прислушивалось к рычанию мотора, щелканью дверей, к гомону пассажиров, – и все это при-

водило его в восторг. Нет, не стоит, невозможно было думать, что его неугомонная душа сейчас учится ходить или сладко спит у...

– Простите, мэ...м...

О. Это же та, как она сказала – Кейтлин? Дочь? Его дочь. Катерина всмотрелась внимательнее. Она совсем не была похожа на Келли, разве что такая же темноволосая.

– Не знаю даже, как вас зовут....

– Зовите меня Катерина.

– Так мы тезки с вами...

– Ну да. Чем могу вам помочь?

– Ох. Не знаю даже, как и сказать. Ну, я про отца. Понимаете, я... очень мало его знала. Привыкла думать, что он умер, раз мама так говорила. А потом вернулся сын старой Роуз... И... Всего несколько недель, и... И я не успела ни привыкнуть, и узнать его толком.

Счастливая ты, девушка, подумала Катерина. Несколько недель. Несколько недель.

– Ну и для меня это вроде как чудо, увидеть кого-то из его друзей... Ну или хотя бы тех, кто его тоже знал. Вы же были ему... друг?

Катерина кивнула. Келлина кровь, точно, – говорливая, пылкая.

– Конечно.

– Значит, у него друзья были... То есть, я хочу сказать, он был... Ох, ну, может, мы не будем тут стоять? Пойдем к нам домой? Муж на работе, дети в школе – попили бы чаю, поговорили о нем? Я ведь толком не знаю, что он за человек был: с одной стороны, вроде и слова доброго не стоит, перекасти-поле, а с другой... Так иногда – прямо сердце болит...

– Скучаете о нем?

– Сама не знаю. Да, наверное. Вот странно, правда? Он маму бросил, когда они оба еще почти дети были... Маме было трудно одной, да еще и это все, ну, понимаете... Незамужняя с ребенком... А он где-то там порхал себе по белу свету... Мне бы его ненавидеть за это, но, – она оглянулась на могилу и вздохнула. – Каким бы он дураком ни был в шестнадцать лет-то... А вернулся – как гром с ясного неба, да и сам как та молния... Сверкнул и исчез... Но вот мой младший, знаете, ходит в ту школу танцев, что он основал – ее все-таки построили и открыли, и денег никто не осмелился украсть. Но школа – это все, что от него осталось, а мне даже не с кем...

– От него немало доброго осталось, дорогая моя, – ответила Катерина, опираясь на руку Кейтлин. – Наши с ним дороги, к сожалению, тоже пересеклись ненадолго... Но я вам скажу – я не жалею, что я его знала.

Господь, кажется, и вправду благословил много чего из того, что ты делал, мой Келли, даже то, что ты делал как грешник, между прочим, не заботясь вообще ни о чем... Господня любовь, наверное, действительно безгранична. Надеюсь, он уж и тебя как-то утешил. Прощай, любимый мой. Прощай.

– Идемте, – сказала она и увидела, что глаза у Кейтлин не черные, а такие же, как у отца – карие с золотыми точками. – С радостью выпью с вами чаю, деточка.

Мария ГАЛИНА

Любовь моя, приди в зелёный дол...

Джон Клэр

Их вагоны полны юных горячих тел,
ценного человеческого сырья,
Стёкла каждый день
отражают какой-то другой вокзал,

И все-таки приди в зелёный дол,
любовь моя.
Чем горячее на рубежах,
тем крепче тыл,
тем пышнее цветет миндаль.

Их вагоны набиты
холодными негнушимися телами,
обувью со сбитыми каблуками,
деформированными подагрическими мысками,
грудами бросового старья,
такого, как ты и я.
И всё-таки, приди в зелёный дол,
любовь моя,
смотри, вот ива у ручья,
вот рвы, заросшие травой,
вот рты, поросшие травой,
вот голос твой.

Разбудим тех, кто еще просыпается
с остальными
потом подумаем, что делать дальше,

Мария Галина родилась в Твери, закончила Одесский государственный университет. Биолог, кандидат биологических наук по специальностям гидробиология, ихтиология. Дебютировала в 1991 году подборкой стихов в журнале «Юность». Участник нескольких международных поэтических фестивалей и антологий. Лауреат многих премий, в том числе «Московский счет» (дважды) и Anthologia. В «Волге» публикуется с 2000 года.

пока земля пролетает тысячу километров в секунду
не сходя с места

гул стоит в цветах на обочине мира
в морях, где мы никогда не будем,
голоса тех, кто предпочел остаться
и не вернуться

мы бы и сами ушли в города у моря
ветер полощет полосатые занавески
прозрачный воздух белый зеленый синий
красная черепица на мокрой брусчатке
лепестки гардений

тополь недвижим времени сколько хочешь
на воде переливаются пятна света
в небе одновременно
луна и солнце

у парапета крохотный ресторанчик
с мангалом и винотекой
на веранде сидят те, кто тебе дорог
потому что это такой город
тишина шуршание волн
мгновенный промельк
велосипедной спицы
чужой язык почему-то
нам понятен
мы бы и сами
за лесами за темными небесами
если б не котик

котика жалко будет искать плакать
не понимать что случилось куда все делись
почему никто никого не будит
то есть наташу.
собственно вот так оно и бывает
столики у моря стоят пустые
набережные песком заносит ветер меркнет
из-за какой-то бессмысленной мелкой твари
некоторые придурки не уезжают
дальше, чем могут...

...И пучит на меня кровавые шары.
Ты тоже царь горы? – Я тоже царь горы.
Я тоже царь горы в короне и плаще,

И нет другой игры от слова вообще.
Будь ты бойцовый эльф или сиди в норе,
В шкафу имея дверь в иное измере,
свирепый чингачгук и даже конь в пальто,
Когда не царь горы, ты в сущности – никто.
Встань, бедный некромант, и сопли подбери,
Смотри, стоит гора с живым огнем внутри.
У ней труба горит, тем более с утра,
Земля ей говорит: приветствую, гора!
Земля лежит ничком, безвидна и пуста,
припудрены снежком интимные места.
Вспоенный молоком тягучих детских травм
Ты лев, хотя не прав,
иди, считай до ста.
Здесь – каждый – милый брат и милая сестра,
а ты один – урод.
ну что ж, тогда цари, чума тебя дери,
жри угли и гори снаружи и внутри,
тот безусловный лох, кто дожил до седин,
ты царь – живи один.
Да ты и так один.

Здесь от края до края стоит непроглядный лес,
протянувшись до самых дальних своих вершин.
человек, который недавно влез
на сосну, самый храбрый из всех мужчин,
рассказывает тем, кто стоит внизу,
что он видит облако и козу.
Облако, говорит он, – как белый мех,
нет, оно словно белый мох,
Отходящий дух, или, одно из двух,
то, что они называют бог.
Там различается что-то вроде лицо,
в нем на рассвете восходит одна на всех
совокупная слава наших отцов.
Нет, оно покрывается серебром,
вырабатывает что-то вроде луча,
думаю, в нем обитает тот самый гром,
чьи кулаки так страшно весной стучат.
Это бездоказательно, но всегда
облако рядом, если сверху льется вода.
Мы, полагаю, тоже уйдем туда,
ибо оно похоже на белый пар,
что испускает каждый, молод и стар,
на перекличке в зимние холода.

Так, бесконечно меняя свои черты,
облако станет сразу и я, и ты...

Его спрашивают, на что похожа коза,
но он только молчит и прячет глаза.

Танцующая в темноте

Свет – это то, что за лобной костью, все равно с какой стороны:
с изнанки страшен, бел – снаружи робок, вял.
Проламывает стенку небес кулаком вины
человеческий материал.
Каждый покидает свой личный родной содом,
каждый вedom стыдом,
каждый выдерживает с трудом
ослепительный взгляд Его грозы,
но куда бы ты ни бежал, неделимый дом
облекает тебя, словно бы околоплодный пузырь.

Ах, какие цветные нам снятся сны!
Все мы – дети войны,
перемещенные лица,
тщетно пытающиеся определиться,
укорениться,
успокоиться,
устояться
наконец перестать бояться.

Так давайте споем и спляшем
наша жизнь – скорее мюзикл, чем экшн
нам, хорошим
иной удел и не нужен...

Так возносится мышь полевая,
постепенно себя узнавая,
так снуют о любви и расплате
комары-толкунцы на закате.

РАДИ ПЕРВЫХ ДЕСЯТИ

Повесть в диалогах

— Я, Саша, так давно живу, что помню времена, когда евреи ещё скрывали, что они евреи.

— Им это удавалось?

— Ну, что ты. Мой тесть так и говорил, стоя в кальсонах у кухонного окна: «Жидовка пошла с первого подъезда». И все в квартире понимали, о ком речь. Она была врачом, кажется, окулистом, но никого не лечила, а только выписывала справки о нетрудоспособности. Ты знаешь, Саша, что значит выписывать справки о нетрудоспособности? Это всё равно что печатать деньги.

— Наша новая директор, случайно, не еврейка?

— Нет. Во-первых, все нормальные евреи даже в третьем колене давно отсюда свалили, а во-вторых, и в то далёкое время евреи редко становились директорами.

— Почему?

— Потому что это не поощрялось. Да они и не стремились быть директорами. Что такое директор? Сплошной геморрой.

— Вы слышали, директор пригласила попа освятить помещения. Какое она имела право, не посоветовавшись с коллективом. Я, может быть, мусульманка.

— Неужели она и правда верит в эту ерунду?

— Какие все стали религиозные. Терпеть не могу всякую моду. Николай Петрович, вы были пионером?

— Ну а как же. Двадцать второго апреля возле памятника Ленину. От волнения вскинул в салюте не ту руку. Как же, помню.

— Ну, и какое у вас теперь отношение к религии? Поменяли вы свои взгляды?

— Раньше я вообще не думал о религии, теперь иногда думаю, но ещё не верю.

— А я считаю, что всё равно что-то есть. Может быть, это что-то не так примитивно, как раньше думали. Ну, что бог — старичок там, где-то на облаке. Это, конечно, всё ерунда.

— Я думаю, бог должен быть в душе. По большому счёту, бог — это совесть.

— Душа, бог, совесть... Вы о чём?

— Нет, всё-таки интересно, она в самом деле верит в бога или разыгрывает перед нами спектакль?

— А за чей счёт этот спектакль? Попы, они бесплатно никуда не ходят, и без денег, может быть, сами не особенно верят. У нас полторы тысячи квадратных метров, вы представляете, сколько это будет стоить?

— Да кто там верит. Ничего, кроме бизнеса.

Николай Николаевич Фоменко родился в 1953 году в г. Россошь Воронежской области. Окончил театрально-декорационное отделение Ростовского художественного училища им. М.Б. Грекова. С 1978 года живёт в Артёмовске Донецкой области. Рассказы публиковались в журналах «©оюз Писателей», «Новый мир», Esquire (Украина), «Новый журнал», «Крещатик», «Отражение» и др. В «Волге» публиковались рассказы (2016, 2017, 2019, 2020).

— Какие вы все страшные. Так нельзя, может, она от чистого сердца. Хочет, чтобы у нас аура хорошая была.

— Вот ещё — аура. Какое имеет отношение аура к христианскому богу.

— Запутали людей. То нет бога, то есть бог.

— Всё равно, как хотите, она должна была посоветоваться.

— Я уйду. Я не хочу при этом присутствовать. И пусть она попробует что-нибудь мне сделать.

— Николай Петрович, вы видели священника? Какой-то он неряшливый. Такое впечатление, что ряса в пыли, вылинявшая, как будто ей сто лет.

— Я не присматривался, я сразу вышел.

— По-моему, нас очень трудно запихнуть назад в веру. Но с другой стороны, подумаешь, что-то должно быть? Вы как относитесь к теории Дарвина?

— Положительно.

— Думаете, он прав?

— Меня убеждает.

— И то, что человек произошёл от обезьяны?

— Все как-то буквально понимают это. Пытаются представить себе обезьяну человеком. Естественно, это не получается.

— А как надо?

— Надо иметь в виду миллиарды неуловимых градаций.

— Но даже учёные не все согласны.

— Что ты от меня хочешь?

— Ничего, просто я уважаю ваше мнение.

— Глупости. Нет у меня никакого особого мнения. Если хочешь знать, я не цельный человек, подверженный сомнениям. Я, Саша, суверен, а это ещё темнее веры в бога. И искусство мне кажется каким-то колдовством. Я никогда не мог соединить произведение искусства с автором. Смотришь на картину, и всё понятно, начинаешь думать о художнике, и не понятно, как он мог это написать, почему он это написал? Человек всегда меньше шедевра. А бывает наоборот: умный, образованный человек и делает какую-то ерунду.

— Николай Петрович, что вы скажете о нашем новом директоре?

— Наденька, директором должна была стать ты.

— Вот ещё. Зачем мне это нужно. Я вас серьёзно спрашиваю.

— А я серьёзно ответил.

— Я не хочу быть директором.

— Не ври.

— Николай Петрович!..

— Ну, ладно. Это хорошо, что ты не хочешь. Мне бы трудно было тебе подчиняться.

— Я бы и не требовала... Но вы меня заинтриговали: то вы говорите, что я должна стать директором, то хорошо, что я не хочу им быть. Как вас понять?

— Не знаю. Я сам не всегда понимаю, что говорю. Так, болтаю языком.

— Ой, ой, так я вам и поверила. Мне вообще кажется, что женщины для вас слишком глупы. Я угадала?

— Ну, не то, чтобы глупы. Почему глупы? Разве ты глупа? Но женщина — это женщина. Понимаешь? Даже слово есть такое: женщина. Им обозначают человека, не похожего на мужчину. А чем женщина отличается от мужчины — это целая наука. Там и гормоны, и внешние признаки. Психика, согласись, другая.

На груди Нади лежал пепел. Николаю Петровичу очень хотелось наклониться и сдуть его. Надя проследила за его взглядом, увидела пепел, смахнула пальцами и ушла.

- Ну, что ваша новая директор, ещё никого не выгнала?
- Почему она должна кого-то выгнать?
- Как же, новая метла по-новому метёт.
- Что в метле может быть нового?
- Ты с нею не спорь, пожалуйста, а то останешься с одной пенсией.
- Хорошо.
- Что хорошо?
- Не буду спорить.
- Я тебя знаю, начнёшь возражать. Она что-нибудь скажет, а ты, как всегда, не согласишься.
- Смотря что она скажет.
- Вот. Я так и знала. Думаешь, ей это понравится?
- А мне какая разница, если она будет говорить глупости.
- Директора не говорят глупости.
- Говорят, ещё и какие. Ты это сама знаешь.
- Всё равно. Делай вид, что всё хорошо.
- Хорошо.
- Что?
- Перестань, прошу тебя.
- Я знаю, что с тобой говорить бесполезно.

— Николай Петрович, это правда, что в ваше время запрещали рок-н-ролл?

— Можно так сказать.

— И что вы тогда слушали?

— Рок-н-ролл и слушали. В плохом, конечно, качестве. Мы тогда жили как в мешке. С одной стороны дикий Запад, с другой — сумасшедший Китай, и только мы как луч света в тёмном царстве. Представь себе, я тоже так думал. Думал, боже мой, какие же там, на Западе, несчастные люди. Италия во власти мафии и красных бригад, Германия со своими неонацистами, Белфаст, Гондурас, Анжела Дэвис в застенках ФБР... и безумный рок, Дип Пёпл. А у нас «Голубой огонёк», Толкунова с Кобзоном, родители на диване, фигурное катание и ни малейшей облачности. Коридор прямой, как прямая кишка, и идти не надо, тебя самого вынесут, даже если ты не хочешь. Высерут тобой, и всё. Я уже даже не человек, я, Саша, какашка Советского Союза.

- Оля, ты сегодня что-то бледная. Правда, Николай Петрович, она бледная.
- Будешь тут не бледная, Рома опять рассчитался. За прошлый месяц не заплатили, он плюнул и ушёл.
- Пусть приходит на моё место, а я уйду на пенсию.
- О чём вы говорите, он рисовать не умеет.
- Я тоже плохо рисую.
- Не прибедняйтесь, он совсем не умеет.
- Господи, кто это поймёт. Даже, если он что-то сделает не так, всё равно он этим никого не убьёт и даже не покалечит. Он же знает, в какую сторону пишется буква «Г», так пусть приходит и пишет афиши вместо меня.
- Мне не до шуток. Я боюсь, как бы он не записался в минёры. Вот вы, Николай Петрович, служили в армии, скажите, это очень опасно — быть минёром?
- Ну, если сейчас берут в минёры кого попало, то, наверно, уже не опасно.
- Почему кого попало, их посылают на шестимесячные курсы, а потом они разминируют серую зону.
- Лучше, Оленька, пусть идёт на моё место. Правда, и тут можно стать инвалидом, но только на голову. А это никому не заметно. Вы же не замечаете, что я инвалид?
- Замечаем, что вы не хотите разговаривать с нами серьёзно.

— Николай Петрович, вы бы жили с моей Наташкой?

— Саша, Бог с тобой, о чём ты говоришь?

— Ну, вы же знаете её.

— Так что из этого?

— Мне кажется, мы надоели друг другу.

— Мы с женой надоели друг другу сорок лет назад. Жена, Саша, это не компьютерная игра. Между людьми существуют определённые обязательства. Ты же обещал её любить?

— Так что, я не могу разлюбить?

— Можешь, разлюбить можешь, но забрать назад обещание не можешь.

— А как же тогда жить без любви?

— Так и жить, делать вид, что любишь. Тут нет ничего особенного, мы сплошь и рядом делаем вид. Делаем вид, что нам не жалко, что нам не страшно, что мы сочувствуем, что нам нравится, ну и, в конце концов, что мы любим. Что тут такого? Это ещё ерунда по сравнению с тем, что приходится делать вид, будто ты живёшь.

— Ну, я бы не сказал, что я её не люблю, но иногда нам не о чем говорить и секса не хочется.

— Саша, я не психоаналитик, разбирайся сам, только не надо перекладывать свою вину на других. Если тебе с нею скучно, это не значит, что виновата она.

Саша покачивал на весу белой кроссовкой.

— У нас сегодня репетиция. Не хотите послушать?

— У нас в кукольном театре, в Ташкенте, была совсем другая атмосфера.

— Что вы сравниваете.

— Как вы думаете, наша новая директор имеет какое-нибудь отношение к культуре?

— Не произносите это слово.

— Что такое?

— Культура кладбище надежд. В неё, как лепестки цветов, осыпаются все, кто не достиг настоящего профессионального мастерства. Простите, Татьяна Викторовна, ради бога.

— Вы слишком строги. Не всем же заниматься высоким искусством, надо кому-то нести его в массы.

— Ох уж эти мне массы.

— Где бы мы ещё нашли работу. Я пробовала в девяностые торговать на рынке.

— Николай Петрович, посмотрите, пожалуйста... Как вам? — Оля надела на голову вязаную шапочку.

— Хорошо.

— А так?

— Нормально. У тебя хороший вкус.

Оля вздохнула.

— Что? Роман записался в минёры?

На её глазах были слёзы.

— Сразу деньги принёс, семь тысяч.

— Нас, Николай Петрович, пригласили сыграть в «Галактике», а после концерта там такие бабы нарисовались... Короче, Наташка мне сказала: «Иди туда, где ночевал». С вами такое случалось?

— Не помню.

— Не хотите говорить?

— Серьёзно, не помню. Вообще-то, я человек осторожный, если не сказать трусливый. Я всегда боялся последствий.

- Наверно, это правильно быть осторожным, а то что теперь мне делать?
- Просить прощения.
- Просил.
- Попроси ещё. Я думаю, она простит.
- Почему вы так уверены?
- Подумай сам, зачем ей эта нервотрёпка, зачем что-то менять? Позлится и простит.
- Хорошо бы. Мне тоже не хочется ничего менять. Вы меня в прошлый раз убедили, можно

жить и без любви.

- Я так тебе говорил?
- Вы не помните?
- Может, ты не понял меня?
- Как? Вы говорили, что можно делать вид, что любишь.
- Да? Надо же, какую чушь я тебе говорил. Без любви — это не жизнь, а господнее наказание.

Пока молодые, ещё куда ни шло, можно отвлечься на работу, подгульнуть. Но, что вы будете делать в старости, когда начнутся болячки, когда нужно будет ухаживать друг за другом, в буквальном смысле выносить горшок? Нет, без любви это превратится в истязание, в настоящую Голгофу. Без любви Наташка станет для тебя чужой отвратительной старухой, которая каждый день будет жаловаться тебе, что у неё болит там и там, а у тебя самого болит, и каждый из вас будет думать, как же ты не понимаешь, что мне плохо. И вместо сочувствия злость, и вчера, и сегодня, и завтра. Жизнь без любви обман. Что такое обман? То, чего нет. Значит, жизни-то нет. Она, как бы, проходит мимо тебя. Ты подумай про это.

- Я что-то совсем теперь не понимаю, просить мне прощения или нет?
- Конечно, проси. Зачем ссориться.

- Николай Петрович, вы ностальгируете по Советскому Союзу?

— Нет, девочки, не ностальгирую.

— Почему? Многие в вашем возрасте ностальгируют.

— Я не люблю вспоминать прошлое. По-моему, прошлое — как грязь, приставшая к ботинкам. Идешь, а за тобой тянутся следы. Нет, лучше не оглядываться.

— Но можно же вспоминать хорошее. У каждого в жизни бывает хорошее.

— Хорошее... да, было и хорошее.

— Вы попьёте с нами чаю?

— Нет, девочки, мне некогда.

- Саша, ты знаешь, почему динозавры были большими?

— Нет, Николай Петрович.

— Потому что в атмосфере было больше кислорода. Значит, организм лучше насыщался кислородом, интенсивнее шёл обмен веществ, быстрее накапливалась масса.

— Вы, наверное, «Дискавери» смотрите.

— Я вот что подумал.

— Что?

— Кислород важная штука. От кислорода зависит, какой ты человек.

— В каком смысле?

— Если организм хорошо снабжается кислородом, человек активен, быстро соображает, полон задора и веселья. Таким сопутствует успех, они выигрывают конкуренцию. Если ты знаешь такого человека, имей в виду, что в нём полно кислорода и пламя внутри горит ярко. Мы привыкли рассуждать про характер, способности, и думаем, что это что-то идеалистическое, не поддающееся материальному объяснению. Ерунда. Всё дело в кислороде. Я подозреваю, все мои неудачи, вся моя тупость от недостатка кислорода. Я тут, недавно, сдал анализ крови. Врач сказал, что у меня пониженный гемоглобин. Понимаешь? Это всё объясняет.

- По-моему, вы нормально соображаете.
- Саша, я не помню ни одного стихотворения, четырёх строк... Мой дядя самых честных правил... — и всё, темно.
- ...Когда в не шутку занемог...
- Вот видишь, ты помнишь, значит, твой мозг получает больше кислорода.
- Если бы всё было так просто.
- Не просто, но это фундаментальный фактор, который лежит в основе. Но во всём, Саша, есть обратная сторона медали. Кислород способствует быстрому окислению, выгоранию, старению. С недостатком кислорода легче сохраниться, как в болоте. Так что у меня есть шанс прожить долго. Покроюсь тиной и буду потихоньку дышать ноздрями. Тоже жизнь. Ты как, помирился с Наташкой?
- Помирился. Она вообще не умеет долго дуться.
- Тебе повезло. А моя после ссоры ни разу первая не заговорила. Мне кажется, если бы я на её глазах начал вешаться, она всё равно не сдалась бы. Вот такая сучка.
- У меня сестра такая. Помню в детстве...
- Саша у вас? Там его новая ищет.
- Татьяна Викторовна, у вас две внучки?
- Три. Две девочки у старшей дочери и одна у младшей. Я, две дочери, три внучки... мы, как соберёмся вместе, представляете, шесть баб. Да ещё если кто-нибудь из студии подойдёт... Ко мне две такие девочки ходят, близняшки... я хочу их на Святого Николая ангелочками сделать.
- Саша, тебе не кажется, что культура пахнет лакейством?
- Это как?
- Ну, вот играете вы с ребятами в кафе, разве это не «что вам угодно». Вы же вынуждены угождать вкусам публики. Я прекрасно представляю, как это выглядит.
- Почему? Мы стараемся предложить свой репертуар. Нам ведь тоже интересно исполнять нами любимую музыку.
- Да, но потом к вам подходит какой-нибудь пижон с деньгами и говорит: а ну-ка сбавьте мне то-то и то-то. Я не осуждаю, просто надо понимать своё место в пространстве. О культуре принято говорить с придыханием, как о высоком, тонком, изысканном.... А на деле это просто шелуха. Семечки в музеях, академических залах.
- Не всем же быть гениями.
- Да я не про то, я про лакейство. Обслуживание культурой. Подайте нам культуры, мы хотим культурно отдохнуть. Чувствуешь себя половым в трактире. Разносишь на подносе культурную снесь, а тебе могут сказать: это плохо сервировано, это не свежо, дайте нам чего-нибудь горячего или острого. Что-то в этом есть пошлое.
- Ну как? Ты познакомился с новым директором? Она очень молодая?
- Не очень.
- Сколько ей лет?
- Выглядит лет на сорок пять.
- Так это уже не молодая.
- Всё равно соплячка. Я одного не могу понять, что у них в голове? Симпатичная, и знает, что симпатичная. Я вижу, что ей нравится быть привлекательной, но зачем тебе в этом случае директорство? Ни один нормальный мужчина не сможет игнорировать привлекательность. Если её хочется трахнуть, какой к чёрту она директор.
- Вот ещё новости, что я слышу?
- А что ты думала? Любая женщина для мужчины потенциальный объект вожделения. Представь себе разнополую пару на необитаемом острове. Неужели там потребуетась любовь?

— Прекрати, тебя противно слушать.
— Конечно, мне самому противно. Сущность, она вообще противная штука, поэтому мы всег-да прячем её за разными выдумками, накрываем голову подушкой нравственности.

— Мы, Саша, давно с тобой не пили.
— Сегодня не могу, у нас вечером репетиция. Оставляйтесь послушать.
— Вам пора подумать, куда свалить отсюда. Надо развиваться.
— Мы думали, но это не так просто. Во-первых, нас нигде никто не ждёт. В Киеве знаете сколько таких. К тому же каждого тут что-то держит: семья, работа. Если бы знать...

— Можешь не продолжать. Если бы знать, что получится и всё такое. Свет мой, зеркальце, скажи... Пойдешь налево — коня потеряешь, пойдешь направо — голову сложишь, останешься в грёбаной Курдюмовке — мхом порастёшь.

— Ну, а что? Наташка мне сразу говорит, где мы жить будем, где деньги возьмём? Вы думаете, я не понимаю, что тут мы не развиваемся? Вы жалеете, что в своё время не уехали?

— Жалею, Саша не то слово, я ненавижу себя за это. Причём то, что не уехал, как бы следствие, а причиной явилась трусость. Мужчина трус. Что может быть омерзительнее.

— Я заметил, вы любите наговаривать на себя.

— Саша, я в том возрасте, когда могу позволить себе быть самим собой. Мне нет уже нужды кем-то казаться. Я довольно неожиданно понял, что быть собой даже интереснее, несмотря на все свои недостатки. Может быть, потому, что ты становишься ни на кого не похожий. Да, невзрач-ный, гнилой, но не похожий. Почему-то это важно и интересно. И вообще, я всё больше и больше себе удивляюсь, как многого я в себе не замечал. Я всю жизнь сравнивал себя, искал схожести с тем-то и тем-то, с Базаровым, Ростовым, Левиным, со знаменитыми художниками, а оказалось, что все схожести скучны, а интересны особенности, пусть даже эти особенности делают меня ник-чемным человеком.

— Николай Петрович, вы не могли бы наточить мне ножницы?

— А-а, Марина. Наконец ты вспомнила обо мне.

— Я всегда о вас помню, только мне идти к вам далеко.

— Да уж, конечно, на другой край света.

— Вы представляете, новая предъявила мне претензии.

— Что же она тебе сказала?

— Говорит, костюмы у коллективов не выразительные. Как будто я их шью.

— И что ты ей ответила?

— Так и сказала: я их не шила, я только храню. «Вот и плохо, что не шьёте». Мне за это никто не платит.

— Ты так и сказала ей?

— Подумала. Зачем мне неприятности. Кто его знает, что она за человек, ещё вьется. Знаете, какие бывают... Вы помните, давно, у нас на базаре точильщик был, грек. Мы с мамой всегда к нему носили ножи точить.

— Конечно, помню: и точильщика, и фотографа, и сапожника. У него ещё кличка была Чи-стим-блистим.

— Да-да, кажется, я тоже помню.

— И парикмахерскую помню... уже на выходе... с печкой. Помню, на печке стоял всегда алю-миниевый чайник и шумел. Так тепло было от пара.

— Тогда же мужчины ещё брились в парикмахерских.

— Да. И парикмахер еврей, маленький, с блестящей лысиной и усами. Я тогда ещё не знал, что на лице могут расти волосы, как на голове и думал, что они у него приклеены. Причём я себе воображал, что волосы для его усов состригли с какой-то козы.

— Вы знаете, что у Оли муж... как это... в сапёры завербовался. Она, бедная, так переживает.

— Ну, вот сегодня можно и выпить. Вы так и не пришли к нам на репетицию.

— Торопился домой. Жена позвонила, кран потёк.

— Отремонтировали?

— Да. Ты сбегает?

— Конечно, я же моложе.

— Много колбасы не бери.

— Почему?

— Да ну её к чёрту.

— К вам новая не заходит?

— Была пару раз.

— Ну да, чего вам бояться, вы на пенсии.

— Ну, Саша, за нас, красивых.

— Вы прошлый раз говорили про холуйство...

— Холуйство...

— Нет... как вы тогда сказали... лакейство, я с вами не совсем согласен. Вернее, я хотел сказать, что в этом нет ничего плохого. Сфера услуг, она и не может быть другой.

— Не люблю я это слово — услуг. Слуга, услужить... Не хочу я никому услуживать. Я профессионал, я знаю, как должно быть, и я так делаю. И никакого услужения в культуре быть не должно. А если заказчик понукает тобой, значит, телега становится впереди лошади. Вкус должен определять мастер. Культура учитель, а не лакей.

— А как же: кто платит, тот и заказывает музыку?

— Это и есть телега впереди лошади. И деньги, и музыка должны быть в одних руках.

— Тогда не будет никакой музыки. Зачем музыка, если уже есть деньги?

— Ты отрицаешь свободный труд и свободное творчество. Ты отсталый человек, Саша.

— Может быть, но я знаю, что сегодня всё в мире делается ради денег, и искусство не исключение.

— Да?

— Да.

— Ну, тогда я старый идеалист. Не ожидал от себя. За нас, умных. Что Наташка?

— Сказала, что теперь будет ходить на все наши концерты.

— Пасти тебя?

— Вроде того. А вы, как, в молодости прелюбодействовали?

— Нет, что ты, Саша. В наше время секса не было. Тогда ничего не было: ни секса, ни рок-н-ролла, ни евреев, ни колбасы, ни сыра, ни сливочного масла, ни обуви приличной.

— Что-то же должно было быть?

— Двадцать четвёртый съезд КПСС был. Вернее, сначала двадцать третий, но мне больше запомнился двадцать четвёртый. Может быть, потому, что я уже работал оформителем, и мне приходилось десятки раз писать тезисы в школы и разные конторы. Я уже думал: ещё год — и я залезу на стол ногами на эти тезисы и повешусь на электрическом проводе, но, к счастью, я дотерпел до конца. Давай, Саша, за нас, терпеливых. Когда-то тут, недалеко, по Леваневского, в бараке была оформительская мастерская. Одно время нас в ней было человек двадцать. И директор был, и за-вхоз, и автобус с водителем, и даже корректор был, как в редакции. Работы было невпроворот, и платили хорошо, а мне было плохо. Может быть, я просто дурак? Ведь мне и сейчас плохо, мне, наверно, всегда и везде будет плохо. Говорят, есть такой гормон, серотонин называется, гормон счастья. Так вот, может дело не в тезисах и не в общественно-политической обстановке, а в том, что у меня в организме нет этого серотонина? Мне просто нечем радоваться. Когда у человека нет зубов, ему нечем жевать, а мне без серотонина нечем радоваться. Я всё понял. Наверняка есть гормон, который нагоняет тоску. Ты не слышал про такой?

— Нет.

— Есть, не может быть, чтобы не было, потому что тоска самое беспочвенное чувство. Я даже привык к тоске. Бывает, что её какое-то время нет — и мне не по себе, чего-то не хватает. Ну, за нас, тоскливых, пить не будем... Выпьем, Саша, за нас... каких?

— Нас страждущих.

— Чего?

— В общем.

— Да, молодец.

— Ты где пил? На работе? Ты что, дурак? Хочешь, чтобы новая тебя уволила, да ещё в трудовую статью написала?

— Какую статью? Я пенсионер, пусть пишет, что хочет.

— Так опозорит на весь город.

— Ты преувеличиваешь мою популярность. Весь город слышать обо мне не слышал.

— Так твои знакомые художники порадуются.

— А вот это идея. Почему бы не доставить людям радость.

— Что с тобой говорить.

— Таня, ты, в самом деле, рассказываешь какие-то страсти. А то я никогда не пил на работе.

— Гарьевна смотрела на это сквозь пальцы, а эта ещё неизвестно, как посмотрит на ваши пьянки. Я больше чем уверена, что она постарается это прекратить.

— Ещё не было такой могучей силы, которая могла бы побороть русский народ со всеми его причудами.

— Не паясничай. Какой ты русский? Ты хохол несчастный.

— Ну, и ничего страшного. Ты тоже у меня хохлушка... обрусевшая.

Николай Петрович полез целоваться.

— Может быть, Рома меня обманывает, чтобы я не переживала, но говорит, что они к минам прикасаться не будут.

— А что же они будут делать?

— Они будут только их искать. Ну, это другое дело, правда, Николай Петрович?

— Конечно. Мы в своё время тоже после стрельб прочёсывали полигон в поисках неразорвавшихся снарядов. Выстроили нас цепью, выдали палки с табличкой — и вперёд. А трава на полигоне по пояс, хрен что в ней найдёшь. Зато ежевики много было.

— Ну и находили или нет?

— Находили. Снаряды, они вообще довольно часто не разрываются.

— Хоть бы они никогда не разрывались.

— Николай Петрович, не может быть, чтобы в ваше время не было секса.

— Саша, ты что, глупый? А откуда бы взялось ваше поколение? Помню, в училище нас каждую осень посылали на трудовой семестр.

— Это как?

— Ну да, откуда тебе знать: как? В какой-нибудь колхоз спасать урожай. Под Батайском, помню, яблоки собирали, в Багаевском районе помидоры. Селили нас обычно прямо в поле в сколоченных из фанеры бараках. Ох и мёрзли мы в них. В октябре уже заморозки бывали. Так вот, был среди нас Вова... Вова... не то Коваленко, не то Коновалов, забыл, он с нами в бараке больше одной ночи не ночевал. Молниеносно находил какую-нибудь повариху, молочницу, а то и бригадиршу. Был всегда чистый, обстиранный, но уставший, засыпал на поле. Были люди в наше время... как там дальше?

— ...не то, что нынешнее племя...

— Вот именно.

— Ну, а вы, не баловались?

- Хочешь услышать от меня какую-нибудь пикантную историю?
- Не хотите, не рассказывайте.

- Здравствуйте, Николай Петрович. Это ваши картины?
- Мои.
- Вы что, абстракционист?
- Нет, что вы, это я просто балуюсь, экспериментирую.
- Балуетесь на работе?
- После работы, в свободное время.
- Почему бы вам не вести изокружок?
- Ну, я, как бы, уже не в том возрасте.
- Если вам мешает возраст, надо сидеть дома.

- Эх, Саша, похоже, дни мои сочтены.
- Что такое, в каком смысле?
- Да так, у новой есть претензии к моему возрасту.
- В таком случае она просто дура. Где она ещё найдёт такого специалиста, как вы.
- Я подозреваю, он и не нужен здесь такой. Не то чтобы я был о себе высокого мнения, но, согласись, то, чем мы тут занимаемся, полная чушь.

- Так нам и платят ерунду.
- И платят ерунду, и требуют ерунду, и, вообще, ответь мне на такой вопрос: зачем я учился отличать Мазаччо от, скажем, Пьера делла Франческо? Ну, понятно, мне самому это было интересно, но неужели общество не могло бы воспользоваться моим знанием?

- Шли бы преподавать.
- Я пробовал, но меня задолбали писаниной, проверками и просто некомпетентностью. Теперь она требует, чтобы я вёл изокружок, вытирал шестилетним девочкам сопли. Я представляю эту картину: старик, окружённый современными малышами. Мне их матери кажутся детьми. Нет, она права, возраст есть возраст.

- Николай Петрович, вы давно женаты?
- Давно.
- Мы к дню семьи готовим чествование семейных пар. Не хотите с женой поучаствовать?
- Да, что ты, Надюш. Господь с тобой.
- Почему? Спонсоры хорошие подарки приготовили. Чем отдавать их чужим...
- Нет, и не выдумывайте. Тем более, что у нас нет никакого юбилея.
- А сколько у вас?
- Тридцать с чем-то...

- Таня, на день семьи у нас будут чествовать счастливые семейные пары.
- Да? Кто же это такие?
- Ищут.
- Ещё не нашли?
- Не знаю. Хотели предложить Татьяне Викторовне, но оказалось, что она вдова.
- И никто не знал?
- Забыли. Потом думали Сашке предложить, а они с Наташкой не расписаны. Нам предлагали, но я отказался.
- Почему? Мы что с тобой, не счастливая пара?
- Счастливая, но неудобно.
- Я бы и не пошла. Нечего цирк устраивать.
- С микрорайона насаживают. Слушай, а что если я рассчитаюсь?

- Начинается. Я так и знала, что новая тебя выгонит.
- Что значит выгонит? Никто меня не выгоняет, просто...
- Просто... Ты не забывай, какая у тебя пенсия.
- Так что мне теперь, до самой смерти работать?
- Не знаю.

— Николай Петрович, у меня к вам дело: одна моя знакомая хочет заказать портрет мужа с фотографии. Вы как? Не могли бы сделать?

- Татьяна Викторовна, я с фотографий не пишу.
- А как вы пишете?
- Да уже никак.
- Почему? Неужели вам помешает лишняя копейка?
- Да как вам сказать, копейка, конечно, не помешает, только я не хочу зарабатывать её таким образом.
- Я вас не понимаю, как художник ещё может заработать?
- Я думаю, ваша знакомая не знакома с живописью. Ей просто нужна большая фотография, но при этом, чтобы она могла сказать, что обращалась к художнику.
- Но почему вы так думаете? Вы же её не знаете.
- Мне и не нужно её знать, я знаю наш город. Я скорее напишу портрет бесплатно, чем за деньги, потому что в нашем городе, если я возьму столько, сколько это стоит в самом деле, меня примут за сумасшедшего. Поэтому я и не пишу портреты и вообще не пишу.
- Как у вас всё сложно. В таком случае, может быть, вы знаете, к кому можно обратиться?
- Обратитесь к Андрюшко, я дам телефон.

- Так что это за разговоры про увольнение?
- Я, Таня, пошутил.
- Хороши шуточки. Ты знаешь, сколько сейчас газ стоит!
- У меня что-то в боку колет.
- В каком?
- Вот здесь...
- Сходи к врачу.
- Серёжка не звонил?
- Звонил.
- Как у него?
- Нормально. Слава богу, перестали стрелять.
- Думаешь, надолго?
- Чёрт их знает. Всего можно ждать.

- Не хотите с нами чаю?
- Я бы водочки.
- Мы боимся, нам скоро и чай запретят пить. Вы какого мнения о новой?
- Кислая дамочка.
- Это как?
- По-моему, она слишком серьёзно отнеслась к своему назначению. Это признак глупости.
- Вы очень категоричны, Николай Петрович.
- Я вообще противный человек.
- Неправда.
- Ты, Марина, добрая. Для тебя, наверно, не бывает плохих людей.

— К сожалению, бывают, но я никогда не скажу об этом человеку в лицо, потому что если человек дрянь, он всё равно этого не поймёт. Только заработаешь себе лишние неприятности.

— А по-моему, надо говорить человеку, что он дрянь. Вещи надо называть своими именами.

— Не судите, не судимы будете.

— Ох, уж эта мне библия... Там специально всё так написано, чтобы на все случаи жизни было, и вашим, и нашим: трудись в поте лица своего... птица не сеет, не жнёт, а питается... Не поймёшь...

— Ты, Надька, богохульница.

— Бросьте вы. Николай Петрович, поддержите меня.

— Я когда-то, девчата, давно, в одной из школ оформлял «Музей атеизма», а в девяносто третьем на него повесили табличку: «Музей истории религии». Как правильно сказать: в лоб или по лбу? Мне другое не нравится: не нравится, что религия присвоила себе духовность, нравственность, мораль. Всё, что помимо религии, бездуховно, безнравственно, аморально. Я этого не понимаю. По какому праву? Объясните мне? Только религия заботится о духовности... Чушь.

— Но, если вы не верите в бога, значит, вы и в существование души не верите, а без души какая духовность?

— Душа — это сознание. Как можно не верить в сознание? Вместо «духовность» можно сказать «сознательность».

— Ну... сознательность... как-то по-школьному. Это про сознательного ребёнка.

— Да нет, всё дело в стереотипах, в привычке понимать так, а не иначе.

— Печенье, девчонки, вкусное.

— Татьяна Викторовна, почему вы к нам не заходите, мы только что чай пили.

— Да я заглянула, а у вас тут Николай Петрович.

— Ну и что?

— А-а, не люблю я его как-то.

— Почему?

— Какой-то он, мне кажется, неискренний, и любит говорить гадости.

— Наоборот, он очень откровенный, поэтому и получают гадости.

— Николай Петрович, догадываетесь, зачем я вас пригласила?

— Нет.

— Я возвращаюсь к вопросу об изокружке. Если вы не можете или не хотите вести изокружок, мне придётся кого-то пригласить. Но тогда я буду вынуждена забрать у вас полставки. Так что на вашем месте я бы подумала. Неужели это так сложно — два три раза в неделю позаниматься с детьми?

— Не сложно.

— Так в чём дело?

— Я подумую.

— Только не долго.

— Терпеть не могу, когда ты вот так сидишь. Напихал полон рот и замер. Что уже случилось? Уволила?

— Нет.

— Так в чём дело? О чём задумался?

— Так просто.

— Ешь.

— Что интересно: ты сама выбирала себе такого мужа, чтобы можно было управлять, а теперь тебе не нравится, что я размазня.

— Отчего ты так решил?

— Что?

- Что я выбирала? Какой попался, такой и попался.
- Как в капкан?
- А кто вам виноват, что вы попадаетесь.
- Действительно, кто нам виноват. Тестостерон виноват.
- Что ты там бурчишь?
- Ничего. Сейчас вообще живут не расписываясь.
- Мир катится чёрт знает куда. Придумали какое-то ЛГБ... не выговоришь. Ужас!

— А раньше, помнишь, какие семьи были? Бабу Валю с третьей квартиры муж бил как сидорову козу, и Степановну с детьми мужик на улицу выгонял, ночевали у соседей, и тётку Галку муж лупил, а Помазанова сама дядьку Тольку колотила. Однажды в подъезде так его головой об стенку трахнула, что у него чуть мозги не выскочили. И пили все безбожно. Помню, отец придёт домой уже пьяный и ещё чекушку с собой в кармане принесёт. Выливает её в стакан и залпом... а потом заваливается спать. А ведь интеллигентом считался, инженер. Какой он нахрен интеллигент, у него мать, моя бабка, безграмотная была, писать не умела. Ты знаешь, как он в институт поступал? В сорок пятом вышел из госпиталя на костылях, а в институте женщина декан, у неё сын лётчик погиб на фронте. Она увидела лётную гимнастёрку, отец механиком был в эскадрильи, костыли, расплакалась и приняла его в институт. Не может быть интеллигента в первом поколении, как не может быть перегноя от одного упавшего листа. Вообще, революция наделала нам дел. Она не только своему поколению изуродовала жизнь, она мне изуродовала жизнь. Мои деды были крестьяне. Они с малолетства приучались к крестьянскому быту и труду, и у них и мысли не возникало, кто они и зачем. Потом, уже после революции, появляется на свет мой отец. Ни земли, ни дома, ни устоявшегося образа жизни, ни представления кем ты должен быть, чем заниматься, где и как жить, а потом появляюсь я, и я уже настолько оторван от земли, от результатов реального труда, что вообще оказываюсь в каком-то космосе, в выморочном, выдуманном мире. Ещё сопливному мне вдруг приходит в голову, что я могу быть художником. Причём я понятия не имею зачем? Зачем мне быть художником и кому это нужно, чтобы я стал художником? Но мало того, что я сам не знаю, зачем я художник, но выясняется, что никто вокруг не знает, зачем им художник? Ах, мальчику нравилось рисовать... А кому-то нравилось лазить по деревьям...

- У уборщицы, Клавдии Васильевны, муж умер.
- А что с ним?
- Он давно у неё болел. Чернобылец. Мы собираем, кто сколько может. Подойдите к дежурной.
- Хорошо.
- Вы слышали?..
- Слышал. Вы его знали?
- Нет.

— Николай Петрович, вы не подскажите, какие юбки подобрать под эти кофточки?

— Лучше, если они будут немного темнее.

— Ножницы теперь так хорошо режут.

— Я могу идти на базар точильщиком?

— Представьте, что теперь не к кому и обратиться. Хорошо, если в доме есть мужчина. Да и не всякий мужчина сумеет хорошо наточить. У моей подруги муж не может даже лампочку вкрутить, всё сама делает. Я ей говорю, зачем он такой нужен.

— Ну, вы, Марина, очень меркантильно смотрите на мужчин. Иногда с ними просто приятно поговорить.

- Поговорить можно где угодно, мы же с вами разговариваем, а в доме должен быть хозяин.
- Может вы и правы.

— Николай Петрович, мы с ребятами новую темку разучиваем. Вот, послушайте, я вам наиграю... не узнаете?

— Нет, Саша.

— Ну, это же «Скорпионс»... Вы как вообще, любите рок?

— Люблю. Вы бы что-то своё играли.

— Мы играем, но иногда, знаете, просят исполнить что-нибудь популярное. На свадьбах приходится и попсу играть.

— Вот и плохо.

— Я тоже говорю ребятам, но с другой стороны, если есть возможность заработать.

— Да.

— Я понимаю...

— Да, я тоже понимаю.

— С чего ты решила, что меня так легко уволить?

— Я знаю тебя: она тебе что-нибудь скажет, и ты сам напишешь заявление.

— Что такого она может сказать, что я ещё не слышал, что я ещё не пережил. Нет, она против меня соплячка, меня весь исполком знает.

— Ну и что? Всё равно она директор, а ты кто?

— Как тебе нравится колоть меня, тебе доставляет удовольствие делать мне больно.

— Я у тебя научилась.

— Неужели нельзя признать свои недостатки, почему я вижу в себе говно? Кого не послушаешь, все такого мнения о себе, ну просто ангелы, чёрт возьми. Почему не признать, что да, я чёрствая, я злая, я никогда тебя не любила, а жила только потому, что статус замужней женщины приносит удовлетворение, что так ты чувствуешь себя полноценной женщиной. Что тут сложного, сказать правду? Что меня бесит в тебе, так это неспособность признавать свои недостатки. Ну, скажи: да, я не люблю готовить, да, я не люблю тебя, да, ты мне нужен, чтобы все видели, что я замужем.

— Зачем мне признавать? Чтобы тебе было легче оправдывать себя? Я плохой, но и она плохая, я не люблю, но и она не любит?

— С чего ты взяла, что я не люблю?

— Любил бы — не упрекал.

— Я не упрекаю, я добиваюсь ясности.

— На старости лет ему понадобилась ясность. Ты думаешь, я не замечала, как ты всю жизнь мучился со мной, как тебе хотелось избавиться от меня? Если бы я умерла или сама бы ушла от тебя, ты только бы перекрестился. Ты думаешь, я этого не видела, ты думаешь, мне легко было это терпеть? Какой ясности тебе нужно? И так всё ясно.

— А ты не спрашивала себя, почему же я живу с тобой?

— Спрашивала. Потому что тебе так удобно было, потому что я от тебя ничего не требовала, как другие. У меня за всю жизнь ни одной шубы не было, ходила в одних и тех же сапогах по десять лет.

Николай Петрович встал перед окном и смотрел на мусорный контейнер, над которым сложились два бомжа.

— Сань, а почему вы с Наташкой не расписываетесь?

Саша любил носить чёрные майки с какими-нибудь страшными рожами.

— Денег на свадьбу нет. А потом, разве нельзя жить не расписываясь? Если будет ребёнок, тогда и подумаем. Почему вы спросили?

— Просто... Думал, как меняется жизнь. Раньше женщины так зависели от замужества. Либо она замужем, либо несчастная женщина. А что счастливого они видели замужем? Пьяные рожи,

мордобой, стирку по ночам? И жили, цеплялись за семейную жизнь как за единственно возможное существование. А теперь, чуть что не так, сразу разбежались, и всё.

— Это, по-вашему, хорошо или плохо?

— Я потому и заговорил об этом, что не знаю. Наверно жизнь меняется, чтобы стать лучше. Сейчас у людей больше свободы, больше самоуважения, самостоятельности. Особенно у женщин. Постепенно мы к этому привыкаем, и нам кажется, что это нормально, а было ненормально. Ты много встречаешь на улице беременных женщин?

— Даже не помню, когда видел в последний раз.

— А раньше, скажем так, лет сто назад, всего сто лет назад, но может быть и меньше, здоровые женщины практически всегда были беременны.

— Откуда вы знаете?

— Так это и так понятно. Отчего им тогда не быть беременными. Разве это отчего-нибудь зависело, кроме природы. У женщины не было выбора. Она от природы не свободна. Эмансипация — это освобождение от роли женщины. Теперь женщина сама решает, быть ей женщиной или не быть. Большинство попробует один раз, смолоду, пока ещё ума нет, и зарекаются. Свобода — большой соблазн. Соответственно, изменилась роль мужчины. Но так как она изменилась не сама по себе, а под влиянием женщин, мы этих перемен не замечаем. Когда мой отец принимал ванну, мать после него шла вымывать ванну, а я уже сам после себя мою её. Вот такой пустяк, незаметный, но говорящий о многом. Женщина перестала быть служанкой. Но, Саша, любить её теперь труднее, потому что мы часто любим за слабость, беспомощность, зависимость от нас. Это как любовь к детям, пока они маленькие, мы души в них ни чаем. Но стоит им вырасти, огрубеть, стать независимыми — и они очень часто вызывают в нас раздражение, отчуждение, неприязнь. Если женщина с сильным характером, да ещё и независима — такая размазня, как я, чувствует себя рядом с нею проигравшим соперником. Тут надо либо менять психологию, либо застрелиться.

— Наташка ещё в семнадцать лет сделала аборт. А у вашего сына есть дети?

— Нет, он не женат.

— И не был?

— Был. Но обошлось без детей. Я же говорю, сейчас беременную женщину не встретишь. Чаще увидишь её за рулём автомобиля или в директорском кресле.

Директор вертела в руках блестящую шариковую ручку. Пальцы её были длинные, с маникюром зелёного цвета.

— Ну, вы решили?

— Да.

— Что вам для этого нужно?

— Помещение. В мастерской будет не совсем удобно.

— Хорошо. Надо подумать. Может быть, в двадцать шестой? Что у нас там? Пианино? Оно расстроено, на нём никто не играет.

— Если в девятнадцатой?

— Девятнадцатой? Где у нас девятнадцатая? Ах, девятнадцатая... она в ужасном состоянии.

— Сделать ремонт.

— На это же понадобится время, а я хотела, чтобы вы приступили с начала учебного года.

— Можно приступить в двадцать шестой, а в девятнадцатой делать ремонт.

— Наверно, так и решим, если нам дадут деньги. Вы начинайте набирать группу, напишите рекламу... и, да, составьте программу. От нас, наверно, потребуют программу.

— Кто?

— Отдел культуры.

— В отделе культуры есть специалист по программе обучения изобразительному искусству?

— Наверно существуют уже утверждённые программы. Поищите, пожалуйста. Я так понимаю, что без программы нам никто не разрешит этим заниматься.

— Николай Петрович, это правда, что вы собираетесь вести изокружок?

— Я? Ну, в общем, я согласился. Тебе новая сказала?

— Да. Она морочила мне голову про какую-то программу. Говорит, поищите с Николаем Петровичем программу. Вы знаете, о чём речь?

— Знаю, Надюш. Я поищу.

— Замечательно. Приходите к нам чай пить.

— Не хочу.

— Ну, водки у нас нет.

— Николай Петрович не в духе.

— Да? Как ты это определила?

— Неразговорчивый.

— С ним это бывает. Может быть, с сыном что случилось — он же в армии служит.

— Не знаю. Странно, что он у него не рисует. Мог бы научить. Моему Ромке предлагал своё место, а так бы устроил сына. Всё лучше, чем в армии. Переживать за него каждый день.

— Кто же знал, что будет война.

— Николай Петрович, меня директор к вам прислала.

У Татьяны Викторовны был низкий, хриплый прокуренный голос.

— Здесь можно присесть?

— Конечно. У неё к вам претензии?

— Как вы догадались?

— Она ко всем с претензиями.

— Я вас не случайно спрашивала: новая имеет какое-то отношение к культуре?

— Да, меня самого занимает этот вопрос. Но с другой стороны, администратор и не должен вникать в творческий процесс.

— Я с вами согласна. А эта коза лезет. Начала мне указывать, чем должна заниматься театральная студия. Видите ли, мы должны зарабатывать деньги. Это мои десятилетние девчонки должны для неё зарабатывать деньги. Я работала в Ташкенте в кукольном театре. И, что вы думаете, он был на дотации. Представляете, профессиональные актёры на дотации, а она требует, чтобы я с детьми зарабатывала деньги.

— Я давно хочу вас спросить, почему вы уехали из Ташкента?

— Как почему? Союз распался. Ожидали всего чего угодно. Вы помните, турок-месхетинцев начали резать. Кто же думал, что и здесь война будет... Она не представляет, что значит сделать спектакль. Это же зрелище. Нужны декорации. Я потому к вам и пришла. Посоветоваться: мы можем сделать хоть что-то, похожее на декорации?

— Сейчас, бывает, с одним стулом играют спектакли.

— Это когда профессиональные актёры, когда они могут удержать внимание зрителя. И зритель для этого нужен подготовленный. Я не думаю, что в нашем городе такой найдётся.

— Я думал об этом. Иногда, знаете, всё ещё приходят в голову серьёзные мысли. Без среды ничего невозможно сделать. Чтобы загорелся уголь, нужно сначала поджечь дрова, а чтобы загорелись дрова, нужно поджечь бумагу, а для бумаги нужна спичка. Так вот мы с вами находимся в ситуации, когда уголь есть, но нет ни дров, ни бумаги, и спички отсырели. Сера во мне вспыхнула и, не успев ничего поджечь, потому что рядом не оказалось бумаги и вокруг было очень сыро, спичка потухла. Видите, я обгоревшая потухшая спичка. Так что подносить ко мне бумагу уже бесполезно.

— Но хотя бы что-то мы можем сделать?

— Что-то сделаем. Что вы хотите поставить?

— Я ещё не решила. Конечно, ни о каком Брехте не может быть и речи.

— Разумеется.

— Хотя я с удовольствием попробовала бы сыграть матушку Кураж. Ну, да забудем. Итак, остаётся сказка. «Двенадцать месяцев»... Что ещё?

— Я не менеджер, но думаю, надо начинать с бюджета... Стоимость листа фанеры, костюмы и так далее...

— Вы меня ставите в тупик.

— Это не я вас ставлю в тупик, это, в принципе, тупиковая ситуация. Можно воображать себе всё что угодно, но для всего должны быть основания: для творчества, для претензий, для бизнеса. Любого умника поставь в глупую ситуацию, и он будет выглядеть глупцом. Не зря говорят, что один дурак может завести в тупик десять мудрецов.

— Так всё же, что мне ей сказать?

— Вам ещё много до пенсии?

— Три года.

— Три года, думаю, вы продержитесь.

— Вы мне поможете?

— Разумеется.

— Николай Петрович, к вам пришли.

— Кто?

— Говорит, художник, Андрюшко. Пусть заходит?

— Да.

— У вас дежурная настоящий цербер. Здравствуй.

— Заходи.

У Андрюшко близко и глубоко посаженные глаза.

— Думаю, найду, спасибо за портрет. Мне сказали, что это ты порекомендовал меня.

— Может быть. Иногда приходят, спрашивают, кто может сделать.

— А что же ты? Почему сам не берёшься? Много работы?

— Да.

— Везёт.

— Да, везёт. Ты садись.

— Может, сходить в магазин?

— Если хочешь.

— Как у тебя со временем сегодня?

— Для этого дела время всегда найдётся.

— Сюда никто не зайдёт?

— Наливай.

— Давно мы вот так не сидели... Странно.

— Что?

— Многое странно. Странно, что мы так разобзились, что ли. Все по своим углам. Такое впечатление, что все чего-то боятся. Боятся потерять работу, высказать своё мнение, боятся, чтобы не узнали об их несчастьях, боятся, что кто-то сплзлит.

— А ты не боишься?

— Да и я боюсь. Эта болезнь заразная. Все боятся сказать лишнего. Привет, привет и разбегаются. Даже спорить перестали. Я соседа спрашиваю: как ты думаешь, ещё долго война будет продолжаться? А он зыркнул на меня, говорит: не знаю, и убежал. А раньше, помнишь, как мы спорили... кто настоящий художник, кто не настоящий... Сейчас даже не верится в ту наивность.

— Да.

— Ты как живёшь?

— Костя, ну разве ответишь на такой вопрос? Что ты, в самом деле. Откуда я знаю, как я живу? Наверно, хорошо. Кто-то скажет, что хорошо, а кому-то моя жизнь не понравится.

— Пишешь?

— Нет.

— А это что?

— Баловство.

— Помнишь...

— Костя, я тебя попрошу: не надо этого «помнишь». Ничего я не помню и помнить не хочу. Это пошло, в конце концов. Вместо того чтобы честно признаться, что говорить не о чем, начинается это «помнишь». К чему?

— Вот, вот, я об этом и говорил, даже вспоминать никто не хочет, чтобы не дай бог что-нибудь не обнажилось, что-нибудь обезоруживающее. Эдакая крепость собственного сознания, собственных мыслей у каждого, охраняемая. Не пробьешься. Чтобы ничего общего.

— Ты опять с Сашкой своим пил?

— Не угадала. Андрюшко заходил.

— Что это он о тебе вспомнил?

— Не знаю.

— И что он рассказывал?

— Ничего.

— Вы что же, молча пили?

— Ну, о чём мне с ним говорить? Такие как он отняли у меня профессию, а я буду с ним обниматься?

— А он знает о твоём отношении к нему?

— Если не дурак, должен догадываться.

— И вы сидели вместе, пили водку?

— Да, пили... А что тут такого? Конечно, по большому счёту, я должен был его убить, ещё тогда, когда я впервые увидел паскудно вымазанные холсты. Может быть, вызвать на дуэль и убить, но ни тогда, ни сейчас это уже не принято.

— За что убить, я не поняла?

— Я же сказал, такие как он отняли у меня профессию. У них с обывателем оказался общий вкус, и они не дали мне шанса как-то повлиять на него. Из-за них мои знания оказались бесполезны. Именно их обыватель признавал художниками, а я странный тип, со странными амбициями. Я всю жизнь чувствовал к себе это отношение. Как будто моё существование было ошибкой, недоразумением. Некоторые заказчики меня даже жалели. Обидней всего эта жалость была от наивных женщин дурочек. Я наблюдал за рожами, когда они рассматривали мою работу. У мужиков, даже самых простых, всё-таки проскальзывало в лице сомнение, колебание, а этим дурочкам даже в голову не могло прийти, что они чего-то не понимают. Зато Андрюшки со своими раскрашенными картинками вызывали восторг. И я никого не убил, я всю жизнь это терпел. С меня медленно по миллиметру сдирали кожу, а я делал вид, что мне не больно, что у меня нет нервов. И вот он пришёл, чтобы напомнить мне об этом...

— Вы не подрались?

— Я утопил его в пожарной бочке.

— У вас вчера гость был? Я не стал вам мешать.

— Ты не помешал бы, Саша. Знакомый.

— Художник?

— Да, вроде того.

— О чём вы говорили?

— Саша, мы пили водку.

— Зря я не зашёл.

— Конечно, зря.

— Я думал, вы какое-нибудь дело обсуждаете. Общий проект.

— Какой там проект... Художники такой склочный, противный, самолюбивый народ, что они скорее перегрызут друг другу глотки, чем о чём-нибудь договорятся. Чтобы что-то делать сообща, надо непременно в ком-нибудь признать гения и трудиться под его беспрекословным руководством. Тогда ещё что-то может получиться. В противном случае все будут тянуть одеяло на себя, переругаются, чуть ли не до мордобоя. Сикейрос за пистолет хватался, если кому-то не нравились его росписи.

— Кто такой Сикейрос?

— Был такой художник в Мексике. Творчество по своей природе индивидуально. Даже там, где для этого надо много народу, всё держится на диктатуре руководителя. Если только он даст слабину, если только кто-то почувствует себя равным, всё пропало. Талантливых людей можно собрать вместе, но только строго ограничив задачу для каждого. Ты делаешь от а до б, ты от б до в, и потом всё это надо уметь собрать до кучи. Кому я рассказываю? У вас, музыкантов, тоже самое. Битлз распались... о чём говорить. Я лучше знаю, я лучше умею, я лучше понимаю, почему должно быть так, как хочешь ты, а не я?.. Банальность, но избежать её мало кому удаётся. Нет, во главе угла должен быть непререкаемый авторитет. Тот же Сикейрос, он же не писал росписи вместе с Ороско или Риверой. Брал себе студентов из художественных колледжей, они смотрели ему в рот и красили. А с Риверой в конце концов разругались. Кстати, Сикейрос участвовал в одном из покушений на Троцкого.

— Художник?

— Он коммунистом был, со Сталиным встречался... Глыба. А ты думал художники — это фигли-мигли, вроде меня? Какой я в жопу художник.

— Я вас слушаю? Вы принимали лекарство?

— Да, но теперь у меня болит в боку.

— Где, здесь? Сильно болит?

— Не очень.

— Таблетки больше не пейте и сделайте ещё раз анализ крови. Спиртное часто употребляете?

— Доктор, что значит часто?

— Ну, каждый день или через день?

— Допустим, раз в неделю — это часто?

— Смотря с чьей печенью. У вас пониженный гемоглобин, поэтому печень надо поберечь.

Доктор был лет тридцати, маленького роста, под халатом засаленный воротник свитера.

— Что тебе сказали?

— Опять анализ крови надо сделать.

— Так сделай обязательно. Кто принимал, Давыденко? Маленький такой?

— Да. Почему их стали называть семейными врачами? Я так понимаю, что семейный врач должен быть вхож в семью, бывать у нас дома, знать всех домочадцев, их болезни, характеры, но, по сути, ничего не изменилось. Как и раньше, все сидят под его кабинетом в очереди, и он понятия не имеет кто такой Сидоров, Петров. Года через три запомнит какую-нибудь бабку, которая надоест ему своей глухотой. И только он её запомнит, как она помрёт. И по-прежнему пишут, пишут на листочках. У нас перестанут когда-нибудь писать? Врачи пишут, учителя пишут, полиция пишет, в судах пишут, в отделе культуры пишут. Откуда столько бумаги в стране, где это потом всё хранится? Он три минуты меня слушал и потом десять минут писал, причём таким почерком, что кроме него там никто ни черта не разберёт. Кругом наставили компьютеров и всё равно пишут. Семейный врач, семейный психолог, семейный дантист, личный адвокат... Они воображают, что

вся страна состоит из эстрадных звёзд и футболистов, что у всех есть средства их оплачивать. Со свиным рылом да в калачный ряд. Не морочили бы людям голову.

- Что толку, что ты тут по возмущаешься?
- Я не возмущаюсь, я брюзжу. Возмущаются люди деятельные.
- Он тебе не сказал, чтобы ты не пил?
- Брось, это банально.

— У Марины появился молодой человек.

— Откуда вы всё знаете?

— Он приходил с нею сюда. Такой высокий, худошавый и выглядит моложе неё. Она вся аж сияет, даже голос изменился. Щебечет, как весенняя птичка.

— Насколько я знаю, у неё серьёзные запросы. Во всяком случае, он точно должен уметь то-чить ножницы и вкручивать лампочки.

— Какие запросы? О чём вы говорите? Ей уже кажется слегка за сорок. Хотя бы какого-нибудь дурачка подцепить.

— Ну, вы, девки, злые.

— Нисколько я, Николай Петрович, не злая. Я даже рада за неё. И вообще, считаю, что большинство женщин несчастные из-за мужчин. Они несправедливы в своём выборе. Самые добрые, самые нежные, самые достойные для семейной жизни остаются одинокими. Мужчины близоруки и несправедливы. Они падки на яркое и сладкое. Прилипают, как мухи к сахарному сиропу, и сами потом страдают. Боже, как легко вас заманить в ловушку.

— Да, но эта ловушка становится потом ловушкой для двоих. Допустим, поймали вы ослепшего от вашего блеска дурачка. Испытали удовлетворение от своей победы, а дальше... Победа коварная штука, её нельзя тянуть словно резину. Как всякая вершина, она заканчивается спуском. Ох, девчонки, чтобы ощутить это, не надо жить долго, всё становится очевидным уже через несколько месяцев. Вы это знаете, я уверен — знаете. Всё дело в том, как потом с этой победой жить, как остаться победителем на всю жизнь. И я вам скажу как, хотя сам никогда не был победителем. Нужно забыть, что ты победитель. Не делать вид, что забыл, а забыть искренне и навсегда. Победителей не любят — им мстят, поэтому никто не должен помнить, что вы победитель. Вы такие же, как он, как они, вы оба проиграли. Солидарность проигравших великое утешение и великая сила.

— Вы, Николай Петрович, философ.

— А что остаётся, как не трепать языком.

— К нам заходили две мамыши, интересовались изокружком.

— Посылайте их ко мне.

— Что это?

У новой был по-прежнему зелёный маникюр.

— Программа.

— Где вы её взяли?

— Мне и прежде доводилось заниматься преподаванием.

— Девяносто первый год? Она не слишком старая?

— Я сторонник классической школы.

— А вы с кем-нибудь советовались?

— Зачем?

— Всё-таки девяносто первый год... больше двадцати лет назад. За это время, я думаю, многое изменилось. Как бы нам не предъявили претензии.

— Собственно, в этой программе изложена методика Чистякова, а ей уже больше ста лет.

— Как?

— Я сам учился по этой программе.

— Ну, вы-то, может быть... Хорошо, оставьте, я посоветуюсь.

— Что нового на работе?

— Почти ничего.

— Если почти, то всё же что-то новое есть. Ваша кого-то выгнала?

— Нет.

— Значит, Наташа выгнала Сашку.

— Ну, это бы не имело к работе никакого отношения.

— Так что же? Неужели повысили зарплату?

— Нет. Марина нашла себе какого-то идиота.

— А это какое имеет отношение к работе?

— Самое прямое. Теперь она не будет приставать ко мне, чтобы я точил ей ножницы.

— Ты его видел?

— Кого?

— Этого идиота?

— Нет.

— Почему же ты решил, что он идиот?

— Может быть, и не идиот.

— Но ты так определённо сказал, что она нашла идиота.

— Ну, послушай, всякий мужчина отчасти идиот. Разве ты думаешь иначе?

— Конечно. Я допускаю, что вполне возможно, где-то существуют нормальные мужчины, где-нибудь на Мадагаскаре, в джунглях.

— Да, я знаю, они называются шимпанзе. Нет, этот наш, Курдюмовский. Во всяком случае, мне так сказали.

— Кажется, у меня сегодня давление. Измерь мне, пожалуйста.

— Наша директор подозревает, что программа Чистякова устарела... Десяносто на сто шестьдесят. Ты ничего не принимала?

— Ещё нет. Сейчас выпью. Что за программа?

— По изобразительному искусству. И ты знаешь, что я подумал? А вдруг она права? Существует же теперь квантовая физика, так, может быть, и традиционный рисунок уже не соответствует духу времени. Вполне возможно, что так и есть. Но обучаться всё равно надо с азов. Нельзя же, не научившись ходить, отправляться в путешествие.

— А ваша директор имеет представление о Чистякове?

— Нет, конечно, но у неё наверняка есть представление о бюрократии... Ты полежи, не вставай.

— Николай Петрович, может, нам сегодня выпить?

— Саша, один твой ровесник, врач, мне недавно сказал, что с этим делом нельзя частить. И, представь себе, я ему поверил. Саша, подожди. Что-то я сам себе не понравился. Как жирный пингвин, прячусь за утёс.

— Если нельзя, лучше не пить.

— Ты воображаешь — тебе можно? Саша, только много колбасы не бери.

— Я уже знаю.

— Кто сегодня торгует?

— Людка.

— Так вот, однажды я зашёл к приятелю, художнику... стали рыться в карманах, а денег мало. Я ему говорю: ну, что же, Витя, возьмём закуску и маленькую. А он мне отвечает: нет, Николай, купим большую, а покушаешь дома. Так что, я тебя уверяю, пить можно и без закуски. Он, чёрт, курил. Выпьет и закурит, а я выпью и кручу головой по сторонам без привычки. Полпачки спичек

жевал. Однажды, я тогда служил в армии, однополчанин привёз из отпуска банку спирта. Чтобы она не вызвала подозрений, дома он закрасил её вишнёвым компотом. Так на дне банки и плавали стакана два вишен. Собрались мы вокруг банки, человек десять. Спирт кончился, и начали мы есть вишни. Тут нас всех и развезло. Один раз одёколон пил. Как сейчас помню название: «Океан». С тех пор я не душусь, ты мне хоть «Шанель» подавай. И женщин надушенных стороной обхожу. Ещё денатурат пробовал. Так хорошо проблевался.

— А травку не курили?

— Нет. Боялся. Думаю, может быть, теперь, на старости лет, попробовать? Всё равно уже не успею стать наркоманом, а хоть и стану, скоро помирать.

— Я курил. Ничего особенного. Мне больше нравится вот так посидеть за рюмашкой, поговорить с умным человеком.

— Ум, Саша, понятие растяжимое. Есть житейский ум, есть аналитический ум, хитрость тоже без ума не бывает, а бывает образованность. Вот я, Саша, образованность больше всего уважаю, потому что за образованностью стоит труд. А смекалка, она от рождения может быть. В ней заслуги человека — никакой. Вот я о художнике говорил, Вите, с которым мы пили без закуски. Ну, это он для меня Витя — ему уже за семьдесят. Так вот он чертовски смекалистый мужик и цветовик великолепный. С первого раза берёт цвет, никогда не переписывает. А интеллекта нет. На ходу всё хватает и рассуждает остроумно, а чувствуется в голове чернота, неосвоенные пространства, невозделанная почва. Всю жизнь стремился к сиюминутному успеху, к похвале, деньгам. Если бы ты знал, как он любит, когда его хвалят. Прямо до какого-то безобразия, неприличия. У него даже лицо от похвалы меняется, уши начинают двигаться, как у обезьяны, губы складываются в трубочку, того и гляди сейчас кинется расцеловывать тебя. Такое впечатление, что в этот момент его мозги отключаются полностью, и он превращается в кота, которого чешут за ухом. Но я же знаю, сколько он может проявить сообразительности, чтобы выбить себе мастерскую, чтобы не платить за свет, ну и всё в этом роде. Так что ум уму рознь. Я подозреваю, что и Гитлер был неглупый, иначе как объяснить его влияние на такую массу людей. Выходит, ум лишь орудие, прикладной механизм, а вот кто этот механизм направляет, для меня загадка. Во всяком случае, не сам человек, это точно. А ещё, Саша, бывает зрелость ума и незрелость. Обычно незрелость принимают за глупость, но это не так. Я до сих пор чувствую незрелость своего ума. Не приходят в голову важные глубокие мысли. Легко можно умереть, так и не созрев ни для какого серьёзного дела. А бывают такие, как Пушкин. Читаешь и не можешь понять, как он успел в свои годы это познать, что побудило его думать о таких сложных вещах и откуда удивительная верность суждений, откуда такой колоссальный опыт, почему у меня, прожившего вдвое дольше, его нет. Но и скороспелость вещь нехорошая. Сколько примеров, когда всё лучшее человек сделал годам к двадцати пяти. Представляешь? Тебе только двадцать пять, а вся последующая жизнь уже не имеет значения. Возьмём, к примеру, Серова. Ему было то ли двадцать два, то ли двадцать четыре, не помню, когда он написал «Девочку с персиками». Потом он много чего написал и хорошо, но не будь девочки с персиками, мы бы знали его совсем в другом качестве. Может быть, он даже затерялся бы, где-нибудь во втором ряду. Одним словом, Саша, чёрт его знает, как всё сложно.

— А вы? Как вы, как думаете, написали свою лучшую картину или ещё нет?

— Саша... — Николай Петрович жевал медленно, нехотя, как бы от скуки. — Ты слышал имена, которые я произносил? Что ты, в самом деле? К чему тут говорить обо мне? Написал я, не написал, имеет значение только для меня. Но, по большому счёту, это уже неважно даже для меня. Что бы я сейчас ни сделал, ничто не изменит мою судьбу. В этом есть положительный момент. Я становлюсь свободным. Это же нирвана, Саша, как мне раньше не приходило в голову. Молодец, что ты задал мне этот вопрос.

— Ты думаешь, ваша не знает, что вы пьёте на работе? Даже если она сама не видела, ей уже наверняка доложили.

- Ну и что?
- Конечно, ты решил, что тебе незачем работать. Тогда да, можно пить.
- Как ты себя чувствуешь?
- Плохо. Как я могу себя чувствовать?
- Сама себя накручиваешь, психуешь... Какого чёрта?
- А ты не вынуждай меня психовать.
- Для этого я должен исчезнуть, потому что я в любом виде тебя раздражаю.
- Ты всю жизнь мечтаешь исчезнуть.
- Хватит, мы об этом уже сто раз говорили.

— Николай Петрович, Олин Рома на mine подорвался. Вчера. Она поехала к нему в госпиталь.
— Живой?

— Кажется, но никто подробно ещё ничего не знает. Оле домой, уже после работы позвонили, а она позвонила мне. Я еле разобрала, что она говорит... буквально минуту, ой, ой, Рома в госпитале... я еду к нему... И сейчас звонить ей как-то неудобно... неизвестно, что там, попадёшь в неподходящий момент. Решили подождать.

Николай Петрович ходил по мастерской и даже не замечал этого.

— Николай Петрович, вы слышали?

— Да, Саша, слышал.

— Скажите, после подрыва на mine можно остаться живым?

— Откуда я знаю. Я, Саша, цивильный человек.

— Вы же служили в армии.

— Я служил в мирное время. Всё, что я видел — это как одному мальчишке оторвало пальцы запалом от гранаты.

— Какому мальчишке?

— Такому же солдатику, как и я. Чёрт его знает, что он с ним делал, ковырял гвоздём, что ли? А ещё раньше, в детстве, кажется во втором классе, трое моих одноклассников нашли мину ещё с войны... так все трое насмерть. Тогда много чего можно было найти: и штыки, и ленты от пулемётов, и каски, а стреляных гильз мы приносили в школу целые карманы. Надо было только знать, где шли бои, где была какая-нибудь линия обороны, наша или немецкая. У нас там речка была с высоким меловым берегом. Вот на склонах мы всё и находили. Повезло, что не мне попалась мина. Я вот подумал, чем больше времени проходит от той войны, тем искажённое представление о ней, о её масштабах. Я рос, когда после войны прошло уже лет пятнадцать, а сколько ещё примет оставалось от неё. Но главной приметой, конечно, были люди, пережившие её, прошедшие через неё. У моего друга отец был капитаном корабля. В их шифоньере висел парадный мундир с орденами. В карманах была насыпана махорка от моли, потому что он был из чистой шерсти, но я представлял себе, что мундир пропах табаком от капитанской трубки. Ох и пил же этот капитан... Да они все пили. И мой отец пил. К восьмидесятым годам их, ветеранов, уже практически не осталось. Что разве всякие тыловики. Потом пошли ветераны вооружённых сил с юбилейными побрякушками, солдафоны, которые рулят конфликтами. Как я не терплю солдафонов. Солдафон и художник, Саша, — это как кошка и собака. Это два разных способа жизни, две разные философии, два разных мироощущения. Я солдафонов, как Шариков, нутром чую, отличаю по форме скул, толщине шеи, походке, кривизне ног.

— У вас же сын в армии служит.

— Ты, Саша, не понял: солдат и солдафон — это разные вещи. Солдат — это обстоятельства, а солдафон — каста. Для меня это каста неприкасаемых. Причём солдафонами могут быть не только военные, но и сантехники, учителя, депутаты и даже мэры городов, как наш.

— Пойду, узнаю, может быть, есть какие новости.

— Да, Саша, потом зайдёшь, расскажешь.

— Я тебе рассказывал, что у нашей Ольки муж прошёл курсы разминирования? Так вот, подорвался.

Нож соскользнул с луковицы и громко ударил лезвием по доске.

— Где, когда? О, господи. Живой?

— Ещё живой.

— Тяжёлый? Что-нибудь оторвало?

— Ничего не могу сказать. Девчонки говорят, Ольга как ненормальная. Твердит одно и то же: без сознания, без сознания...

— Набери мне Сергея, я хочу с ним поговорить. Серёжа, здравствуй. Как твои дела? Почему вдруг, разве я никогда не интересовалась? Нет, у нас ничего не случилось. Просто захотелось услышать твой голос. Так у тебя всё нормально? Когда ты теперь сможешь приехать к нам? Понятно. Папа? Дома. Дать ему телефон? Хорошо, передаю привет. Слышишь, отец, тебе привет от сына.

— Слышу. Когда приедет?

— Скоро.

— Рому отправили в Днепропетровск. Ольга взяла отпуск, поехала к нему.

— Что она рассказывала, как это всё произошло?

— Они приехали в посёлок, а их обстреляли с той стороны.

— А как же ОБСЕ? Должна же была быть какая-то договорённость?

— Николай Петрович, представляете, какой ужас. Оля говорит, мчусь, а сама представляю, что он без ног, чуть в автобусе сознание не потеряла. Она же думала, он на mine подорвался, ногами на неё наступил. Приехала в госпиталь, а ребят двоих привезли. Какой ваш, спрашивают. Думаю, назову сейчас фамилию, а мне скажут: этот умер. Трусило её, как в лихорадке. Говорит, покажите мне его. Он в операционной. Не переживайте, всё цело, сейчас железо выковыряем из него. Но один осколок далеко ушёл, лёгкое пробил, поэтому его и отправили в Днепр.

— Она как чувствовала, что это опасно.

— Что тут чувствовать, дураку было ясно, но как только Ромка стал деньги приносить, она успокоилась. Я заметила это.

— Ничего не успокоилась. Я же тоже видела.

— Когда это кончится?

— Николай Петрович, что вы думаете? Это кончится когда-нибудь? Что ваш сын рассказывает?

— Ты так спрашиваешь, как будто он генерал. Да я думаю, и генералы не знают. Лично я в перемирия и договорённости не верю. По-настоящему и надолго война может закончиться только победой одной из сторон.

— Так вы предлагаете воевать?

— «Кац предлагает сдаться». Девчонки, какое это варварство, что мы с вами говорим о войне, о легальной возможности убивать людей. Причём, обратите внимание, убивать не ради того, чтобы выжить, а лишь потому, что те люди хотят по-другому жить, говорить на другом языке. Вот за это их можно легально, не подвергаясь уголовному наказанию, убивать. И находится огромное количество людей, которым нравится убивать, и им даже всё равно, за что убивать. Мне кажется, человеческая порода никуда не годится. Этот проект надо сворачивать. Кстати, есть вполне гуманный способ это сделать. Я предлагаю Богу лишить человечество возможности размножаться. Все мы, ныне живущие, останемся, до определённого срока, живы и невредимы, но через сто десять лет человечество мирно исчезнет. Представляете, миллиарды людей, и проходит всего каких-то сто десять лет — и не единой души. Без массовой гибели, без катаклизмов, без страданий и насилия. По улицам городов ходят лоси и дикие кабаны. Косули пасутся на хлебных полях, по асфальтовым дорогам бегают стаи волков, а людей нет и не нужно. Зачем? Чтобы они придумывали, как убить друг друга, лишь потому, что в них опять будет этот ген — убивать?

— Так вы, Николай Петрович, пацифист?

— Странно им не быть. Вообще, интересно было бы взглянуть на землю без людей. Представляете, нет никакой России, Китая, Польши, нет границ, в лесах развелись медведи, по кофейным полям ходят стада слонов, на чердаках полу разрушившихся домов поселились рыси, над городами кружат беркуты, а сколько разведётся рыбы. Все домашние животные, мне кажется, исчезнут вместе с людьми, потому что они будут слишком лёгкой добычей для хищников. Львы, тигры задерут всех коров и домашних свиней. Отары овец будут кормить расплодившихся волков. Жизнь без человека будет похожа на рай. Некому будет вырубать леса, ковырять землю, появятся новые виды животных, потому что их некому будет истреблять в таких количествах, как это делал человек. Никто не отнимет их среду обитания. Я вообще не понимаю, на кой чёрт понадобился человек? Кому это было нужно? Мы же стали перпендикулярно ко всему остальному миру. Посмотрите на нашу архитектуру. Она не имеет ничего общего с окружающим ландшафтом. Где вы видели в природе прямые линии или прямые углы? А эти наши потребности, чтобы ночью было светло, зимою тепло, летом прохладно, в дождь сухо, в засуху мокро и всегда сытно. Но и этого мало. Мы хотим всё и всех подчинить себе. Вот в чём самый главный яд, отравляющий всё вокруг и нас самих.

— Николай Петрович, извините, что я вас перебую, вы мне журнал сдавали на проверку?

— Нет, Надюш, я ещё не заполнил.

— Так что же вы? С меня директор требует.

— Ты знаешь, кого я встретила?

Таня выкладывала из сумки на кухонный стол хлеб и прочее.

— Кого?

— Полину. Прошло полгода, как умер муж. Представляешь? Уже полгода. Начала оформлять наследство, и что ты думаешь? Выясняется, что у него есть внебрачный сын, который претендует на квартиру.

— У Витьки?

— Да, да, у Витьки...

— Не зря говорят о скелетах в шкафах.

— У нас там, случайно, ничего нет?

— Ну, что ты. Ты даже моль оттуда вывела.

— Смотри мне.

— Николай Петрович, как моя Маша, у неё что-нибудь получается?

— Конечно.

— Стоит ей этим заниматься?

— Почему же нет? Пусть рисует.

— Как вы думаете, у неё есть способности?

— Есть.

— А у Киры?

— И Кира способная. Замечательные девочки.

— Саша, эти мамы настоящий кошмар.

— Ты поешь сегодня сам.

— Опять давление?

— Кажется.

— Сколько, ты измеряла?

— Не измеряла, я так чувствую.

— Может быть, вызвать скорую?

- Подожди ещё.
- Что, ждать пока наступит ночь?
- Может быть, пройдёт. Я таблетки выпила. Так ещё хочется пожить.
- Что за разговоры — поживём, хотя я для себя не вижу особого смысла.
- Дурак.

— Ну, что скажите?

Врач со скорой была ещё почти девчонка.

- Мы сделали укол. Пусть не встаёт часа два. С нею часто такое бывает?
- Последнее время, к сожалению, часто. Я уже не знаю, что с нею делать.
- Любить.

— Николай Петрович, мы с девчонками определились, хотим поставить «За двумя зайцами». Как вы на это смотрите? У нас девочка одна есть очень способная, я думаю, у неё получится роль Прони. С Голохвастовым сложнее, но тоже есть мальчик... его можно подтянуть, а декорации... ну, боже мой, неужели мы не сможем сделать выгородку.

Татьяна Викторовна раздувала ноздри, и из них вырывался запах паршивого табака.

- Выгородку? Надо подумать.
- Подумайте.

— Татьяна Викторовна говорила вам насчёт спектакля? Вы поможете ей? Подумайте вместе, что нужно. Да, я хотела поговорить с вами о журнале. Почему вы не пишете в журнал, чем вы занимаетесь на уроке? Придут с проверкой...

- Кто придёт?
- С отдела культуры.
- Кто? Степановна? Ну и что она в этом сообщает?

— Николай Петрович, ну какая вам разница, сообщает она или нет? Посмотрит в журнал, а там чистые листы. Я буду виновата. Скажет, что я не проверяю журналы. Ну, я вас очень прошу, заполните здесь и здесь. Напишите, что вы с детьми рисуете, как рисуете. Вот, двадцать второе число, три часа занятий, напишите, что вы делали на первом часе, на втором, на третьем... Не нервничайте.

- Я, Надя, не нервничаю, я просто не понимаю, кому это нужно, зачем?
- Николай Петрович, вы поймите, это бюджетные деньги. Если здесь ничего не написано, значит, вы ничего не делали.
- Я так и знал, что с этим кружком будет одно наказание.

— Слушай, Сань, они меня достали с этим журналом.

Николай Петрович бросил на журнал ручку.

- Так, может, выпьем?
- Нет, Саш. У жены давление. Приду домой с запахом, она распихуется.
- Что, высокое давление?

— Вчера скорую пришлось вызывать. Приехала такая молоденькая медсестра. Думаю, что б ты понимала, а она мне говорит: вы любите жену, и всё пройдёт. Я просто опешил. Думаю, может быть, в самом деле всё от этого? Или просто девчонка ляпнула языком, решила пококетничать. Откуда ей, соплячке, знать про любовь. А забыть её слова не могу. Так я, Саша, за всю жизнь, ни разу матом на жену не заругался, но любим ли мы друг друга — большой, большой вопрос.

— По-моему, в вашем возрасте, после стольких лет жизни не должно быть никаких вопросов. Это у нас с Наташкой ещё не ясно, ещё можно сомневаться, но я тоже никогда её не бил, хотя, честно скажу, иногда хотелось... Бабы иной раз умеют достать. Вот, хотя бы, на той неделе пристала: давай купим плоский телевизор на стенку. Откладывали, откладывали на чёрный день, и

теперь взять и потратить на безделушку. Я ей объяснял, что мы не для того собирали, что деньги могут пригодиться, что всегда надо иметь запас. Разве я, Николай Петрович, не прав? Мне, может быть, самому хочется какую-нибудь хрень, но мы же взрослые люди. Нет, обиделась. Говорит: так жизнь пройдёт, и будут лежать эти проклятые деньги... С одной стороны, она тоже, как бы, права. Пока молодые, хочется и того и другого, пока есть интерес, но и остаться с голой жопой не хочется. У вас такое было?

— Наверное, было бы лучше, если бы было. У нас как-то не возникало разногласий. Мне кажется, мы понимали, что можно обсуждать, а что не имеет смысла. Поэтому каждый из нас откалывался от спорной затеи ещё на этапе её возникновения. Может быть, в первый год или два мы ещё натыкались друг в друга на что-то непредвиденное, но потом с каждым годом невозможное становилось всё очевиднее. Это как стена, которую видишь издали. Видишь, всё понимаешь, и от этого как-то скучно было всю жизнь, даже тоскливо. Надо было хотя бы раз, как ты, загулять до утра, или чтобы она врезала мне пощёчину. Может быть, жизнь ощущалась бы полнее. Что очевидно, что прожили без страсти. Может ли быть любовь без страсти, а, Саша?

— Ну, если вы не знаете...

— Таня, знаешь, что мне сегодня сказали?

— Что?

— Потапов умер.

— Что ты говоришь? Когда?

— Уже сорок дней отметили.

— Надо же.

— Вот так. И живём, кажется, рядом. А я его как-то видел в начале осени. Он с собакой в сквере гулял. Мы ещё перебросились парой слов. Я сейчас вспоминаю так ясно ту встречу. Прямо вижу его лицо. Вот, говорит, сегодня моя очередь с собакой гулять. Как только на улице дождь или ещё что, так обязательно моя очередь.

— По-моему, в сентябре ни одного дождя не было.

— Да нет, моросил небольшой, когда мы встретились. И вот, скажи, если бы знать, что видишь человека в последний раз... если бы знать, какой могла бы быть та встреча... Тань, а что если знать, что вот этот человек через месяц умрёт. Жил, жил рядом, встречались, говорили... и вот через месяц он умрёт, и ты видишь его в последний раз, в самый последний. Как бы ты поступила?

— Не знаю. Может быть, так, как обычно. Не начнёшь же прощаться? Перестань. Заговорил чёрт знает о чём. Умер и умер. Не знаешь от чего?

— Говорят, букет. Он чуть старше меня, лет семьдесят, я думаю, было.

— Всё равно рано.

— Рановато. И всё же, мне кажется, я что-то такое чувствовал тогда. Так он мне ясно запомнился. Улыбка жалкая и глаза грустные. Помнишь, они у него такие светлые были, водянистые.

— Как у всех алкашей. Что ты там чувствовал, это тебе теперь так кажется.

— Да, странно. И всё же, если знать, ну не станешь же ты говорить о собаке или дожде? Наверно, захочется сказать что-то важное... навсегда.

— Близкие люди не умеют расстаться, даже если знают...

— Мне кажется, всё дело в том, что тот, кто остаётся здесь, чувствует себя победителем, и ему всё равно, что там происходит с побеждённым. Он сошёл с дистанции. Во время великой депрессии устраивали танцы на выживание. Я видел в кино. Как ты думаешь — это похоже?

— Нет. А в общем, я об этом не думала и не думаю, и тебе не советую.

— Ну почему же? Это очень любопытно.

— Если думать больше не о чем.

— Николай Петрович, вы журнал худруку сдали?

— Да.

— Почему я его не видела? А ты, Саша... я же просила подготовить микрофоны, чтобы не было, как прошлый раз.

— Я подготовил.

— Ладно. Не сидите без дела. Неужели вам нечем заняться?

— Сейчас займёмся.

Директор провела взглядом по картинам и вышла.

— Пришла проверить, думала, мы здесь бухаем.

— Стыдно признаться, Саша, но я боюсь начальников. Пойми правильно, боюсь неосознанно, как грозы или темноты. Чёрт его знает, что это такое. Наверно, какой-то генетический, врождённый страх, оставшийся от крепостного права. Могу нах послать, а боюсь. Трепет. Вот она зашла, и как будто я уже что-то ей должен или виноват перед нею. Я их за это ненавижу. Вот, она ничего мне не сделала и, может быть, не сделает, но я чувствую к ней враждебность. Она мой враг, Саша. О какой плодотворной работе может идти речь! Естественно, я понимаю, что это глупо, я перешагиваю через это, но я никогда этого не забываю. Не забываю и не прощаю. Она думает, что может безнаказанно стать моим начальником... Фигу. Она за это поплатится.

— Как?

— Ещё не знаю.

— Там Рома Олькин пришёл, не хотите увидеть?

— Сильно изменился?

— Да нет, я бы не сказал. Хромает немного.

— Неудобно идти смотреть — зверь, что ли, какой.

— Я сам случайно в фойе столкнулся.

— Николай Петрович... и Саша у вас, как хорошо. Не хотите с нами отметить Ромино выздоровление?

Черноволосый и тёмноглазый Рома был похож на цыгана, но, может быть, и был цыганом, не вполне чистокровным.

— Сиди, сиди... С поправкой...

— Всё хорошо, что хорошо кончается.

— Да, могло быть хуже.

— В жизни без везения нельзя. Вот так живёшь и не знаешь, сколько раз тебе в жизни повезло, сколько раз случайность была на твоей стороне, но если жив, то везло непременно. Мне иногда приходит в голову, что если бы тогда-то и тогда-то я пошёл бы не той улицей? Выходишь из дома в магазин и принимаешь решение, каким маршрутом идти: через дворы, через сквер, по одной улице или по другой... А где-то, может быть, уже навис кирпич, или бродит бешеная собака, или едет машина, у которой вот-вот оторвётся колесо... И что-то тебя ведёт мимо этих неприятностей.

— А другой сам ищет неприятности. Это я, Рома, не про тебя.

— Рома, расскажи, как было дело, а то всё с чужих слов.

— Так и рассказать нечего. Я сам ничего не видел и не понял. Стояли, разговаривали, вдруг, словно кто-то землю из-под ног выдернул. Говорят, разорвалась восьмидесяти двух миллиметровая мина. Мне весь левый бок осколками нашиповало. Вот... хирурги на память подарили...

Кусок железа величиною с пятак, словно спрессованный из бритвенных лезвий с рваными острыми краями, с синеватым блеском.

— Какие люди изверги — надо же придумывать разные такие штуки, чтобы убивать.

— Причём никто толком не знает, в кого попадёт такой кусок, вот что ужасно.

— Всё, что связано с войной, ужасно.

— Да вся наша жизнь ужасна.

— Нет, девочки, это уж слишком пессимистично. Скажите, Рома, у вас поменялось отношение к жизни?

— Какая бы ни была жизнь, а жить хочется.

- Конечно. Об этом даже нечего спорить.
- Особенно вам, молодым.

- Ромка Олькин приходил сегодня.
- Выписали?
- Да, ещё неделю назад.
- Ты его видел, он что-нибудь рассказывал?
- Что он мог рассказывать? Приехали в Зайцево, стояли возле школы, прилетела мина. Хорошо, что никого не убило.
- Вот вам и перемирие.
- Да, перемирие. Кто кого обдурит.

— Саша, мы, в общем, живём неосознанно, как животные. Попытки праздных людей осмыслить жизнь пока ни к чему не привели. Пока существует одна бесспорная истина — надо выжить. Если ты родился, надо выжить и прожить как можно дольше. Это объединяет всё живое. Дальше пошли варианты.

— Меня что пугает — чувствую какую-то лень. Наташка, ну и Наташка. Кажется, мы родились вместе, и потому и живём вместе, и нам друг от друга ничего и надо, как только быть вместе. Мне даже лень встать с дивана ей чай принести или ещё чего. Говорят, из-за любви человеку хочется жертвовать собой, а я не могу пожертвовать своим покоем, чтобы с дивана встать.

- Саша, это нормально.
- Да? Как-то любовь должна проявляться в повседневной жизни?
- Не морочь голову. Сейчас зайдёт новая, скажет, вам опять делать нечего. Кстати, ты не знаешь, кто её муж?
- Предприниматель. Но что-то такое мелкое, кажется, по строительству.

Раздался звонок. В дверях Сергей, высокий, худой, в камуфляже и армейских берцах.

- Серёжечка, здравствуй. Разувайся.
- Можно я не буду.
- Почему. Пусть ноги отдохнут.
- Вы задохнётесь от запаха моих носков.
- Подумаешь... снимай, снимай свои ботинки. Отец, Серёжа приехал. Ты надолго?
- Часа на два. Ребята пошли в банк карточки менять, а я решил к вам зайти. Как вы тут?
- Что мы? Ты как?
- Нормально.
- Не стреляют?
- Иногда.
- Голодный? Покушаешь? Я сейчас борщ подогрею.
- Ну как ты всё же, Расскажи?
- Да нормально, что рассказывать. Осень — она и есть осень.
- Я представляю, сыро, грязно, холодно.
- Думаю, не представляете, но ничего, жить можно.
- А мы слушаем новости, интернет читаем, хочется знать, понимать, что там происходит.
- Это вы зря, там всё равно правду не расскажут. На войне правду только солдат знает, но ему меньше всего и верят. Думают, что он может знать? Вот генералы или журналисты — те знают.
- Так и Расскажи нам...
- Нечего пока рассказывать... надоело всё.
- Вчера Сергей заезжал в гости.
- Что рассказывал?

— Ничего особенного. Надоела, говорит, неопределённость. Уж лучше долбануть по ним, а там будь что будет.

— Николай Петрович, давайте подумаем с вами, как оформить фойе.

Маникюр в этот раз был оранжевого цвета.

— Фойе у нас какое-то скучное, безликое. Я бы хотела, чтобы оформление соответствовало временам года. Чтобы осенью это были осенние мотивы, чтобы зимой всё у нас напоминало зиму. Летом можно украсить фойе цветами. Как вы на это смотрите? Давайте с вами поищем в интернете подходящие варианты.

— Это обязательно искать в интернете?

— Если вы можете предложить своё, пожалуйста, но, я думаю, проще поискать в интернете. Я же не требую эксклюзива. Что вы так на меня смотрите?

— Нет, ничего.

— Я не прошу, кажется, невозможного. Тем более, я заметила, у вас достаточно свободного времени.

— Я же сказал: всё нормально.

— Но у меня впечатление, что вы чем-то всегда недовольны.

— Вам так кажется.

— Саша, хочешь посмотреть детские работы? Пойдём, покажу. Эта девочка твоя тёзка — тоже Саша. Редко встретишь сейчас у девочки такое имя.

— Сколько ей?

— Шесть. Правда, хорошо? Ах, если бы она понимала, что делает, а то ведь через три года это ей уже будет недоступно, и я ничего не смогу поделывать. Абсолютно ничего. Я тебе говорил, что искусство космического происхождения? Это какое-то межгалактическое излучение. В одном состоянии мозг на него реагирует, в другом нет. Детский мозг менее защищён от этого излучения, вот и получаются такие работы.

— Николай Петрович, но многие скажут, что тут хорошего?

— Да, скажут, те, у кого черепная коробка из свинца. Туда никакое излучение не проникает.

— Таня, мне почему-то жалко нашего Серёжку. Если бы мы отнеслись к Галке немного по-другому, они бы не разбежались.

— А как ты мог отнестись к ней по-другому? Кажется, и так молчали.

— Но он понимал, что она нам не нравится. Остался хлопец без семьи, без дома.

— Хотел бы, жил со своей Галкой.

— Если честно, я ему удивляюсь. Нашёл бы себе уже какую-нибудь. Столько баб вокруг.

— Я не пойму, к чему ты завёл этот разговор?

— Да так, посмотрел на него прошлый раз, и мне показалось, что он хорохорится, как тот воробей, а на самом деле ему не очень.

— Посиди ты в окопе, в грязи, сырости да ещё когда по тебе стреляют.

— Понятно. Так он ведь и попал туда, потому что здесь не за что зацепиться. Мы для него ломоть отрезанный. Я вообще посмотрю на нынешнюю молодёжь, она вся такая неприкаянная: сходятся, расходятся, не расписываются, дети по бабкам, родители на заработках. Съедутся, поживут и опять разъедутся. Не страна, а проходной двор.

— Ты сам рассказывал, сколько раз вы переезжали с семьёй.

— Так мы переезжали, потому что батя бухал. Когда его уже нигде не брали на работу, мы срывались на новое место, где его ещё не знали. Впрочем, ты права, это давно началось. Половина населения в общежитиях жила. «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз». Это мы с тобой домоседы.

— А куда и зачем бы мы поехали? Там хорошо, где нас нет.

— Послушай, а мы всё-таки родственные души. Вспомни, никогда не ссорились по существу. Только раз, кажется, ты не согласилась переехать в Мариуполь, когда меня туда приглашали на работу. Я даже догадываюсь почему. Ты не хотела, чтобы я работал в театре, потому что в нём коварные соблазнительные актрисы.

— Ой, ой, нужен бы ты был актрисам. Я не хотела, чтобы у меня в доме всё лето толклись родственники. Забыл, как тётка Верка со всем своим выводком постоянно ездила на море в Бердянск отдыхать. А так она бы жила у нас.

— Боже мой, какая дальновидность, а то что я не стал театральным художником — это ничего.

— Ну, конечно, это я виновата, что ты кем-то не стал. Я это слышу всю жизнь.

— Ну, вот, началось...

— Что началось? Разве не я у тебя во всём виновата?

— Когда я такое говорил?

— Да только что ты сказал, что из-за меня не стал театральным художником.

— Неужели ты думаешь, что я не понимаю, почему я им не стал? Если бы я не понимал! Причём тут ты. Если бы я очень хотел, если бы я верил в себя, ты бы меня не остановила. Но я всё время боялся потерять синицу в руках. Я дорожил тем, что каждый вечер могу вернуться в свой дом, что ночь не застанет меня на улице среди чужих людей. Если бы ты знала, как меня пугали чужие города. Солнце клонится за дома, наступают сумерки, загораются огни, люди в своих квартирах, в этих тёплых светлых сотах, а твоего здесь ничего нет, и ты остаёшься на улице один. Людей всё меньше, ночь всё темнее... А потом меня пугала ответственность. Я не хотел зависеть от ответственности, когда от тебя чего-то ждут.

— Как же ты вообще работал и работаешь?

— О-о, то чем я занимался и занимаюсь, не стоит и выеденного яйца. Конечно, сначала и эта работа меня напрягала, но потом я понял, что лучше работы не найти. Людям может не нравится то, что я делаю, но, по большому счёту оно им пофиг, ничего в их жизни не меняет и никак на жизни не отражается. Что ещё нужно для покоя и умиротворённости, и разве покой и умиротворённость плохая синица, разве не досадно будет их потерять? В этом смысле на твоём месте мог быть кто угодно, и это ничего бы в моей жизни не изменило. Я бы остался тем, кем я есть. Ме-ща-ни-ном. О-бы-ва-те-лем.

— А ты кем хотел быть, буревестником?

Николай Петрович с недоумением посмотрел на жену и вдруг так громко и грубо рассмеялся, что в свою очередь на него с недоумением посмотрела жена.

— Николай Петрович, надо написать афишу. Вот текст. Девочка будет вести у нас аэробику.

— Оля, положи, пожалуйста, на стол. Как ваши дела, как Рома? Назад в сапёры не собирается?

— Что вы. Кто его теперь пустит. Хочет купить поддержанную машину и начать таксовать. О господи, что только он у меня не пробовал. Характер, гордый очень. Не может потерпеть, попросить, как другие. Николай Петрович, желательно завтра афишу повесить. Вы же знаете, мы теперь должны зарабатывать.

— Я это уже двадцать лет слышу. Ещё при Горбачёве началось... хозрасчёт и прочая хрень, а того не хотят понять, что культуры на голодный желудок не бывает. Если человек не ел, он любому Рихтеру предпочтёт котлету. Вульгарно, но что поделаешь.

— Разве в человеке нет потребности в культуре, как в еде?

— Ты сама знаешь, что нет. Не пытайся быть идеалисткой.

— Я не идеалистка, но если бы в человеке не было стремления к красоте, гармонии, культуры не существовало бы вовсе.

— Ладно, пусть будет так. Мне уже всё равно. Наш разговор полная бессмыслица.

— Почему?

— Потому что от нас ничего не зависит.

Николай Петрович чувствовал слабость и у него подрагивали руки.

— Николай Петрович, как моя тёзка? Выдаёт шедевры?

— Выдаёт.

— Может быть, у неё в самом деле талант?

— Знаешь, Саша, я чувствую себя преступником, аферистом, обманщиком. Родители думают, что я учу их детей рисовать, но я понятия не имею, как это делать. Что значит уметь рисовать? Многие современники считали, что Матисс не умеет рисовать. Я слышал, как одна мамаша наставляла ребёнка: пусть учитель научит тебя рисовать зайчика. Наверно, кто-то, в своё время, учил эту мамашу рисовать зайчика, и вот теперь она воображает, что можно уметь рисовать отдельно зайчика, медведя, дерево. И что я должен делать? Должен ли объяснять ребёнку, что не существует ни зайчика, ни дерева, а есть структурированное пространство и, если ты понимаешь структуру пространства, ты можешь изобразить всё.

— Вы даже для меня говорите какие-то непонятные вещи.

— Наша директор думает, что учить рисовать — это то же, что учить вышивать крестиком.

— Может быть, не надо так заморачиваться? Всё равно этого никто не поймёт.

— А если эти мысли составляют суть твоей жизни, если на это ушли годы. Как подумаешь: одни бухали, заводили любовниц, покупали машины, дачи, меняли мебель, жён, куда-то ездили, а ты как дурак сидел возле мольберта и ковырялся кисточкой в воображаемом пространстве. С тем же успехом можно было ковыряться в носу.

— Надо выяснить, почему у вас такой низкий гемоглобин.

— Вы знаете, у моей матери был низкий гемоглобин. Может быть, это наследственное?

— Женщины чаще сталкиваются с этой проблемой. Давайте начнём с печени, проверим её.

— Как стало рано темнеть. Ужас. Четыре часа, и уже ночь. Слава богу, Серёжину часть выводят с передовой. Услышал бог мои молитвы.

— Да, теперь получать будет меньше.

— Чёрт с ними, с их деньгами. Я сегодня с ним разговаривала по телефону, говорит, под Харьковом будут.

— К нам не заедет?

— Постарается. Что тебе врач сказал?

— Что он мог сказать? Ни черта они сами не знают. Особенно нынешние врачи. Раньше хоть чему-то учились, а сейчас купят дипломы, а ты жди от них пользы.

— Ну почему, наш, мне кажется, ничего.

— Ничего. Опять кучу анализов назначил.

— Я куме нашей не перестаю удивляться. Здоровая была, жить и жить, а она в петлю полезла.

— Чокнутая. Я тебе всегда говорил, что у неё не все дома. От неё потому и Юрка сбежал.

— А он, как ты думаешь, живой?

— Живой. Где-нибудь в России. Может быть, миллионер, представляешь. Мерседес и всё такое, а она... Я как вспомню морг, этот запах... и kota. Ты видела kota... там, на пороге? Они же его человеческими потрохами кормят. Как он посмотрел на меня, словно говорил: что, ещё ходишь? Ну, ну.

— Перестань, я тебя прошу.

— Николай Петрович, вы не знакомы ещё? Это Альбина, она у нас будет аэробикой заниматься.

— Здравствуйте. Я хотела вас попросить сделать несколько объявлений, я расклею по городу.

Стройная девушка держала руки перед грудью, скрестив пальцы. Азиатское лицо и чёрные гладкие блестящие волосы.

— Хорошо, оставьте мне текст.

— Саша, ты видел нашу новенькую?

— Видел. Классная чувиха.

— Не то слово, Саша. Знаешь, мусульмане отчасти правы, заставляя женщин скрывать свое тело за чёрными одеждами. Кстати, слова искушение и искусство, мне кажется, близки и по звучанию, и по смыслу. Ислам довольно последователен. Он не только запрещает показывать женское тело, но и изображать его. Хорошая картина, хорошая музыка так же искустельны, как хорошенькая женщина. Ну, конечно. Саша, я всегда чувствовал физическое наслаждение, рассматривая хорошие картины, а музыка иногда так пробирает, что даже вздрагиваешь. С тобой бывает такое?

— Да, кажется, бывает, когда хороший рок, Bon Jovi, к примеру, Led Zeppelin. Она к тому же, кажется, не замужем.

— Ну, это мне уж всё равно.

— Да мне, в общем, тоже.

— Да?

— Ну, а что? Разве мало хороших баб? За всеми не набегаешься. У меня Наташка тоже ничего.

— Девочки, знаете, что Маринин ухажёр сбежал от неё?

— Откуда ты знаешь?

— Вы не замечали, какая она? К тому же мне Ленка говорила, а они живут в одном подъезде. Да. Нет его уже, ушёл.

— Жалко Маринку, она такая счастливая была, помните?

— Да ну, какой-то сморчок прицепился. Чему там было радоваться?

— На безрыбье и рак рыба.

— Если бы она хотела удержать мужика, надо было худеть. У неё печенье в сумке не переводится.

— Подумаешь, добро великое, мужик.

— Оля, что у тебя с новогодним сценарием? Кого Дедом Морозом сделаем?

— Татьяна Викторовна говорит, есть у неё мальчик.

— Мальчик, мальчик... Вот бы Николая Петровича уговорить...

— Что вы, девочки, он, сколько тут работает, даже на утренниках никогда не бывает.

— А из новенькой нашей, Альбины, замечательная Снегурочка выйдет. Так что всё-таки со сценарием?

— Надя, надо вместе сесть, подумать. Какой у тебя замечательный кулон. Я раньше не видела.

— Это мне Ярик подарил.

— Давно?

— Да ещё когда с Москвы приехал. Я, кажется, его уже надевала.

— Первый раз вижу.

— Девчата говорят, от костюмерши её бойфренд ушёл.

— Да? Что ему, козлу, не хватало, симпатичная женщина.

— Мне кажется, она еврейка.

— Ну и что?

— Ничего. Я сам не понимаю, откуда этот сегодняшний антисемитизм. Ведь всё началось с религии. Для истинных верующих христиан евреи предали их бога, позволили распять Иисуса Христа, не признав в нём сына божьего. Но какое дело атеистам до этой истории? Истинно верующих сейчас днём с огнём не найдёшь, но евреи, евреи нехорошие. Чуть какая-то. Инертность мышления. Причину никто не помнит, а следствие тянется и тянется. Но у верующих обида, видимо, была глубокая, иначе, как объяснить антисемитизм выдающихся людей.

— Кого ты имеешь в виду?

— О, господи, да хотя бы Гончаров. Совершенно мирный тихий русский писатель, но у него даже в мыслях не было скрывать своё отвращение к евреям. Он их просто называет жидами. Антисемитизм был элементом христианского воспитания. И вот, что странно, христианское воспитание зачало, а антисемитизм остался.

— Но согласись, евреи сами отчасти виноваты. Они противопоставили себя всему миру, назвавшись избранными. Кому это понравится?

— Это касается религиозных евреев, а много ты их видела?

— Нет, они все так считают, просто боятся об этом говорить.

— Глядя на нашу Марину, это трудно себе представить. Мне её даже жалко. В жизни любого человека самое главное устроенность, когда он, как кирпичик, вставлен в стену. Неустроенного человека сразу видно, он либо агрессивен, кидается на всех, либо жалок, как бродячая собака. Повизгивает, и скулит, и ластится ко всем, и тут же от страха может укусить.

— Это ты кого описываешь?

— Обобщаю.

— Ты мастер обобщать.

— Саша, ты что-нибудь читаешь сейчас?

— А что сейчас можно читать? В школе Анну Каренину читал.

— Почему Анну Каренину?

— Не помню, проходили наверно или книжка случайно попалась.

— Ну и как, понравилась?

Саша пожал плечами.

— Она же морфинистка была, понятно, почему её под поезд понесло.

— Морфинистка?

— Ну да, а вы, что не читали?

— Да читал, только как-то не обратил внимания на это.

— Там написано, что она на ночь принимала морфий. Что тут удивительного, что крыша поехала. Сейчас наркоманы тоже то с окон падают, то под машины лезут.

— Вот уж не думал, что это главное в романе.

— Может и не главное, но, согласитесь, многое объясняет... Я вчера с Альбиной в кино ходил.

— С Альбиной?

— А что тут такого. Мы просто посмотрели фильм.

— Понятно, вы просто посмотрели фильм.

— Да. Просто посмотрели фильм, потом я её домой проводил, и всё.

— И всё, понятно. Наташке ты ничего не сказал?

— А что я должен был сказать?

— И она тебя не о чём не спрашивала?

— Спросила, почему так долго? Сказал, что репетировали. А что, Николай Петрович, мы не расписаны.

— Печень у вас в порядке. Как вы себя чувствуете? Ничего не болит? Прошлый раз вы, кажется, на боль в боку жаловались?

— Побаливает иногда, но в основном доктор, слабость, чертовская слабость, и руки дрожат.

— Конечно, будут дрожать, если слабость. Давайте проверим теперь щитовидку. Может быть, всё дело в ней. Вы к Чернобыльской аварии не имеете отношения?

— Вы хотите сказать, не я ли взорвал атомную станцию?

— Ну, вы же поняли, о чём я говорю: не были в Чернобыле?

— Слава богу, нет.

— Всё равно, надо проверить щитовидку.

Саша озвучивал новогодние утренники и в перерывах забегал к Николаю Петровичу выпить.

— Что там, всё нормально?

— Нормально. Дед Мороз, конечно, улётный, где они его взяли?

— Девчонки мне предлагали. Вам, говорят, и бороду надевать не надо.

— Нормалёк был бы, напрасно вы не захотели.

— Я, Саша, скоморошество недолюбиваю.

— А как же театр?

— Так вот в этой власти актёра над публикой и есть вся чертовщина. Театр точно не от бога, поэтому я его боюсь. И презираю, и боюсь, и восторгаюсь. Мне повезло, что я не попал в настоящий театр, я бы стал его рабом, я бы работал и жил в театре, может быть, даже не выходил из него. Благодаря театру я понимаю, как неразлучны любовь и ненависть... Закусывай, бери мандарин.

— Стучит посохом, аж дети пугаются. Вам сюда не слышно?

— Гул слышно, словно снежная лавина с гор катится.

— Это ещё детей не так много. У меня мандарины всегда с Новым годом ассоциируются.

— Да, мандарины, грецкие орехи, марля в крахмале и ужасный позор, потому что надо рассказать стишок, а ты не помнишь ни одной строчки. Мне Новый год дома нравился, в тишине. Родители ещё на работе, в комнате тихо, тихо, слышно, как тикают часы, кот спит на стуле, свернувшись клубком, и ёлка... высокая, почти до потолка, пахнет хвоей и медленно, медленно вращается блестящий шар на ветке, сначала в одну сторону, потом в другую. И я, словно замороженный, сижу у тёплого печного камина, и смотрю, как разбегается лучиками свет, отражённый от искристого бока шара. Прищуришь глаза, и лучи становятся длинными, чуть ли не на всю комнату. И всё так значительно. Вот такой я любил Новый год. А в детском садике в костюме зайчика я, помню, уписался. Разве это могло быть праздником!

— А я...

— Саша, ну где ты...

— Надя, иди, бухни с нами.

— Нет, нет, что вы. Саша, пора, уже начинаем.

— Николай Петрович...

— Да, да, давай, Саша, с наступающим!..

— Ну, всё, слава богу.

— Закончили?

— Да. Сейчас Альбина сюда придёт. Ничего, что я позвал?

— Ничего, только у нас выпивки всего-то... вот.

— Я сбегаю.

— Саша, и мандаринок, и шоколадку от меня.

— Здравствуйте, а Саша не у вас?

— Сейчас придёт, заходи.

— Первый раз в жизни Снегурочкой была. Так стрёмно.

На лице остались блёстки и розовая перламутровая помада на губах.

— Сейчас, сейчас придёт.

— А у вас уютно тут, и мандаринами пахнет.

— Я и сосновую веточку поставил в вазу.

— Вижу... и дождик.

— Да. А этой игрушке знаешь сколько лет? Лет пятьдесят. Здесь, из окна корабля собака «Лайка» выглядывала, но я ещё ребёнком соскрёб её ногтём. Да, вот так смотришь на эту игрушку и думаешь, а был ли мальчик? Ты надолго к нам в ДК?

— Не знаю. Я учусь заочно в академии культуры в Харькове.

— Вот и я.

— Какая эта насмешка: человек рождается уже приговорённый к смерти. Похоже на подлость. Если это дело рук бога, то он подлец.

— Ты бы поаккуратней. Он ведь может наказать не тебя, а Серёжку, племянников.

— Вот видишь, вместо любви к богу у нас один страх.

— Да и страха что-то я не вижу.

— А с другой стороны, большинство и эти шестьдесят, семьдесят лет прожить вразумительно не могут. Что делать с бесконечной жизнью? С ума можно сойти. Наша жизнь без конца — это же и есть ад. Так вот зачем понадобилась загробная жизнь, чтобы продолжить этот ад.

— Ты макароны есть будешь?

— Буду.

— Чем тебе не угодила жизнь? Что в ней такого невыносимого? Тебя тошно слушать. Какие нервы надо иметь, чтобы жить с тобой.

— Потерпи, уже немного осталось.

Надя зашла к Николаю Петровичу, как обычно с пеплом на груди.

— Слышали, Марина рассчитывается.

— Что такое?

— У них с новым директором сразу отношения не сложились.

— Поссорилась с директором?

— Да она её потихоньку ела, ела. Вы не замечали?

— Замечал. И все молчали.

— А что нужно было делать? Новая отчасти права. У неё в костюмерной ничего нельзя найти, и она вечно не успевает.

— Всё равно иногда директриса вела себя по-хамски. Нельзя при всех взрослой женщине говорить такие вещи. Другая бы на месте Марины так ей ответила.

— А тут ещё эта история с женихом...

— Причём тут это?

— Как, вы не понимаете? Ей же ужасно неудобно перед всеми... ну, что все знают, что её обманули.

— Да?

— Конечно. Поставьте себя на её место: растрезвонила, привела, показала всем и такой облом.

— Значит, мы дважды перед нею виноваты.

— Николай Петрович, я хорошо отношусь к Марине и виноватой себя не считаю. Человек сам причина своих несчастий. В конце концов, нельзя быть такой добренькой, это тоже, знаете... не совсем честно. Вот я, какая хорошая, никому ничего плохого не говорю, а вы все злые. Зачем быть белой вороной?

— Ты думаешь, она это специально?

— Но у неё так получалось.

— Она уже написала заявление?

— Да. И директриса сразу подписала.

— Ну вот, сбылись твои карканья — у нас первое увольнение.

— Наконец-то. Уже почти год прошёл. И кого же она уволила, не тебя ли, случайно? Не написала в трудовую, что ты алкоголик?

— Ой, ой, сколько же в тебе злого сарказма. Как тебе хочется оттоптаться на мне. Неужели я действительно заслуживаю этого?

— Я только спросила.

— Марина рассчитывается.

— Костюмерша? Мы недавно говорили про неё.

— Да, говорили.

- И как это всё произошло?
- Обыкновенно: написала заявление на расчёт, а та его подписала.
- Но ведь повод какой-то был?
- Помнишь, мы с тобой говорили, что она еврейка? Так вот евреи, они очень внимательны к своим нервам. Я имею в виду, что они предпочитают не нервничать и, в общем, я считаю, правы. Разве эта работа стоит нервов? Я тебя умоляю.
- Да, они умеют беречь себя. Это я, дура, всё здоровье на работе оставила. Говорят, сегодня магнитные бури — у меня голова просто раскалывается.
- Давай я давление измерю.
- Ну его к чёрту. Что толку?

- Николай Петрович, праздники закончились. Что будем делать с фойе? Я жду ваших предложений.
- Да, да, я помню.
- Я рада, что вы помните.

- Саша... Саша, ты меня слышишь?
- Да. Что вы говорите?
- Говорю, что математики подсчитали, по теории вероятности от создания атомной бомбы до гибели цивилизации может пройти максимум триста лет. То есть это может произойти прямо сейчас, но через триста лет произойдёт наверняка. Вот почему учёные не могут обнаружить в космосе сигналов развитой цивилизации. Они самоуничтожаются.
- Вы были когда-нибудь в Харькове?
- Приходилось. У меня даже были там друзья.
- Да? Почему были?
- Понимаешь, на что можно было не обращать внимания до четырнадцатого года, после стало непреодолимым препятствием. Даже странно, с какой определённойностью прошло размежевание по вопросам, которые до этого и не обсуждались. Сколько потенциальных противоречий существует. Мне кажется, любое общество можно расколоть пополам. По самому ничтожному поводу. И с помощью денег довести градус противостояния до резни. Элементарно.
- Нас пригласили поиграть в одном харьковском кафе.
- Кто?
- Через Альбину — она же учится в Харькове. Как вы думаете, стоит соглашаться?
- Саша, конечно.
- Дорога за свой счёт. Надо будет нанимать микроавтобус. Аппаратура, инструменты... мы посчитали, ещё и в накладе остаёмся.
- Саша, ну что такое... Вы хотите заработать или показать себя?
- А что вы говорили про атомную бомбу?
- У нас есть шанс умереть своей смертью.

- Ты двери закрыл?
- Закрыл.
- Уже одиннадцатый час — выключай свет.
- Да.
- Ты когда пойдёшь анализы сдавать?
- Они платные.
- Ну и что?
- Лучше побережь эти деньги на похороны.
- Ты уже умирать собрался?
- Ну, а что тянуть?

— Мелешь своим дурным языком.

— Мелю... Кто-то из мудрецов сказал, что он три года учился говорить и всю жизнь — молчать. Мне иногда приходит в голову мысль: жаль, что я не глухонемой. Скольких глупостей я бы не сказал, и сколько неприятного не услышал бы. Десятки раз обещал себе молчать, и всё напрасно. От долгого молчания у меня портится настроение. Говорят, под языковой косточкой есть какой-то нерв, связанный с центром наслаждения в мозгу. Поэтому говорильня доставляет удовольствие. Неважно, о чём. Лишь бы этот нерв вибрировал. Можно просто рычать. Я иногда специально иду к железной дороге, жду, когда подойдёт товарняк, и под его грохот кричу изо всей силы. Знаешь, как потом хорошо становится.

— Ты хотя бы не рассказывал. Боже, с кем я живу.

— А ещё мне иногда кажется, если бы я не был трусом, я бы мог стать маньяком. Серьёзно. Сколько раз я ловил себя на том, что мне хочется схватить женщину зубами за горло. Не всякую, конечно, а молодую и хорошенькую. Медленно, медленно сжимать челюсти.

— Так, отодвинься от меня.

— Ты всю жизнь прожила под дамокловым мечом.

— Я это чувствовала.

— Тань...

— Что?

— Мне плакать хочется.

— Ну, поплачь.

— Можно?

— Можно.

— Тогда обними меня.

— Спи.

— Николай Петрович, так мы репетируем «За двумя зайцами». Не хотите посмотреть? Я подумала, нам ничего особенного и не нужно: стол, стулья в ДК есть...

— Да, можно и так.

— Придётся?

— Приду.

Кресла в зале были скрипучие.

— Ну как, Николай Петрович?

— Странно в Украине украинскую пьесу играть по-русски.

— Но все её в таком виде только и знают.

— Вот это и печально.

— Я даже не думала об этом и украинского текста никогда не видела. Но что вы скажете, как вам Проня?

— И вы хотите с этими стульями играть — они же современные.

— Ну, поищем, Николай Петрович, мне где-то попадался венский стул. Дело в том, что все помнят фильм, поэтому обязательно должны прийти, посмотреть. Я так думала... Пьеса весёлая...

— Да.

— Вы сомневаетесь, что у нас получится?

— Нет.

— Николай Петрович, вы знаете, что я рассчитываюсь?

— Да, Марина.

— Татьяна Викторовна решила, что я из-за её костюмов рассчитываюсь. Она хотела, чтобы я для её спектакля костюмы шила. Я, может быть, и пошила, если бы было из чего, но я больше не могу терпеть нашего директора. Она всё время ко мне придирается.

— Она ко всем придирается. Дело в том, что в её понимании директор самый умный человек в коллективе, и она обязана наставлять всех на путь истинный, следить, чтобы никто не делал глупостей, не шалил и выполнял всё, что она скажет.

— Но с чего она взяла, что самая умная?

— Как с чего? Если директором поставили её, а не кого-то из нас, значит она умнее, значит она лучше тебя знает, как надо шить, лучше меня, как надо оформлять, лучше Ольки, как надо писать сценарии.

— Как так можно думать? Неужели она не понимает, что это неправильно?

— Не понимает, и с этим надо смириться.

— Я не могу.

— Придётся в другое место, и там будет точно такой директор и пройдёт ещё сто лет в этой чёртовой азии, и всё будет то же самое: глупый холоп и умный начальник. Пол-оборота назад и она была бы тебя розгой по рукам.

— Моя мама всю жизнь работала закройщицей, так её в ателье уважали.

— Конечно, потому что директором ателье был какой-нибудь Абрам Иосифович, да и портные тоже... Ты, кстати, заметила, как только евреи уехали в Израиль, город изменился. Как будто с него содрали лак, стёрли позолоту, как будто ботинки перестали мазать гуталином и чистить щёткой.

— Моя мама не хотела покидать могилу папы.

— Ну, а тебе что мешает уехать? Уезжай отсюда к чёртовой матери, пока ещё не стала старухой.

— Легко сказать. Кто меня там ждёт.

— Николай Петрович, Ромка на машине приезжал.

— Купили? Что за машина?

— «Ланос»... не новый, конечно, но выглядит прилично. Вы никогда не хотели иметь машину?

— Саша, я хотел художником стать. Чувствуешь разницу? Что такое иметь машину? Что это за такая мечта? Машина либо нужна, либо не нужна.

— По-моему, машина всем нужна, но не все могут себе позволить её купить, отсюда и мечта. Разве не удобнее ездить на своей машине, чем ждать троллейбус или ходить пешком?

— Саша, не раздражай меня. Ты же музыкант, а завидуешь какому-то чуваку, который купил подержанную машину. Ну, что это такое!

— Да не завидую я, и причём тут музыкант. Если музыкант, так уже нельзя говорить о материальном? Вы думаете, Битлз не думали о деньгах?

— Вы в Харьков собираетесь ехать?

— Собираемся.

— Как съездили?

— Отлично, Николай Петрович.

— Народу много было?

— Да, да, всё отлично. Дорога, конечно, все устали, а так... всё замечательно. Что ни говори, а Харьков — это Харьков. Молодёжи, студентов... Хозяин сказал: можете хоть каждую неделю приезжать. Если бы было немного ближе, или хотя бы свой транспорт, или было где остановиться.

— Что за кафе?

— Отличное кафе. Правда, небольшое, но всё продумано. В полуподвале. Перед нами саксофонист там выступал. Николай Петрович, ну что вы хотите, я же говорю: Харьков.

— Саша, так хватайтесь руками и зубами и перестаньте считать деньги.

— Принимали хорошо. Мы несколько хитов сыграли, так прямо на ура.

— Не думайте о деньгах, ты слышал меня?

— Альбина с нами ездила — ей тоже понравилось.

— Ну, я рад за вас.

— Николай Петрович, а что вы говорили про друзей? Вы говорили, что у вас в Харькове были друзья.

— Саша, не друзья, конечно, знакомые, в основном художники, но была парочка поэтов, писатель, даже музыкант из симфонического оркестра. На гобое играл. Станный молчаливый чувак был. Он потом зачем-то из окна выпрыгнул. Так никто ничего и не понял. Но был и очень близкий мне товарищ. Почему был? Он и есть, и мы могли бы с ним общаться, как и прежде, но для этого надо, для этого надо... Нет, пока это невозможно. Странная вещь с ним произошла, или, может быть, я просто не замечал, что это в нём есть. Видишь ли, мы знакомы с ним очень давно, и он казался мне таким хиппи, леваком, интернационалистом. Нет, у него и тогда был какой-то пристальный взгляд на историю России. Во всех её проявлениях обнаруживал уникальность, вызывавшую в нём восторг. Когда это касалось культуры, я, в общем, и не возражал. Пушкин, Достоевский, Гоголь, Лермонтов... тут всё понятно, но дальше шли разговоры об уникальной русской цивилизации, о мессианской роли России. Это как-то не вязалось с его чегеваровской внешностью с коммунистическими убеждениями. Я попросту старался не замечать его пристрастности ко всему русскому, к выпячиванию русской исключительности. Странно, с одной стороны, он был ярый противник национализма и национальных движений, начисто отвергал идею украинской государственности как пережиток прошлой эпохи, а с другой стороны, считал укрепление России великим цивилизационным благом. Но я всё ещё мирился с этим, терпел, пока в четырнадцатом году мне окончательно не стало понятно, что он типичный нацбол уровня Лимонова, умеющий умно и едко аргументировать, подгонять факты, агрессивно агитировать, давить, настаивать. Я слишком слаб, и характером, и физически, чтобы сопротивляться этому натиску, я попросту перестал с ним общаться. Хотя я от этого много потерял. Моя жизнь как-то скукожилась, стала мельче, но с другой стороны так мне проще сохранить своё мироощущение. В нём моя идентичность, моя сущность, какой бы она ни была. К чёрту. Великороссы... Ну, ладно, пусть они будут великие, но какими надо быть сволочами, чтобы других назвать малороссами. Ох, и получают они когда-то за свою великость. Отольются кошке мышкены слёзы.

— Сашка с друзьями ездили в Харьков выступать.

— Кто же их туда пригласил?

— Пригласили... В каком-то ночном кафе. Я вспомнил о Лёшке. Может быть, позвонить ему?

— Позвони.

— Нет, не хочу.

— Почему?

— Опять начнёт мне про Советский Союз нерушимый...

— Ну и что, послушаешь ещё раз.

— Не хочу. У тебя печка вся заляпанная.

— Ты это специально? Хочешь, чтобы у меня давление подскочило?

— Отчего? Что я такого сказал?

— Взял бы молча и помыл сам.

— О, зацепил против шерсти.

— Прекрати.

— Ты знаешь, что из-за твоего характера мы так и не стали близки. Я никогда не мог сказать тебе, что думаю, и я подозреваю, что ты тоже прятала свои мысли. А без исповедальности, без искренности, душевная близость невозможна.

Таня ушла в спальню и закрыла дверь.

— Надя, Николай Петрович всегда такой был или это он при мне ничего не хочет делать. Который месяц не могу добиться от него, чтобы мы оформили фойе. Что-то я не разберусь.

— Он интересный, может быть, немного странный, но старики, они все странные, потому что им кажется, что только они могут понимать жизнь. У меня мама такая...

— Я бы, конечно, предпочла видеть у себя другого художника. Вы только не говорите ему, но, в самом деле, уже сидел бы дома.

— Он опытный.

— Жизнь меняется. Я даже не знаю, понимает он это или нет. Надя, я тебя попрошу, поговори с ним, меня он просто игнорирует.

— О чём?

— Ну, что я жду от него работы. Кстати, у тебя нет на примете кого-то, кто бы мог работать костюмером?

— ...Нет.

— Надо сказать Николаю Петровичу, что директриса на него зуб точит.

— Я думаю, он и сам это знает. Представляете, если Николай Петрович уйдёт? С ним так удобно было работать: понимал всё с полуслова.

— Да, и поговорить с ним интересно, он так много знает и рассуждает оригинально.

— Но иногда бывает противный. Не люблю его шуточки, наигранный скепсис.

— А мне нравится, как он шутит, особенно, если выпьет...

— Фу, нет, так и лезет высокомерность, неуважение... Мне кажется, он презирует женщин.

— Я никогда не слышала от него ничего оскорбительного.

— Хватит вам. Взялись перемывать косточки. Вы только ему ничего не говорите. Пусть директриса сама с ним разбирается.

— Что Николай Петрович, вот Саша от Альбины не отходит...

— Николай Петрович, мне тридцать два года...

— А моему сыну тридцать четыре.

— Говорите, он у вас не женатый? Согласитесь, что рано или поздно начинаешь задумываться, что надо бы как-то уже остепениться.

— Да?

— Ну, конечно, Николай Петрович, тридцать два года, а у меня ещё не семьи толком, не ребёнка. Надо же след оставить в жизни, чтобы хотя бы кто-то после тебя фамилию твою носил.

— Вот как...

— А что? Хватит уже ребячиться.

— Так в чём дело?

— Я же говорил, Наташка аборт делала, вряд ли у неё будет ребёнок, а что это за семья без детей. Нет, я серьёзно, я же не виноват.

— А аборт у неё не от тебя?

— Нет, это ещё до меня у неё кто-то был. Вам ведь Альбина тоже нравится?

— Саша, да мне любая молодая девка нравится. В моём возрасте это уже эстетическое чувство. Не понимаю, как у денежных стариков хватает совести жениться на девочках. Как можно показывать им своё тело, если оно тебя самого отвращает. Неужели трудно представить, как она наедине с собой, где-нибудь в ванной потом кривится. Я понимаю, что женщинам свойственно терпеть насилие над собой, так устроена природа, но сейчас, чуть ли не впервые в истории им предоставляется выбор. И что? Они выбирают то, что раньше от них требовали без всякого согласия. А что это ты вспомнил Альбину?

— Ну... мы с нею любим друг друга.

— Как же Наташа?

— Наташа... Я же вам объясняю, что хочу ребёнка.

— Да, я, Сань, в твоей ситуации не был. Я женился в двадцать два года. Причём у меня было твёрдое чувство, что женюсь я на всю жизнь, поэтому, помню, чертовски нервничал. На всю жизнь! Всё равно что прыгнуть со скалы. Понимаешь, бесповоротный выбор.

— Но почему? Неужели это правильно? Людям свойственно ошибаться. Значит надо допустить возможность исправления ошибки.

— Бывают, Саша, случаи, когда ошибку исправить нельзя.

— Но женитьба, мне кажется, не тот случай.

— В моей жизни — тот. Я тебе даже не смогу объяснить почему. Не знаю почему. Я помню, тогда даже устроил испытание, но не себе, а судьбе. Взял перед самой свадьбой у приятеля мотоцикл и погнал со всей дури по железнодорожной насыпи. Думаю, если со мной ничего не случится, если не ударюсь в столб или не полечу под откос, значит жениться на Танюхе моя судьба.

— Никогда не жалели?

— Всю жизнь жалел, но это не имело никакого значения. Я, к примеру, всю жизнь жалел, что не могу сесть за штурвал самолёта или сыграть на органе. В такой жалости даже есть что-то приятное, сладостное. В человеке должно быть несбывшееся. Жизнь как родник, нельзя вычерпывать до дна. Что-то должно оставаться неосуществлённое. Глупые, бесстыдные даже преступные желания, заведомо неосуществимые, делают жизнь богаче, объёмнее, ярче. Сколько жизней я прожил мысленно, сколько жён и любовниц, Саша, у меня было, где только я не побывал, какие чудные картины я писал. Так что это замечательно, что мне было о чём жалеть. Если жалел, значит обладал фантазией. Только примитивные уроды не о чём не жалеют.

— А я не хочу потом жалеть.

— Всё равно пожалеешь. Не об этом, так о чём-нибудь другом.

— О другом — это ладно.

— Мне надо с вами поговорить.

— А вы кто?

— Жена.

— Чья?

— Я жена Горбенко Александра. Он у вас тут, на работе, завёл шашни с какой-то блядью.

— Да? С чего вы взяли? С чего вы взяли, что именно на работе?

— Я знаю.

— Интересно, кто бы это могла быть? Я ничего не замечала. Интересно, интересно. Так вы точно знаете, что она работает у нас в ДК?

— Да, он сам об этом сказал.

— Я не могла подумать, что Саша... он мне казался порядочным парнем. Но кто же это такая, он не говорил?

— Нет.

— Вот засранец. Вы давно с ним женаты?

— Давно. Мы живём вместе лет шесть.

— Да, да, я вам сочувствую. Эти мужчины, чёрт бы их побрал, иногда выкидывают такие кренделя. Никакой ответственности. Поманит какая-нибудь пальцем, и они уже ни о чём не думают.

— Я хочу узнать, кто это сучка.

— Теперь и я хочу это знать. Но, предположим, выясним мы кто она, и?..

— Я ей набью морду.

— И что?

— Не знаю, но я хочу плюнуть ей в глаза.

— Какая вы.

— Я шесть лет угрохала на этого козла.

— Понятно.

— Вы должны помочь мне, уволить эту стерву.

— Думаете, это поможет? Они начнут встречаться в другом месте. Да они и так, я думаю, встречаются, кроме Дворца культуры.

— Поговорите с ним, припугните чем-нибудь.

— Поговорить я, конечно, поговорю, а вот напугать вряд ли смогу. Если он, девочка, не боится потерять тебя, то что тут поделаешь.

— Надя, мне надо с тобой поговорить.

— Да, слушаю вас.

— Ко мне приходила Горбенко жена...

— Наташа? Она и к нам заходила.

— Так вы все в курсе? И с кем же это он, уж не с библиотекаршей?

— Нет, с Альбиной.

— И давно они?..

Надя пожалала плечами, увидела пепел на лацкане и смахнула его длинными ногтями.

— Жена просит, чтобы мы как-то действовали на него.

— Как мы можем действовать? Причём тут мы. Они, между прочим, даже не расписаны.

— Да? А она мне не сказала.

— Ну, они оба это не афишировали, но теперь она пожалеет.

— Всё равно я с ним поговорю. В конце концов, это непорядочно с его стороны, даже подло. Я представить не могла, что мне придётся разбираться с такими вещами.

— Николай Петрович, ну вот какое ей дело? Зачем она лезет в чужую личную жизнь? Когда уже закончится этот совок?

— Боже мой, Саша, что случилось.

— Директриса начала мне выговаривать насчёт Альбины.

— А как она узнала?

— Дура, Наташка, приходила жаловаться. Тоже баба с приветом оказалась. Кому ты жалуешься, на что? Не понимаю я этого. Это моё личное дело, мои чувства, я, может быть, в них сам ничего не понимаю. Вернее, понимаю, но не могу повлиять. Они же не возникают по нашему желанию. Не было Альбины, у меня были одни чувства, появилась она, появились другие чувства. Увидел её глаза, услышал голос, поговорил с нею и, пожалуйста, чувства. Но, конечно, и ребёнок. Хочу ребёнка, а Альбина уже беременна...

— Так она уже и беременна.

Саша покраснел, как в бане. Он, наверно, и сам бы изумился той улыбке, что возникла на его лице.

— Да.

— Ну, тогда мосты сожжены. Ты говорил об этом Наташе?

— Нет, ещё не говорил.

— Я думаю, надо сказать.

— Надо. Я сам знаю, что надо.

— Ты, Саня, даёшь. Когда вы успели?

— Успели... Это нормально: я хочу ребёнка, а она молодая, красивая.

— А Наташа?

— Николай Петрович, вы думаете, мне её не жалко, но что лучше: когда мы все трое будем несчастны или одна она?

— Саша, а что лучше: всем умереть или одному? Мне кажется, бывают ситуации, когда выбор невозможен, потому что все варианты плохие. Но всё равно приходится выбирать, и тут жертвовать надо собой.

— Я же сказал, от моей жертвы никому хорошо не станет.

— Теперь конечно. Раньше надо было думать, когда ты только ещё увидел её глаза, а не всё остальное.

— Николай Петрович, я надеялся, найду у вас поддержку. Разве мне легко? Меня самого всё это огорошило.

— Так, а что я, Сань? Чёрт его знает, чтобы я сделал сам. Это я так... в теории... Я только знаю, что я трус и, наверно, испугался бы такой ситуации.

— Вероятно, вам в своё время не встретилась такая как Альбина.

— Да нет, Саша, наверно встречалась, и не одна. Мне кажется, таких Альбин полно, на каждом шагу, полные улицы, троллейбусы, весь мир сплошные Альбины, надо только разрешить себе любить. Я не разрешал. С любовью столько хлопот. Да ты теперь сам знаешь.

— Кто тебе звонил?

— Лёнька Зорин.

— Что это он вспомнил?

— Приехал какой-то Костя Костенко... одноклассник. Видимо, у него жизнь удалась: хочет собрать одноклассников, чтобы похвастаться.

— Почему какой-то, ты его не помнишь?

— Абсолютно, ни малейшего представления, кто бы это мог быть.

— Как так можно?

— Я в этой школе учился только последние два года.

— Что вы решили?

— Я ещё ничего не решил. Нас в городе осталось раз-два и обчёлся: Метелина, Дыдыкина, Скуригин, Гаркуша... Может быть, ещё кто?

— Вы с Лёнькой.

— Мы с Лёнькой...

— Дыдыкина... это не та, что завкардиологией?

— Та.

— Её-то ты помнишь?

— Её-то я помню. Она отличницей была. Я на неё смотрел, как свинопас на принцессу, не смел подойти к ней, коснуться.

— После школы ты видел её когда-нибудь?

— Нет.

— Так откуда ты знаешь, что завкардиологией это она?

— Лёнька Зорин говорил. У неё почему-то осталась девичья фамилия. Ты знаешь, нельзя сказать, чтобы она была гордая, высокомерная, неприступная, при всей её красоте, ей не хватало сексопильности, она не издавала сучьего запаха. У неё и ухажеров в школе не было. Её красота была какая-то домашняя, сестринская. Я мог бы представить себя её младшим братом, которого она учит чистить зубы или читает ему книжки. Тем более, что у меня не было сестры.

— Что-то ты много о ней говоришь.

— Ты сама спросила.

— Я спросила, потому что она завкардиологией. Такое знакомство не помешает в нашем возрасте. Как ты думаешь, она тебя помнит?

— Не знаю. Нам с нею не о чем было говорить, уроков я не знал, ни заводилой, ни хулиганом не был. Замечала ли она меня вообще? Если и помнит, то как глупого ленивого робкого мальчишку. Меньше всего мне хотелось бы напоминать о себе. Ни малейшего желания.

— Ты решил не идти?

— Ей-богу, Таня, не хочется.

— Думаешь, твои отличницы не стали обыкновенными старухами?

— Я понимаю, что юношеские комплексы полная чепуха, как и все эти школьные знания. Если кто-то на несколько недель запоминал какую-то формулу, он не становился образованнее — это понятно, но теперь это и не важно. Теперь они предъявляют другой аргумент: машина, дача, шик.

— Ты думаешь, у них будет этот шик?

— Не знаю, Тань. И вообще, воспоминания... Может быть, я какой-то извращенец, но я ничего не помню о школе хорошего. Ничего. Ни одного дня, ни одного события. Я каждый раз бежал

из школы так, как будто в ней разгорался пожар. До следующего утра она в моём сознании сгорала дотла. Её не существовало, но холодным сумрачным утром я снова обнаруживал её казённые стены и полную пустоту в голове. Полдня мне нужно было как-то скрывать эту пустоту от учителей, которые всеми коварными способами пытались её обнаружить и потом заклеить меня. В школе я чувствовал себя так, как наверно чувствовали себя евреи со звездой Давида на спине. Вот зачем мне всё это вспоминать?

— Николай Петрович, мы с Альбиной решили уехать отсюда. Что молчите?

— Жалко, я привык к тебе.

— Мне тоже жалко, но какой смысл нам тут оставаться. Альбина всё равно беженка, а на меня Наташкины родители смотрят как на врага народа. И она всё никак не успокоится: следит за мной, уговаривает. Я ей объясняю: Наташа, всё кончено, а она вцепится мне в локоть и смотрит в глаза, как удав, того и глядя пойдёшь с нею. Нет, надо уезжать. Так будет лучше для всех.

— Как же ваша группа, музыка?

— А что музыка?.. Не знаю. Музыкой можно заниматься везде, было бы желание.

— И куда вы планируете уехать?

— В Киев... У Альбины там старшая сестра на стройке работает. Снимем вместе квартиру. Я устроюсь... куда-нибудь.

— Ну и хорошо. Киев — это хорошо. Я люблю Киев. Я влюбился в него с первого раза. Может быть, потому, что было лето, грозы были громкие, дожди тёплые, я молодой, радуга над белой Дарницей, крест Владимира в голубом клочке неба между сливовыми тучами и солнечные искры, отскакивающие от мокрого асфальта. Вальяжный, спокойный Днепр боком трётся о Владимирскую гору, Саша, вы никогда не были в Киеве? Поезжайте в Киев — это мудрое решение, и дай вам бог удачи. Где эта грёбаная Курдюмовка, и где Киев... Саша, я сейчас расплачусь. Да, только не забудь поставить отвальную.

— Я ещё никуда не уехал.

— Оля уехала в Краматорск к родителям.

— Так она что, рассчиталась?

— Да. Наверно, ей тяжело было тут оставаться.

— Вот и скажи, что у человека нет написанной судьбы: всё равно его смерть догнала. Я не знаю, что бы делала с этими крутыми уродами.

— Говорят, таксисты два дня возле здания суда гудели. Хорошо, что Ромка в тот момент без пассажиров был.

— Ты уж как-то слова подбирай: говорить «хорошо» в этом случае...

— Подберёшь тут...

— Саша с этой своей Альбиной тоже уехали?

— Нет ещё. Обещал зайти, попрощаться.

— Я вижу, у нас новенькая.

— Да, познакомьтесь, Света. Она вместо Оли.

— Понятно. А что вы всё пишете? Когда к вам не зайти, вы всё пишете.

— Николай Петрович, вы как сегодня родились. Надо же отчитаться за прошедший квартал: сколько было проведено мероприятий, каких, сколько охвачено людей, кто привлекался к мероприятию и т.д., и т.п. Потом надо подать план мероприятий на следующий квартал: где, когда, с кем... А вы как думали? Всё это будет храниться в отделе культуры в течение двадцати лет. Они, в свою очередь, напишут отчёт для областного управления культуры. Там соберут эти отчёты со всех районных отделов, и тоже будут хранить сколько-то лет.

— А читать их кто-нибудь будет?

— Зачем? Вы думаете, кому-то это интересно?

— Надя, если не читают, как же они знают, кого хвалить, а кого ругать?

— Так они позвонят по телефону и спросят: сколько проведено мероприятий? И запишут где-нибудь себе на бумажке. Так же проще, чем искать ответ в этих талмудах.

— Потрясающая система. Она, вероятно, существует с тех пор, как изобрели письменность. Ну, а компьютер у тебя на столе зачем стоит?

— Смешной вы, Николай Петрович, чтобы я всё переписала в компьютер и сбросила по электронной почте туда.

— Вот как?

— Можно подумать, вы не знали об этом.

— Я, девочки, мазохист. Мне доставляет удовольствие слушать про маразм нашей жизни. Мне кажется, вот природа ни хрена не планировала. Я просто уверен, что у неё не было в планах столько-то миллионов лет развивать микроорганизмы, потом создать беспозвоночные, потом до такого-то года населить Землю динозаврами, а в таком-то тысячелетии замахнуться на человека. Каждый следующий этап наступал не по плану, а потому, что для него созрели условия. Созревали естественным путём. Возможно, так дольше... Девки, представьте, что где-нибудь в чёрной космической дыре вышестоящая контора и оттуда по телефону спрашивают, когда вы, наконец, закончите на Земле эволюцию, так вас растак. Лишим премии. Во, меня понесло. Ладно, не буду мешать.

— Кто это?

— Наш художник.

— Ну, Саша заходил?

— Мы бы напились. Нет, уехал, чертёнок, не попрощавшись... Я сегодня в коридоре упал, голова закружилась... Хорошо, что никто не видел. Заходил к девчонкам, они пишут план мероприятий. Оказывается, в этом году отмечается пятисотлетие Реформации.

— Чего пятисотлетие?

— Реформации... и мы должны запланировать мероприятие.

— Но это что-то из религиозной жизни. Причём тут ДК? Ты ничего себе не ушиб? Если плохо себя чувствовал, зачем шлялся. Девки тебе понадобились...

— Упал я позже.

— Дай я посмотрю на тебя.

— Что?

— Почему ты не пойдёшь к врачу?

— Что толку.

— Сами запускаем себя, потом нам кто-то виноват.

— Вашего врача нет: он на курсах. Будет только через две недели. Если что-то срочное, хотите, я запишу вас к другому...

— Нет, спасибо.

— Николай Петрович, вы так ко мне относитесь, как будто я заняла ваше место.

— Моё? Как вы могли занять моё место? Я вас не понимаю.

— А я вас не понимаю, но чувствую с вашей стороны какую-то ревность и неуважение. Только, имейте в виду, мне всё равно, вы меня этим не достанете.

— Господь с вами. Я ничего такого не хотел, вам показалось. Если бы я мечтал стать каким-нибудь директором, я бы стал им ещё до вашего рождения. Вы об этом?

— Но я же вам как директор не нравлюсь?

— Ну и что? Зато, может быть, вы мне нравитесь как женщина. И вы, в самом деле, симпатичная женщина... ноги ровные, грудь, бёдра...

— Прекратите, я вам не лошадь. Если вы старше — это ещё не значит, что имеете право говорить мне гадости.

— Что я такого сказал? Да французская женщина на вашем месте была бы благодарна мне, что я вижу и ценю её прелести. А вы действительно хотите, чтобы я их не замечал? Вам, действительно, больше нравится быть не женщиной, а начальством?

— Так вы просто женоненавистник, вам не нравится, что ваш директор — женщина.

— Скажем так: мне не нравится, что хорошенькая женщина — директор.

— Спасибо за откровенность. Теперь мне всё ясно. Я раздражаю ваше мужское самолюбие.

— Самолюбие? Да нет у меня уже никакого самолюбия. Меня раздражает эклектика, отсутствие в этом гармонии. Даже плохой художник больше всего на свете ценит гармонию.

— За умными словами вы скрываете обыкновенное хамство. Я вас не принуждаю терпеть себя, можете рассчитывать, если хотите.

— Я подумаю.

— Подумайте.

— Переворачивайся на живот. Какие вы, мужики, боягузы. Обыкновенного укола всю жизнь боитесь... Ну, больно?

— Так...

— Лежи. Пусть рассосётся.

— В детстве, когда мне лечили зубы, врач удивлялась, какой я терпеливый мальчик. И никто не понимал, что я не кричу от боязни, что меня будут ругать. Тётя рассердится, и это мне казалось страшнее зубной боли. Мне иногда приходит в голову, что если бы я был не я, а мой знакомый. Вряд ли я был бы рад такому знакомству. Надо же случиться: всё, что я в человеке не люблю и презираю, принадлежит мне самому. Может быть, это господние наказание, может, этим я искупаю грех своих родителей, может, за мои страдания на земле мне уготована райская жизнь?

— Можешь переворачиваться, страдалец.

— Как бы я хотел быть смелым, благородным, умным, талантливым, обаятельным, решительным, немногословным, остроумным, сильным... а бог сделал меня трусливым, мелочным, глупым, бездарным, нерешительным, слабым, неприятным типом. Самое мучительное, что я это понимаю. Бог дал мне жизнь, заведомо изгадив её. Как какой-нибудь мальчишка в насмешку угощает тебя конфетой, предварительно испачкав её в грязи.

— Есть на кого свалить. Мы только тогда и вспоминаем о боге, когда надо найти виноватого. У нас во всём виноват бог. А что же ты сам, если понимаешь свои недостатки, ничего не делал, чтобы измениться?

— Как раз этого мне и не дано. Бог не дал мне такой способности, сделав меня безвольным. Я не могу бороться с собой. Я как бы наблюдаю за собой со стороны. Наблюдаю и никак не могу повлиять. У меня нет приводного механизма. Я с собою не связан. Я могу только переживать за себя. Эта беспомощность мучительна. Представь, что ты сидишь на водительском месте, а руля перед тобой нет.

— С такими мыслями никакое лекарство не поможет. Неужели ты не можешь подумать о чём-нибудь хорошем, приятном.

— Хорошо, Танюша, я буду думать о тебе.

— Вот сейчас ты мог сказать что-нибудь другое или промолчать?

— А что такого я сказал?

— Ничего.

— Что это?

— Рисунки вашей Саши. Я собрал их в отдельную папку. Вероятно, я скоро уйду, жаль, если рисунки пропадут. Сберегите их.

— Вы считаете, у неё есть талант?

— Я не знаю, что такое талант в этом возрасте. Не уверен, что ей нужно становиться художником... ещё столько воды утечёт. И вообще, это не женская профессия, хотя и этого я точно не знаю. Одно скажу: мне нравятся её рисунки. Я бы с удовольствием забрал их себе, будь я моложе.

— Вы собрались уходить?

— Да, сколько можно. Хочу завести на даче кур и обязательно петуха, горластого- прегорластого, чтобы орал по утрам и весь день. Представляете, лето... Как только Саше исполнится лет восемнадцать, покажите ей её рисунки. Думаю, она будет удивлена, и ничего в них не поймёт. Но всё равно сделайте это, может быть, я ошибаюсь.

— Николай Петрович, вам не жалко уходить?

— Почему мне должно быть жалко? Я ничего не теряю.

— Всё же... Столько лет здесь проработали.

— Да сколько? Лет десять, кажется... Это, Надя, для тебя десять лет ещё срок, а у меня таких десятков уже семь. Нет, прошлое мне не интересно. Моё прошлое, как плохая книжка, один раз прочёл, и всё: сюжет знаешь, зачем к ней возвращаться? Будущее намного интереснее, хотя и его можно предвидеть. Если не обманываешься в себе, если хорошо сознаёшь, кто ты есть, можно предположить, что твоё будущее будет похоже на твоё прошлое, так что... к чёрту, надоело. Знаешь, ещё несколько месяцев назад мне хотелось устроить нашей директрисе какую-нибудь каверзу... А теперь даже этого не хочется. Равнодушен я к ней стал. Она перестала меня злить, представляешь? И вообще я перестал злиться. Раньше меня столько вещей злили. Мещане злили, плохая живопись злила, жена, Путин, империализм, дамы с собачками, март злил своим оттаявшим говном, пластиковые бутылки, культурные мероприятия злили своей дебильностью, сосед отвисшей челюстью, сопляшня с голыми щиколотками... И вот, уже ничего не злит. Просто противно. Противно и скучно. Скучно и противно. И Сашки нет пожаловаться, так я хоть тебе душу изолью.

— Мне чуть-чуть...

— Когда мы с тобой ещё выпьем.

— Если вы уйдёте уже, наверно, никогда.

— Да. Жизнь так устроилась, что мы теперь не нуждаемся друг в друге непосредственно. Кто-то испёк хлеб, кто-то привёз его в магазин, а кто именно, для меня не имеет значения. И так во всём. Нам нет нужды напоминать друг друга. Какие-то люди ходят вокруг, что-то делают. Не сделает этот, сделает другой. Вот вместо Сашки пришёл человек... И всё как было. Можно даже на это не обратить внимание.

— Но вы же не дружите с ним так, как с Сашей.

— Да разве это была дружба? Сидели, болтали от скуки. Нам и не нужна была дружба. Что бы мы теперь делали со своей дружбой? Переживали бы друг за друга, беспокоились: как там, что там с ним? Это всё равно, что кругом носить с собой пуд соли. Рано или поздно проклянёшь эту ношу. С любовью, между прочим, то же самое.

— Так, по-вашему, лучше не любить и не дружить?

— Это ты сама решай. Хотя... в конечном счёте, мы ничего и не решаем. Всё устраивается само собой по какому-то неизвестному нам закону. Ведь яблоко падало на голову и до Ньютона. Может быть, когда-нибудь люди откроют закон любви и одиночества. А пока и то и другое падает нам на голову по неясной для нас причине.

— Я помню, в молодости сходилась с людьми быстрее. В студенческие годы компания собиралась в считанные минуты, а теперь иной раз пригласят в гости, и начинается... то мне к ним не хочется, то Ярику. Так бы и сидел дома. Жаль, что вы уходите. Я, может быть, тоже уйду.

— А тебе зачем уходить?

— Что тут хорошего. Думаєте, одному вам надоело.

— Не знаешь, кто теперь на твоём месте работает?

— Никто.

— Ещё никого не взяли?

— Мою должность сократили.

— Им не нужен художник?

— Нет.

— Почему?

— Видишь, как вредно долго жить: не только ты сам, но и твоя профессия со временем становится не нужной. Сейчас всё можно отпечатать. В любом размере. Но дело даже не в этом. Художник потребовался с возникновением религии из необходимости представить и изобразить божество, воплотить дух в зримый образ. Изображали животных, идолов, фараонов, два тысячелетия иллюстрировали на стенах храмов библию, потом появились коммунистические идола, и мы с тобой как-то жили, потому что я умел сносно их копировать. И вот наступил странный для человечества момент, когда старые религии одряхлели, а новой не появилось. Мы зависли в бездуховности как в безвоздушном пространстве, потеряли под ногами почву. Художник больше не нужен, потому что ему некого изображать. Человек разуверился не только в божествах, но даже в себе, поэтому людей рисуют не как божественное создание, а как извращение, кусок сырого мяса. Изобразительное искусство выродилось в дизайн. Интересен не человек, а его одежда, вместо божка с пеньковой бородой дизайн автомобиля. И не надо думать, что это плохо. В объективной сущности нет ни хорошего, ни плохого. Так есть, и точка.

— У тебя какая-то мания всё представить в самом чёрном цвете. Люди живут и ни о чём таком не думают. Я тебя уверяю. Мне всегда казалось, что художник должен рисовать красоту. Разве мало в мире красивого. Зачем что-то выдумывать, а потом мучиться от того, что вас никто не понимает, что вы никому не нужны.

— По-твоему, красоту понимают все?

— Если это красиво, как можно не понимать?

— То, что понимают под красотой, отвратительно и пошло. Оно-то меня и погубило. Я Серёжку встретил сегодня.

— Где?

— Возле магазина.

— Что же ты его не пригласил к нам?

— Он был с Галкой.

— Наверно, зарплату получил. Ты с ним разговаривал?

— Так... пару слов.

— Не говорил, когда у него отпуск?

— Нет... Да нам какая разница?

— Она его на море потащит.

— Ну и что?

— Деньги растратят.

— Таня, я так отвратительно спал эту ночь.

— Чай наливать?

— Да, и подай масло. Снится такая чушь. Ты знаешь, я заметил, вот уже лет двадцать мне перестали сниться желания.

— А что же тебе снится?

— Что тебе снится, крейсер Аврора?.. А снятся мне теперь одни страхи.

— Это какие же?

— Чего боюсь в жизни, то и снится. Говно, жабы. Представляешь, то и дело оказываюсь в местах, где всё в говне, и я вот-вот в нем вымажусь, или вокруг меня жабы, жабы, они лезут по моим ногам вверх, подбираются к лицу, рту...

— Перестань.

— Или снится, что я сломал ногу или руку. Нет, чаще ногу... совсем сломал, то есть она отломалась и я держу её в руке, или ещё хуже, нога отломалась не у меня, а у Серёжки... Ещё снится какой-нибудь бандит, враг, который собирается меня убить. Я не могу убежать, бью его изо всех сил, но понятно, что мои удары гаснут в пространстве. Вот ещё страшный сон: снится, будто у меня нет работы. Причём весь страх не в том, что у меня нет работы, а в том, что у всех она есть, а нет только у меня. Или у всех взяли картины на выставку, а у меня нет. Когда-то мне снилось, что я никуда не поступил и должен вернуться в школу, потом долгие годы снилось, как будто меня снова призывают в армию и я не могу доказать, что уже отслужил. Но эти сны уже давно не снятся, потеряли актуальность.

— Но и про работу уже можно забыть.

— Нет, это ещё свежо. Что интересно, во сне всё страшнее, чем наяву. Мне, конечно, неприятно говно, но не настолько, чтобы я приходил от него в ужас и содрогание, как это бывает во сне. И перспектива остаться без работы не казалась такой мрачной.

— А ясны редко запоминаю.

— Мой мозг совершенно не отдыхает. Я всю ночь сознаю его фантазии, чувствую, что мозг работает, но работает без меня. Иногда я ловлю себя на том, что пытаюсь во сне взять под контроль какую-нибудь историю, выстроить её более-менее правдоподобно, но в ту же минуту просыпаюсь. Может быть, из-за этой круглосуточной работы днём мозг работает не в полную силу, поэтому я такой тупой.

— Перед сном надо ничего не делать и стараться ни о чём не думать.

— Ну, не делать — ладно, а вот не думать... разве это возможно?

— Тань, я только что ехал в троллейбусе, а по улице, пытаюсь успеть, к остановке бежал мальчишка лет десяти. Мне показалось, что это я.

— Таня, кто-то звонит.

— Слышу. Коля, это к тебе.

— Кто там?

— Сейчас увидишь.

— Боря?

— Мне сказали, ты решил поболеть?

— Есть немного. Но это ничего. Боря... Как ты нашёл...

— У меня хорошая память. Вот только номер квартиры... сомневался.

— Проходи, садись, рассказывай. Таня...

— У меня всё с собой.

— О, коньяк, сыр... А борщ будешь?

— Борщ? Сто лет не ел борщ.

— Сейчас разогрею.

— Так что это ты решил болеть?

— Старый я уже.

— Ну да, о какой старости ты говоришь?

— Ладно, не будем. Рассказывай, какими судьбами?

— Коля, что ты себе думаешь?

— Я только три рюмочки.

— Сколько лет прошло, как он уехал?

— Лет двадцать.

— Хорошо устроился, что рассказывал?

— Я вот что подумал: неравноправие начинается не с внешних запретов, а с того, сколько и что люди запрещают сами себе. Если ты обложишь себя всякими табу, тебе трудно конкурировать с людьми, позволяющими себе всё что угодно.

— Причём тут Борис? Ты лучше о нём Расскажи.

— Я о нём и говорю. Ты же знаешь, что он отъявленный нахал. Моя беда в чём? В том, что я никогда не заходил в дверь с надписью «Посторонним вход запрещён». Эти надписи существуют, чтобы отпугивать таких лохов, как я. Фиг бы он уехал в Германию, если бы его останавливали запреты. Он три года жил там нелегально.

— А семья?

— Семья! Людка ушла от него в первый же год. Вышла замуж за хозяина галантерейного магазина. Торгует теперь носками.

— А дети с кем?

— Дети уже взрослые.

— Людка молодец. А он женился там?

— Живёт с какой-то адвокатшей. Она ему студию снимает в Мюнхене. И, судя по фотографии, старше него лет на десять.

— Он и фотографии показывал?

— Зачем ты ушла? Посмотрела бы.

— Неудобно. Не хотела вам мешать.

— Вот видишь, как обкрадывает нас деликатность.

— Надо было ехать, чтобы потерять семью. Он хоть с детьми общается?

— С младшей, Ленкой, кажется, так её звали? Да, говорит, в прошлом году приезжала к нему в Мюнхен на день рождения. А старшая уже замужем за негром.

— За негром?

— Да.

— Юлька?

— Ну да.

— А он что?

— Кто?

— Ну, они оба: Борис, Людмила?

— Говорит, хороший парень, программист. У них уже дочка.

— Чёрная?

— Ну, да, на фото негритосочка.

— Господи.

— Тань, я тебе удивляюсь. Ты у меня такая расистка.

— Причём тут расистка. Я поражаюсь, как им... мне кажется, я бы и с немцем не смогла бы.

— Да ты и со мной не особенно могла.

— Мир перевернулся. Ну, а с картинами у него что?

— Говорит, покупают.

— Мне никогда не нравились его картины.

— Мне тоже. Но, согласишься, парень интересный.

— Да, парень... ему, наверно, уже за пятьдесят.

— Пятьдесят два. Он на пятнадцать лет моложе меня.

— Не говорил, зачем приехал?

— Ничего определённого. Врал про ностальгию, но, по-моему, осталось какое-то наследство.

— С нашими-то ценами наследства и на дорогу не хватит.

— А ведь очевидно, что у него таланта ни на грош... Впрочем, как и у меня. Эх, если бы это понимать в двадцать лет. Талант не может существовать в мелком ничтожном человеке. Талант — это что-то большое, шевелящееся. Его не всунешь ни в ящик, ни в шкаф, ни в лавку. Для таланта нужно место, вот почему он всегда всем мешает, вокруг него вечно мышиная возня, возле таланта

невозможна спокойная жизнь, он обязательно напозёт на вас, отодвинет в сторону. Чтобы справиться с ним, необходимы коллективные усилия, целые организации бездарностей вроде творческих союзов или отделов культуры. А что я? Кому я мешал? Кто заметит, что я исчез?

— Ну и слава богу, что никому не мешал.

— Да, я никогда не становился на пути стада баранов. А они пёрли и пёрли... Всю мою жизнь пёрли... и я всю жизнь простоял на обочине, глотая пыль.

— Борис, видишь, помнит — к тебе зашёл.

— К кому же ему ещё идти? Витка сразу расскажет, как учил его в изокружке, прямо намекая, кому он обязан своими успехами, Андрюшко до лампочки какой-то Мюнхен — он и тут зарабатывает на мелочевке. Только у меня нет никакой альтернативы, только у меня есть повод завидовать, вот ко мне он и пришёл.

— Чему тут завидовать? Тому, что жена ушла, что дочка вышла замуж за негра? Бр...

— Таня!

— А, что? Помню, мы с классом ездили в Одессу, там ко мне один негр притронулся, так я чуть не выпала.

— Это говорит о нашей провинциальности, об узости взглядов.

— Не знаю... Пусть это будет провинциальность, но представить себя с негром я не могу.

— Я бы ещё понял тебя, если бы ты воспитывалась в каком-нибудь монастыре, закрытом религиозном пансионе, но ты же росла в обычной советской семье, откуда такое... пуританство? Как ты всю жизнь мучила меня своим отношением к сексу. Это чёрт знает что.

— Ну вот, я его мучила... А он меня не мучил? Ты меня больше мучил своим отношением к сексу. Я тебе вообще ни для чего не была нужна, кроме секса. Помешались все на сексе. Уже и не знают, что ещё такого выдумать мерзкого, отвратительного. Скоро... прямо на асфальте начнут трахаться, как собаки. И не только с неграми, но и с обезьянами.

— Таня, кошмар, на улице двадцать первый век.

— Ну и что? Значит теперь всё можно?

— Пойдём за тот столик... Мне этот чувак предлагал нанимать тут бригады и возить их к нему в Москву. Он бы их там потом кидал, а деньги пополам.

— А ты что?

— Да ну. Опасно. До него, может, не доберутся, а меня прибьют где-нибудь. И потом... так подставлять... Нет, это не для меня.

— Сволочное предложение. Я ещё тогда понял, что он конченный отморозок. Он мне остался должен сто баксов.

— Парни, вы Герцена читали?

— Пей, папаша, мы тебя не трогаем.

— Так вот Герцен писал: какое несчастье жить в провинции.

— Папаша налился. Пойдём вон туда.

— Идите. Всё равно вам здесь никем не стать и жёны ваши будут обыкновенными ханжами. Они даже в рот у вас ни разу не возьмут за всю жизнь.

— Ты с кем вчера пил?

— Один.

— Дожился. И тебе не стыдно?

— Мне всю жизнь стыдно. Знаешь, в детстве я думал, что стыдно бывает только детям, потому что дети балуются, врут, ошибаются, многого не знают, а взрослым стыдиться нечего — они всё делают правильно. Что значит правильно? Всё, что делают взрослые — правильно. Поэтому с точки зрения меня-ребёнка я уже давно должен всё делать правильно и мне не может быть стыдно. Но мне стыдно, значит я всё ещё ребёнок, я даже пишу с ошибками, как какой-нибудь третьеклассник.

- Хорош ребёнок. Видел бы ты себя вчера. И что за удовольствие напиваться?
- Ни малейшего удовольствия. Если бы ты знала, как мне сейчас плохо. От проклятого пива похмеле в десять раз хуже, чем от водки.
- Вот скажи, что у тебя есть ум в голове. Здоровье ни к чёрту, он пьёт.
- Ну, ладно тебе... Всё, больше не буду.
- Я это уже столько раз слышала. Если не жалко себя — пей.
- Ну, всё, всё.
- Всё... у меня опять давление поднялось.
- Ну, хватит.

— Таня, если вдуматься, так я не только не художник, я антихудожник. Во-первых, я не верю в бога. Да, собственно, уже одним этим всё сказано. Я жуткий рационалист и материалист, мелочный прагматик. Посмотри на мою старость: я лежу в тепле, за мной ухаживают, у меня есть пенсия. Я всю жизнь был убеждён, что не думаю об этом, что для меня это не важно, что все мои мысли направлены на творчество, но на самом деле я всё делал так, чтобы иметь то, что имею. Просто я этого не осознавал. Я никогда не делал шаг вперёд, если не был уверен, что смогу сделать два шага назад. Я терпеть не мог, когда какая-нибудь собака оказывалась у меня за спиной. Всё, что за спиной, должно быть абсолютно надёжно. Я, наверно, принадлежу к тем биологическим особям, которые последними потеряли способность видеть затылочным глазом. Опрометчивое решение эволюции, на мой взгляд. Художник — это не про рисование, а про образ жизни. Художник сам должен воплощаться в образ. Я не поклонник акционизма, но мне кажется, это естественное развитие художественной мысли. В сущности, уже Сальвадор Дали был акционистом. Закручивая свои невероятные усы, посадив на поводок какого-то хорька, он создавал образ. А что представлял собой я? Я даже бороду стеснялся носить, пока её не начали носить все. Стесняться себя, своих мыслей, действий, своих картин... Мои картины мне нравились, пока на них не устремлялись взгляды зрителей. Стоило кому-то посмотреть на мою картину, как мне становилось мучительно стыдно, словно я стоял без штанов. Нет, такому человеку, как я, нельзя и невозможно быть художником. Почему мне никто об этом не сказал? Почему мне об этом не сказали в училище? Впрочем, я бы всё равно не поверил. И ещё вот что.

— Что?

— Если бы я был настоящим художником, ты не вышла за меня замуж. Уж ты точно знала, чувствовала, что я не сойду с ума, что со мной можно будет прожить нормальную спокойную жизнь. Ну, скажи, что ты это знала?

— Понятно к чему ты клонишь, это я во всём виновата. Я тебе не позволяла сходить с ума.

— Да нет же. Тебе и не нужно было ничего делать. Я и без тебя не решился бы ни на что. Поэтому, выходя за меня, ты ничем не рисковала. Более того, ты тоже вполне меня устраивала. Я тоже знал, что ты не сойдёшь с ума, что тебе не нужна ни свобода, ни роскошь, что ты готова довольствоваться малым, только бы тебя не вынуждали действовать. Мы с тобой на удивление родственные души, иначе разве прожили бы вместе столько лет.

— Почему ты решил, что я не хотела твоей славы? Может быть, мне приятно было бы быть рядом с тобой на вернисаже где-нибудь в Париже или Венеции, чтобы все видели: вот жена художника. Ты думаешь, я бы не смогла одеться как следует, сделать умное лицо.

— Если и была у тебя такая мечта, то, согласишься, ты довольно легко от неё отказалась.

— А что оставалось делать? Что я могла сделать?

— Что-то меня опять тошнит.

— Отчего? Ты ещё ничего сегодня не ел.

— Что с тобой, ты чего такой злой?

— Эта сука в курином отделе...

— Лена?

- Не знаю, Лена она или не Лена — сука.
- Что случилось? Обсчитала, что ли?
- Какая-то тётка заговорила с ней по-украински, а она мне потом говорит: «Терпеть не могу эту козлиную мову». Эх, думаю, сука, сказала бы ты чеченцу такое про его язык, он бы тебе матку выдрал и натянул на твою дурную башку.
- А ты ей сказал что-нибудь?
- Нет, но курятину у неё покупать не буду.

- Коля, Серёжа пришёл.
- Привет, батя. Что это ты расхворался?
- Проклятая анемия не даёт двигаться.
- Лечишься?
- Лечусь.
- Может, деньги нужны?
- Нет, у нас есть.
- Что там у вас есть.
- Ей-богу есть. Да, мать?
- Да, пока есть.
- Всё равно, на на лекарство.
- Не надо.
- Бери.
- Ты хочешь, чтобы я расплакался. Я ужасно злой и сентиментальный. Как ты?
- Нормально.
- Говорят, вы на море были?
- Да, война войной, а жизнь никто не отменял.
- Ты теперь в военкомате служишь?
- Да, во взводе охраны.
- В Краматорске?
- В Краматорске.
- Приходится ездить?
- Начинаю привыкать.
- Что ещё новенького?
- Ничего.
- Понятно. Футболы смотришь?
- Смотрю. Скоро лига чемпионов начинается.
- Как ты думаешь, нашим что-нибудь светит?
- Посмотрим.
- На море с Галиной был?
- Да.
- Ну, расскажи что-нибудь.
- Что тебе рассказать? Народу на море полно. Крым закрылся, все рванули сюда. Ну и цены, конечно, приличные. А так... всё как всегда.
- А я вот, видишь... Сил никаких нет.
- Ешь побольше фруктов.
- Да. Не знаю, переживу эту зиму. Как подумаю про осень...
- А ты не думай. Зачем заранее расстраивать себя? И вообще, перестань. Мы с Галкой хотим небольшую усадьбу купить под дачу, так что будешь у меня ещё помидоры выращивать.
- Я бы на вашем месте не вкладывался в недвижимость здесь, в Донбассе.
- Почему?
- Мало ли что тут ещё может случиться.

- Ну, если так думать... ничего, ничего не случится. Всё будет нормально.
- Дай-то бог.

— Тань, представь себе заключённого... пожизненно. И вот он отсидел уже тридцать или сорок лет, и пришло время умирать. Является к нему ангел, Бог, волшебник, чародей или кто там ещё, и говорит: я могу вернуть тебя на тридцать лет назад, но ты уже приговорён и сидишь в тюрьме. Хочешь прожить здесь ещё эти тридцать лет? Как ты думаешь, согласится человек на это?

— Я знаю, что ты хочешь сказать, ты хочешь сказать, что прожил всю жизнь как в тюрьме, и эту тюрьму для тебя устроила я.

— Нет, не угадала. Моя тюрьма — это я сам. Я сам себе и следователь, и прокурор, и судья, и надзиратель. Моя жизнь бесконечный судебный процесс. Как я устал от себя, от вечных подозрений, что я делаю не так, не то говорю, не то чувствую. Мне кажется, я перед Серёжкой виноват. Мне кажется, он знает, в чём я перед ним виноват, но не говорит мне об этом. Вот он сидел тут передо мной, знал и не говорил, потому что — что теперь мне говорить.

— Ни в чём ты перед ним не виноват, а если и виноват, то не больше других отцов. И перестань себя накручивать.

— И перед тобой я виноват, что оказался плохим художником и слабым мужиком. Ты меня всегда удивляла и раздражала своим сильным характером, тем, что я никогда не мог тебя перебороть, переупрямить. Я завидовал тебе, думал, вот бы мне её характер.

— Ещё чего.

— Мы с тобой неправильно родились. Мне надо было быть бабой, а тебе мужиком.

— Не городи ерунду.

— Вот, видишь, какая ты у меня определённая. Я себя называю прагматиком, но по сравнению с тобой я фантазёр.

— Я знаю, сочинять ты умеешь. О чём ни спроси, ты вечно всё перевернёшь. Ты даже о своих родственниках рассказываешь то одно, то другое. Тебя невозможно понять. Что ты хочешь?

— Умереть.

— Тань, ты часто вспоминаешь детство? Я помню твою фотографию.

— Какую?

— Ту, где тебе лет семь. Помнишь её? Ты стоишь в каком-то дворе с растрёпанными выгоревшими волосами и с грязными коленками.

— Это в Козолуговке...

— Как же я тебя люблю на той фотографии...

— Тань, мне кажется, если уж и стоит появляться на свет, то ради первых десяти, двенадцати лет. Конечно, и тогда была куча неприятностей, но даже они вспоминаются с совершенно иной эмоциональной окраской. Когда я мысленно переносусь в детство, я всегда оказываюсь в одном и том же месте: в конце нашего сада росла молодая чахленькая яблоня. Она была чем-то похожа на меня. Видно, там была плохая почва, и под яблоней не росла даже трава, зато как было приятно стоять босыми ногами на рыхлой тёплой земле, щуриться от яркого солнца, чувствовать, как ветер разметает по лбу волосы и видеть далёкую, далёкую даль, речку, мост, рошу, пшеничное поле и голубое небо...

Евгений ВОЛКОВ

Талисман

храни меня от бед мой полисмен –
закручивая руки в рог бараний
от всех геенн спасая и гиен
и соль земли прикладывая к ране

с хрена ли хмурит лобик и лобок
родимая страна моя оленья –
где анонимен в совпаденьях бог
в паденьях сов или не сов паденьях

где запах саблезубого цветка
змеиной кожей сбрасывает ножны –
и кто-то бледный там где высока
стоит осока
ходит осторожно

он жнет не пашет потому и жнец –
и точит серп о придорожный камень
и там любой станицлав не жилец
и разведет руками мураками

сурьюю глаз подводит басурман –
стучат с небес бог весть кому куранты
всем побежденным горе от ума
и жареное сало саламандры

здесь я готов работать за еду –
не мыкаясь но мучаясь да каясь
с чужим лицом опять бежать пруду
роняясь оба и обороняясь

и в сотый раз по курсу брать ровней –
к летейским водам ведомым заочно

Евгений Волков родился в 1962 году в Перми. Автор книг стихов «Погонщик рыб» (Нонпарель, 2017), «Тьмутараканятому» (Издательство Евгения Степанова, 2019), «КолОкол» (Стеклограф, 2020). Публиковался в журналах «Зинзивер», «Дети Ра», Prosodia, «Эмигрантская лира», «Плавучий мост», «Зарубежные записки» и др. Лауреат литературной премии «Леонардо» (2019), лауреат поэтической премии MyPrize (2019). Живёт в Минске.

и там заговорить течение дней
и к берегу пристать безлунной ночью...

долгая как брахмапутра
ночь подойдет к финалу –
ждет на пороге утро
ночи осталось мало

жук скарабей как боинг –
в утренний час завелся
черпают голубое
лодки небесной весла

голос великолепный –
дальнего грома слышен
будут яблони слепы
там где видят лишь вишни

будут жаркие ветры –
из абиссиний синих
и мои кровли кедры
крепкие в сердцевине

и потолки кипарисы –
белые под луною
будут ныне и присно
над моей головою

сложенные однажды –
будут стоять веками
тянется змей бумажный
следом за облаками

в край где закаты медны –
наготове выси
где мои кровли кедры
и потолки кипарисы

день мой немного люден –
и на задворках рая
будет лишь то что будет
и то что я не знаю

и в заготовки веры –
вкладываю не смыслы
кровли домов моих кедры
и потолки кипарисы...

в метрополии смех и затей кутерьма
и весомое облако пыли –

маскируют фасад за которым тюрьма
и тюремные байки и были

в метрополии смех и причуд карусель –
на монстрации демонов уйма

и легко на троих огурцом похрустеть
и смотреть на просторы безумно

различая халупы и особняки –
лжи полоски и рожи озимой

в поднебесной где пастыри и босяки
поголовно больны амнезией

где колония в каждой из брошенных душ
существует строптиво и глухо –

на подходе сезон свежевания туш
до потери сознания и слуха

я в метро словно в поле войду босиком
натыкаясь на взоры палачьи –

метрополия снег с аравийским песком
и соборное облако плача

может лучше с раввином идти нагишом
на затылке лишь кепи оставив –

жребий брошен вопросов вопрос разрешен
за прогнившими досками ставен

в доску свой деловито вползающий червь
смотровое окошко буравит –

не проси понапрасну
не бойся не верь

нет иных в метрополии правил...

течет вода день ото дня –
без запаха и цвета
и спят в обнимку инь и ян
в обнимку спят валетом

на вальтасаровых пирах –
цокочет муха бляха
ты сам не более чем прах
и возвратишься прахом

и вьюго-западны ветра –
сметут и не заметят
ни винни пуха ни пера
в вине и винегрете

вот только мысли о жратве –
приятного посола
идут гулять по мураве
дебилые весёлы

и будет патриотам квас –
и гром из-под сарая
и всем патрисия не каас
потрет не потеряет

в подсобке хватит леденцов –
и серенад в гондоле
высасывать в конце концов
из пальца что позволят

и находить себя в вине –
и в штопанном гондоне
и день за днем рубить коней
на каждом рубиконе

стоят на страже рубежи –
и хмели не сумели
в твой день любой
когда был жив
но мертв на самом деле...

немой мобильный позвоночный бес –
и мой мобильный бес беспозвоночный

взимает плату с НДС и без
с любого посекундно и построчно

сук кубы там даруют быстрый секс –
и фото пайки что им подавали
я вас люблю давно уже не всех
у жени всех получится едва ли

все трын и дрын и даже не трава –
и на дворе шаболдинская осень
и дама дедова летит на острова
с чужою головою на подносе

своей дорогой в собственный эдем
идет бредет просроченное быдло –
они вот-вот склюют меня совсем
гори гори по ним паника дилдо

грустит во мне потомственный шахид –
и бледную гоняет немочь свистом
октоберфест грозит октоберфистом
и море эгегейское шумит...

Евгений ВОЛЬПЕРТ

городок наш называется [непонятно]
разместился он у берега [многоводно]
жизнь течёт здесь мерно по всем лекалам
заведённым при первоустройстве мира

в девять вечера гаснет свет над футбольным полем
на заправках индусы бензин продают (скучая)
из асфальта деревья растут (до неба?)
и олени по улицам будто по лесу бродят

[многоводно] раз в год выступает из берегов и топит
все дома южнее [любое число] Дороги
раз в году олени бегут на север
и вода клокочет у нас в подвалах

в центре города бронзовый идол стоит (под небом?)
в честь кого из богов поставлен никто не знает
но дары ему все тут исправно носят
и про воду в подвалах ему долдонят

в девять вечера гаснет свет над футбольным полем
на заправках в цистернах бензин клокочет
в центре города бронзовый идол стоит (под небом)
постамент его весь измазан (оленьей кровью)

Об Ио и других животных

Аще забуду тебе, Иерусалиме...

если б я был несчастным животным, безруким, с одними ногами
если б я был хвостатым уродом с ослабленной пастью
в непрерывных мытарствах по знойной, бескрайней Элладе
я искал бы хвостатых уродов таких же несчастных

Евгений Вольперт родился в 1978 году в Риге. В 13 лет переехал с семьёй в США. Выпускник Ратгерского университета. Публиковался в журналах «Знамя», «Формаслов», «Литература». Живёт в Нью-Джерси.

мы бы бегали стадом между Афинами и Марафоном
или мирно жевали траву под пастушьим присмотром
овода с мошкаррой бы впивались в моё многоногое тело
пастухи бы меня некрасивым и жалким считали животным

по ночам я жевал бы свой хвост в ожидании утра
многоногое жалкое тело с лицом человеческим
по утрам протирает глаза многовидящий Аргус
по утрам разжигают в окрестных селениях печи

двадцать восемь по фаренгейту

Пересечение Бродвея и Тридцать Пятой.
Асфальтовое море. Утро. Мир прекрасен.
Светофор спросонья открывает
свой глаз зелёный. Ветер гонит мусор
по асфальту. Светофор вытягивает шею
и на меня зелёным глазом смотрит.
Так Полифем смотрел на Одиссея.
Так на Содом, возможно, Лотова жена смотрела.
Так Лот смотрел, возможно, на жену
в минуты страсти.

Пересечение Шестой и Сорок Первой.
Рабочие латают трещины в асфальте.
Толпа прохожих. Ангелы летают хаотично
над толпою. Пахнет рыбой. Дети
льнут к маме с папой, ждут послушно
сигнала перейти дорогу. Овцы блеют
и поедают мусор. Пахнет дымом.
Ангелы высматривают рыбу
среди прохожих. Терпеливо жду
развития событий.

Пересечение Шестой и Сорок Пятой.
Повсюду овцы. Пьяный попрошайка,
горбом придавлен, медленно обходит
верблужим шагом уличные урны.
Ангелы над головою кружат роем
в дымном небе. Дети поднимают
с асфальта перья. Чёрный дым струится
из дыр и трещин. Утро. Мир прекрасен,
хрупок, полон дыма. Осторожно
я продвигаюсь дальше.

Местные боги нуждаются в подношениях.
Но привередливы очень и слишком брезгливы.
Бросил им как-то соседского пса в погребальную яму.
Так и сидит там неделю в нетронutom виде.

Дети соседские бродят крикливой гурьбою.
Ищут чего-то в грязи по окрестным канавам.
Думаю боги за эту неделю устали от лая.
Вряд ли им эти визгливые крики придутся по нраву.

Грустно и нудно весь день объясняться с соседом.
Местные боги на связь не выходят со мною.
Я каждодневно прошу у богов твоего возвращенья.
Ну а что было меж нами и было ли что-то уже не припомню.

Верно и ты позабыла за годы такие детали.
Где-то сидишь и любовно зришь на мужа.
Ищет сосед мой детей по окрестным канавам.
Дети с собакой в зловонных плескаются лужах.

Иманта 4

в Старом городе готические шпили
в Старый город катится автобус
пассажирами сверх меры переполнен
виснут друг на друге пассажиры

в Старом городе по крышам кошки рыщут
и мочой пропахли переулки
в Старом городе в дни праздничные Ленин
пионерские выслушивает клятвы

вот и я в автобус залезаю
нет, не я, другой какой-то мальчик
нет меня в автобусе и ладно
выхожу один я на дорогу

спрашиваю время у прохожих
а потом ещё раз по-латышски
что-то буркают в ответ, а что неясно
по-латышски я совсем не понимаю

сломался зонт ботинки протекают
из каждой лужи тянут руки к небу
утопленники жертвы прошлых ливней
кого-то знаю кажется соседи

из вежливости головой киваю
взгляд отвожу поспешно ухожу
утопленникам рук не подают
и не завязывают с ними разговоров

ходить по лужам не большая радость
соседи Бога развлекают баттерфляем
на плечи голуби садятся обезумев
собаки воют гнусная погода

я приснюсь тебе с красным флагом
пулемётной обмотан лентой
дети наши сидят в капусте
и считают на небе звёзды
мы лежим на земле в обнимку
как в засаде укрывшись флагом
наши дети ползут по грядкам
этой ночью мы их зачали

я приснюсь тебе с красной сумкой
на автобусной остановке
наши дети через дорогу
переводят пенсионеров
ты стоишь с красной сумкой тоже
дети толпами ходят рядом
я лица твоего не вижу
я по сумке тебя узнаю

белый аист летит по небу
в белых саванах дети пляшут
белый снег покрывает землю
дети лепят тебя из снега
я бегу за тобой по снегу
обгоняя пенсионеров
дребезжат и бренчат бутылки
в их огромных бездонных сумках

Мила БОРН

РАССКАЗЫ

Дети Гамельна

Андрюша был, в общем-то, довольно красив – вихрастый, долговязый, с пухлыми губами. Но в нашем классе он учился хуже всех. Поэтому девочки не любили Андрюшу. Никто не хотел садиться с ним за одну парту. Он так и горевал в одиночестве, заброшенный на камчатку.

Почему девочки были так жестоки с Андрюшей? Я до сих пор не могу ответить себе на этот вопрос. Вряд ли в свои двенадцать-тринадцать девочки видели в нем будущего неудачника и раздолбая. Тогда что же было в Андрюше не так?

Может, об этом могла рассказать его мама? Усталая и потрепанная, она тащила на себе непослушного сына Андрюшу, а вместе с ним и его не просыхающего отца, который привез когда-то ее из области. Она не раз порывалась от них уходить. Но всякий раз почему-то возвращалась. Обычно ночью, чтобы соседи не видели синяков на ее застывшем, выражающем только удивление лице. Неслышно крутила ключом в замке, просачивалась в тишину спящего дома. И до утра чистила заваленную мусором квартиру, скребла заблевающий мужем туалет, собирала пивные бутылки. А потом на повеселевшей кухне жарила для Андрюши блины, гладила ему в школу свежую рубашку и собирала портфель.

Время от времени она притаскивала для сына немыслимые для того времени вещи – канадскую кожаную куртку, американские «мартинсы» или даже японский кассетный магнитофон. Мы заходились завистью, когда Андрюша, выходя из подъезда своей качающейся, как у отца, походкой, нес на плече поблескивающий на солнце кассетник SONY, разрывая тишину нашего двора ритмами его любимого Modern Talking.

Андрюша был первым, у кого в нашем доме появились настоящие фигурные коньки. Сам он не очень любил ходить на каток. Но другим свою обнову одалживал. Узнав про это, мы с подружкой Маринкой, жившей, как и я, в одном доме с Андрюшей, стали записываться к нему в очередь на коньки. Помню, пришла моя очередь на воскресенье. Я договорилась заранее с приятелями из соседнего двора, что в полдень встретимся все на катке. Сама вскочила чуть свет, чтобы бежать к Андрюше, пока мою очередь никто не перехватил. Наспех оделась. Завтракать не стала. И, пока родители не поднялись, выскользнула из квартиры.

Открыл мне сам Андрюша, с унылой физиономией, жующий, как всегда, американскую жвачку. Сказал бесцветно:

– А, это ты?

Потащился к кладовке, достал оттуда заветные коньки, связанные между собой шнурками – наверняка моей подружкой Маринкой, – и протянул мне. Я с готовностью шагнула навстречу. Но Андрюша вдруг ловко, как от огня, отдернул свою руку. Я зачерпнула пустоту и потеряла равновесие.

Мила Борн родилась в 1972 году в Волгограде. Окончила Литературный институт им. Горького и сценарный факультет ВГИКа. Публиковалась в российских и зарубежных изданиях: «Артикуляция», «Фабрика литературы», «Вторник», «Литоскоп», «Литература», «Берлин. Берега» и др. Автор книги рассказов «Голодный остров» (М.: Стеклограф, 2020).

– Ты что?

– Что?

– Передумал, что ли?

– Ага, – как бы лениво ответил Андрюша, вытащил изо рта жвачку и прилепил ее к дверному косяку.

Я обиделась.

– Ты же обещал!

Андрюша, пробуя на вкус свою новую, крепнущую власть, устало выдохнул.

– Да мало ли что я тебе обещал.

Я посмотрела исподлобья.

– Так не поступают пионеры.

– А я же не пионер, – ловко парировал Андрюша. – Ты ведь сама на собрании голосовала против меня.

Я смолчала, потому что сказанное им было правдой. Он тоже помолчал, раскачивая из стороны в сторону желанные коньки, побитые уже в некоторых местах.

– Так, значит, больше кататься не дашь?

Он не ответил. Я повернулась и пошла к двери.

– Ну чего ты? – остановил он. – Дать-то я тебе дам. Только вот за это...

Он сделал паузу, сияясь сформулировать новое условие своей щедрости. Я остановилась.

– Только что?

– Только ты мне за это... – повторил он, растягивая слоги.

– Ну что, что?

– Ты мне за это должна показать.

– Что показать? – не понимая, обернулась я.

Андрюша неприятно улыбнулся.

– Ну как что? Сама, что ли, не знаешь?

– Нет, – честно ответила я.

Андрюша закрыл лицо ладонями, сполз по стенке, сел на корточки и закатился неприятным смехом.

– Ты прикидываешься? Или правда не понимаешь?

– Нет, – повторила я, начиная чувствовать в словах Андрюши подвох.

Он перестал смеяться. Скривил губы. Бросил перед собой, как приманку, коньки и посмотрел на меня тяжело и с презрением.

– Снимай трусы! Вот что!

От неожиданности я попятилась назад. Он усмехнулся.

– Да ты не бойся! Дома у меня никого нет.

И вдруг пошел на меня, вытянув вперед руку.

– Ну?

Я стала отступать.

– Что «ну»?

– Давай уже, поторапливайся, если хочешь успеть на каток.

Я схватилась за ручку входной двери. Дернула на себя. Хотела выскочить из его квартиры. Но в этот момент Андрюша, споткнувшись о брошенные коньки, повалился на меня. Ухватил за шапку вместе с волосами. И мы начали с ним бороться.

А пока возились в прихожей, входную дверь приоткрыла рука. Кто-то осторожно заглянул вовнутрь. Я подняла голову. Это была Андрюшина мама. Она, прижимая к себе молочный бидон, с испугом уставилась на нас. Жалобно проговорила:

– Андрюша, тебя тут что, обижают?

Он обозлился:

– Да нет. Уже нет. Что ты лезешь?

Отпустив мою шапку, он поднялся на ноги. Поняв, что свободна, я метнулась в дверной проем, оттолкнула с дороги Андрюшину маму, выбила из ее руки тяжелый бидон. Крышка с грохотом покатила по ступенькам. Молоко потекло. И я, потянув за собой его лужу, наследила через все лестничные пролеты, пока не выбежала из подъезда на снег.

В полдень, как и было оговорено с приятелями, я пришла на каток. Зареванная, остановилась за сугробом. Они, заметив меня, уже разгоряченные, кладая по изрезанному льду своими коньками, обступили. Стали расспрашивать, где коньки. И я начала нести какую-то несусветную ложь про то, что Андрюши не оказалось дома, что я прождала его битый час, но он так и не появился.

– Дурак он, ваш Андрюша! – посочувствовал мне кто-то из приятелей. – Ты с ним больше не дружи.

И пошли кататься дальше. Только один из них с удивлением вытянул руку, показав мне пальцем на подругу Маринку, мелькавшую на катке в Андрюшиных коньках.

На следующую зиму родители купили мне собственные коньки. И случай с Андрюшей постепенно забылся. А через полгода – летом – Андрюша вообще ушел из нашей школы. Потому что мама сунула его в какое-то ПТУ. Там, говорили, он нашел себе наконец компанию. С Андрюшей стали дружить. За иностранные вещи стали наливать и даже приглашать в гости. Еще через полгода он продал и SONY, и кожаную куртку. Потом стал ширяться. И мы даже слышали, будто бы его мама сама доставала ему дурь, особенно когда Андрюшу сильно скручивало и он кричал по ночам.

– Ему даже двадцати не было, – грустно вздохнула бывшая наша отличница Оля, теперь высушенная солярием, накрашенная с избытком блондинка в кожаной узкой юбке.

– А ты откуда знаешь?

– Да я была, когда его хоронили.

– Передоз?

– Вроде того.

– Неудивительно, – почесал свой лысый затылок маленький, в ботинках не по сезону, бывший наш политинформатор Толя. Поговаривали, что он вел криминальную колонку в какой-то местной газете новостей, и такие истории давно не вызывали у него никаких эмоций.

Повисло неловкое молчание. Наша классная физичка после тридцати лет разлуки решила ни с того ни с сего организовать нам встречу одноклассников. Ну, организовала – и ладно. День был выходной. Поэтому мы и притаились. Собрались в своем старом классе, едва угадав друг друга: потасканные, потолстевшие, польсевшие люди. Вместе с физичкой от бывшего класса в сорок человек набралось человек тринадцать. Но она потом рано ушла, потому что дома у нее лежал парализованный муж и его надо было кормить ужином. Мы же остались. И от всеобщей неловкости стали выпивать.

– Да уж, – снова вздохнула Оля. – Бедный Андрюша.

– Да ладно тебе! Вечно ты всех жалеешь! – запротестовала Жанна, бывшая наша троечница, а теперь пухлая, как сдобная булка, тетка с тремя взрослыми детьми от разных мужей.

– Ну а чего? – засмущалась Оля. – Вам разве не жалко? Мать его на похоронах знаете как убивалась. В яму за ним прыгала. Кричала, что без Андрюши не будет жить.

– И что? Прыгнула? – заинтересовался Толя.

– Да нет, слава богу. Удержали. Но лучше бы прыгнула.

– Почему?

– Да у нее потом все равно крыша поехала. Андрюшиного отца в ЛТП засадила. А вместо него взяла из детдома каких-то близнецов.

Мы молча разлили по пластиковым стаканчикам остатки кислого «Киндзмараули» и еще раз чокнулись за встречу.

– Если бы с Андрюшей хоть кто-то дружил, – добавил очкастый, с суровым крестом поверх черного подрясника, Миша, бывшая надежда нашего класса, одаренный в физике мальчик, который давал списывать всем, – с ним бы всего это, может, и не случилось.

– Да, – опять вздохнула Оля. – Он же все время ходил один.
 – Ну почему один? – запротестовала Жанна. – С ним Петюня ходил. Вы что, не помните Петюню?

Мы, конечно, Петюню помнили. Он считался грозой в нашем классе. У его матери, помимо самого Петюни, было четверо детей. Она работала на санэпидемстанции, возвращалась домой поздно и мало что успевала по дому. Поэтому жил ее старший Петюня так, как считал нужным. В школе учителя от него плакали. Не помогало ничего – ни родительский комитет, ни комната милиции. У Петюни был русский, кудрявый, никогда не чесаный чуб. И когда его ловили в школе за очередную провинность, он стоял, опустив виновато голову, и яростно сопел из-под своего чуба, который завивался игривыми, какими-то еще детскими колечками.

Особенно доставал Петюня очкастую рыжеволосую училку музыки. Слуха у него не было никакого. И когда на ее уроках он вместо пения принимался орать во всю глотку, музыкачка покрывалась красными пятнами и выставляла Петюню за дверь. Он обижался, потому что считал, что петь он умеет. Но музыкачка агрессивно не соглашалась с этим. И однажды терпению Петюни пришел конец.

По школе гуляли слухи, что за музыкачкой ухаживает учитель физкультуры. Но роман у них был тайный, потому что жена физрука работала в нашей же школе и вела русский и математику в младших классах, находившихся в самом дальнем крыле школы. Физрук был человеком спортивным, крепким. Ему, видимо, скучно было со своей математичкой. И поэтому он крутил шашни с рыжей музыкачкой, пока его жена просиживала вечера за проверкой тетрадок первоклассников.

И вот как-то раз, когда на большой перемене все классы высыпали на школьный двор, Петюня подготовил наш класс и повел в спортивный зал. Мы миновали крыло, где сидела школьная администрация, бесшумно прошли мимо кабинета директрисы, нырнули в спортивную раздевалку и из нее уже вышли в спортзал. Остановились возле кладовки, где физрук хранил спортивный инвентарь, выпелы и другие ценности, которые в свое отсутствие, чтобы не уперли, запирали на ключ. Петюня поднял руку. Прислушался. Весело оглянулся на нас. А потом, торжествуя, рванул на себя дверь кладовки.

Хлипкая щеколда, которая с внутренней стороны охраняла, как оказалась, тайну, со звоном отлетела и покатилась по полу. Солнечный свет ворвался в слепую, похожую на мышиную нору, беззаконную кладовку. И все мы, пришедшие за Петюней, застыли от неожиданности. У заставленной выпелами стены спиной к выходу стоял физрук, широко расставивший ноги. Его спортивные штаны висели ниже колен. В обеих руках он крепко держал чьи-то голые ноги. А над его плечом, болезненно шуряя от ворвавшегося света, таращилась на нас через съехавшие на нос очки рыжая голова музыкачки.

Петюнина выходка удалась. Все мы грохнули от смеха. На дикий хохот прибежала директриса. Следом за ней кто-то приволок учительницу русского и математики. Но пока она бежала из своего удаленного корпуса для начальных классов, физрук успел натянуть спортивные штаны на свои крепкие загорелые ягодицы. И стоял теперь с лицом, налитым кровью, перед хохочущей, расшатавшейся от увиденного толпой.

После случившегося и музыкачку, и физрука из школы уволили. Но перед тем как уйти, физрук заманил разбитного чубастого Петюню в свою мышиную кладовку и запер дверь изнутри. Оставшись без поддержки, совсем один, Петюня не стал никого звать на помощь. Он даже не вынул, молча снося удары крепкого, мускулистого физрука, которые обрушивались на него вместе с выпелами и резиновыми мячами, катившимися на Петюню с полок. Он валялся среди этих мячей, разбрызгивая по полу свою кровь, щедро хлеставшую из сломанного носа, пока физрук приговаривал:

– Чтобы не повадно было! Чтобы – урок!

Этот урок из школьной жизни Петюня усвоил, наверное, лучше всего. Потому что, выпустившись из школы в едва початые девяностые, он быстрее остальных приспособился к законам взрослой жизни. И хотя его сломанный нос сросся криво и выглядел на лице Петюни откровенно-

ным уродством, он удачно женился и даже родил дочь. Полностью взял на себя содержание семьи и своих младших братьев и сестер. Стал крышевать местный рынок, который к тому времени опоясал его родную школу с двух сторон. Держал Петюня в страхе пенсионеров и алкашей, торговавших на рынке урожаем со своих доперестроечных дач, отрезал от дневной выручки у колхозников, приезжих из соседних деревень. В целом неплохо жил. На рынке его уважали, потому что был он справедливым и простым. Местная шпана и менты в Петюнину работу не лезли. Трудности были у него только с бомжами. По ночам, когда рынок закрывался, они, словно крысы, начинали лезть из своих щелей и подвалов, резали ножами фанерные загородки рыночных палаток и тащили оттуда все, что можно было украсть. Петюня поначалу крепко надеялся на ментов. Но те с бомжами справлялись плохо, хотя Петюня им и платил. Тогда он плюнул и взялся за дело сам. Стал по ночам выходить на дежурства, караулил, вылавливал зазевавшихся оборванцев и от души крошил их опухшие пьяные морды, приговаривая всякий раз:

– Чтобы не повадно было! Чтобы – урок!

И однажды в своей непростой справедливой работе Петюня не сумел признать еле приметного околавившегося возле рынка бомжа, которого он поймал в конце августа на воровстве астраханских арбузов, и в азарте нравоучения выдал ему левый глаз. Бомж, напротив, Петюню узнал, потому что оказался тем самым физруком из его родной школы. После истории с музыкальной жизнь его покатила под откос. Учительница математики и русского с ним развелась. Из-за статьи в трудовой книжки в школу его не брали. Первое время бывший физрук еще пытался отчалить к другим берегам, но сил ему, видимо, не хватило. Он стал спиваться. Прибился к местным бомжам, которые ночевали по подвалам и промышляли по ночам. Так бы и жил, если бы не злосчастная встреча с Петюней, которую он расценил как отмщение, и потерянный левый глаз, за который через неделю после случившегося, ночью, бесшумно, как мышь, налетев на бывшего ученика, физрук пырнул его тупым кухонным ножом, неровно, но сильно ткнув Петюню в печень.

– А что стало с музыкачкой, никто не слышал? – поинтересовалась Вероника, бывшая наша очкастая зубрила, которая потом удачно выскочила замуж за какого-то менеджера из банка и никогда больше не работала.

Все промолчали. Действительно, после истории с физруком она канула словно в воду. Никто ее больше не видел и не слышал, будто бы ее и не было вовсе в нашей школе. На смену ей пришел толстый и румяный баянист. На каждый урок он притаскивал нам слова новой песни. И мы, не боясь большого отсутствия у нас каких бы то ни было певческих талантов, рвали глотки про светлое будущее пионерии, партию и коммунизм.

Мы заскучали. Вина больше не было. Но и догоняться никто не хотел.

– А я про дочку Петюнину слышала, – встрепенулась наша бывшая спортсменка, очень коротко стриженная, как и в детстве, Татьяна.

На нашу встречу она притащила какую-то тощую, туберкулезного вида девицу, с которой жила уже третий год. Все повернулись к Татьяне.

– Говорили, когда бомж Петюню порезал, жена его уехала из нашего района.

– А куда? – спросил Толя.

– Вроде бы в центре города теперь живет.

– Удачно она от нас переехала, – усмехнулась Жанна.

– Да она там за баяниста какого-то вышла. Он Петюнину дочку в музыкалку отдал. Она теперь там и работает.

Мы опять замолчали. Воспоминания все больше и больше забирали желание говорить. За широкими окнами школы сгустились сумерки. Давно уже пора было расходиться. Но никто почему-то не шел. Я вдруг вспомнила, что в сумке у меня завалялась старая шоколадка. Вытащила ее, разломала на кусочки, для всех.

– А знаете, – сказал Толя, – я бы удивился, если бы жизнь Петюни сложилась иначе.

– Почему?

– Ну а что ему еще светило, что?

Миша, потрогав крест на подрыснике и убедившись, что он на месте, запротестовал:

– Ты хочешь сказать, что все у него было predetermined?

– А разве нет? Он же рос классическим быдлом.

Миша отрицательно покачал головой.

– Я не согласен.

– Почему?

– Да потому что такое могло случиться с любым из нас.

– С какого это перепугу?

– Время такое было.

– Да что ты на время киваешь?

– А вы разве не помните нашу Наташу? Не помните?

Мы задержали дыхание и в темноте подняли головы. Тревожно посмотрели друг на друга. Жанна тяжело, как-то по-матерински вздохнула.

– Миш, может, не надо про это вспоминать?

Мы закивали, согласившись с Жанной. Но Наташу помнили, конечно, все, красивую, развиту не по годам Наташу. Каштановая, завитая плойкой челка, туфельки на каблучках, подол школьного платья, самовольно подрезанный выше колен. Она даже на картошку ездила с нами, аккуратно подводя тонкие стрелки над ресницами. Мама ее похожа была на кинозвезду, хотя и работала билетершей в районном кинотеатре. Всегда смеющаяся, нарядная, она эту красоту передавала и Наташе. Два раза неделю она отправляла дочку в клуб на бальные танцы, где учителем ее был какой-то бывший московский балерун с непривычным для нас женским именем Валентин. Мы не совсем понимали, зачем Наташа учится этим бальным танцам. Где это она собиралась их танцевать? Мальчишки наши считали ее воображалой. Но Наташа любила ходить в свой клуб. И учитель ей нравился. Мне даже казалось, что Наташа в него чуть-чуть влюблена.

Я с удовольствием приходила в Наташин дом. Он казался мне каким-то воздушным и изысканным – совсем не похожим ни на мой дом, ни на дома моих одноклассников. Я даже немного завидовала тому, что Наташа каждый день возвращается в этот милый, наполненный радостью и красотой мир. В детской комнате у нее стоял огромный аквариум, в котором плавали золотые рыбки. Наташа ухаживала за ними. И всерьез говорила, что рыбки ее волшебные. Им можно загадывать свои самые заветные желания.

– А заветное у тебя какое? – спрашивала я, будто подглядывая за ней.

– Я хотела бы стать танцовщицей.

– Ты?

– Я. А что тут такого? – с достоинством отвечала Наташа. – Стану танцовщицей и уеду в Москву.

– А зачем тебе в Москву? Разве тут плохо?

– Ты не понимаешь! Здесь дыра. А в Москве – известность, поклонники, красивая жизнь.

– Откуда ты знаешь? Ты была в Москве?

– Нет, не была. Но мне об этом рассказывал Валентин, мой учитель, – смущаясь, говорила Наташа.

– И ты вправду думаешь, что твои рыбки исполнят эту мечту?

– Ну а что? – смеялась она. – Что им стоит! Ведь я не такая, как все.

Это было истинной правдой. Наташа была особенной. Другая. На ней словно лежала печать грядущего счастья – во всех его абсолютных смыслах, которые были понятны мне. Хотя в рыбок я, конечно, не верила. К тому же отец Наташи был милиционером. И вряд ли бы он разрешил своей дочери уехать непонятно куда, в Москву. Он, наверное, и маме Наташе не разрешил. Хотя я была уверена, что она мечтала о том же. Потому что вполне могла стать настоящей артисткой, достойной и поклонников, и красивой жизни. Наташин отец был слеплен из другого теста. Всю свою жизнь он работал в районной милиции. Серьезно относился к своей работе. На форменном

ремне носил кобуру с настоящим пистолетом. И это странное, хотя и едва уловимое ощущение запрета на другую, лучшую жизнь витало в их доме. Я это чувствовала.

Наташа собирала открытки с фотографиями известных танцоров и танцовщиц. Вместе с мамой они клеили их в альбомы, а потом показывали мне, рассказывая по очереди об их удивительной, сказочной жизни. За этим занятием мы засиживались часто до самого вечера. Пока не приходил с работы Наташин папа. И в этот миг – я видела – и мама, и сама Наташа тут же сжимались, превращаясь в каких-то беззащитных и маленьких улиток, готовых в любую минуту бесшумно скрыться в своих раковинах. Отец Наташи долго, неторопливо разувался в прихожей. Снимал свою милицескую куртку и аккуратно вешал ее в шкаф. Все понимали, что он устал от тяжелого физического труда. Мне приходилось напряженно ждать, пока он наконец разденется, потом уйдет в кухню, где уже звякала суетливо крышками многочисленных кастрюлек красивая Наташина мама, и станет можно, не путаясь у него под ногами, незаметно проскользнуть мимо его милицеских ботинок, мимо оставленного в прихожей широкого кожаного ремня с кобурой и выбраться из их дома, отяжелевшего от прихода отца.

Я совсем не помню, кто именно разболтал о том, что стряслось с Наташей. Мы тогда готовились к Новому году. В актовом зале школы уже стояла наряженная елка. И мы, старшие классы, репетировали праздничный концерт. Кто-то собирался петь под гитару, кто-то готовился прочесть стихи о первой любви, а Наташа должна была исполнить танец в образе какой-то Айседоры. Мама сшила Наташе красивое легкое платье с открытыми плечами и спиной. А еще подарила удивительной красоты алый газовый шарф.

Перед выступлением Наташа сильно волновалась. И не зря. Политинформатор Толя, у которого не было никаких артистических талантов, и поэтому его назначили отвечать за музыкальное сопровождение, перепутал в темноте пластинки. И когда Наташа вышла на сцену и ее осветил первый луч рапида, высветивший сияющий алый шарф, грянул вдруг гимн Советского Союза. Наташа растерялась, отвернулась от зрителей, показав свою красивую голую спину. Зрители сначала, конечно, рассмеялись. Но тут же поддержали нашу Айседору аплодисментами. Толя тем временем исправил ошибку. И Наташа начала танцевать.

Мы следили за ее исполнением, перестав дышать. В своем танце она казалась такой изящной, хрупкой и вдохновенной, что я подумала: не нужно ей никаких золотых рыбок, даже если они и вправду волшебные, эти рыбки. И даже учитель балльных танцев ей не нужен. Наташа была рождена для сцены, для миллионов любящих ее глаз и красивой жизни. Ей действительно нечего было делать в нашей дыре.

Почти закончив свой номер, она закружилась, закружилась и вдруг неожиданно оступилась. Зал, завороченный ее танцем, вздрогнул, охнул, нервно зашептал. Но Наташа грациозно удержалась. Закончила свой величественный танец. И вместе с шарфом опустила на пол одно колено. Поклонилась. Рассеянно посмотрела в зал и выскользнула из луча рапида.

Потрясенная ее танцем, бросилась вслед за ней, выбираясь из темного зала через десятки чьих-то коленей. Выбежала в коридор. Но Наташи нигде не было. Я хотела отыскать ее, сказать ей, как здорово она выступила со своим номером и как здорово, что мы с ней подруги. Но она будто исчезла. И когда все выступающие из старших классов вышли на финальный поклон, Наташа тоже не появилась.

Я нашла ее в туалете. Случайно. Хвост алого газового шарфа, растянувшегося по пути ее бегства, выдал Наташу. Она сидела, обхватив руками низенький школьный унитаз. Ее голая спина выгибалась в конвульсиях, выдавливавших из Наташиного хрупкого тела остатки рвоты. В нерешительности я остановилась перед ней.

– Что с тобой?

Она услышала вопрос. Медленно, будто сонная, отодвинула от щеки мокрую прядь волос и повернула ко мне свое красивое лицо, перепачканное размазанным макияжем.

– Кажется, – с трудом сказала она, – я залетела.

– Ты?!

Она кивнула.

– Давно?

– Месяца три или четыре. Я не понимаю, как это считать.

– А кто-то еще об этом знает?

Наташа покачала отрицательно головой и отвернулась к закрашенному белой краской окну.

– Только ты папе моему не говори, – холодно сказала она. – Он меня убьет.

Через неделю слух о Наташе докатился до директрисы, крепкой туши в массивных очках с редкими начесанными на затылок седыми волосами и большими передними зубами желтого цвета, делавшими ее похожей на огромную жирную крысу, носившую свое необъятное тело на опасных высоких шпильках. Директриса срочно созвала педсовет. По его результатам решили срочно, пока слух о беременности ученицы не поразил целую школу, освободить всех учеников от уроков и собрать их на внеочередную школьную линейку.

Спорить с решением директрисы никто из учителей не стал. С ней вообще никто никогда не спорил. Нрав у нее был крутой. А воинственный голос слышался во всех уголках школы, когда кто-то из учителей или – что еще хуже – учеников отправлялся к ней на расправу. Единственным человеком, кто не имел страха перед директрисой, был ее собственный сын, который учился в лучшем классе нашей школы и был похож на свою мать – такой же тучный, с крепкой тушей и желтыми передними зубами. Все в школе знали: он идет на золотую медаль, чтобы потом поступить в МГУ. Директриса жила этими проектами и лезла из кожи вон, чтобы ничего в ее планах не сдвинулось со своего положенного места.

На третьем уроке всех учеников согнали в школьный спортзал и построили в два ряда – от первого класса до десятого. Когда наконец все замолчали, директриса вышла на середину линейки и взяла слово. Ее громкий, раскатистый голос разлетелся по спортзалу, ставшему вдруг для него очень тесным. Мы подтянулись изо всех сил и замерли.

– Мы собрались с вами сегодня не просто так, – начала она как бы торжественно.

Так в школе начинались любые мероприятия, когда ученики должны были почувствовать важность и особую значимость момента. Директриса так говорила, когда кого-то принимали в пионеры и комсомол или когда в школу приходили ветераны войны.

– Мы, – повысила она немного свой командный голос, – собрались с вами потому, что в стенах нашей школы...

Она сделала паузу, будто бы подбирая слова. Но на самом деле своими маленькими, как бузины, и хищными глазками следила за всеми, кто стоял по обе стороны от нее. И я, скользнув взглядом по учителям, стоявшим на противоположной стороне линейки – лицом к нам, заметила, насколько они взволнованы.

– ...потому что в стенах нашей школы произошло ЧП! – закончила директриса.

Дети зашумели. Классные руководители принялись сердито на них шикать. А учительница иностранных языков сказала географичке:

– Превратили школу в дом терпимости!

И та покачала головой.

Тем временем откуда-то из головной толпы, стоявшей позади директрисы, вытолкнули Наташу. И она впервые показалась мне не такой уж и красивой, как раньше, напомнив теперь какую-то жалкую, сморщенную грушу. Она стояла, втянув голову в плечи, и смотрела, не отрываясь, в пол, будто бы где-то там было ее спасение от всего, что сейчас происходило.

Ученики, пытаясь ее рассмотреть получше, стали вытягивать шеи. А кто-то из первоклассников даже вывалился из строя. Но его спешно вернули на место.

– Суть этого ЧП, – стала крепнуть в голосе директриса, – в том, что, пока вы все прилежно учились и честно работали над тем, чтобы мы, взрослые, могли вами гордиться, кое-кто из наших учеников вдруг решил, что школа – это не храм знаний, а вертеп. Место разврата!

Над моим затылком кто-то из взрослых прошипел:

– И зачем только вечерние школы отменили? Перешла бы в вечернюю школу, и никто бы ничего не узнал.

Директриса сделала решительный шаг вперед и наклонилась над Наташей. Сверкнула очками.

– Мы, конечно же, разберемся во всем случившемся. Найдем виновных, подключим органы милиции и районо. Наложим дисциплинарные взыскания! Накажем! Но мы...

Тут она впервые подняла руку и пальцем указала на сгорбившуюся Наташу.

– ...не позволим таким, как она, позорить нашу советскую школу!

Спортзал зашелестел голосами. Директриса замахала руками, призывая учеников к тишине и вниманию. Но собравшимся было уже сложно замолчать. Тогда она совсем уже выкрикнула:

– Мы никому не позволим ронять лицо нашей школы в грязь!

Распавшись до предела, она сдвинулась вдруг с места и тяжело, опасно пошла вдоль рядов, выдавливая своими шпильками ямочки в крашенных досках пола. Казалось, она вглядывается в глаза каждого, каждого ребенка, будто бы выжигая в наших головах даже мысль о том, чтобы повторить поступок Наташи.

– И пусть каждый, кто меня сейчас слышит, запомнит раз и навсегда! Мы не потерпим такого! Мы накажем!

Она резко остановилась, будто бы вспомнив о Наташе. И посмотрела на нее уничтожающе, в упор.

С улицы в этот момент глянуло необыкновенно яркое для зимы солнце. Его лучи, путаясь в заградительных сетках спортзала, заиграли бликами на полу и легко коснулись стоявшей в середине спортзала Наташи. Солнечные зайчики заиграли на ее лице, ее платье. И почему-то напомнили мне Наташиных рыбок. «Не волшебные, не волшебные», – напряженно про себя стала повторять я, пока не вынырнула наконец из этого заклинания.

– Поэтому повторяем еще раз! Все вместе! – царила над толпой директриса.

Снова подняла руку, махнула ей, как артиллерист перед залпом снаряда. И спортзал грохнул сотнями детских голосов:

– Позор! Позор! Позор!

В тот день никто из нашего класса больше Наташу не видел. Быть может, она затерялась в общей толпе, когда все закончилось и дети ринулись вон из спортзала. Или кто-то из учителей уволок ее в кабинет директрисы, чтобы судить Наташу дальше. Я же никак не могла понять, как с такой благополучной, такой талантливой девочкой могло случиться такое. Ведь у Наташи папа был милиционером. Он никогда бы ей этого не позволил. А теперь что? Что с нею будет?

Хотелось скорее побежать к ней домой – немедленно, не теряя ни минуты. Хотелось ворваться в ее комнату с аквариумом, обнять ее и закричать: мы ведь подруги с тобой, ты не думай, это не я тебя сдала, не я. Мне вообще неизвестно, что за сволочь пошла и рассказала это учителям, что за гадина решила тебя уничтожить, чтобы никогда больше не мучиться завистью от того, что ты такая красивая, такая счастливая и однажды уедешь из нашей дыры в Москву.

После линейки директриса направилась в свой кабинет. Оттуда она стала звонить маме Наташи, в кинотеатр. Но у них там перед Новым годом был какой-то аврал. Маму к телефону не позвали, потому что не нашли. И тогда директриса позвонила Наташиному отцу в милицкий участок. Ничего не объясняя, попросила его срочно прийти в школу.

Отец сорвался с работы. В волнении прибежал домой. Наскоро переоделся в гражданское. Строго спросил у Наташи, тихо сидевшей в своей детской комнате и кормившей аквариумных рыбок, почему его вызвали в школу. Но ничего вразумительного не добился. Решил: как всегда, предпраздничная нагрузка родительского комитета. И, махнув рукой, хлопнул дверью.

Оставшись одна, Наташа встала и медленно, как во сне, обошла все комнаты квартиры. Времени долго решать у нее не было. Заметила, что в прихожей лежат брошенные наспех отцом рабочая куртка и кобура. Остановилась. Взяла кобуру. Растегнула ее. Заглянула внутрь. Оттуда выглядывала ребристая рукоятка табельного пистолета. Наташа подумала. Сунула руку в кобуру,

взялась за холодную, удивившую тяжестью металла рукоять. А потом мешкать не стала, решительно выстрелив из пистолета себе в рот.

Она жила еще несколько минут, потому что не знала, что для верности ствол пистолета нужно было направить точно по центру и чуть-чуть вверх. Поэтому она еще ползала по квартире, карабкалась на стены, потом на диван. Зачем-то стала набирать телефон кинотеатра. Попросила позвать маму. Но ее снова не нашли. Тогда она открыла входную дверь, выползла на лестничную площадку и стала стучаться к соседям. В конце концов ей стало холодно. Она вернулась в квартиру, поползла до своей детской комнаты, вскарабкалась на кровать и завернулась в одеяло. Какое-то время она еще смотрела на своих золотых рыбок, плавно движущихся в чистой, прозрачной воде. И наконец уснула, забыв закрыть глаза.

– А не слышал никто, – спросила Вероника и взяла последний кусочек моей шоколадки с фольги, – сын директрисы поступил тогда в МГУ?

Отличница Аня засмеялась.

– Еще бы он не поступил! У его мамы связи были до самой Камчатки.

– А вот я слышал, – задумчиво сказал Миша, – что директрису нашу из школы выперли.

– Да ладно! Разве она не на пенсию ушла?

– Не-а, – замотал головой Миша. – Ей статью припаяли. За растрату.

– Не может такого быть!

– А сын ее в Москве не остался, – добавила Оля. – Я слышала, дела у него там пошли плохо.

И он вернулся. Директрису-то нашу после суда инсульт разбил. Она потом кое-как еще ковыляла, хоть и ходила под себя. Но сын жить с ней не захотел. И в итоге выпер ее из дома.

– Как это выпер?

– Да так, – усмехнулась Оля.

– А где же она стала жить?

– Я слышал, – перебил Толя, – она года два в собственном гараже жила.

– Года два? А потом?

– А потом в пожаре сгорела.

– Ужас какой!

– Это точно.

Все затихли. И только Жанна почему-то вспомнила:

– А наш Олег?

– Что Олег?

– Он ведь тоже сгорел, – сказала Жанна.

Все мы знали, что в десятом классе у них с Олегом была любовь. Но потом почему-то они разбежались.

– А как же он так? – растерянно спросил Толя.

– Известно. Он же ритуальщиком черным работал. Дом себе возле кладбища построил. Чтобы от работы недалеко. Деньги хорошие имел. Может, его из-за денег и подожгли.

– А что милиция? Не нашла, кто поджег?

– Нет, конечно. Дом-то полностью сгорел. Никаких следов не осталось.

– Жалко Олега, – вздохнула Оля. – Он всем девчонкам, помните, на Восьмое марта ручки всегда дарил.

– А мне, – вставил Миша, – Игорька нашего жалко.

– Это который в Чечню попал?

– Ага.

– Глупо он как-то погиб. Ни за что.

– Как это ни за что? Там же война шла.

– Ну и что, что война! Ринатик тоже был на войне. Но вернулся. Помните нашего Ринатика?

– Это татарин с первой парты?

– Ага. Ну который котлеты еще в школьной столовке никогда не ел. Боялся, что они из свинины.

– Да, помним. Как не помнить? Ну а толку-то, что он вернулся.

– В смысле?

– Его же мать в дурку упекла через год после Беслана.

– Почему?

– Да потому что овощем стал наш Ринатик.

– М-да...

– А по мне, лучше овощем, чем кашей.

– Это ты о ком?

– О Вадимыче нашем.

– Господи, а с ним-то что случилось?

– Как? Вы не знаете?

– Нет.

– Он же еще в девяностых с какой-то братвой связался. Хаты они у пенсионеров отжимали. Он на бизнесе этом и поднялся. «Ауди» себе прикупил. Баб каких-то на ней катал. С ними и дурь курил, пока мозги совсем не отсохли. А потом...

– Что потом?

– А потом его КамАЗ переехал. Ночью на окружной. От Вадимыча одна каша осталась на асфальте.

– А где это случилось? У нас?

– Да, за нашим карьером. Знаете, где карьер?

– Ну знаем. Еще бы не знать. Там же Ленку нашли. Ленку нашу помните?

– Это которой горло порезали?

– Ага.

– Ужас какой! А за что ее?

– У нее же мать в «Интуристе» работала. Познакомила Ленку с какими-то америкосами. Те ей джинсы стали возить. А Ленка их тут продавала раз в десять дороже. И сама, дура, в шмотках иностранных шеголяла. Может, кто и позавидовал.

– А кто убил ее, не нашли?

– Не-а. Как тут найдешь? Она всю зиму в карьере прикопанная пролежала. Ее пацаны местные случайно нашли.

– Да уж, вот ее-то совсем жалко. Она ж по географии у нас крутая была!

– И в длину прыгала лучше всех!

– Да нет, в длину лучше всех прыгал Костян. Вы не помните, что ли?

– Это которого в 96-м на стройке плитой задавило?

– Да. Он тогда дома кооперативные строил. У них там вообще никакой техники безопасности не было. Все решали только деньги.

– А это он на Машке нашей женат был?

– Да, он! Только это недолго было. Потом, когда его плитой придавило, Машка с какими-то челноками московскими связалась. Денег больших задолжала. Закрутило ее. Ну и...

За окном стало совсем темно. Мы уже перестали видеть друг друга в темноте. Но ни у кого не хватало решимости включить свет, хотя все мы прекрасно помнили, где в этом классе находится выключатель. Казалось, что мы, как дети, боимся встать и разрушить эту сгустившуюся вокруг нас темноту. Будто бы в этой темноте таилось что-то невозможно страшное. Быть может, призраки тех, чьи имена мы вспомнили, вызвав тем самым сюда, из их забытой потусторонности.

Снизу притопала маленькая помятая старушка с цинковым ведром и грубо сколоченной – наверное, нынешними учениками на уроке труда, – шваброй. Воинственно заглянула в класс. Погремела ключами.

– Ну вы что, до утра тут сидеть собираетесь?

Все сразу ожили, стали облегченно вставать со своих мест, натягивать на себя шапки и пальто. Потом высыпали на улицу в только что выпавший снег.

– Ну что, – как-то светло, с облегчением засмеялся вдруг Толя. – Встретимся снова через тридцать лет?

Мы все засмеялись, оценив его шутку. И только Миша возразил:

– Ты доживи еще до того времени.

– Да что нам теперь будет! – искренне вернул ему Толя. – Времена-то уже не те.

– Как знать, как знать, – сказал себе в бороду Миша.

Мы попрощались друг с другом и пошли по домам, каждый в свою сторону, как это было когда-то в детстве. Правда, за компанию со мной идти было теперь некому. Подруга Маринка, с которой мы когда-то делили Андрюшины коньки, сразу же после окончания школы выскочила замуж за Колюню, белобрысого парня из нашего дома в интеллигентного вида очках. Он был года на два старше Маринки. Учился хорошо. Собирался поступать в политехнический, хотя тянула его только мать. Но перед самым выпуском Колюни из школы вернулся из Афгана его старший брат. По ночам стал буянить, ломать мебель и бить посуду. Колюня вместе с матерью ловил брата в коридоре. Вместе они наваливались на него, джюжего, в рваном тельнике, бьющегося в припадке, и лупили его головой об пол, долго и монотонно, пока тот наконец не затихал.

Это обстоятельство отодвинуло мечту Колюни о политехническом. К тому же в его жизни появилась Маринка, а через год и двое их близнецов. Чтобы прокормить семью, Колюня пошел на завод. Честно приносил всю зарплату домой. Но Маринка жить в одной квартире с Колюниным братом быстро устала. И потому молодая семья переехала в соседний дом, откуда Колюня все так же по ночам бегал помогать матери с братом.

Я побрела одна, загребая ногами легкий, еще не слежавшийся снег, скрипучий и переливающий в свете сгорбившихся над школьным двором фонарей. Остановилась. Вокруг не было уже никого. Оглянулась назад. Школу уже заперли изнутри – никак не вернуться. И свет выключили. Даже в коридоре. За школьным забором чернели подъезды домов с вечно выкрученными лампочками и гульки норы арок, в которых, казалось, может прятаться кто угодно.

Последняя мысль обожгла меня. Вдруг вспомнилось, как в начале девяностых из соседнего от меня дома неожиданно пропала школьница. Пока ее искали, пропала другая. Ровно через две недели. Когда их количество перевалило за десять, районная милиция встала на уши. Подключились городские власти. Приехали даже люди из Москвы. Летние каникулы тем временем подходили к концу. Нужно было готовить детей к новому учебному году. А школьницы все не находились.

Но самым страшным было то, что каждые две недели обнаруживалась новая жертва. И ею неизменно была какая-нибудь девочка лет тринадцати-пятнадцати. Такого в нашем районе не случалось еще никогда. От страха люди забились в свои квартиры. Попрятали детей. Дворы опустели. Старики сокрушались, вспоминая спокойные советские годы, когда детей можно было отпускать гулять одних и быть уверенными, что они вернутся целыми и невредимыми. По вечерам, высунувшись из окон квартир, матери звали своих детей домой. И они возвращались.

Люди в милицейской форме ходили день за днем от одного нашего дома к другому. Опрашивали жильцов. Искали улики. Но усилия казались напрасными. Школьницы так и не находились. Конец лета был безнадежно испорчен. Мы сидели дома и смотрели по телевизору балет «Лебединое озеро», который то и дело прерывался сообщениями ГКЧП. Но нам это было неинтересно. Настоящее и щекоучущее нервы пряталось у нас во дворах и подворотнях, на детских площадках и в подъездах с выбитыми стеклами окон. Мы боялись высунуться из дома, боялись друг с другом говорить. Потому что опасность была разлита среди нас. Каждый взрослый мог оказаться похитителем детей.

Пропавшие школьницы нашлись только через год. Причем нашлись сразу все, одинаково задушенные и сложенные аккуратно в сыром подвале заброшенного дома, который стоял на от-

шибе честного сектора и от своей давней необитаемости кишел крысами. Голодные, они выели у школьниц лица. Поэтому опознавать детей пришлось по одежде.

А совсем скоро милиция поймала подозреваемого. И пока люди в форме держали оборону от родителей найденных школьниц, маньяк и насильник трясся от напряжения и все отрицал. Бился в истерику, кричал, что совершена страшная ошибка. Но в какой-то момент наконец сдался и, как заваленный зверь, сознался во всем. Сказал, что только насиловал, а убивать никого не хотел. Но каждый раз боялся, что школьницы окажутся соседями и узнают его.

Дело оказалось очень громким. Фотографии насильника разлетелись по всей стране. Тогда-то мы и узнали, что был им не какой-то там конченый псих или матерый убийца, а наш добрый приятель по детским дворовым играм – белобрысый Колюня в интеллигентного вида очках. Оказалось, что соседи по дому, где он проживал со своей женой и близнецами, неоднократно видели, как Колюня уходит из дома по ночам и возвращается обратно лишь на рассвете.

Маринка, которая долго отказывалась верить в этот бред, в конце концов примирилась. Долго плакала, кидалась в окно. А потом сдала близнецов в детский дом и навсегда уехала из нашего города. Куда, никто не знает до сих пор. Колюне же дали пожизненное. Отправили его в Ново-черкасскую колонию, где через год он и повесился. Мать его осталась одна со старшим братом Колюни. Но за несколько лет она наловчилась и уже в одиночку могла заваливать старшего сына по ночам. И долго, монотонно лупила его головой об пол, пока тот наконец не затихал.

Мы долго еще жили в страхе: боялись возвращаться в одиночку по вечерам через арки наших дворов, боялись заходить в темные подъезды. И хотя школьницы пропадать перестали, мы по-прежнему не могли избавиться от ужаса, пожиравшего изнутри. И страшен был уже не мертвый Колюня, а что-то другое – необъяснимое, безличное и как будто не существующее, но опасное, очень опасное, переродившееся в наших умах во что-то большее – какое-то коварное чудовище, которое умеет приманить. А приманив, безжалостно убивает.

Постепенно страхи наши стали сходить на нет. Кто-то, правда, потом слышал, будто бы школьницы начали пропадать опять. Но было это уже не у нас в районе, а где-то на другом конце города, в отдаленной его части, где нормальные люди не живут, а селятся только рабочие химзавода и спившаяся городская беднота. Впрочем, нас этот кошмар уже никак не касался.

Я потопталась на месте. Все-таки нужно было идти домой. Ноги совсем замерзли. Но от воспоминания про Колюню стало вдруг так мутно, что десяток шагов, который оставался мне до ворот школы, стал казаться теперь непреодолимым. Я снова обернулась. Безлюдно. «Сколько же времени уже», – тоскливо подумала я. Снег идти перестал. Фонари равнодушно сочились неоном. На выбеленной целине школьного двора чернела линия только моих следов. А немного поодаль – черная круглая дыра колодца, из которого щедро валил густой белый пар. Я подошла ближе. И не поверила глазам. Колодец был снова открыт, как и много лет назад. словно кто-то невидимый как бы невзначай оставил вечно запертые двери слегка приоткрытыми. Давай, заходи!

Сколько нам было тогда? Лет по девять? Зима в тот год пришла ранняя, морозная. На футбольном поле школьного двора залили каток и накидали высокую снежную гору. Физрук заставил нас принести на урок лыжи, коньки или санки, в общем, все, что у нас было дома. Это вызвало всеобщее возбуждение. И впервые мы ждали урок физкультуры с бешеным нетерпением.

Митя, сидевший за партой передо мной, шустрый троечник, который боялся выходить к доске и все время у всех списывал, притащил на физкультуру новенькие канадки, которые отец привез ему из командировки. И пока ждал урок, все прятал их и держал за шнурки, боясь, что коньки его кто-то упрет. А когда наконец дождался, первым побежал на каток, никак не мог успокоиться от восторга, хотя кататься совсем еще не умел, все время падал и бился головой об лед. Ему хотелось тренироваться еще и еще, потому что получалось все лучше и лучше. Он бы вообще торчал на этом катке весь день. Но у нас после физкультуры была контрольная по математике. Поэтому после звонка весь класс потянулся обратно в школу.

Митя математику не любил. Контрольные писал всегда плохо. Поэтому терять ему было особенно нечего. И он – была не была – решил математику прогулять. Он спрятался за заваленный

сугроб и там стоял, пока физрук загонял нас всех в школу. Переживая перемену и согревая своим дыханием пальцы в промокших варежках, Митя решал, куда ему лучше пойти кататься. На каток было нельзя. Его мог заметить физрук через окна спортзала. Тогда Митя решил перебраться на другую сторону школы. Такого хорошего льда, как на катке, там, конечно, не было. Но снег на дороге, утоптаный детьми еще утром, лежал довольно плотно. И скользить по нему было так же приятно, как и по льду.

Так он и сделал. Перебрался на другую сторону школы и стал тренироваться дальше. Катаясь, не заметил, как пролетел час. И когда одноклассники пошли домой, едва успел снова спрятаться за сугроб. А когда из школы ушел даже физрук, Митя вновь побежал на футбольное поле, не переставая радоваться тому, что за все это время никто его так никто и не хватился.

От своего катания он очнулся только тогда, когда почувствовал, как сильно он замерз. Оглянувшись. Заметил, что здание школы уже потонуло в сумерках. Руки в промокших варежках нестерпимо ломили. К тому же он вспомнил, что ботинки, которые он снял перед уроком физкультуры, чтобы переобуться в коньки, остались стоять в школьной раздевалке. Митя посетовал на свою забывчивость. Но делать было нечего. Домой нужно было идти в канадках. И он пошел, елозя лезвиями по дороге и придумывая, что соврет дома по поводу оставленных в школе ботинок.

Дойдя до школьных ворот, он вдруг остановился, заметив в снегу круглую черную яму, от которой медленно поднимался густой белый пар. Митя остановился, завороченный красотой кучевого облака, висевшего прямо над ямой. Подошел поближе, с любопытством заглянул вовнутрь. Яма оказалась открытым колодезем, крышка которого, как перевернутый жук, валялась неподалеку в сугробе. Колодез был заполнен горячим паром – настолько горячим, что снег вокруг колодезной дыры растаял и превратился в покатулю ледяную горку.

«Кто открыл его?» – удивился Митя. Разве можно так посреди школы бросить колодез без крышки? Наверное, в трубах, которые закопаны глубоко под землей, что-то разорвалось. Поэтому люди открыли колодез и спустились туда, чтобы все исправить, все починить. Митя подошел еще ближе. Покричал в яму. Но ему никто не ответил. Тогда Митя снял с замерзших ладоней заледевшие, одеревеневшие варежки, положил их на лед, а сам присел на корточки. Сложил ладони трубочкой вокруг губ и снова покричал. Никто по-прежнему не откликнулся. Тогда он протянул руки навстречу пару. От щедрого тепла стало хорошо. Митя прикрыл глаза, ощущая, как от ямы исходит что-то приятное, живое, и почувствовал, как медленно отогреваются его пальцы, перестает мучительно колоть в ладонях и внутри что-то оттаивает и разгоняется по венам. Он еще раз прислушался, не кричит ли ему кто-то в ответ. И только теперь услышал странное – не голос, нет, а что-то другое, похожее на звук инструмента, то ли детской свистульки, то ли какой-то дудочки. «Кто может играть там, на дне аварийного колодца?» – изумился Митя. Наклонился от удивления ближе к источнику звука. Хотел прислушаться к звуку еще сильнее. Но в этот момент полосья его канадок, неожиданно потеряв сцепление со снегом и землей, покатались по ледяной горке, оторвали Митю от земли и с какой-то странной, но неотвратимой силой обрушили в черную колодезную дыру.

Я осторожно подошла ближе. Из колодца все так же, как и много лет назад, валил горячий и густой пар. «Должно быть, – подумала я, – он вырывается из какой-то лопнувшей под землей трубы». И вдруг во мне родилась странная, испугавшая меня мысль: а ведь он, этот Митя, оказался среди нас самым первым. Он, как сакральная жертва, открыл счет всем этим бессмысленным смертям, скатившись на своих новеньких канадках в черную, брошенную кем-то дыру.

Сваренное в кипятке Митино тело нашли только утром – по варежкам, оставленным на краю колодца. После случившегося за его парту не стал садиться никто. Нам казалось, что если сядем, то непременно умрем. Как Митя. А мы не хотели заразиться его смертью.

На следующее утро после случившегося с Митей дыру спешно закрыли. Виноватых – тех, кто на школьном дворе бросил аварийный колодез открытым, – так и не нашли. Наказали первых попавшихся. Но разве этим можно было спасти Митю? А всех остальных? «Встретимся через тридцать лет», – пошутил бывший наш политинформатор Толя. Правда, он забыл уточнить, в какую

сторону следует отсчитывать все эти годы, вперед или назад. Ведь сколько бы ни случилось нам еще встретиться, мы все равно будем выпадать в наше прошлое – открытый колодец, который кто-то забыл закрыть. Но кто? Кто этот невидимый, оставивший нам как бы невзначай вечно запертые двери слегка приоткрытыми? Давай, заходи!

Я подошла к черной дыре совсем близко. Присела над валившим из нее густым паром и прислушалась. Откуда-то из колодезной глубины, из подземелья лился едва различимый, тоненький, нежный звук какой-то неземной, волшебной дудочки. Будто бы звал или даже упрашивал сделать шаг, последний шаг.

Май, 2020

Яма

к Феофилу

Осипов лежал в поле – на спине, неподвижно, вытянувшись во весь свой рост. Лежал после дождя и смотрел на небо, слушая перешептывание влажных трав. Он никак не мог отделаться от удивления, что с ним все случилось так быстро. Память держала еще, как они долго шли через поля в зрелой, тяжелой пшенице, топтали ногами урожай.

А урожай в этот год выдался небывалый. Пшеница стояла высокая, налитая тугим зерном. И все вокруг было таким красивым, что невозможно смотреть. Но Осипов смотрел на широкие, желтые поля, в которых то тут, то там лежали убитые. Лежали как соломенные снопы, разметанные короткой и сильной бурей. Лица их от дождя были мокрые, будто заплаканные. И еще удивленные от того, что с ними все случилось так неожиданно, так быстро.

Еще Осипов помнил, как они побежали, потом молча сошлись в рукопашном бою, как трещали хрящи и ломались человеческие кости. Люди ревели, как дикие звери, заламывали друг друга, пробивая штыками глаза и рты, закалывая – кого в спину, кого в живот. Он тоже бежал и колот штыком. Но потом как-то разом все оборвалось. Стихло. И только травы по-прежнему шумели.

Теперь Осипов лежал, разметавшись, и слышал, как в голове у него нарастает какой-то свист. А вместе с ним и боль – тупая, мешавшая отрешению, тянувшая и заставлявшая его снова вскочить на ноги и бежать снова вместе с другими через поля. Одежда на нем вся промокла, а ниже пояса плотно приклеилась к телу. Ему даже показалось, что лежит он в какой-то чавкающей жидкой луже. Осипов попробовал встать. Но тело его не слушалось. Ноги горели. Он приподнялся и осмотрел себя. И вдруг заметил, что там, где заканчивались голенища его солдатских сапог, ткань на галифе взбухла какими-то рваными ранами и сочилась теперь чем-то маслянистым и черным. Носки ступней вывернуло назад. А одна нога показалась теперь Осипову сильно короче другой. Он огляделся. На самом краю его слуха пехота раскатисто кричала «Ура-а-а!». Но рядом с ним не было никого. Внутри у него заметался страх: как он с такими ногами выберется теперь отсюда? Как успеет догнать остальных?

Вспомнил, как воздух внезапно разрезало. Его чем-то оглушило, оторвало от земли и заполнило все вокруг каким-то гулом, запечатавшим Осипову и уши, и рот, и глаза. Дыхание его сдавило вонючим и горьким жаром. Он закашлялся и тут же опрокинулся назад, как большая рыба, которую вышвырнуло на берег и неизвестной, чужой силой придавило к земле, вышибая дух, и бросило на рыхлую, словно разрезанную плугом землю. А потом все остановилось и замерло. Нужно было сосредоточиться и вспомнить, что случилось потом, что отбросило его от других, бегущих по полю. Но именно в этой точке память обрывалась и превращалась в его голове в огромное черное пятно.

Осипов повернул голову и осмотрелся вокруг. Он лежал на дне какой-то глубокой ямы, края которой – неровные, острые – еще осыпались вниз, кроша комьями рыхлой земли. В рассеивающемся медленно дыме он увидел, что недалеко от него, на противоположном откосе ямы сидел солдат, но чужой. Часы, медальон, униформа – все на нем было чужое и черное. Только лицо у солдата казалось белым-белым, а на нем россыпью бежали огненные веснушки. Он тяжело, в упор смотрел на Осипова. Но глаза его почему-то не двигались, не моргали. Медленно, будто сонный, он поднял перед собой левую руку. Из зажатого намертво кулака торчали желтые, сухие стебли пшеничных колосьев. Солдат вытянул руку вперед и поманил Осипова, словно звал пойти вместе с собой. В это время другая его рука, сжимавшая ствол винтовки, наклонила его угрожающе в сторону Осипова. Тот дернулся. И стал в поисках собственного оружия судорожно хватать рыхлую, податливую землю. Но оружия нигде не было. Тогда Осипов бросился на откос ямы и, загребая по-собачьи руками, стал ползти вверх. Однако комья земли с еще большей скоростью посыпались на него и тут же отбросили обратно в яму. Тогда он попытался рывком вскочить на ноги. Снова бросился на откос. Но от боли сознание его оборвалось.

Осипов полетел в какую-то гулкую, черную трубу, в конце которой брезжил едва различимый мерцающий свет. Вместе с ним летели другие из его батальона – и живые, и те, кого убило еще весной. На каждом из них были почему-то надеты длинные зимние шинели, еще новые, не пропитанные до картонного хруста ни грязью, ни кровью, ни водкой, ни блевотиной. Солдаты летели как во сне, улыбаясь друг другу и вытянув вперед руки, повернув к мерцающему свету измученные ладони с кровавыми мозолями и обломанными черными ногтями.

Осипов вдруг заметил, что среди них в голубом легком платье летела и Маша, его жена. Волосы ее, светлые и опущенные до плеч, струились по голой шее, загоразживали лицо. За подол ее платья держались дети – их мальчики-близнецы, похожие на мать, с такими же нежными и пшеничными волосами. Они тоже были одеты по-летнему легко и нарядно. Но во что именно, Осипов не успел разглядеть. А только подумал: как странно, что все они, как и раньше, целы, невредимы. Ведь и дети, и Маша сгорели еще в первый год войны. Он в который раз попытался представить себе запах горящих волос и горячей кожи. Это отрезвило его. Он снова испуганно дернулся. Мерцающий свет залясал перед его глазами. И сознание вернуло Осипова в яму.

Он открыл глаза. Его тело, распластавшись как звезда, лежало почти на самом дне ямы. Над головой нестерпимо гудело. Где-то на земле яростные звуки металла то сходились, то расходились, словно небесные хляби. Где-то совсем рядом, сотрясая поверхность земли, шли чьи-то танки. Но чьи, Осипов не видел. Не мог видеть. Потому что лежал ниже поверхности земли. Наверное, – подумал он, – меня отбросило взрывом. И эта яма – воронка. Но почему она такая большая?

Он растерянно оглянулся по сторонам. И взгляд его снова уткнулся в чужого солдата, сидящего на противоположном откосе ямы. Его медленно засыпало комьями рыхлой и крупчатой земли, утягивая на дно ямы. Он пытался этому сопротивляться, сгибая в коленях свои здоровые, крепкие ноги в шнурованных ботинках, и каждой по очереди выталкивая свое тело наверх, подальше от Осипова. Кулак с зажатым в нем пучком колосьев он прижимал теперь почему-то к груди, словно пытался удержать внутри себя что-то важное, что забирало у него последние силы. А другой рукой он крепко сжимал ствол своей винтовки, по-прежнему направленной дулом в сторону Осипова. И как-то рассеянно, глупо улыбался. Он, конечно же, видел, как обессилевший, покалеченный Осипов скатился на самое дно ямы и лежал теперь там, жалкий и безоружный, раскидав в разные стороны свои перебитые ноги. И теперь этот чужой солдат мог сделать с ним, с Осиповым, все что угодно. Мог убить. А мог оставить умирать на дне этой чертовой ямы.

Тогда Осипов подался вперед и, пытаясь перекрыть лязг и грохот идущих где-то там, наверху, танков, рывкнул, собрав в себе всю свою силу:

– Ну стреляй же! Стреляй! Какая разница теперь, кто подойдет тут из нас первый!

Солдат, пытаясь понять хоть немного из того, что крикнул ему Осипов, вдруг сосредоточился, напряженно подался вперед, сгруппировался и неожиданно выстрелил. Услышав сухой и раска-

тистый хлопок, Осипов зажмурился. А когда снова открыл глаза, удивился, что солдат больше не смотрит на него. Взгляд его, сделавшийся опять пустым и отрешенным, остановился на чем-то, чего Осипов еще не видел, не понимал.

Тогда Осипов оглянулся. И увидел, что совсем близко от него, шага на три выше по скату воронки, лежит ничком, пробороздив сверху вниз неглубокий скат в земле, какое-то маленькое, совсем не солдатское тело. Через плечо этого тела была переброшена зеленая сумка с крестом посередине. Вытянутая по направлению к Осипову маленькая рука, совсем немного не дотянувшая до него, была похожа на замершую птичку. Голова, уткнувшаяся лицом в рыхлую землю, не двигалась. Вокруг этой головы были рассыпаны волосы – вьющиеся, соломенные. Как у Маши, – зачем-то подумал Осипов. Правда, вместо легкого Машиного платья на той, что лежала теперь, была солдатская гимнастерка, туго перетянутая на талии ремнем, и штаны сильно не по росту.

Осипов замер. Как такое возможно? Здесь. На передовой. В грохоте. В поле. Он высвободил из-под себя руку и подполз к телу. Протянул руку к женской голове. Отодвинул с лица волосы. Посмотрел. Нет, это была не Маша. Конечно, не Маша. Ведь он, Осипов, не сошел еще с ума в этой яме. Он посмотрел снова. Это была совсем юная, незнакомая ему девочка с круглым, почти ангельским лицом. Господи, – испугался Осипов, – и она тоже здесь, вместе со всеми, в этом злобонии и крови?

Она, почувствовав движение у своего лица, очнулась. Открыла глаза и посмотрела на Осипова.

– Кто ты? – растерянно спросил он.

Она открыла рот и так замерла с не выпущенными оттуда словами, будто бы была в обмороке или не расслышала Осипова сквозь грохот канонады.

– Я... Я... С санитарного обоза, – словно задышавшись, выдавила из себя она. – Приказано вам... вам оказать помощь.

– Какую еще помощь! – еще больше растерялся Осипов и затряс ее за рукав. – Ты что, не видишь, что здесь творится? Уходи отсюда!

– Нет, нет! – замотала она головой, но как-то медленно замотала, пьяно. – Я не могу вас тут бросить! Не могу!

– Да тебя же убьют здесь, дура! – крикнул Осипов, почти по-звериному крикнул.

В это время новый, тяжелый взрыв ухнул и сотряс поле, пригибая колосья к земле, словно порывистый шквал. В яму посыпались какие-то корни, осколки горячего железа и рваные куски человеческих тел. Девочка, словно очнувшись, завизжала, вцепилась испуганно в руку Осипова. Не удержавшись, они оба покатались вниз, к самому центру ямы.

– Уходи! Уходи! – яростно закричал Осипов и стал изо всех сил руками выталкивать девочку из ямы.

Но она все цеплялась и цеплялась, навалившись на него, запутав волосами, пока наконец не ослабила хватку. Замерла.

Осипов потряс ее за плечо. Она не откликнулась. Тогда он сбросил с себя ее тело, перевернул на спину. И только теперь увидел, как по ее животу, вокруг маленькой дырочки на гимнастерке медленно растекается бурое, мокрое пятно. От неожиданности он отдернул руку.

– Кто же это тебя так?

Осипов растерянно задрал голову, посмотрел вверх, где неровные края ямы смыкались вокруг неба. Потом еще раз проследил путь земляной борозды, которую оставила девочка, спускаясь к нему в яму. И вдруг замер. Решительно повернул голову и снова уткнулся взглядом в чужого солдата, сидящего, как и прежде, на противоположной стороне ямы. Взревев, Осипов пополз в его сторону, жадно захватывая пальцами землю и подтягивая свое покалеченное тело к нему, все выше и выше по склону. А тот, не сводя с него ясных остановившихся глаз, еще раз с усилием нажал на курок винтовки. Но пули в стволе больше не было. Осипов решительно, зло рассмеялся. Ухватил солдата за шнурованные ботинки. Потянул его к себе, вниз, на дно ямы. Подмял его под свое отяжелевшее, неуклюжее тело. Дотянулся до шеи. Сдавил ее обеими руками и закричал.

Он кричал долго. Ему даже показалось, что воздух в его легких давно уже кончился, а он все еще кричал и кричал, не разжимая своих рук на его шее. А когда крик его наконец кончился, кончились и силы, оставленные Осиповым для ярости. Он упал на чужого солдата. Его тающее, уходящее от него сознание еще вылавливало доносящиеся откуда-то сверху лязги и скрежеты боя. Но все это становилось все тише и тише, пока не выключилось совсем.

Он очнулся, когда первые утренние лучи легли на его спину и стали согревать волосы. В голове было мутно. Мысли расплывались, опять не давая ему вспомнить, что же случилось вчера. Он поднял руку, которая показалась ему теперь необыкновенно тяжелой, налитой какой-то свинцовой кровью, и провел шершавой ладонью по лицу. Перед глазами тут же возникло все – и нежное голубое небо, и чистые, как простыни, облака, сухие колосья пшеницы, перешептывающиеся прямо над краем ямы. Там, наверху, бой, наверное, уже кончился. Люди собрали оружие и теперь ушли воевать дальше. А здесь стало тихо, необыкновенно тихо. Маленькие птички робко, неуверенно пробовали свои утренние голоса. Стрекотали невидимые кузнечики и жуки. Всем им не было никакого дела до людей, до того, что творится в их чудовищном мире.

Просыпаясь, сознание Осипова стало жадно, как тонушая кошка, цепляться за вчера. Ему вспомнился и бой, и девочка с волосами, как у его Маши, и чужой солдат. Все это стремительно, обжигающе пронеслось в его сознании. Он приподнялся на локтях, повернул голову и увидел, как солдат по-прежнему смотрит на него. Но на лице его с россыпью огненных веснушек не было больше жизни. Солдат глядел на него ясными синими глазами. Но теперь Осипову казалось, что смотрит он не на него, а сквозь него, мимо него на что-то такое, чего Осипов еще не постиг.

Он снова скатился на самое дно ямы и подполз к девочке. Тронул за плечо. Тело ее совсем обмякло. Волосы спутались на лице. И было уже непонятно, спит ли она или уже умерла. Тогда Осипов потянул на себя ее сумку. С треском оборвал ручку. Вытряхнул из сумки несколько индивидуальных пакетов. Разорвал их зубами и вынул оттуда чистые, белые бинты. Не разматывая их, стал прикладывать к ее животу. Однако бинты уже не пропитывались кровью, которая, должно быть, вытекла уже вся.

Осипов наклонился над девочкой, лежавшей неподвижно, на спине. Лицо ее было спокойным, как в безмятежном сне. Но на него уже неотвратимо напал бледно-желтый, так хорошо знакомый Осипову за годы войны, оттенок, который не спутаешь ни с чем. Серое, измученное лицо. Слипшиеся на лбу волосы. Потрескавшиеся губы. Она казалась ему красивой, очень красивой. И похожей на его Машу. Осипов лежал и любовался девочкой. Жаль, – думал он, – если и она умерла.

Он протянул руку и погладил ее ладонь. Она оказалась по-детски нежной и еще теплой, словно фарфоровая чашка с остывающим чаем. Значит, жива еще, – догадался Осипов. Он положил свою голову в ее ладонь и зашелестел своим сорванным, простуженным голосом забытую песню, которую пел когда-то очень давно, в другой жизни, своим собственным детям перед сном.

И вдруг лицо девочки зашевелилось. Белки глаз тревожно заходили под веками. Осипов перестал петь. Убрал голову с ее ладони. Она что-то прошептала. Он не расслышал и потому придвинулся ближе к ее лицу.

– Что? Что сказала?

Она повторила, не открывая глаз:

– Почему вы перестали петь? Пойте! Пойте еще.

Но он промолчал. Не смог больше петь. В горле его вдруг застряло что-то колючее, острое. Он отполз немного от девочки, чтобы она не услышала, как он плачет. Снова поднялся на локтях, обвел взглядом яму, спокойную теперь и дымящуюся уже не в угаре сражения, а в утренних сочных лучах.

Он вернулся обратно к девочке. Она дышала все медленнее и тише, вяло раскачивая своей головой из стороны в сторону и пытаясь, словно ребенок, сбросить с себя подступающую смерть.

– Все-таки глупо как получилось, – сказала она. – Я ведь должна была вынести вас с этого поля. А у меня ничего не получилось. И теперь больше никто не придет за нами.

Осипов придвинулся к ней совсем близко и обнял одной рукой.

– Ну, кто-нибудь и за нами придет. Кто-то же должен прийти.

И он погладил ее по пшеничным волосам. Посмотрел на ее круглое, почти ангельское лицо. Он не знал, что еще может сделать для девочки, так и не сумевшей его спасти. А сделать ему хотелось. Что-то последнее, что-то важное. И тогда Осипов наклонился над ней и поцеловал в губы. Может быть, тем единственным поцелуем, которому суждено было случиться в ее жизни. Девочка улыбнулась в ответ и погладила Осипова по спине своей маленькой птичьей рукой.

А за Осиповым и правда пришли, когда он лежал уже в забытьи на дне ямы, раскинув свои сильные, натруженные войной руки. Санитарный обоз, возвращавшийся в тыл по прифронтовой полосе, наткнулся случайно на раненого солдата, который три дня пролежал с перебитыми ногами на дне воронки. Совсем один.

Лечить его привезли в прифронтовую госпиталь. Там он целые сутки еще валялся в горячке, в бреду, пока не было принято окончательное решение ампутировать ему обе ноги. В операционной его измученное, еще целое тело положили на стол, застеленный серой, с бурыми пятнами простыней. Вместо наркоза влили в него полбутылки самогона. И Осипов снова полетел в какую-то гулкую, черную трубу, в конце которой брезжил едва различимый мерцающий свет. Вместе с ним летели другие из его батальона – и живые, и те, кого убило еще весной. Время от времени Осипов выныривал из своего тягучего обморока, смотрел на людей в халатах через мутную плену своего сознания. И снова не мог вспомнить, что же случилось с ним вчера. А видел только одно и то же, повторявшееся и повторявшееся по кругу. Маленькая, хрупкая санитарка с каким-то круглым, почти ангельским лицом несла от стола, на котором лежал Осипов, через всю операционную его почерневшие отрезанные ноги. Неторопливо несла и как будто торжественно. А ноги его были тяжелые, такие тяжелые. И потому санитарка несла их, прижимая крепко к груди. Осипов смотрел и смотрел на отделяющиеся от него ноги. И ему почему-то казалось, что это и не ноги совсем. И не санитарка уносит их, чтобы выбросить в большой цинковый таз, где лежат уже и другие ноги, и другие руки. А это Маша, жена его в своем легком, голубом платье. Идет, прижимая к своей груди мальчиков-близнецов, только что родившихся, крепких и розовых. Идет навстречу ему. А он, Осипов, стоит и едва сдерживает улыбку. Он улыбается ей, Маше. И всем тем, кто принес ему эту весть о рождении.

*Ноябрь, 2020
Берлин*

ГОРОДОК

Рассказ

Наш рейс задерживали уже на сутки, мы даже не знали, сел ли самолет из Москвы. Петр постоянно укорял меня, зачем мы приехали так рано, не посмотрев время приземления в интернете, но интернет в городке был спутниковый, не просто медленный, а неспешный и такой дорогой, что я пожалел денег.

Аэропорт городка размерами не отличался: шесть стоек регистрации, один зал вылета, полицейский участок, погранслужба, лавка с сувенирами малых народов севера, два кафе с комплексными обедами и четыре кофейных автомата, возле которых постоянно выстраивалась очередь.

Делать было нечего. Мы слонялись от курилки, расположенной на улице, до ларька с предментами народного творчества, столь дорогими, что было непонятно, кто же их покупает.

Нас было человек сто, нас всех уже изучила охрана и не просвечивала при выходе на улицу. Из всех развлечений нам оставалось разглядывать женщин, и если буфетчицу все давно полюбили и часто с ней беседовали, то вторая девушка, заслуживающая внимания, вызывала у нас больше вопросов, чем ответов. В отличие от местных женщин, одетых в огромные меховые шапки, непродуваемые комбинезоны, обладавших обветренными лицами и красными огрубевшими руками, эта девушка производила впечатление московской штучки.

На ней болталась черная норковая шубка до пояса с укороченными рукавами, сколь европейски новомодная, столь же бесполезная при сорокаградусном морозе и шквальных ветрах. Ноги ее были обтянуты черной прорезиненной джинсой, отчего смотреть на девушку было страшно и холодно. На её голове красовалась стрижка каре с челкой до глаз. Размытый фиолетовый макияж и сиреневый маникюр довершали странный вид девушки. Ее можно было бы принять за москвичку, ожидающую вместе с нами рейса в столицу, но что-то неуловимо выдавало в ней провинциалку.

Странно устроен мир, мы только что с Петей отмотали культурную вахту в городке и во время своих лекций встречались с людьми разными, как обличенными властью, так и нет, и ни разу у нас не возникло мысли о какой-то отсталости или ущербности городка, его заброшенности или дикости. Наоборот, скорее нам приходили в голову мысли о нашей ненужной столичной напыщенности, и хотя относились к нам тепло и радостно, и даже с детской восторженностью, мы все равно давали понять, что являемся людьми из другого мира, и городок наш пустой снобизм, конечно, чувствовал.

Когда мы ходили по городку одни, нас легко принимали за приезжих или командировочных, всегда пытались помочь, а однажды решили, что мы ищем, где пропустить стаканчик, и помогли в поисках злачного места.

Вячеслав Харченко родился в 1971 году в Краснодарском крае. Выпускник МГУ им. Ломоносова, учился в Литературном институте им. Горького. Стихи и проза печатались в журналах «Новая Юность», «Арион», «Знамя», «Октябрь», «Крещатик», «Новый берег», Ното Legens и др. Автор книги прозы «Чай со слониками» (2018), «Пылинки» (2021). В «Волге» публикуется с 2014 года. Живет в Москве.

Жителей городка отличало от приезжих то, что они всегда поддерживали не только друг друга, но и людей вообще. Мы с Петром объясняли это суровостью климата. Если здесь в сорокаградусные морозы и шквальные ветры не помочь незнакомому человеку, то он запросто может лишиться жизни, а жизнь другого человека, честно говоря, это единственное, что еще осталось ценного в этом мире, лишенном имперских замашек, космических запусков и ДнепроГЭСа, и за нее надо бороться. Машины в городке, если голоснуть, останавливались, сбитых ветром пешеходов поднимали сердобольные прохожие, а замерзающих голубей и диких собак подкармливали всем городком.

И вот мы сидели с Петром в аэропорту в ожидании рейса на Москву и рассматривали эту особенную женщину, похожую на москвичку, одетую как москвичка, в чем-то ведущую себя как москвичка. Она постоянно смотрела в мобильный телефон и что-то быстро в него вбивала, но при этом женщина неуловимо отличалась от столичной штучки, как весна отличается от осени. Или, скорее, как ранняя календарная еще снежная весна отличается от весны поздней: с первой малосильной зеленой травкой, важными шагающими грачами и тонким запахом талой воды.

Одежда девушки хоть и была модная, но относилась к моде прошлого сезона, стрижка ее хоть и эффектна, но в европейской части такие давно уже не носили. У девушки сверкали пухлые округлые губы, а ведь теперь в столицах любят тонкие кинжальные губы, да и брови больше не выщипывают, оставляют жирным волосатым сгустком. Девушка являлась модницей провинциальной. И хотя Петр поспорил со мной на пятьсот рублей, что она летит с нами в Москву, но я был уверен: девушка на посадку с нами не пойдет.

Несмотря на привлекательный вид, в разговор с девушкой никто не вступал, никто к ней не подходил, а ведь это из ряда вон выходящее событие. Красивая женщина сидит сутки с нами в аэропорту, а к ней никто не пристает, хотя мужики изголодались, особенно мы с Петром, мы же здесь в городке неделю уже торчим и никаких любовных приключений не имели.

Я подошел к буфетчице и спросил:

– Кто это?

Буфетчица обиделась, но ответила:

– Это Нэлли, она живет за заливом и раз в неделю, когда прилетает полупустой московский рейс, она идет к рейсу, покупает чашку кофе, сидит в моем кафе и смотрит на мужчин, потому что хочет уехать из городка.

– А она не того, – спросил я.

– Нет, она не того, – ответила грустная буфетчица, отвернувшись к ржавой раковине и стала мыть грязную столовую посуду, которую накидали ей оленеводы после комплексного обеда.

«Боже ж мой, – подумал я, – Нэлли хочет уехать из своего городка».

Я вдруг вспомнил свой родной городок, где я родился и вырос: поросшие густым лесом сопки до неба, остроносые синие вулканы поперек горизонта, бурные и холодные снеговые ручьи. Вспомнил, как для меня было важно уехать из городка в Москву и как я обещал своим учителям, что приеду или хотя бы заеду, но, конечно, не вернулся, и даже более того, перевёз родителей и всю семью в столицу, и теперь в Подмоскowie строю дачу.

Тогда для меня тоже был важен, как для Нэлли сейчас, единственный в день московский рейс. Красная икра, красная рыба, камчатский краб, бушующий океан, горнолыжные трассы были мне безразличны.

Я ежедневно по пять часов дополнительно учился точным наукам, и когда закончил школу, то легко поступил в московский вуз. Я хорошо помню день поступления. Я бежал по Ломоносовскому проспекту, прыгал вверх зайцем и орал в ночное небо: «Это я, я, я поступил!» Но, оказываясь, я грыз гранит науки, чтобы транзитом через Москву приехать в такой же маленький городок и увидеть там Нэлли, выходящую ко всем московским рейсам и кого-то ожидающую и чего-то ищущую.

Я подошел к Нэлли и сел к ней за салатовый пластиковый столик. Она сделала вид, что не замечает меня, хотя от мобильного телефона оторвалась. Я взял ее узенькую ладонь в свою руку, ладошка Нэлли вспотела, она наклонила голову в мою сторону и посмотрела мне в глаза.

– Можно я куплю тебе комплексный обед? – спросил я и внимательно вгляделся в ее скуластое лицо. Такие лица бывают у женщин Сибири при смеси европейской крови, как правило, украинской, с местным населением. Глаза у Нэлли были черные, что еще больше подтверждало мое предположение.

Себе я купил сосиски с капустой и куриный суп, а перед Нэлли поставил борщ и пельмени. Мы молча ели, иногда Нэлли останавливалась и долго смотрела на меня, словно хотела спросить, что я собираюсь делать дальше.

За окном светило яркое утреннее солнце, рейс откладывали на неопределенное время, и хотя буран уже стих и дело было за малым: расчистить взлетную полосу, мы взяли с Нэлли такси, и она решила показать мне тундру и городок.

Тундра завораживала белым безмолвным сиянием, небольшой, но колючий и болезненный ветерок забирался под одежду, я никак не мог сосредоточиться на окружающей нас скудной красоте, делал снимки на мобильный телефон и то и дело поглядывал на Нэлли. Нэлли покраснела, ее пухлые губки приоткрылись, на солнце то и дело сверкали ровные снежные зубки.

Потом мы поехали к Кресту. Я стоял в обнимку с Нэлли у парапета и осматривал полярную Венецию, красочную и нарядную, как картинки Кандинского, и думал о том, что же будет с нами завтра. Мне не хотелось завтра, мне, если честно, не хотелось лететь в Москву, в огромный, тяжелый и суматошный мегаполис.

Когда мы добрались до памятника каким-то убиенным революционерам, на мобильный телефон позвонил Петр и сказал, что на рейс объявили регистрацию. Нэлли, услышав наш разговор, попросила таксиста ехать в аэропорт, и вот когда мы ползли по замерзшему заливу обратно, мне вдруг показалось, что нет ничего более ужасного и подлого, чем весь этот комплексный обед и никому ненужная сентиментальная поездка по городку, который я и так уже не раз видел.

«Меня всегда подводила моя порывистость», – подумал я и зачем-то поцеловал Нэлли в губы, но Нэлли не пошла за мной в аэропорт. Она высадила меня у стеклянных стальных дверей, даже не помахала рукой, но я отчетливо услышал ее слова: «Спасибо, Миша».

Зарегистрировались мы с Петром одни из последних, но здесь в маленьких городках и небольших аэропортах принято ждать каждого пассажира, потому что каждый пассажир, как я говорил выше, ценен и важен. Может, он еще вернется сюда и принесет городку если ни пользу, то благую весть, или расскажет на большой земле о необъяснимой ценности и цельности его жителей.

Мы взяли с Петром билеты рядом, самолет летел полупустой. Тут и там поперек кресел лежали желающие проспать весь полет пассажиры, между которыми происходила замысловатая борьба за свободные ряды.

Петр внимательно осмотрел весь салон и улыбнувшись сказал мне:

– Ну и где твоя девка?

А я почему-то закричал на него, не знаю, не сдержался и закричал:

– Нет, Петя, нет, Нэлли не девка, Нэлли – Ассоль, и тебе этого не понять, потому что ты родился в Москве и вырос в Москве, и любимый твой район Сокольники, и у тебя треклятая ипотека, а у меня траханная недостроенная дача, и не тебе судить Нэлли.

Потом я встал и отсел от Петра на места повышенной комфортности, заплатил полторы тысячи рублей и отсел туда, где можно вытянуть ноги, хотя это странно и смешно – платить лишние полторы тысячи рублей в полупустом самолете.

А лайнер уже птичкой невеличкой цокал лапками по бетонной полосе, и нам с Петром казалось, что мы летим, летим и считаем деньги в голове, потому что Петру надо платить за ипотеку, а

мне стоять дачу, и я вдруг понял для себя, что мне важнее всего Нэлли, и я бы взял Нэлли с собой, но у меня жена и дочка. Дочка выросла и учится в Дублине, и жена живет с ней. Я честно не знаю, зачем жена это делает, потому что дочка уже взрослая.

И тут Петр, как бы услышав, что я думаю, произнес: «Что делать, мы мужчины, нам некуда деваться, мы ездим по разным углам и ведем культурную работу, потому что твоя дочка в Дублине, а моя жена зачем-то взяла ипотеку, она думает, если отселить маму, то все наладится, и наша жизнь приобретет нужный оттенок, а я ведь говорил ей, что все дело не в этом, а просто надо любить жизнь, любить городок, любить родину».

Весь полет Петр с его двухметровым ростом, вжавшись в маленькое тесное креслице, спал, а я, сидя в шикарном кресле повышенной комфортности, под выданным мне услужливым стюардом клетчатый шерстяным пледом не спал и смотрел в окошко. Там где-то внизу проплывала земля, и где-то там были раскиданы городки и городишки. В каждом сидела своя Нэлли, или Гала, или Стэлла, и каждой из них хотелось уехать из своего городка, но они не понимали, что если ты родился в маленьком городке, то уехать из него невозможно. Он обязательно вернется к тебе, пусть даже через тридцать пять лет, потому что городок это ты сам.

Когда самолет коснулся Земли, все вскочили и стали хлопать, потому что пилот посадил машину плавно и правильно, и потому что всем давно хотелось прийти домой, ведь перелет из городка занимает десять часов.

После выдачи багажа мы вышли с Петром на улицу и закурили, так как не курили весь полет, ведь сейчас запрещено дымить даже электронной сигаретой. Когда-то в 1996 году я летал в Сургут, и нас, курящих, отсаживали в конец самолета, как смертников, и мы сидели и курили в полете как ни в чем не бывало. Сейчас представить это невозможно, поэтому мы стояли с Петром и курили уже по третьей сигарете, даже не потому, что нам хотелось курить, а просто потому, что мы соскучились по сигаретам.

В городке звенел мороз минус тридцать, а мартовская Москва встретила нас нулем градусов, и было хорошо и отраднo, что мучивший нас с Петром вопрос наконец-то разрешился. Мы вышли из здания аэропорта и долго спорили, на чем нам ехать, и в итоге остановились на аэроэкспрессе, который идет до Киевского вокзала.

В городке нам обещали показать северное сияние, но, к сожалению, случая не представилось, и заядлый фотограф Петр, привезший с собой навороченную технику, остался без снимков.

Сейчас же Петр достал фотоаппарат и радостно щелкал пейзажи ночной Москвы, которые для него, конечно, ничего не значили, потому что трудно смириться с Москвой, если ты был в городке.

И если бы у меня было две жизни, одну бы я провел в городке, чтобы не было мучительно больно никому и ни за что.

НОВЫЕ ПСЕВДОПЕРЕВОДЫ И ТОПОРНЫЕ НЕ-ПЕРЕВОДЫ

Псевдоперевод из Ояра Вацietиса

Только пена моря растворяет настоящее,
Только горечь слез растворяет воспоминания.

Пока пение свирели уменьшает расстояние,
Тогда пение сердца насыщает поцелуй.

Море молчит под тяжестью былой грусти,
Свирель вспоминает, сколь легким был тростник.

На мотив Луиса Серунды Биду

Ночь стыдится белой стеной,
Звезда – мерцанием,
Слеза – прозрачностью.

Соловей плетет ожерелье звезд,
Рыдает ручей,
И восход алеет в воротах губ.

Псевдоперевод из Габриэлы Мистраль

Горечь сентября выступила на кромке лета,
Одинокая скала выступает перед публикой волн,
Время прикасается влажными стопами к новому дню.

Острота произошедшего на длительной выдержке
Напоминает о стойкости долгой жизни,
Напоминает о кротости долгой мысли.

Неужто прерывисто рябое дыхание моря?
Неужто прерывисто рябое солнце дня?
Ответ только в не прерванном поцелуе.

Александр Марков – профессор РГГУ, автор книг по классической и современной философии, теории и истории изобразительного искусства, эстетике. Публиковался в журналах «НЛО», «Знамя», «Новый мир» и мн. др. В «Волге» публиковались стихи (в частности, «Псевдопереводы»: 2019, № 5-6) и критика.

Из Жака Лакарьера

1. (Топорный перевод)

Овес кричит в оставленных полях,
Испуги мушмулы, а на стеблях
Отчаяние бабочек трепещет.

Прильнув к клубку,
Где клевер вековечный,
Смотрел в разверстый
Неба календарь
На жертвоприношение пшеницы.

Но крик овса несется над полями,
На лезвии – всё таинство плодов,
Кровь крестоцветов – лета на щеке.

Воскреснет или нет?
В ушах воронка ада
Рассвет алеет.

Пылает жертвенник кустов
В колючей раме
Не явится синайский лик,
Замолкли ангелы,
Овес не смолк.

2. (Топорный конспект большого стихотворения)

Запятые пчел в исписанном птицами небе,
Жаворонок в трансепте осенней памяти
Слышит жемчужный перестук камней
В источнике настоящего.

3. (Еще более топорный конспект большого стихотворения)

Сокровище сенокоса грозит нам молнией стебля,
Лето кадит, и только щеки коровы
Не замечают томления.

Эмиль Верхарн

Сонет (топорный перевод)

Края закатные, скорбя, сидели,
Рыдала осень в токах темных вод,

Меня волнует облачный полет
Над местностью преступных наших целей.

Пророчества звучат ли как свирели,
Играя на просторах горьких нот,
И саван смертный – словно птиц исход,
Что с небывалой скоростью летели.

Бойтесь даже ждать! Всё тот же сон!
Туманом скорбным плотно окружен,
Косые стаи небо искажают.

Свою обиду в сердце затаив,
Когда прохлады душу поражает,
Рыбак узнает скорбный свой мотив.

На мотив Валери Ларбо

Мы умрем неизбежно,
Но мертво напряжение,
Не мертво приближение
Желтых ирисов нежных.

Холм могильный свободно
Прогоняет кручину,
И Орфей осторожно
Подозвал Прозерпину.

Елисейских полей
Беззаботны края,
Где желанья тая,
Исполняются жизни законы,

Мы пред скорбью равны
Антигоне.

Не из Уоллеса Стивенса. Тринадцать способов нарисовать ласточку

1.
Ласточка с весною,
Весна по делу.
2.
Щебет
Записать смогут только
Детки в своих гнездах.

3
Тени острое двойное
Документирует ответственность за тело.

4
Привет, который с дороги,
Лучший из приветов
Даже в записи.

5.
Вьется ласточка,
А первоцветы виться не умеют,
Только наклоняться.

6.
Лес чует таяние снегов, но
Не слышит ни одной ласточки.

7.
Небо синеет,
Хвост чернеет,
Сени блестят.

8.
В странах далеких
Божья коровка берет хлеб.

9.
Ласточка массивнее ветра.

10.
Перья черны,
А весна – нет.

11.
Когда ласточка кружит,
Солнце и без нее краше.

12.
Коллекция зерен
Появилась еще до того,
Как мы задумались о первой ласточке.

13
Дом для ласточки,
Как книга для Суламифи.

Амаяк ТЕР-АБРАМЯНЦ

ИМЯ ТВОЁ
(Август 91-го)

Рассказ

Такого он не видел никогда! Да ещё почти в центре Москвы!

Из подземного проезда с ревом, сотрясающим каждую молекулу организма, вылетали танки, как из под земли рождались дети ада: один... еще один... еще... еще... Он считал и, казалось, этому потоку не будет конца... Начало колонны уже давно затерялось в перспективе проспекта, а они все появлялись, молотя тяжелыми гусеницами асфальт, громыхая и чадя черно-синим дымом... Мчались по Ленинградке к центру Москвы – там у Дома Советов проходил сейчас полумиллионный митинг в поддержку демократии, с которого он только-только возвращался. Мощный рев моторов переворачивал каждую клеточку организма, рождал особый экстаз, выбивая ощущение собственного я, какое-то пьянящее, яростное бесстрашие, чудовищный соблазн швырнуть что-нибудь потяжелее в несокрушимую колонну, но поблизости – ни ветки, ни камня.

Старенький сухонький ветеран, стоящий невдалеке от Нефедова, испытывал совсем иные чувства, воодушевленный видом парней в шлемофонах на оружейных башнях! Пьяненький, в синем костюме с орденскими планками, с расстегнутым воротом рубашки, он то и дело вскидывал худую руку, раскрывая рот в неразборчивом крике, и лишь один раз донеслось: «...а Сталина!» Но он был одинок в своем восторге. Небольшие группы людей вдоль проспекта смотрели на «освободителей» молча и мрачно. Вот от одной кучки людей вдруг полетела ветка, но шлепнулась, не достигнув молотящих асфальт гусениц.

Он шёл домой, по-интеллигентски кисло улыбаясь: больше семидесяти танков и самоходных орудий!.. Что ж, как сказал Солженицын – знают истину танки. Все, конец новой России!

Дома он включил радио и с трудом нашел слабенький голос радиостанции, ведущей сообщения прямо из обложенного со всех сторон Белого дома. Голосок то и дело исчезал, уходил, перекрывался шумом и треском, Он снова находил голос диктора, взволнованно сообщавшего, как ежеминутно меняется обстановка вокруг Белого дома. Вот пришла делегация военных... идут трудные переговоры... Неужели все-таки будут штурмовать?.. Первое в истории России демократически избранное правительство просит народ не расходиться и оставаться у Белого дома, покажут свое единство... Это путь ненасильственной борьбы...

Но что может сделать безоружная толпа против танков, которые он сегодня видел? – коммунисты никогда не останавливались перед насилием, никогда не отступали, потому что любое мало-мальское отступление грозило полным разрушением их теории, уничтожением их самих. Так было всегда – и в Венгрии, и в Германии, и в Новочеркасске, и в Чехословакии, и на площади

Амаяк Тер-Абрамянц родился в Таллине в 1952 году. Окончил 2-й Московский медицинский институт и Литературный институт. Публиковался в журналах «Грани», «Литературная Армения», «Таллинн», «Радуга», «Знамя» и многих других. Автор семи книг прозы. С 1961 года живет в Москве. Во время событий августа 1991 года участвовал в обороне Белого дома, награжден медалью «Защитнику свободной России».

Тяньаньмэнь в Пекине... Так будет и сегодня... А новая «демократическая» модель усмирения уже успешно работает в Карабахе... Для них всегда правда лишь в силе.

Вытащил из бара бутылку водки. Свернул пробку и, наполнив хрустальную рюмку, выпил одним махом, не закусывая. Зазвенел телефон. В трубке усталый хрипловатый голос друга.

– Ну что, слушаешь?

– Слушаю...

– Значит всему конец, – резюмировал друг и воскликнул: – Подумать только, снова Россия отброшена на семьдесят лет назад!..

Они поговорили еще немного, повздыхали о той великой процветающей свободной России, которую им уже никогда не увидеть.

– Теперь уж только если наши внуки – сказал друг.

Год спустя один из его друзей с любопытством спрашивал: «А как ты решился?..» Он и сам толком не мог ответить. Самые решительные шаги в своей жизни человек часто совершает, на-верное, бессознательно, как, к примеру, с его женитьбой. Когда положил трубку – выпил еще рюмку и вдруг начал собираться – он ведь врач! Мыслей не было, в голове было светло, как в операционной, руки все делали сами: собирали лекарства, бинты, швыряли в старую сумку... Что-то должно было произойти сегодня в нескольких километрах отсюда, что-то уже происходило...

Остановить его было некому: жена с годовалым сыном были за городом, на даче. Он подумал, что надо бы кого-нибудь оповестить на случай, если... и тут же сердце тревожно екнуло: суеверно померещилось, что этим он может навлечь черное и жуткое, о чем и думать не хотел... А если... Никаких если! Он обязан вернуться!.. И все же, хоть одного человека необходимо предупредить. Он набрал номер телефона друга и, услышав его голос, произнес только два слова:

– Я еду!

Друг помолчал и сказал, будто извиняясь:

– Я то не могу, сам понимаешь – ноги больные...

Наверное он не прав, рискуя собой – ведь у него малыш, семья... Но если бы не было сына, все равно изворотливый разум нашел бы не менее веские причины не идти – не менее жестоко было оставлять родителей на одинокую старость!.. Он попытался настроить себя положительно: во всяком случае, если что, у тех, кто его любит, есть замена.

Главное было вообще не думать слишком много, потому что все доведенные до логического конца размышления всегда приводят к отказу, неделанию. Но вдруг наступает в жизни момент, когда сердце пересиливает разум! Его инфантильное сорокалетнее поколение умело лишь тайком проклинать коммунистический режим в уютных кухоньках-островках в кругу близких друзей, травить анекдотики, запивая винцом, но рабски выполняло его требования, его сценарий, каким бы абсурдным и унижительным он ни был. Никогда никто не спрашивал их мнения: их гнали, как баранов, на демонстрации, заставляли единогласно голосовать на собраниях, участвовать в пародии – на безальтернативных выборах в советы народных депутатов... А теперь в жизни этой страны впервые что-то зависело от каждого из них, от каждого... Так и сейчас сидеть?

Что-то несло его вперед, отбрасывая все благоразумные рассуждения и доводы, и имя ему было – ВОССТАНИЕ! – восстание против того страха, который семьдесят лет давил страну, против того страха, которым был пропитан его отец, свидетель дикого сталинского террора, ежедневно, ежечасно боявшийся случайного неверного слова, движения, взгляда... того сакрального страха, который отец завещал и передал сыну как главный спасительный завет, самое драгоценное наследство... Нет, сегодня он устал бояться! Сегодня он этот завет отвергает!

Легко раскачивался залитый светом, почти пустой вагон метро, и что-то жаркими и светлыми волнами проходило сквозь него, толкая вперед и вперед к месту предстоящей бойни, а в том, что она будет, сомнений не было, разве только чудо не вмешается. Но между этими волнами возникали провалы, и тогда со дна души поднимался древний матерый ужас, облекающийся в толпящиеся на подходе черные предчувствия, образы, мысли, готовые ринуться и затопить паникой, и стремясь отогнать их, не пустить на порог сознания, он шутиливо напевал про себя: «Если смерти,

то мгновенной, если раны – небольшой!», и страх на время замирал, как грозная кобра, гипнотизируемая дудочкой заклинателя змей. В конце концов, успокаивал он себя, его риск имеет смысл и для сына: чтобы не пришлось ему жить рабом...

По непривычно полупустынным гулким мраморным галереям метро, по мостикам переходов тут и там шагали парни с небольшими рюкзачками, и по тому, как они целеустремленно двигались в одном с ним направлении, нетрудно было догадаться – они несут в себе то же, что и он – ВОССТАНИЕ! Все эти частицы скоро сольются вместе в огромный светлый огонь тысяч и тысяч честных душ!

Он вышел из метро «Баррикадная» под черное небо, с которого моросил теплый дождик. Здесь единицы, сливаясь в большие группы, переходили блестящую мокрым булыжником дорогу. И тут случилось чудо: над одной из групп взметнулся трехцветный российский флаг! Впервые за сорок лет своей жизни он увидел русский флаг в небе! Еще сегодня утром это казалось невозможным! «Вот это уже – мой флаг!» – подумал он с неведомой ранее гордостью.

Было тепло, душно и влажно, как в субтропиках, мелкий теплый дождь продолжал моросить, пока он шел в тесной толпе мимо ошестинившихся арматурой и трубами баррикад: толпа двигалась медленно, время от времени останавливаясь, пропуская то какие-то легковые машины, то автобус... Белый дом сиял над ними в темноте всеми окнами, словно огромный, плывущий в неизвестный океан будущего лайнер, а теплый дождь усилился... За баррикадами вся площадь напротив Дома Советов пузырилась и блестела черными зонтиками – тысячи зонтиков, один к одному, так что, кажется, и воде было негде пролиться на землю! Что-то забавное было в том, что люди, готовые подставить свои головы под танковые снаряды, стараются не намочнуть: «Революция зонтиков!».

Он долго двигался вдоль цепи взявшихся за руки ребят с хорошими честными лицами, спрашивая, где находится медпункт, и, наконец, оказался перед небольшим двухэтажным зданием на краю площади – приемной Верховного Совета, над входом висел кусок марли с полусмытым небесной влагой розовым крестом. У входа стояла молодая милиционерша. В заполненном народом помещении приемной чувствовалось деятельное возбуждение – в ожидании штурма здесь разворачивали импровизированный госпиталь, на некоторых женщинах были белые халаты, вразвалочку прошествовал через зал пухлый, как колобок, белобрысый милиционер в фуражке, кителе и громадным черным ручным пулеметом за спиной. Струсившие городские власти, посчитав их дело обречённым, не прислали к месту предполагаемой бойни ни одной машины скорой, распорядились по всем больницам не выдавать защитникам медикаменты, поэтому были богаты лишь тем, кто что с собой захватил. Лекарства сдавались в общую аптеку – за барьером вешалки. Здесь же прибывших добровольцев записывали в списки и распределяли по бригадам. Он пристроился в хвост небольшой очереди. Еще все можно было изменить... Можно было назвать чужую фамилию, ведь если эти списки попадут к коммунистам, они уж наверняка все всем припомнят... а документов здесь никто не спрашивал, но это означало бы навсегда остаться в той прошлой, пропитанной страхом жизни. Разум нащёптывал: схитри, никто не узнает! Сердце говорило: не лги себе, научись верить!

Составлявшая список женщина буднично спросила его имя, отчество и фамилию, он назвал – и вдруг ощутил лёгкость дыхания, будто сбросил с себя тяжкий рюкзак после длительного нудного перехода.

НАЧАЛО РАЗЛИЧИЙ

Начало различий

И неявно, и явно,
перемена во времени связана с протяженностью,
измеряемой далью и близью, различными степенями их, –
и всего лишь исходя из наипростейшей посылки,
что время воспринимается
между двумя последовательными точками,
через которые проходит движущееся тело.
Надо, однако, сказать –
движущееся в смысле не обязательно механическом.
Ибо в пределе можно сказать: достаточно посмотреть,
как оно изменилось.

Для наилучшего осуществления этого
необходимы три вещи:
то, что нами движет,
то, с помощью чего оно передвигается,
и само передвигаемое.

Но, оказывается,
насколько же более это так, когда невозможно,
кроме как в результате только что сказанного,
понять, каким образом само передвигаемое
принимает форму синтаксиса!

Соответственно –
то, с помощью чего оно передвигается,
сводится к равнодействующей двигательных органов,
главный из которых, безусловно, дыхательный.
Между тем как в дыхании
что-то и вправду имеется от хромого ямба,

Юрий Гудумак родился в 1964 году в селе Яблони Глодянского района Молдавии. Окончил геолого-географический факультет Одесского университета, работал в Институте экологии и географии Академии наук Молдавии. Автор семи поэтических книг. Лауреат премии Союза писателей Молдовы (2012). Стихи публиковались в литературных изданиях «Дети Ра», «Новая Юность», «Новый берег», «НЛО», «Воздух», «Волга», «TextOnly», «Цирк "Олимп" + TV», «Артикуляция» и др., в ряде поэтических антологий, а также переводились на английский и румынский языки.

или того, что нами движет, уподобляющегося ему:
уподобляющегося ему никоим образом не иначе,
как внимая ударам сердца.

Повод слишком благоприятный,
чтобы не увидеть здесь аналогию
с неартикулированным пением птицы-фантома,
похожим на соловьиный озноб – тем более выраженный,
чем более нереальный.

Помещенный в пространство
пятнадцати дней и ночей, когда холмы покрываются зеленью,
соловьиный озноб кое-как еще трансформируется
в переливы и трели южного соловья.

Который, однако, далее
так изменяет голос,
что неопытному его не узнать.
Не случайно в Италии во весь остальной период
он зовется другим, отличным от прежнего, именем.

Какое крылатое существо из него получается,
не удавалось видеть еще никому.

И лишь время от времени,
будто желая подтвердить миру тождество,
птица-фантом повторяет один какой-нибудь звук,
в треске которого можно слышать
эти мои слова.

Начало различий
может выглядеть так,
или примерно так, или, если все говорить,
в силу связанности порядком изложения, –
быть подобным, как у китайцев, кончику осенней паутины.

...Полноты ради, присовокупим –
сотканной из росы,
как вывернутый наизнанку мозг паука,
умирающего с глазами, пораженными водянкой,
и не смыкая век, как рыба,
потому что у нее их нет.

На самом деле
начало различий
не в состоянии соответствовать строгости понятия.
Настолько – что, за крайне малыми исключениями,
спасти положение может – не более и не менее как –
применение поэтической техники.

Оно же
(мы лишь потом начнем понимать, почему) –
начало различий: мгновение, сыплющееся, как песок,
семенами осенних трав, – голыми, не имеющими
летательного аппарата, как плодики кленовой летучки, –
ни паппуса, ни крыла.

Турнефор, Линней и Жюссье

С увеличением массы света,
занятого в эту пору разверсткою новых земель,
разработкою кодекса чувств (в марте явления столь же редкого,
сколь в апреле обыкновенного),
лелеемые мною планы,
возвратившись,
застать здесь по возможности раннюю флору
приобрели наконец отчетливые очертания.
Перемена произошла мгновенно.
Ее протяженность, от предела и до предела,
равнялась ста двадцати диаметрам солнца.
Ее приятности были тем более ощутимы,
чем более несносными делало все предыдущие дни
ненастье с холодом, слякотью и ветрами.

Картины хмурой весны,
пасмурных небес, долгих серых сумерек и вытянутых теней,
в тот долгий период, пока, ни в чем не ослабевая, продолжалась
полная превратностей возможность существования,
не оставили по себе никаких последствий,
кроме скоропреходящего упадка сил.
При отсутствии траты времени
на передвижение с места на место
теперь я мог положиться на не имеющие
точной календарной привязки успехи растительности –
на весеннее растение-анемон (что означает «вздых»),
которому если и предстоит погибнуть, то не замерзнув,
а задохнувшись от ветра.

Зеленошерстные мхи.

Лишайники-камнежители,
похожие на окременевшие цветы.

Там, где почва была оголена или только прикрыта
жидкими кустиками злаковых высотой в дюйм или иных
проницаемых светом произведений
прозябаемого царства,

ее поверхность обнаруживала изобилующую раковинами моллюсков и косточками плодовых гумусовую подстилку, хорошо удобренную останками осенней энтомологической фауны, размельченную окаменелым дождем и взрыхленную теплым зефиром. А еще – обломки домашней утвари, глиняные черепки... – включения, позволяющие предположить, что на холмах и по берегам водоема Камболи обитало более постоянное население, нежели я (или ты), но с меня пока было достаточно прелести новизны, наполняющей зрителя чувством, будто он заглянул в отверстые небеса.

Щепотка нежных ростков крапивы, приобретающих в эту пору в здешнем краю не менее нежное имя урзйки, была настолько питательна, что ею мог пробавляться кое-какой невзыскательный люд. Долгожданная веточка дикой петрушки служила ему лекарством, в каковом он имел прибежище от внутренних напад и страданий сердца. И желтый лютик, что бы из этого там ни вышло, поставлял ему яд, от которого удобно умереть можно. Чета влюбленных могла найти здесь сентиментальную незабудку, а ромашка – «любит-не-любит» – будущим невестам благополучное обещала совершение брака.

Перечисление многообразия растений само по себе могло бы занять целый том, а собрание их описаний составило бы другой, во сто крат объемистее.

Мне они показались менее определяемыми в эту пору и, поэтому, менее поддающимися классификации, чем их описывают Турнефор, Линней и Жюссье*, к описаниям которых мне, плохому ботанику, прибавлять ничего не приходится.

Разве лишь то, что по мере выхода из своего низкорослого, почти альпийского, габитуса стебель их становился выше, а цветы крупнее и ярче.

Я не могу лучшим образом засвидетельствовать мое доверие

к этим фамильным развалинам с остатками фруктового сада,
как сделав их хранителем нашей тайны.

* «В царстве прозябаемом
три Систематика: Турнефор, Линней и Жюссье,
сияют как три великие светила.
Прочие более либо менее
озаряют таинства Природы,
заимствуя свет свой от лучей сих Гениев.
Усиливающиеся же блистать одним светом собственным,
и сами ходят во мраке, и других во мрак погружают».

Параллельное пение У-унг

Лишь только деревья окутались линияло-белым
благовонным туманом распускающихся цветов,
наступившее было относительное затишье,
беспреданно и неусыпно
страшавшее бурями равноденствия,
сменилось ветрами, дующими в период цветения,
действующими на манер
экзотических невидимых опылителей
и обнаруживающих, особенно по ночам,
повадки индийских летучих мышей, гавайских грызунов,
лемуров Мадагаскара.
Но вспомни, что я сказал:
изменчив, как ветер весной.

И хотя упругость воздуха
изменялась сообразно его густоте,
возраставшей с атмосферными токами
на пол-облачка перламутровых испарений,
молекулу цветущего фикуса, кристаллик ванили,
в нем не было уже ничего от упругости,
облегчавшей дыхание.

А добавок –
к его составу примешивалось,
как выяснилось очень скоро, мерцающее тельце
вполне тропической инфузории,
случающейся причиной
перемежающихся и иных лихорадок,
чьи горячечные образы не нуждаются в том,
чтобы, баснословия ради,
переносить их за океан.

Поэтическое влияние местного климата –
что-нибудь в этом роде.

Четыре сезона года
сообщают ему – о, да –
размер необъятности:
от этой декады середины апреля
с ее татуированным языком, птичьим сердцем,
двумя породами бабочек – горькой и сладкой –
и высокой водой, отдающей вкусом осклизлой рыбы, –
до времени, когда я найду множество перемен
против того, что вижу теперь,
но ни одной к лучшему.

Так что не остается далее ничего,
как только сказать:
какая ни есть, а возможность
обобщить прошлое до такой степени,
чтобы предсказывать будущее.
Заткнув перо себе за ухо,
прикусив язык, я делаю это,
что твой истукан на краю земли, –
не имея иных путеводителей,
кроме звезд и песен камбольских лягушек,
закладывающих слух непрерывающимся параллельным У-унг
гигантского лабиринтодонта в глубинах ночи.

Осилок лазури

Одного пятна на крыле бабочки
достаточно для того,
чтобы она составила особый вид.
Главное не то, чего ради она ждала весны,
а то, как далеко готова была зайти в таком ожидании.
Окажется ли подходящим для этой цели
будущее состояние погоды –
сухой неквашенный хлеб пустыни – место полуобморока,
в котором язык, распадаясь на горстку наречий,
сокращается до небольшого количества
глухих и неясных звуков?

Каким образом
я узнаю, что язык таков?
Подыскивая слова, которые вовремя не приходят на ум,
не разевая рта, что это всего лишь номенклатура:
лист сворачивается в куколку, куколка развивает в себе
нечто вроде функций хлорофилла.

Все неуравнительности в снабжении кровью,
все периодические явления роста, все действия сочувствия
только расширяют понятие о виде, а не уничтожают его;
что уж тогда говорить о звездообразных пучках
кожных складок – «гусиных лапках» – у края глаз
или выцветании радужной оболочки глаза
и прибавлении седины.
Настолько амбивалентное,
что мы уже не в состоянии его различать,
оно есть фикция, слишком долго несправедливо
пользовавшаяся значением истины:

- a)* лингвистическое отношение
между означающим и означаемым;
- b)* истончившийся в осилоч лазури
незримый погодораздел.

А ведь правда:
еще месяц тому назад
по одну его сторону шел снег,
который до нас достигал только в виде дождя.

Михаил ОКУНЬ

ДЕДУШКА

Рассказ

Теперь-то понимаю, что совсем не знал этого человека, хотя прожил с ним на земле бок о бок двадцать лет. В этом году исполняется пятьдесят лет со дня его смерти.

Когда я родился, ему было примерно 75. Почему примерно? – я не знаю даты его рождения. Не обозначена она и на могильной плите на кладбище Жертв 9 января, где он похоронен. Только год рождения – 1876. На четыре года старше Блока...

Когда я уже начал осмысленно чем-то интересоваться, ему было за восемьдесят. Рассказывали, что иногда он дожидался меня из детского сада, сидя на гранитной тумбе у ворот нашего дома на Большой Московской. Покупал для меня пряники в кульке серой грубой бумаги, бывшей тогда в ходу как упаковочная для чего угодно – в том числе и для масла и колбасы. Ходил за ними, вероятно, в магазин Росконд на Загородном. Позже меня поражала роскошь отделки интерьера этого заведения – голубая материя с блеском под стеклянными накладками-медальонами.

Одна наша знакомая рассказывала такую историю. Она шла по улице в районе Лиговки и увидела, как в сквере гуляет детсадовская группа. И только один мальчик – это был я – не играет с остальными детьми, а стоит у чугунной ограды и слезно молит прохожих забрать его и отвести домой. И в качестве самого сильного аргумента приводит следующий: «У меня там дедушка старенький, у него борода и усики, он плачет, меня ждет...» Дома восприняли это юмористически, но мне-то было не до смеха...

Да, он носил бородку клинышком и до самых последних лет не облысел. Нынче в моде бороды лопатой, как сказали бы в то время, дворники. Я бороды не ношу, и надеюсь, что, в дедушку, никогда окончательно не оплешивею.

Он не служил в армии. К началу Первой мировой ему было под сорок – предполагаю, что его не призвали по возрасту. Или как еврея. Хотя на одном историческом сайте нашел скудные сведения о первом еврее, награжденном военным орденом Российской империи. Он был из их мест, из пермских. Фамилия его была Окунь. Может быть, родственник.

К началу Великой Отечественной ему было уже 65 – конечно, его не призвали. (В это время мой второй дед, из крестьян Тверской губернии, сорока одного года отроду, томился в лагерях где-то в Коми, где на следующий год и умер.)

Михаил Окунь родился в 1951 году в Ленинграде. Окончил ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина). Работал радиоинженером, литературным консультантом в ленинградской писательской организации СП СССР, редактором. Автор десяти сборников стихов и трех книг прозы. Публикации в журналах «Звезда», «Урал», «Нева», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Зинзивер», а также в альманахах, антологиях в России и за рубежом. С 2002 года живет в Германии. В «Волге» публиковались стихи и рассказы.

Кем и где он работал? Вроде, каким-то мелким служащим, конторщиком, как тогда говорили. Высшего образования у него не было. Но, во всяком случае, какую-то пенсию он заработал. В отличие от бабушки.

Ее документы сгорели или пропали. Возможно, это случилось, когда в дом №13 по Большой Московской во время блокады попала авиабомба. Причем попала так, что верхний, пятый этаж оставался цел, и их оттуда эвакуировали пожарные.

Всю жизнь она шила, шила... Обеденный стол, стоявший посреди комнаты, был завален лоскутами различной материи. Он был так велик, что, раздвинув его и вставив удлинительную доску, мы могли играть в настольный теннис.

В комнате – постоянная череда «профессорских жен», крепдешин, бархат, панбархат... Когда-то бабушка работала в знаменитом ателье «Смерть мужьям» на Невском, прозванном так из-за соответствующих цен. Всю жизнь боялась, что соседи по коммуналке донесут – шьет-то без патента. Так и увезли ее в больницу от этого стола...

Деньги благодаря ей водились. Были и сменяющиеся домработницы, и ванну за свой счет установили. Соседи не дали ни копейки, сказав – вам надо, вы и устанавливайте. Но потом пользовались за милую душу.

Отношения с этими соседями, пожилой парой, Павлом Ивановичем и Анной Сергеевной (удивительно четко сидят их имена в памяти), были натянутыми. Была у них антисемитская жилка. Но ко мне они относились хорошо. Приглашали в гости в свою комнату. Положили начало моей нумизматической коллекции, подарив две монеты, и по сию пору остающиеся самыми ценными в ней – медный петровский пятак и серебряный елизаветинский гривенник.

Третью комнату этой небольшой по ленинградским меркам коммуналке занимали моя тётя, сестра отца, с мужем и их сыном, моим двоюродным братом, старше меня на 13 лет. Он любил залезать с головой в старую шубу, рыжим мехом навыворот, и пугать меня неким Румпупмуром. Я знал, что это он, но всё равно было страшно.

Бабушка и дедушка были, конечно, «жителями блокадного Ленинграда». Но кто тогда об этом думал? День победы-то стали широко праздновать только с 1965 года, с двадцатилетия победы. А до этого – без всякой помпы, ведь многие хотели забыть войну поскорее.

Что еще о нем помню? Страдал от изжоги, постоянно пил соду, которую я решился однажды попробовать. Оказалось невкусно. Куда лучше выпрашивать у бабушки сахарные гомеопатические шарики аурум йод.

Была у него контрактура безымянного пальца. Я всё приставал – что это, почему...

Только раз я запомнил их разговор с бабушкой на повышенных тонах. Очень удивился. Но не понял ничего – говорили на идише.

Отопление было печное. Он протапливал печку-голландку, ворошил чугунной кочергой угли, возился с заслонкой. Дрова хранились в подвале дома.

Почему они перебрались из Перми в Петроград? – уже не спросишь. Отец, 1918 года рождения, родился еще там, на Урале.

Видимо, дедушка был человеком абсолютно тихим, совсем не амбициозным. Может, таким и надо быть? «Хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался».

В 1961 году у него было 85-летие. Но не помню ни застолья, ни поздравлений. Как и пятью годами позже, на 90-летие. Как-то не принято было. Это сейчас начинают праздновать «юбилеи» чуть ли не с сорока пяти, если не раньше. Да и помнил ли он сам, когда у него день рождения? Возможно, что и нет.

Одним из сильных впечатлений у него остался эпизод, о котором он рассказал моему двоюродному брату, а тот пересказал мне. Они ехали в поезде. На какой-то станции он стоял у окна в коридоре, когда на путях напротив затормозил другой поезд. На своем лице дед ощутил белый остановившийся взгляд из окна того поезда. Распутин! Его хорошо знали по газетным фотопортретам. Дедушка испугался и ушел в купе. Оказывается, через эту станцию проходил царский поезд.

Дедушка остался на трех фотографиях. Первая, семейная, датирована концом 30-х годов. Две других сделаны, видимо, в 60-х. Один портретный снимок. На втором он сидит на своей постели. По правую руку от него резной буфет со столбиками, по левую – большой полированный ящик одного из первых советских телевизоров «Север» с маленьким экраном. На нем, свисая, лежит рубашка.

О, эта заря отечественного телевидения! Передачи лишь часов до восьми-девяти вечера, один выходной в неделю, одна детская передача – тоже в неделю. В ней какой-то восточный человек в чалме сидит по-турецки. Меня до глубины души поражает, что сначала он сидит совершенно неподвижно, а потом внезапно оживает и начинает рассказывать сказки. Думаю, этого сказителя уже не обнаружишь даже в самых глубоких телеархивах. И еще воспоминание, связанное с телевизором, – отец приходит домой выпивши (мы жили в той же комнате за ширмой), делает всем выговор, что палимся мы на плохо отрегулированное изображение, и начинает его «настраивать». Изображение становится всё хуже, и отец в раздражении бросает это дело. Смотреть телевизор после этого становится уже вообще невозможно.

Да, так, как на этом снимке, дедушка сидел и сидел, день за днем, на улицу уже не выходил. Любил слушать по радио «Последние известия». Я удивлялся – если они «последние», то почему повторяются вновь и вновь?

Постепенно в жизни начали происходить изменения. Отец с матерью развелись. Вскоре нам с мамой дали совсем маленькую комнатку в коммуналке неподалеку, на Малой Московской, куда мы и переехали. Шел 1961 год. Прошла денежная реформа.

В гости к бабушке с дедушкой я продолжал ходить регулярно, иногда сразу после школы. Там, у них, оставался и мой настольный футбол. И мне надо было проводить разные первенства, рисовать и заполнять турнирные таблицы. На проведение чемпионата СССР я не замахивался. Команды, помнится, у меня были довольно экзотические. Например, сборная Валдайской возвышенности.

Играл я, естественно, сам с собой. Сам был и комментатором, и редактором стенгазеты о футболе, которую выпускал на обороте «Боевых листков», привезенных отцом с военных сборов.

Но однажды мой футбол там закончился. Я слишком расшумелся во время очередного репортажа. Бабушка чувствовала себя, вероятно, уже неважно, и бывшая в гостях родственница, некая тетя Оля, решительно собрала мой футбол в коробку и сказала – мол, уноси домой, там и играй. Я обиделся на то, что ни бабушка, ни дедушка за меня не заступились.

Бабушка умерла летом 1964 года. Ей было 84. Дедушка, как мне потом рассказали, плакал. Они прожили вместе около шестидесяти лет, у них родилось четверо детей, один из которых умер в младенчестве. Мой отец был младшим.

Я узнал об этом в пионерском лагере. Был родительский день, и устроили КВН. Все тогда им бредили. В моде были остроумные молодые люди, не лезшие за словом в карман. Хотя юмор, конечно, был совсем иной.

Я был капитаном одной из команд. Даже сохранилось фото, где я стою на сцене клуба и читаю что-то по листочку. В пиджачке, белой рубашке и при галстучке.

Мы проиграли. Было очень обидно, я еле сдерживал слёзы. И когда мне сказали, что бабушка умерла, расплакался. Мама сказала мне жёсткую вещь: «Ведь ты плачешь не потому, что бабушка умерла, а что проиграл...» Она была права.

Изменения между тем нарастали. Отец на гонорары от книг по радиопередающим устройствам купил однокомнатную кооперативную квартиру и переехал туда. Потом и тетя с семьей, сдав теперь уже две комнаты в коммуналке и забрав дедушку, переехали в новую четырехкомнатную квартиру в Дачном, на улицу Подводника Кузьмина. Комнаты, кроме одной, были там совсем маленькими. В одной из этих клетушек дедушка и лежал, сидеть он уже не мог.

Иногда, хотя и нечасто, повторяется сон, в котором у меня есть ключи от той квартиры №22, в доме №13 по Большой Московской. А мне некуда идти ночевать, и я направляюсь туда. Хотя в какой-то момент появляется мысль – имею ли я право быть там?

В комнате темно, только свет фонарей в окнах. В углу печка-голландка, вот наша ширма, вот буфет, стол. Но никого нет, вид у комнаты нежилой. А у меня была тайная надежда – вдруг они живы и я их увижу? И теперь мне надо провести здесь ночь...

Лет двадцать назад я зашел в этот дом и поднялся на пятый этаж (теперь сделать это было бы сложнее – кодовый замок). Снаружи, где были огромные лестничные окна во двор, присобачили лифт, вместо окон – двери его шахты. Тяжелые широкие перила полированного дерева, по которым когда-то лихо скатывался, покрашены дурацкой коричневой краской. На месте наших дверей в квартиру обнаружил небольшой тамбур с тремя дверями, на которых были разные номера. Квартиру перепланировали на три отдельных.

Я часто ездил к тёте в гости в Дачное, практически каждые выходные. Ушел в армию, вернулся, и продолжал ездить. Заходил в комнату дедушки поздороваться. Он вглядывался, говорил «А, Мишенька...» Однажды я помогал приподнять его и повернуть на бок, чтобы смазать пролежни.

Он умер 31 мая 1971 года. Ему было 94 или 95 лет. Мне было двадцать.

Когда мы везли его на кладбище, мне захотелось сказать что-нибудь этакое, пободрее. И сморозил глупость, о которой не перестану жалеть. Наклонившись к Виктору, школьному другу моего брата, я сказал тихонько: «Поднадоел он им уже...» Виктор внимательно посмотрел на меня и ответил: «Ну, что ты!..»

Еще через 24 года к могиле дедушки мы подхоронили урну с прахом отца. Так и навещаю их могилу. «Окунь Лейба Моисеевич...» Что ж, во всяком случае, я знаю, как звали моего прадеда...

Андрей ХАДАНОВИЧ

Перевод с белорусского Станислава Бельского

Чётные числа

Девушка заходит в магазин.
Девушка покупает ромашковый чай,
упаковку с двадцатью одноразовыми пакетиками.
Девушка приносит упаковку домой.
Девушка вынимает пакетики по одному,
ворожит: «Любит. Не любит.
Любит. Не любит. Любит».
Хотя знает, как оно в жизни бывает
с чётными числами. Но что поделаешь?
Ромашковый чай в двадцати пяти пакетиках
снова разобрали другие девушки.

Фантомные радости

Летом осторожно обходить место, где поскользнулся и подвернул ногу в феврале.

Бояться встречи с родным дядей-стоматологом, хотя он уже давно на пенсии.

Жалеть, что библиотека переехала и больше не рядом с твоим факультетом, хотя твой факультет сам давно переехал в здание бывшей партийной школы.

Никогда не петь любимую песню из кинофильма, после которого получил по морде в военном городке в микрорайоне Уручье.

Вспоминать код перед телефонным номером, чтобы позвонить в квартиру, где она давно не живёт, потому что уже не один год живёт вместе с тобой.

Фантомные радости. Настало время, когда от них уже не сбежишь.

Андрей Хаданович (Минск, 1973) – белорусский поэт и переводчик. Преподаёт в Белорусском государственном университете историю французской литературы. Переводит с французского, украинского и польского. С 2008 года – председатель Белорусского ПЕН-центра. Автор поэтических книг «Листи з-під ковдри» (Київ, 2002), «Старыя вершы» (Минск, 2003), «Лісты з-пад коўдры» (Минск, 2004), «Землякі, альбо Беларускія лімэрыкі» (Минск, 2005), «From Belarus with Love» (Киев, 2005), «Сто лі100ў на tut.by» (Минск, 2006), «Swieta powego gosku» (Вроцлав, 2006), «Бэрлібры» (Минск, 2008), «Несымэтрычныя сны» (Минск, 2010), «Дэжа вю: перавыбранае» (Минск, 2013), «Цягнік Чыкага-Токіё» (Минск, 2016), «Школа травы» (Минск, 2019). Стихи Хадановича переводились на украинский, русский, польский, английский, латышский, литовский, немецкий, словацкий языки. Живёт в Минске.

Когда ты опаздываешь на электричку, которую сегодня отменили, и знаешь об этом, но всё равно спешишь, рискуя поскользнуться и подвернуть ногу.

Когда ты заговариваешь зубы библиотекарше, обвиняющей тебя в том, что пятый год не возвращаешь книгу, которую никогда не брал, и показывает заполненный твоей рукой формуляр.

Когда, проезжая на метро в сторону микрорайона Уручье, ты пытаешься пробить ком-постером для льготных талонов пластиковый жетон и понимаешь, что безнадёжно вырос.

Когда прячешься в старой будке телефона-автомата и звонишь оттуда по мобильному.

Звонишь ей.

По её мобильному.

Советская фантастика

Чеславу Милошу

В середине 80-х учительница в нашей школе
больше всего любила завести нам свою вечную
песню о скором конце света
и зверином оскале капитализма.

«В их мире, дети,
всё продаётся и всё покупается.
Даже люди, даже человеческие чувства!

Их семьи, детки, – это узаконенная проституция,
а девушки там просто занимаются этим за деньги.
Только представьте себе – любовь за деньги!»

Мы охотно представляли себе любовь за деньги.

«Такой он, звериный оскал капитализма!
Такие они – продажные девушки!» –
причитала учительница.

«И не только девушки» –
вмешивался продвинутый Юра Гейфман,
а мы в это время старались не думать,
но всё равно думали о нашей соседке Гале
и её зверином оскале.

«А что они делают с природой! –
упорно гнула своё учительница. –

Они нарочно загрязняют
всё, что получили от предков чистым,
чтобы продавать людям
то, что принадлежит им бесплатно.
Читали “Продавец воздуха”?»

Мы с Юрой Гейфманом отвечали: «да».

«Так вот, не знаю, как с воздухом.
это всё-таки советская фантастика,
но уже и в самом деле близок тот час,
когда они будут продавать за деньги воду.
Только представьте себе – обычную чистую воду,
которую мы пьём из крана!»

Мы сразу вспомнили, как за день до этого
Юра Гейфман сломал автомат
и всех угощал бесплатной газировкой без сиропа.
С сиропом Юра тогда почему-то дал маху,
кстати, как и учительница с политинформацией.

А сегодня, покупая обычную воду
во французском супермаркете Carrefour,
я думаю, что все её пророчества,
к сожалению, осуществились,
и повсеместно настал конец света.

И только седой старичок в Carrefour’е
говорит мне, завязывая пакет с помидорами:
«В Париже вода хорошая,
можешь смело пить из крана».

Общество мёртвых поэтов

Приближение кладбища Пер-Лашез
ощущаешь по всё большему количеству
туристических маек с изображением Джима Моррисона.

Французские знаменитости обзавидовались бы,
если бы только были на это способны.

Кстати, придумал же кто-то похоронить
поэта Жерара де Нерваля (1808–1855)
прямо напротив самого знаменитого
французского писателя.
Только представьте: возле вашей могилы
всё время толпятся туристы,
и все как один к вам спиной.
Некоторые даже

спотыкаются о вас, фотографируя.
И только я, чудака, на десять минут
застыл возле любимого поэта
и только потом заметил Бальзака (1799–1850).

Кстати, скажи мне, кто твой сосед по могиле,
и я скажу, кем ты был при жизни.

Так Поль Эльюар (1895–1952) тусил с коммунистами
и теперь лежит рядом с генсеком
коммунистической партии Франции
Морисом Торезом (1900–1964).

А Мольер (1622–1673) ни с кем таким не тусил,
и теперь лежит вместе с коллегой по перу,
старательным баснописцем Лафонтеном (1621–1695),
за общей оградой,
будто одна семья.

Мюссе (1810–1857) и Шопен (1810–1849)
не за общей оградой,
а довольно далеко друг от друга,
но в самом оформлении могил
ощущается одна рука.
Подозреваю, женская (1804–1876).

На могиле Аполлинера (1854–1900) – большое сердце
в виде стиха-каллиграммы,
а на Уайльдовой множество сердец,
и все – красным маркером
или губной помадой.

Могила Уайльда (1854–1900) найти легко
по взрывам жизнерадостного смеха,
девичьего и особенно юношеского.
Уайльд со всех сторон огорожен стеклянной стенкой,
защищающей от поклонников,
которые испещрили всё стекло следами помады и надписями.
Заслуживают внимания: «Pleasure to meet you Oscar!» – с сердечком,
«Oscar my favourite dandy» – со звёздочкой
и мой любимый «Oscar te amamos!» – с кубинским флажком.
Самая большая надпись, конечно же, на русском:
«Любви все возрасты покорны!»
Интересно, как выглядела бы на Пер-Лашез могила Цоя (1962–1990)?

Могила Моррисона (1943–1971)
не ограждена стеклом,
но зато там всё время дежурит живой полицейский,
стоит у ближайшего дерева
и время от времени запрещает лепить к нему жвачки,

но дерево всё равно в жвачках, прилепленных к ним монетках
и других скромных подарках.
Самый щедрый оставил бутылку бельгийского пива,
покойся с миром, Джимми!

Над могилой Модильяни (1884–1920) дождь начинается,
а над могилой Эдит Пиаф (1915–1963) заканчивается,
и небо становится голубым.

В могильной плите
Марсея Пруста (1871–1922)
отражаются облака.

Война и мир

Латиноамериканцы
как раз начинали меня бить,
но, увидев его,
разбежались.

И не удивительно: он был на голову выше меня
и, как минимум, вдвое толще,
в маленьких очках,
только подчёркивавших его габариты:
просто-таки Сергей Бондарчук
посреди декораций своего Бородино,
или, скорей, Ватерлоо,
потому что всё происходило именно в Бельгии.

Он почему-то сразу же заговорил со мной по-русски,
будто на мне было написано,
что я знаю, кто такой Бондарчук.

«Напрасно ты с ними разговаривал, – сказал он. –
Эти могли бы и зарезать».
«Если б молчал, – ответил я, –
точно бы зарезали.
Здесь как на зачёте».

«Зачёт, – сказал он. –
Меня зовут Пьер. Как Безухова».
«А меня Андрей. Как Болконского».

Остаток ночи я помню неважно.
«Трапписты»! – всё время повторял он. –
Лучшее в Брюсселе пиво – это “Трапписты”!
Пойдём, покажу одно место,
платит граф Толстой».

«Так ты не из России?
Из Беларуси? Ещё лучше!
Я там с женой познакомился».

«Я тоже».

«Но моя – японка, представь. Изучали вместе русский,
а выучили... она – французский, а я – японский.
Бальзак и маленькая японка, знаешь кино?
Белорусы, говорит она, – это такие русские,
только со знаком качества».

«Китайнка», – поправил я.

«Кто? Моя жена?»

«Я говорю, Бальзак и маленькая китайнка.
Китайцы – это такие японцы,
только со знаком количества».

Здесь его фильм обрывается,
а мой крутится дальше.
Мы в машине, как в маленьком кинозале:
на заднем сиденье – Чип и Дейл, два героя-бондарчука,
спешат на помощь траппистам,
а жена-японка за рулём занимается прокатом.

Наш передвижной кинотеатр
всё ближе к последней пивоварне,
где самые святые монахи
варят пиво со знаком качества,
которое развязывает языки так,
что изгнанники всех стран
понимают друг друга без субтитров.

Граница

На границе Литвы и Польши,
дня и ночи,
озера и камыша,
ты гребёшь навстречу солнцу,
ловя носом лодки
золотую дорожку
в воде,
где ещё отражается небо –
повсюду, кроме полосы,
где отражается лес.

В лес заплываешь
одним бортом,
а второй
остаётся в небе.
И весло скрывается в деревьях,

а второе весло –
в облаках.

Музей эротики

Чайка с воздушным змеем
высоко над волнами
находят всё новые позы
для воздушного поцелуя.

А я, нахлебавшись
средиземноморской воды,
кричу от души:
«Горько!»

Мульти-пульти

Красивая древняя мечеть,
переделанная из старой пагоды
китайских переселенцев.

«Ми-ми-ми, мой кудлатик,
какой же ты хороший,
ну, скажи мне что-нибудь,
скажи!» – лепечет,
будто ребёнок, счастливый профессор
привязанному поблизости ягнёнку
на языке эсперанто,

а потом:
«Суки, что они делают!» –
ягнёнку как раз перерезали горло.

Профессор целый час молчит,
а потом в знак протеста
срывает яблоко в саду
возле православной,
такой же древней, церкви.

Никто не гонит богохульника из сада,
никто не сжигает молнией
ни церкви, ни мечети.
Никто в последнюю минуту
не заменяет ягнёнка
вегетарианским блюдом.

Октябрь 2014, Кыргызстан

Подсрачник

«Коля, дай подсрачник!» –
кричит маленькая девочка
у тебя за спиной.
Ты даже оборачиваешься.

«Ну дай, пожалуйста, подсрачник!
Дай! Тебе что, жалко?»

«Подсрачник? – переспрашивает Коля
на всякий случай. –
Ну, на!»

И даёт девочке
пластиковое приспособление для катания.

Ровесники твоей дочки
катаются с горки на санках,
а твои представления о родном языке
безнадёжно устарели.

Без ответа

Писательницы со всего мира спорят
об органе, который отвечает
за мужественность мужчины.

- Сердце! – вздыхает романтическая поэтесса.
- Разум! – не соглашается классицистка.
- Желудок! – предлагает натуралистка.
- Кошелёк с деньгами! – утверждает реалистка.
- С кредитками! – уточняет модернистка.
- Х... его знает, – подводит черту постмодернистка.

Редактор вычёркивает два лишних слова.
Цензор – третье.

Два часа в резервуаре

В кофейне «Аквариум»
дофигища белорусских интеллектуалов.
Приходить в «Аквариум»
со своим белорусским интеллектуалом –
всё равно, что ехать в Тулу
со своим самоваром
или, скажем, давать на чай

официанткам в «Лондоне»,
где этого чая и так хоть вёдрами черпай.

Интеллектуалы приходят сюда как на работу.
Иногда появляются здесь с утра –
и сидят, сидят: кто в одиночку,
стыдливо испытывая муки творчества,
недоступные простым смертным;
кто по двое, интервьюируя друг друга
(по ходу дела, как на тренировке по единоборствам,
активный и пассивный партнёр меняются местами);
кто по трое – такой себе отряд интеллектуалов с предателем.

Им хорошо гуторить вместе:
белорусский поэт что-то декламирует,
якая напоказ,
гость из Украины натурально йкает,
предатель натурально икаёт.

Вокруг большой продуктовый магазин
и просто проходной двор
из метро в «МакДональдс»,
а они, ограждённые стеклом,
не покупают ни гамбургеров,
ни «крувасанов»
(терминология местных продавщиц),
не стоят в очереди к бесплатному туалету –
сидят.

Они – профессиональные белорусские интеллектуалы,
образцово-показательные экспонаты,
выставленные в витрине,
аквариумные создания,
ну чем не золотые рыбки,
разве что не исполняют желаний
окружающих минчан и гостей столицы.

Устав от ударной работы, они засыпают –
прямо за своими рабочими столиками.
Возможно, им снятся
красавицы с плавниками и жабрами,
что вяло дрейфуют в четырёх стеклянных стенках,
а во снах видят себя
белорусскими интеллектуалами
из кофейни «Аквариум».

Юрий НИКИТИН

НЕПРИДУМАННОЕ В ПОВЕСТИ «ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЙ»

От редакции:

В 1979 году в № 12 «Волги» была опубликована повесть Юрия Никитина «Время возвращений». Нынешние заметки – своего рода ключ к ее документальной основе, написаны они, по словам автора, затем, «чтобы повесть не воспринималась как досужее сочинение». С нашей точки зрения, записки представляют интерес даже вне контекста повести.

1. Сейчас говорят и пишут, будто в день объявления войны люди испытали потрясение, будто всех охватило чувство великой беды, в моей же детской памяти запечатлелось совсем другое: никто не переживал, никто не испытывал никакого чувства страха, напротив, все были возбуждены и даже радостны. Все ходили и распевали: «броня крепка и танки наши быстры, пойдём мы завтра в яростный поход», «мы железным конём всех врагов разобьём», и разговоры были о том, что через пару месяцев наши будут в Берлине.

Мама была настолько уверена, что «железный конь» справится с врагами быстро, что уже после начала войны отправила единственного сыночка, который был для неё «светом в окошке» (мой отец умер, когда мне было два с половиной года) в ВОМС (Валуйская опытно-мелиоративная станция) под Сталинград. Мои родители часто там отдыхали, у меня сохранилась фотография, где братья Никитины с жёнами приезжали в ВОМС ещё в 1936 году и отдыхали с 22 июля по 12 августа (подпись на обратной стороне фото). Дядя Серёжа тоже нисколько не сомневался, что быстрые наши танки скоро начнут кататься по улицам Берлина, и дал добро на приезд племянника. Он меня обожал и здорово баловал, а его жену тётю Катю я почему-то побаивался.

Однажды улицы опустели. Ни дяди Серёжи, ни его жены. Ночь. Незнакомая женщина варит на костре вареники с поздником и уговаривает меня не спать.

Утром эта женщина и старик с бородой посадили меня на арбу, доверху нагруженную сеном, и мы куда-то поехали. Я лежал на вершине на сене, и мне это ужасно нравилось. Единственный раз я испугался, когда мы подъехали к какому-то оврагу, по дну которого текла меленькая речка, я подумал, что большая арба покатится по крутому склону, задавит лошадь, и я тоже свалюсь. Но они меня сняли сверху, старик вставил в задние колёса палку, чтоб они не вращались, и лошадь с арбой спокойно спустилась вниз. Возле речки я нашёл черепаху, всю остальную дорогу занимался только ею. Мы приехали на какую-то железнодорожную станцию, где я увидел маму. И там мы сели на поезд.

Но это был не совсем поезд с плацкартными вагонами или теплушками, это был военный эшелон из одних платформ. Когда поезд тронулся, то мне показалось, по степи движется длинная-длинная улица. По ней гуляли раненые – у кого рука на перевязи, кто на костылях, у того, кто сидел на автопокрышке и разговаривал с мамой, была забинтована голова. Видя, что я не выпускаю черепаху из рук, он сказал: чего ты с ней тютюшкаешься, положи вон в автопокрышку. Я сказал, что убежит. Он тогда положил на первую вторую покрышку, и тогда только я опустил туда черепаху.

Через какое-то время поезд вдруг стал давать длинные тревожные гудки и остановился.

– Воздух! Воздух! – прокатилось по платформам.

Я увидел высоко в небе самолёт.

Люди стали прыгать с платформ, отбегать в поле пшеницы и ложиться.

– Да не будет он бомбить, – сказал военный, который сидел возле нас. – Это немецкий разведчик. Это «рама».

Но всё-таки он спрыгнул на землю, взял меня, а потом помог и маме спрыгнуть. Мы отбежали не очень далеко, и легли среди низкорослых колосьев. Мне запомнился запах той горячей пыльной земли.

Когда немецкий самолёт улетел, паровоз загудел уже не длинными, а короткими гудками, и люди снова побежали к поезду. Потом я положил голову к маме на колени и уснул.

Наверное, это была уже ночь, темно, вокруг горит разбомблённая станция Лиски (почему запомнилось именно это название – Лиски – не знаю), мы с мамой бежим между длинными рядами вагонов, и я ору: черепаху забыли, черепаху забыли... Судьба этой черепахи меня интересовала всю жизнь.

Как мы добирались от горячей станции до дома – у меня ни малейшего представления.

Окровавленные шапки убитых бойцов, которые мама стирала и гирляндой развешивала на печке. Одно время она ходила в чёрной железнодорожной шинели и брезентовых башмаках на деревянной подошве. Жаль, что не вписалась в повесть американская помощь, когда маме от профсоюза дали для меня оранжевую рубашку из какой-то крепкой материи – хорошая рубашка, ботинки на толстой подошве – отличные ботинки, ещё помню банки со свиным салом.

2. Танковое кладбище находилось за железнодорожным мостом возле железнодорожных мастерских, туда свозили подбитые танки. Там я нашёл пистолет и нёс его, засунув руку с пистолетом в трусы; а парабеллум, который в повести, был найден под трибуной стадиона «Спартак», и в нём не было патронов. Ещё у меня был наган, в барабане тоже не было патронов, Борька Буров выкинул его в пруд; я потом лазил, но в тине не нашёл.

3. Народный артист РСФСР И.А. Слонов (1882 – 19 сентября 1945), которого после похорон воры откопали и сняли костюм, вообще раздели полностью. На другой день знаменитого артиста опять похоронили в хорошем костюме, но чтоб снова не выкопали, прилюдно порезали костюм бритвой. Об этом маме рассказала её подруга со времён Аткарска (фамилию забыл) – актриса театра Карла Маркса, играла какие-то комедийные роли.

4. Штурман Чиссов! Подполковник – это мой преподаватель штурманской подготовки в Ворошиловградском (Луганск) лётном училище (1955–1957 годы). Его бомбардировщик был сбит «мессером»; с нераскрывшимся парашютом Чиссов упал с высоты 7000 метров на склон заснеженного оврага (где-то на Кавказе). Солдаты кавалерийской части, которые видели воздушный бой, его откопали, чтобы похоронить, а он был живой, но без сознания. Сначала его доставили в санчасть, где он пришёл в сознание, потом в госпиталь, потом самолётом в Москву. У него были сломаны (вроде бы) нога и рёбра, но что я точно запомнил – это лопнувший мочевого пузырь. Чиссов был выше среднего роста, пипка носа какая-то квадратная, короткие тёмно-рыжие волосы с проседью – мелкими кудряшками. Иногда летал с нами-курсантами за пассажира на Як-18 по маршруту; другой бы после такого падения к самолёту не подошёл, а он – !!!

5. Самодельные маленькие взрывпакеты и баночку из-под вазелина под трамвай на Чернышевской клали я, Борис Кузёнов, Равиль и ещё кто-то. И затаивались в кустах возле аптеки. После взрыва и автоматной очереди, которую имитировали взрывпакетики, мы убегали по Храмовскому взвозу вниз, к Волге. А вот кто бросил дрожжи в сортир – может Хафиз? – не помню.

6. Особенно жалко то, что нынешние люди ничего не знают о футбольных матчах между командой «Пехота» и пленными немцами на стадионе «Спартак». Факт уникальный! Особенно в сравнении с матчем в Киеве в 1942 году между футболистами команды «Динамо» и сборной немцев, после которого победившие «динамовцы» были расстреляны. Об этом событии был снят фильм «Матч смерти».

Команда «Пехота» – это курсанты пехотного училища, которое находилось (вроде бы) на 2-й Дачной. Во время войны по краям стадиона «Спартак» были окопы и траншеи. Управляющей была тётя Капа; перед матчами она выгоняла нас хворостоиной и уводила с поля стадиона свою корову и коз, которые там паслись. Иногда мама посылала меня к ней за молоком.

7. Мы, окружная шантрапа с Дегтярки, чуть ли не с рассвета и до заката гоняли на стадионе тряпичный мяч, который делался из старого чулка, набитого морской травой. Поддержать в руках и даже ударить ногой настоящий кожаный футбольный мяч мы могли тогда, когда «Пехота» и немцы начинали разминаться перед матчем. Поскольку сеток на воротах не было, то мяч постоянно улетал мимо вратаря, и мы гурьбой кидалась за ним. Мяч был старым, с плешинами потёртой кожи, тёмно-серого цвета, и не идеально круглый, а с вздутиями, но всё-таки это был настоящий футбольный мяч. Однажды мне повезло: схватив его, я подбежал поближе к немецкому вратарю и ударил мяч ногой. Но поскольку босая нога моя была покрыта цыпками, то больно было ужасно, будто ударил по тяжёлому булыжнику.

8. Рядом со стадионом располагались корпуса железнодорожной больницы, бывшей в то время госпиталем. Почти всю трибуну занимали раненые бойцы и кое-кто из взрослых с Дегтярки, Очкина, Лягушёвки. Раненые шли кто с тростью, кто на костылях, кто с загипсованной рукой, кто с забинтованной головой, кто с обгорелой кожей лица, безногих везли на сиденьях между велосипедных колёс. Меня особенно поражал боец, у которого из-под мочки уха через щеку к переносице была приращена заветренная полоска мяса, по тогдашним разговорам, так делали пластическую операцию по восстановлению носа. Все были в шлёпанцах и тёмно-серых застиранных халатах, из-под которых виднелись кальсоны с завязочками.

9. Пленные немцы жили в клубе железнодорожников имени Карла Либкнехта на 2-й Садовой улице. Они шли по аллеям Городского парка культуры и отдыха вольным, прогулочным шагом, а сзади них конвоир с автоматом ПППШ за спиной.

Немцы занимали место возле трибуны, на траве. Их футболисты были в коротких, выше колен чёрных трусах, тёмно-зелёных майках, а на ногах брезентовые башмаки на деревянной подошве. У наших «пехотинцев» была красивая форма: белые с синими отложными воротничками футболки, длинные, ниже колен (в отличие от немцев) трусы, на ногах гетры со шитками и настоящие бутсы с шипами. Мы знали их не по именам, а по прозвищам: Грек, центральный нападающий Санька Дикой, Пушкин (потому что после его удара мяч летел как ядро из пушки) – потом я узнал, что это Василий Васильевич Андреев (впоследствии начальник саратовской тюрьмы), защитник Буйвол, были ещё Магуй, Толлюля... Настоящие их фамилии знают в Музее саратовского футбола на стадионе «Локомотив», а фотография есть в музее МВД в Саратове.

10. Судья бегал по полю с сиплым велосипедным свистком. Если немцы побеждали, то после финального свистка кидались обниматься и целоваться, устраивали на поле кучу-малу, ездили друг на друге верхом, кто-нибудь кругами бегал по полю и целовал мяч. К ним присоединялись их болельщики, фурыкали на губных гармошках и устраивали пляс. Они так всегда радовались, будто выигрывали войну, а не футбольную встречу. Ну а раненые, все эти покалеченные войной люди, вроде бы должны были кинуться на недавних врагов с кулаками и клюшками, ничего

подобного – они свешивались над проходом под трибуну, где была раздевалка, и не ругали, а укоряли своих парней и советовали, как надо было играть.

11. На «Спартаке» проводились и матчи немцев с мадьярами, на которые раненые тоже приходили. Но игра эта им, по-моему, не очень нравилась. После первого гола или ещё почему-то футболисты начинали злиться, и игра переходила в настоящую потасовку. С поля уносили игрока то одной команды, то другой. Вероятно, пленные немцы винили бывших союзников в плохой помощи на войне, а мадьяры не могли простить, что немцы втянули их в бесполезную драку против русских.

12. Сцена в повести, где Царёк торгует на стадионе папиросами «Беломор-Ява» и где раненые у него спрашивают: «А что такое Ява?», а он отвечает: «Это остров в Индийском океане, где самый хороший табак растёт». Это я ходил по трибуне и торговал этими папиросами, их привозил мой дед Иван Петрович – машинист паровоза; где он их брал – не знаю, сам он никогда не курил и водки не пил.

13. Калёный – настоящего имени не знаю; дом его с голубятней находился посредине 6-го Интернационального переулка. Шурик – высокий, худой, в зелёном кителе и нашивками ранений на рукаве. Красивую жену Калёного блондинку с толстой косой-короной звали не Роза, как – не помню. Татуированный – я таких блатных с портретами Ленина или Сталина на груди и на спине видел, и разговоры о том, что таких не расстреливают, тоже слышал.

14. Академик, вице-президент ВАСХНИЛ, директор саратовского сельхозинститута Николай Максимович Тулайков присутствует в повести потому, что в следственном деле НКВД за 1937-й год он являлся руководителем «пятёрки» «врагов народа», вторым в «пятёрке» был – начальник ОблЗУ Саратовского края – Пётр Михайлович Никитин, старший брат моего отца. Отсюда я сделал вывод, что Тулайков и Никитин не могли не знать друга, и поскольку оба работали в сельском хозяйстве, то не мог Тулайков не приезжать в ВОМС – Валуйскую опытно-мелиоративную станцию. Оба были арестованы по одному и тому же делу и расстреляны.

В повести возвращается из ГУЛАГа отец мальчишки, на самом деле всё это я списывал с реального возвращения Ольги Ермолаевны, жены Петра Михайловича Никитина после восьми лет лагерей. Помню, поздним вечером, уже почти темно было, она постучалась к нам в окно, мама выглянула и пустила её. Все три дня, что Ольга Ермолаевна у нас жила, ставни не открывались, боялись соседей, боялись доноса, потому что политзаключённым запрещено было приближаться к большим городам ближе 105-го километра.

15. Пленные немцы копали на улицах траншеи для водопроводов, разбирали плоты на Волге, в оранжерее городского парка разводили цветы и рассаживали их в клумбы в парке. Оранжерея находилась рядом с нашим домом, почтовый адрес был: Саратов, Городской парк культуры и отдыха, дом 2. Немцы ремонтировали нашу школу – 2-я мужская РУЖД – бывший институт благородных девиц. Однажды я возился в куче песка возле оранжереи, один немец (а может, и не немец) подошёл и, достав из портмоне фотографию, показал мне – женщина и двое малышей, а потом показал мне круглую медаль. Она мне так понравилась, что я стал просить, чтобы он отдал её мне, а он сказал: хлеба, хлеба. Я побежал домой и сказал маме, что немец хочет отдать мне медаль за хлеб. Мама отрезала от буханки тоненький ломтик хлеба и дала мне. До сих пор помню, как мне было стыдно давать немцу такой маленький кусочек хлеба за такую красивую медаль. Но он мне её отдал. В тот же день я её потерял в этой куче песка и ужасно ревел.

16. В 1939 или 1940-м году – мы с мамой приехали в Сталинград к её сестре Нине; муж у неё лётчик на каком-то гражданском самолёте, разбился в туман на Урале; помню, как меня фотографировали: кот был ужасно тяжёлый, всё время выскальзывал из рук, и я его еле держал.

17. Прототипом Бурмагина (фамилия кого-то из Дегтярских) был аэроклубовский шофёр Самусик. Это у него в кабине полуторки была самолётная приборная доска, а из-под капота торчала «трубка Пито» – приёмник воздушного давления для указателя скорости. Инструктором по парашютному спорту был Егоров (в повести Волковец); помню, на аэродроме на Соколовой горе – это 12 мая 1951 года, я стоял в строю и ужасно боялся, что он меня выгонит за то, что я наврал, что мне семнадцать лет, тогда мне было полных только пятнадцать. Навсегда в память врезались его слова, когда он, долго разглядывая меня, худосочного, сказал этак снисходительно: «Ну, ладно. Твой парашют вон тот – круглый. Потому что если ты спрыгнешь на квадратном, то только к обеду приземлишься».

Не выдуман курсант Передреев (в аэроклубе эту фамилию долго помнили): по команде лётчика «Вылезай!» он перешагнул через борт первой кабины, дошёл до края крыла, после команды «Пошёл!» поглядел вниз и от страха – высота всё-таки 800 метров – вместо того, чтобы шагнуть, сел на крыле и вцепился в борт; лётчик бил его и по рукам и по башке, спихнул с трудом.

18. Не выдумана и тётка Фрося. Она тоже из 6-го Интернационального проулка. Я даже её имя не стал менять, а фамилии не знал. Какой-нибудь псевдопатриот оскорбится: не может такого быть, чтобы, дескать, русская женщина за 50 рублей не только покупала для работ по дому пленного немца, но занималась с ним любовью – это поклёп. Мы дразнили его – Фриц. Господи, да у меня просто мозгов бы не хватило выдумать всё это, тем более цифру 50 рублей.

Иной раз поневоле начинаешь верить в Провидение. Сейчас люди избавляются от книг, в нашем доме их выкладывают в вестибюле. Недавно я там увидел драную книжку – роман Ремарка «Время жить и время умирать». В былые годы я обожал его «Три товарища», «Триумфальная арка», «На западном фронте без перемен», а эта почему-то прошла мимо. Взял, естественно. И – обалдеть! – разговор в санпропускнике солдат, получивших двухнедельный отпуск с фронта.

Эрих Мария Ремарк, «Время жить и время умирать»:

«От тепла стало клонить ко сну. Гребер видел бледные тела своих спутников, их обмороженные ноги, багровые трещины шрамов. Они вдруг перестали быть солдатами. Их мундиры висели где-то в парилке; сейчас это были просто голые люди, они щелкали вшей, и разговоры пошли сразу же совсем другие. Уже не о войне: говорили о еде и о женщинах.

– У неё ребенок, – сказал один, его звали Бернгард.

Он сидел рядом с Гребером, у него были вши в бровях, и он ловил их с помощью карманного зеркала.

– Я два года дома не был, а ребенку четыре месяца. Она уверяет, будто четырнадцать и будто он от меня. Но моя мать написала мне, что от русского. Да и она меньше года, как стала писать о ребенке. А до того – никогда. Что вы на этот счет скажете?

– Что ж, бывает, – равнодушно, ответил какой-то человек с плешью. – В деревне много ребят народилось от военнопленных.

– Да? Но как же мне теперь быть?

– Я бы такую жену вышвырнул вон, – заявил другой, перебинтовывавший ноги. – Это свинство.

– Свинство? Почему же свинство? – Плешивый сделал протестующий жест. – Время теперь военное, это понимать надо.

– А ребенок-то кто? Мальчик или девочка?

– Мальчишка. Она пишет, будто вылитый я.

– Если мальчик, можешь его оставить, пригодится. В деревне всегда помощник нужен.

– Да ведь он же наполовину русский.

– Ну и что же? Русские-то ведь арийцы. А отечеству нужны солдаты.

Бернгард положил зеркальце на скамью.

– Не так это просто. Тебе-то легко говорить, не с тобой приключилось.

– А лучше, если бы тобой сделал ребенка какой-нибудь откормленный племенной бык из немцев?

– Ну это уж, конечно, нет.
 – Вот видишь.
 – Могла бы, кажется, меня подождать, – смущённо сказал Бернгард вполголоса.
Плешивый пожал плечами.
 – Кто ждёт, а кто и нет. Нельзя же требовать всего; если годами не бываешь дома!
 – А ты женат?
 – Бог миловал.
 – Ну, а как же тогда ему быть с ребенком?
 – Сдать, – сказала Мышь с особой авторитетностью. – Безболезненная смерть. Что же ещё?
 – А с женой?
 – Это уж дело начальства. Поставят клеймо, голову обреют наголо, а потом – концлагерь, тюрьма или виселица.
 – Её до сих пор не трогали, – сказал Бернгард.
 – Вероятно, еще не знают.
 – Знают. Моя мать сообщила куда следует.
 – Значит, и начальство непутевое, расхлябанное. Люди разложились, значит, им и место в концлагере. Или на виселице.
 – Ах, оставь ты меня в покое, – вдруг обозлился Бернгард и отвернулся».

Совпадения: у Ремарка: пленных за деньги давали для работ по хозяйству, у меня: тётка Фрося покупает Фрида за 50 рублей. Придумать подобное никак невозможно, а вот можно ли проверить – официальное на то было разрешение или всё делалось незаконно? И ещё: санпропускник, куда мы с мамой ходили выжаривать вшей, находился на Астраханской улице, рядом с Вшивым базарчиком.

Вот тоже достоверный факт из Первой мировой: один мой родственник был в плену в Германии, после репатриации вернулся, а где-то в начале 20-х к нему приехала немка, с которой он там жил. Не знаю, сколько прошло времени после его отъезда из Германии, но в России у него уже была жена. Поскольку они разговаривали по-немецки, никто не понимал о чём. Немка уехала, а её сундучок остался; ему сейчас уже больше ста лет – это раритет! В нём на даче мы храним детские игрушки.

19. И уж коль речь о войне, то вот ещё один раритет – 1912 года: коробка из тонкой жести размером 25х16,5х8,5 см; мама (она 1903 года рождения) говорила, что в ней были конфеты – леденцы. На крышке портрет Наполеона и надпись: «Наполеон I 1812–1912 г. В Память 100-летнего юбилея...» – дальше не разобрать, но и так понятно. На боковых стенках: спереди в овале – тройка лошадей, в санях Наполеон, адъютанты и подпись: «Бегство Наполеона», по бокам в овалах – пушки, ружья, барабаны, знамёна, на задней стороне: Наполеон верхом на белом коне на Поклонной горе ждёт ключей от Москвы.

На внутренней стороне крышки: что-то подобное двум медалям-печатам, на левой: «Поставщик двора его величеств. шаха персидск.», на правой: «фабричная марка утверждена правительством – реном» и ниже под печатами:

«Товарищество кондитерской фабрики “РЕНОМЭ” Москва»

Ну коробка и коробка 100-летней давности, что тут особенного? А то особенное, что на крышке грудь Наполеона пробита перочинным ножом! Это я, недоумок, ударил его ножом, поскольку он враг. Все мы тогда были, пожалуй, недоумками. В повести вернувшийся из ГУЛАГа отец мальчишки, увидев в учебнике истории замазанные чернилами лица Тухачевского, Блюхера, Якира, спрашивает: неужели в школе им велели это делать? Я, конечно, не помню, велели или не велели, но мы и сами знали, что это враги. Отчётливо сидит в памяти: я макая ручку с пером «скелетик» в чернилку-непроливайку и выкалываю глаза этим «врагам народа».

И вот любопытная краеведческая информация: последним из оставшихся в живых французских офицеров (лейтенант-гусар) – признаётся Жан-Батист Николя Савен, умерший в 1896 году в Саратове. Он принимал участие во всех знаковых сражениях Наполеона, пленён под Березиной. Жил в Саратове, преподавал фехтование и французский язык. Принял российское подданство, женился на купеческой дочери. В 1998 году в Саратов приезжал французский писатель Ив Готье, написавший о Савене книгу, а на установлении мемориальной плиты в его честь на углу Вольской и Дзержинского присутствовал посол Франции. Ещё один француз-садовник жил в Аткарске, он заложил знаменитый аткарский парк. А вот пруды в Парусиновой роще (нынешний Городской парк культуры и отдыха, где после университета я работал сначала дворником, потом художественным руководителем, потом два месяца директором) проектировал третий француз – великий математик Жан-Виктор Понселе.

К чему это я? Да вот к чему: ни в 1812, когда промокшего в ледяной Березине пленённого Савена казачий генерал Платов потчует водкой, ни в 1854 во время Крымской войны, когда во время перемирия русские и французские солдаты устраивали совместные перекуры, ни в 1914–1918, когда были случаи братания русских и немецких солдат, – не было ненависти, не было злобы, не было изощрённой жестокости. Солдаты, на мой взгляд, испытывали такие же чувства, какие испытывали в боях между собой римские гладиаторы. Представить братание или перекуры фашистов с коммунистами невозможно; идеология, политика, пропаганда, фанатичная вера развратили души воюющих.

20. 4 класс 2-й мужской школы РУжд – 1947 год. Наверное, была традиция фотографироваться с классом, который учитель вёл с первого по четвёртый, и который, при переходе в пятый, считался выпускным. Наша учительница Мария Васильевна Ливанова привела нас в Городской парк культуры и отдыха имени Горького. Мы на центральной аллее: белое здание – музыкальная школа, правее – статуя Сталина, ещё правее было примитивное футбольное поле, сюда во время войны привезли сбитый над Саратовом немецкий бомбардировщик «Юнкерс»; мы в нём пытались что-нибудь найти, но он был пуст – один голый алюминий. Удивительно, но я помню фамилии многих одноклассников... Юрка Сластухин – у его отца не было обеих ног ниже колен, но ходил он в своих больших кожаных ботинках, надеваемых каблуками вперёд, энергично и довольно быстро, по слухам – он был каким-то директором. Вадька Рябоконь – я с ним дрался. Двоешник Архипов. Карпов – летал в Польше на ИЛ-28, в каком-то кабаке русские лётчики подрались с поляками, у него шрам от ножа через всю щёку. Мой друг Саша Невзоров – окончил физмат СГУ, работал над ракетами в секретной Балашихе под Москвой, присутствовал на полигоне при испытаниях, когда погиб маршал Неделин, Лёва Денисов – кинооператор на Саратовской киностудии.

21. 1953 год – 10 класс; учитель литературы, фронтовой разведчик Владимир Павлович Горелкин, которого мы обожали. Иногда он вёл урок будучи настолько навеселе, что не мог написать на доске «Тема урока»; писал мелом букву «Т», она ему почему-то не нравилась, он стирал её тряпкой, снова писал «Т», снова не нравилась, стирал, после нескольких безуспешных попыток говорил: Кудрявцев, иди напиши – Тема урока: Маяковский...

Подражание военным лётчикам

Однажды, это осень 1950 года, нас собрали в актовом зале школы. К нам вышел потрясающе красивый человек. Он покори нас, ещё не сказав ни слова: это был военный лётчик с голубыми погонами капитана, вся грудь в орденах, и далее – зелёная гимнастёрка, фуражка с парчовым крабом, бриджи, хромовые сапоги... Блеск! Звали его Владимир Иванович Маркин. Он рассказал нам о воздушных боях с немцами, а он летал на штурмовике Ил-2, об атаках на танки, на

железнодорожные составы, и в конце выступления сказал, что на войне погибло много лётчиков, что авиации нужны крепкие, смелые парни, и предложил записываться в аэроклуб. Полшколы, наверное, побежало записываться «в лётчики». Ну и я тоже, хотя мне было полных всего пятнадцать лет, а принимали с семнадцати. Я прибавил себе год. Никаких документов тогда не спрашивали. Самым сложным было пройти медицинскую комиссию, я прошёл, но меня записали не в лётчики, а в парашютисты. 1951 – парашют, 1952 – планёр А-2, 1953 – самолёт УТ-2, где инструктором у меня был тот самый Маркин.

В Кустанайском лётном моим инструктором на Як-18 был фронтовик капитан Алентьев, а вот фамилию командира звена я не запомнил, запомнил только его рассказы о том, как он учил летать на реактивных МиГ-15 северных корейцев. Они, говорил, так рвались в бой, что, едва научившись держаться в воздухе, самовольно улетали на фронт. Ну и американцы щёлкали их там, как воробьёв. Зато учились ребята, говорил, очень усердно: вечером, когда все занятия уже закончились, пацан-кореец садился на табурет, обыкновенный веник помещал между колен, как бы ручку управления самолётом, и, гудя ртом, начинал воображать воздушный бой, делая выражи, боевые развороты, иммельманы-ранверсманы, иногда так увлекался, что, делая «мёртвую петлю», падал с табурета на спину.

Не знаю, как кто, а я завидовал Юре Бурлакову, у которого инструктором был младший лейтенант Смола. Когда-то он был капитаном, но его дважды понижали в звании за воздушное хулиганство. Бурлаков с восторгом рассказывал, как при полёте по маршруту Смола брал у него управление, снижался и шёл на бреющем над каким-то степным озером, поднимая тучу диких уток. За войну он, видимо, не налетался на свободные охоты, рановато она для него кончилась. А до младшего лейтенанта его понизили за атаку на УАЗик: увидя машину, пылящую по степи, он снизился до бреющего и пошёл ей лоб в лоб, а в ней ехал председатель Кустанайского облисполкома; его шофёр не выдержал лобовой атаки, свалил машину в кювет, ну и большой начальник сломал ключицу. Не повезло Смоле в том, что сообразительный чиновник успел записать время и бортовой номер самолёта. Ну и его вычислили. После чего офицерский суд чести и – младший лейтенант.

Когда мы приехали в 1955 в Ворошиловградское (Луганск) лётное училище, то первый год опять пришлось летать на Як-18, только с носовым колесом, как переходный к реактивному истребителю. Налёт у нас уже был приличный, у меня на планёре третий спортивный разряд, на УТ-2 – третий спортивный, в Кустанае опять тот же самый Як-18.

Тот же Як, те же самые полёты и те же фигуры пилотажа. В воздухе, конечно, никогда не скучно, однако хочется чего-то остренького, как в настоящем воздушном бою. Кто не мечтал пролететь под мостом, как Чкалов? Нет таких. А попробуй пролети – так тебе дадут такого пенделя, что улетишь далеко-далеко от авиации. Или такая дурацкая мысль приходила: пролететь над домом девчонки, в которую был по уши влюблён. Первую нестандартную фигуру пилотажа, что я решил испытать, так это не обычное сваливание в штопор. Обычно – это когда педаль даёшь влево и ручку на себя влево, после чего самолёт сваливается в штопор. Обычно – это когда педаль даёшь влево, а ручку на себя вправо? Попробовал. Класс! Сначала Як не понимает, что делать, начинает качаться влево-вправо, влево-вправо, а потом срывается в штопор как бы через голову. Оч-чень интересное ощущение! Правда, брюхо у него забрызгивалось маслом, это обнаружил механик, и чтобы он меня не продал, я лез под брюхо с бензиновой тряпкой.

Когда кувыркаешься в воздухе – это всегда здорово, а вот полуторачасовые полёты по маршруту навевают скуку. Кое-кто из ребят ловил по радиации «Маяк» и слушал джаз, а кое-кто летал по-истребительски, как младший лейтенант Смола. Например, Юрка Бурлаков. Перед полётом по маршруту он договаривался с тем, кто летит следом за ним: я, дескать, после вылета держу маленькую скорость, ты меня догоняешь, пристраиваешься, и мы парой переходим на бреющий. К слову: Бурлаков демобилизовался в звании майора, летал в ГДР, в Египте при войне с Израилем, два ордена Красной Звезды. Другой наш аэроклубовец Иван Титков – тоже майор – в Ираке

обучал летать на сверхзвуковых МиГ-23 арабов из Президентского полка... Но кто из молодых не чувствовал себя оперившимся ястребом и не мечтал о полёте на такую же свободную охоту, какая велась истребителями во время войны? Не знаю, правда или нет, но среди нас ходил слух, будто на штурмовиках Ил-2 лётчики пролетали над колонной немецкой пехоты настолько низко, что в масляных радиаторах привозили головы фашистов. Байки? Не знаю. Но мы верили и хотели летать так же.

Хулиганский полёт по маршруту у меня был один. Штурманом Гена Федосеев. Сначала я набрал нужную высоту и пролетел минут пять, чтобы «шпион» – так мы называли записывающий высоту полёта барограф – нацарапал на картушке нужную высоту. Потом Федосеев достал из бардачка «шпиона», выключил его и сказал, что можно начинать свободную охоту. Я спикировал к реке Северский Донец и пошёл на водой; правый берег у реки высокий, и люди, стоящие там, смотрели на нас сверху вниз. Увидев рыбака, сидящего в примитивной лодчонке, я заскользил в его сторону, желая поугасть, но он поднял весло над головой, и я сам шарахнулся от него вверх – пропеллер-то деревянный, мало ли чего; потом шёл над полем пшеницы и заставил лечь мужика с мешком, который шёл по дороге; на окраине посёлка Красный Луч сделал вираж над церковью; пролетел вдоль улицы какой-то деревни... Когда пришло время возвращаться, я понял, что потерял пространственную ориентировку: компас компасом, а мне казалось, что на аэродром надо лететь влево, а Федосеев настаивал: нет, надо вправо, – и штурман оказался прав. У Чкалова тоже был случай, когда он потерял ориентировку, и чтобы понять, где находится, он снизился до бредущего над железнодорожной станцией, прочёл на здании вокзала её название и таким образом сориентировался.

Наверное, и при следующем полёте мы с Генкой покуролесили, но меня посадили на гауптвахту. На десять суток. За что? Ладно уж: за несвоевременное любовное похождение.

Но на воздушном хулиганстве попался не я, а Зайцев. Он из другой лётной группы. Он и Славка Дагаев за штурмана «свободно охотились» где-то возле Краснодона, увидели марширующий пионерский отряд – красные галстуки, барабаны, горны – видимо, ребята шли к памяtnику героям-краснодонцам. Зайцев снизился до бредущего, решив порадовать пацанов низко летающим самолётом, и пролетел рядом с отрядом на бредущем. Пионеры от восторга ходили на головах. Но при втором пролёте ни Зайцев, ни Дагаев не заметили линии проводов и врезались в них... – точнее, не в них, а под ними провода прошли по кабине Яка: оторвали крышку масляного бака, срезали антенну, из-за чего исчезла связь с землёй, киль тоже был срезан до фюзеляжа, руль высоты заклинило в положении набор, за хвостом мотались обрывки перкали. Ну а на земле – оборванные провода и семь поваленных столбов. В общем самолёт выглядел так, будто возвращался на аэродром после тяжелейшего воздушного боя. И вот эту полуразвалившуюся машину Зайцев привёл на аэродром. С первого захода сесть не смог. Майор – руководитель полётов, увидев столь плачевный вид Яка, приказал инструктору, летающему по кругу, догнать, пристроиться и показать, чтоб они набрали высоту и выпрыгивали с парашютом. Не хватало ещё, чтоб они разбились при посадке. Но Зайцев помахал рукой: нет, буду садиться. Вторая попытка тоже была неудачной: едва он убирал газ, самолёт клевал носом в землю. Посадить непослушную машину он смог только с третьего захода, и посадка эта была просто мастерской.

Ну и что? Суд в Доме офицеров на Острой Могиле. Мы, я и Гешка Минаев, ходили «с шапкой» по казарме, собирая деньги на адвоката; память мне не изменяет – фамилия его Гимпфель. Сколько-то набрали, отдали перед началом суда, но выступал он, в нашем понимании, отвратительно: мямлил что-то про бедность, про безотцовщину, про одинокую мать, про военное голодное детство... А мы считали, что надо говорить о героической смелости: да, нарушили полётное задание, но не испугались и не выпрыгнули с парашютами из этой развалюхи! Надо было сказать, что во время войны его бы наградили, а вместо того, чтобы взывать к жалости судей, лучше бы адвокат спел песню американских лётчиков, которую мы сами любили напевать:

Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы летим на последнем крыле,
Бак пробит, хвост горит, но машина летит
На честном слове и на одном крыле.

Несмотря на то что ко времени суда самолёт уже был восстановлен, Зайцеву дали пять лет тюрьмы, а Славку Дагаева отправили в солдаты.

В период всей этой судебной заварушки лейтенант Саранча сказал: в нашей группе я не доверяю Никитину и Федосееву. После гауптвахты у меня оставался ещё один полёт по маршруту, и на предполётной подготовке Саранча вдруг назначает ко мне штурманом не Васко Дубового, не Горина, а именно Федосеева. Это было очень подозрительно.

Конечно же, я летел, выдерживая высоту, курс, скорость – нутакон прямой дисциплинированный, аж тошно. А от Генки то и дело слышал в наушниках: ну всё, далеко уже ушли, давай вниз, нас никто не увидит, скучно же, ну что, выключая «шпиона»? Я ему отвечал: да боюсь я, Гена, боюсь, ведь сказали же, что на линию маршрута выслали какую-то машину с радиостанцией. Минут через сорок этого унылого полёта услышал свой позывной: 42-й, обозначьте себя! Я стал кидать машину, заваливая влево-вправо с глубокими кренами, решив, что нас запрашивают с высланной радиостанции. Федосеев, пытаюсь разглядеть, кто нас с земли запрашивает, вдруг говорит: это не с радиостанции, это кто-то за нами следит. Я тоже посмотрел назад и вниз и увидел висящий у нас за хвостом Як. Быть не пойманными – потрясающая радость. Весь остальной полёт стал не унылым и скучным, а даже весёлым, потому что они следили за ними, а мы следили за ними. Подлетая к аэродрому, шпионящий Як обогнал нас и сел раньше. Когда мы после приземления вылезли из самолёта, лейтенант Саранча подошёл и спросил: Ну как полёт? – а я с ехидной улыбкой: Товарищ лейтенант, вы ж за нами летели и всё видели. – Он чертыхнулся: Я ж говорил майору, что надо подальше вас отпустить, говорил, что если вы вдруг сделаете переворот, то протараните нас лоб в лоб.

На реактивном МиГ-15 вольничать в воздухе стало уже опасно. Я это осознал после того, как возле деревни Круглое едва не «сыграл в ящик». Это был обычный полёт на пилотаж – виражи, петли, «бочки», перевороты, – я увлёкся, забыл о времени, поэтому с КП меня поторопили: мой позывной и «ваше время вышло, возвращайтесь на точку». Высоты было полторы тысячи, стрелка радиокompаса показывала 180 градусов, то есть аэродром у меня был за спиной. Я сделал переворот, а когда начал пикировать, то решил, что высоты достаточно для нисходящей «бочки». И когда выполнил её, вспомнилось наставление из НПП (Наставление по производству полётов, «написанное кровью погибших лётчиков»): при высоте 1200 метров, скорости 700 км/час, угле 80-90 градусов самолёт не успевает выйти из пикирования. О том, чтоб спастись катапультированием, мысли не было. Я сообразил выпустить воздушные тормоза и стал выводить из пикирования. Через лобовое стекло я видел круглое озеро, в которое падал, и видел, как вырастают крыши животноводческих ферм на краю озера. От огромной перегрузки перед глазами замелькали чёрные мушки, потом сплошная темнота – ни приборов, ни земли, ничего... Сознание вернулось, когда самолёт уже шёл вверх и прибор показывал 400 метров... Выровняв полёт, я почувствовал, как правая нога от запоздалого страха выбивает чётку по дюралевому полу кабины. После вот этого приключения я подумал, что Бог, наверное, всё-таки есть.

После окончания училища и присвоения офицерского звания мы получили назначение в 66-ой истребительский авиационный полк Бакинского военного округа, которым командовал Герой Советского Союза Серафим Павлович Субботин. Он получил это звание за семь сбитых в Корее «Сейбров» и два бомбардировщика В-29. Полк наш располагался возле посёлка Джебел в Туркмении, где на сотни километров вокруг одни барханы пустыни Кара-Кум, пересохшее русло реки Узбой, заросли саксаула, где водились шакалы, в самом посёлке ослы и верблюды, а в единственном магазине из спиртного только вишнёвый ликёр. Мне запомнились два его

рассказа о воздушных боях с американцами. Один – когда он во время атаки чуть не врезался в бомбардировщик В-52, проскочив буквально в метрах у него под брюхом, второй... Описание второго я нашёл в Интернете, где авторы красочно расписывают этот бой как первый в мире таран на реактивном истребителе: тут и бой 8 русских с 16-ю американскими истребителями, и «Сейбр», взорвавшийся в воздухе, и «выручка ведомого», и повреждённый двигатель (?), и «подставил свой истребитель под удар» «пусть ценой своей жизни», и «оба самолёта рухнули в джунгли»... Но есть ли в Северной Корее джунгли? И таран – это когда ты бьёшь вражеский самолёт, а не когда он тебя таранит в хвостовое оперение. Я понимаю, все эти красоты нужны были авторам для пушей героичности, но для просто лётчиков всё это сомнительно.

А вот каким мне запомнился рассказ самого Субботина в классе предполётной подготовки бесснежной каракумской зимой 1958 года: в это время участие наших лётчиков в войне в Корее было засекречено. После какого-то патрулирования или воздушного боя он уже подходил к аэродрому, когда с КП ему сообщили, что к нему в хвост заходит «Сейбр». Субботин увидел его в перископ: американец был настолько близко, что оставалась пара секунд, чтобы он начал стрелять. Субботин нажал кнопку воздушных тормозов, на миг выпустил и убрал посадочные щитки, от чего его МиГ-15 почти замер в воздухе, ну и «Сейбр» проскочил мимо; вот тогда по нему отстрелялись пушки МиГа; американец упал где-то на границе аэродрома. Уже из Интернета я узнал имя погибшего – капитан Уильям Д. Кроун.

Пустыня у нас была недолгой. Уже на следующий год полк перебросили под Баку...

При прохождении очередной медицинской комиссии у меня нашли нелады со здоровьем и списали. Остаться в армии нелетающим я не захотел, и был уволен в запас. В университет на филфак поступал в полной уверенности, что там всех учат писать стихи и прозу, а мне это только и надо было: я намеревался в своих рассказах и повестях прославлять небо и профессию лётчика. В приёмной комиссии у меня потребовали «характеристику с места работы». Написал челобитную в полк, не надеясь, что она будет уж очень-то положительной – уже будучи офицером, ещё два раза сидел на гауптвахте. Подписал её командир эскадрильи гвардии майор Ковалёв. И целая страница панегирических оценок: «...Лётную практику усваивал хорошо, летал смело и уверенно... Показал себя грамотным и дисциплинированным офицером... Делу Коммунистической партии и Социалистической Родине предан». Портрет, заслуживающий кисти народных художников Глазунова или Шилова.

Да-с, ну как такого парня не принять на девичий факультет?!

Единственное тёмное пятнышко на моём парадном мундире было таким: «Имел место случай нарушения полётного задания, за что был наказан, и подобных случаев не повторялось». Под этим скромно названным «нарушением» Ковалёв имел, видимо, моё пересечение государственной границы с Ираном...

В летнее время полк наш был перебазирован с Апшерона под городок Аджикабул, это в 50 километрах от иранской границы. У меня было полётное задание набрать потолок – для МиГ-17 это 15500 метров. Набирать эту высоту я должен был с курсом 0, то есть лететь строго на север, где сплошная советская территория; но после взлёта руководитель полётов вдруг даёт мне другую зону, и в любимом пятом океане вместо севера я пошёл на юго-запад, забыв напрочь, что внизу на земле есть какие-то там государственные границы, следовые полосы, колючая проволока, овчарки, пограничники и, бляха-муха, никто никому ни пяди. Цель у меня была одна – в яркой солнечной стратосфере добраться до потолка. Когда до него оставалось всего полтора километра, я услышал в наушниках: «672-й, доложите курс». Бросаю взгляд на компас, докладываю: «Курс 100». Через короткое время опять запрос: «672-й, доложите курс». – «Курс 90». – «Прекращайте задание, возвращайтесь на точку». Вот тут в душе появился какой-то холодок: чего вдруг? война что ли началась?.. И только после посадки узнал, что залетел в Иран. Руководитель полётов

показал планшет, где локаторщики красным карандашом на карте вычертили весь мой полёт: от границ аэродрома над Куринской низменностью к Кавказским хребтам, пересечение пограничной реки Аракс, полёт над территорией Ирана и возвращение на аэродром.

– Молись Богу, чтоб не было ноты. Иначе нам несдобровать, – сказал руководитель полётов.

Ну а лётчики даже посмеивались:

– Никита, хотел удрать к шахине Сорей?

Локаторы с той стороны наверняка засекли, что советский истребитель углубился на иранскую территорию на двадцать пять километров и пробыл там три минуты. Однако нота не пришла. По нашим соображениям, потому, что где-то меньше месяца назад, возвращаясь после встречи с Хрущёвым из Москвы, шах-ин-шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви и его жена красавица шахиня Сорейя приземлились на военном аэродроме в Насосной; гостеприимный секретарь ЦК Азербайджана показал высоким гостям роскошный город Баку, были, естественно, концерты и чаепития... Мог ли шах-ин-шах после роскошных приёмов в Москве и Баку поднимать дипломатическую шумиху по поводу нарушения границы каким-то салагой-лейтенантом? С его стороны это было бы даже как-то неприлично.

Не только в авиации, но вообще в армии многое было засекречено. Плакаты гласили: «Болтун, шептун – находка для шпиона». Всякое писание должно быть правильным – таким, как в Уставе! Мне жаль, например, что очень хороший писатель Иван Шульпин, служивший в погранвойсках в Азербайджане, не написал рассказ о наземном нарушении границы, в чём-то похожем на моё воздушное.

Их погранзаезда находилась на берегу реки Астара, по другую сторону – Иран. Так вот к майору – начальнику заставы – жена приехала с новорожденным малышом, которого надо было кормить молоком, и он купил корову. Паслась она возле берега, где была хорошая трава. Однажды кол, к которому она была привязана, выдернулся, и корова перешла на другой берег, где трава была ещё лучше. Увидевший это солдат доложил начальнику заставы: ваша корова, дескать, нарушила государственную границу. Майор подошёл к речке, снял сапоги, засучил штанины га-лифе, перешёл мелководную речку, взял корову за верёвку и вернул из заграницы. И только он обулся, с той стороны появляются два иранских пограничника. Один снимает с плеча автомат, прикладывает его к плечу и, шутки ради, целится в майора: я, мол, имел полное право тебя застрелить. Русский офицер, буквально взбешённый таким поведением солдат, быстро скидывает сапоги, переходит речку и начинает орать, размахивая у них перед носами кулаком. Оба иранца стояли перед нашим босоногим офицером, вытянувшись в струнку...

Никакой ноты по дипломатической линии по поводу пограничного инцидента, как и у меня, не было, однако кто-то из своих нафискалил «наверх», и майора с женой, ребёнком и коровой куда-то убрали с пограничной заставы.

У Ивана Шульпина этот великолепный житейский факт из-за страха, думаю, перед цензурой не стал, к сожалению, достоянием его литературной прозы. У меня же из-за неспособности выдумывать, фантазировать, все факты из жизни перекочевали в книги. Это рассказы в первой моей книге «Цвет неба», это правдивый рассказ о детстве во «Времени возвращений», это авиация в «Голубом карантине», опубликованном в «Новом мире», это роман «И бог и подданный»... Жизнь даёт писателю массу интересных фактов, нужно только их увидеть глазами художника.

Михаил БАРУ

ОТПЕЧАТОК НОГИ ИВАНА ГРОЗНОГО

От Москвы до Болхова на машине часов пять или шесть езды по трем областям – Московской, Тульской и Орловской. Сначала по Симферопольскому шоссе мимо Серпухова и Тулы, а потом дорога поворачивает на Одоев, Белев и приходит в Болхов. Читатель ждет уж рифм ямы, трещины, заплата на заплате... Не дождется – дороги хорошие до самого Болхова. Я ехал в январе – так они еще и песком были посыпаны. Как ни старайся, а придаться не к чему. Случись бы мне попасть на прием к Орловскому губернатору, так я бы ему так прямо и сказал словами Павла Ивановича Чичикова, что «в его губернию въезжаешь как в рай, дороги везде бархатные, и что те правительства, которые назначают мудрых сановников...» Впрочем, главе города Болхов я бы уже этого не сказал, хотя бы меня об этом и упрасивали – дороги и особенно тротуары даже на главной улице Ленина давно не чищены, обледенели и вовсе не посыпаны песком. Ходить по ним можно только держась за стены домов и помогая себе такими словами, которые не только при главе города, а и про себя говорить неприлично.

Бог с ними, с тротуарами. Можно подумать, что они в одном Болхове и не чищены. Обратимся лучше к временам почти доисторическим, когда про Болхов еще можно было сказать «вас здесь не стояло», а на его месте стояли дремучие леса, в которых росли еще не рождественские, а языческие елки и из кустов глазами страшными глядели совсем не игрушечные волки, медведи, кабаны, а по веткам и стволам стремительно бегали горностаи. Люди, жившие в этих лесах, назывались вятичами. Пришли они сюда с берегов Буга не позднее восьмого века нашей эры. Вятичи жили наособицу – с другими славянскими племенами не дружили. Да и нужды особой не было – зверя, рыбы, грибов и ягод достаточно, а не хочешь заниматься охотой и собирательством – занимайся подсечно-огневым земледелием, руби лес, выкорчевывай пни, заводи деревянные сохи и потом чеши в затылке да удивляйся, куда пропали горностаи, куницы и кабаны с оленями, не говоря о диких пчелах с их медом.

Впрочем, вятичам чесать в затылках было некогда – уже с девятого века их вольной и свободной жизни пришел конец. Стали они платить дань хазарам. По горностаю и белке от каждого дома, как писал в девятнадцатом веке орловский историк-краевед Гавриил Михайлович Пясецкий. За хазарами пришли киевские князья – сначала Святослав Игоревич, а потом и Владимир Святославович. Ни хазарам, ни киевским князьям вятичи, как можно легко догадаться, рады не были. Даниками числились, но все остальное... Оставались язычниками еще очень долго. Судя по раскопкам курганов вятичей в Орловской области, еще в начале двенадцатого века христианами из них были не более четырех процентов. Только в середине двенадцатого века, когда в этих местах поселяются члены семей черниговских и северских князей, а вместе с ними приходят и первые христианские священники, мало-помалу начинается и христианизация этих мест. Язычество, однако, своих позиций не сдавало, и его очаги, что называется, тлели до конца пятнадцатого века. Стоило только завестись князьям, тотчас же завелись и княжества, одним из которых было Карачевское со столицей в городе Карачеве, а недалеко от Карачева, буквально в полусотне верст или, по-нынешнему, в сотне километров находился... Вот тут мы вступаем на зыбкую почву предположений и гипотез. Здесь дорога даже не раздваивается – она распадается на несколько тропинок.

По одной тропинке вслед за известным русским историком Костомаровым идут те, кто считает, что никакого Болхова до середины шестнадцатого века не существовало и город, вернее, крепость, была заложена по приказу Ивана Грозного в 1556 году и... все, и нечего тут наводить тень на плетень. По другой тропинке идут те, кто считает, что Болхов был, но был в Подолии, на территории современной Житомирской области, назывался Болоховым и был центром так называемой Болоховской земли, о которой несколько раз упоминается в Галицко-Волынской летописи. По третьей тропинке шагают те, кто вслед за не менее известным русским историком Татищевым считает, что Болхов существовал на территории Карачевского княжества, когда еще и никаких княжеств не было, основали его сарматы в начале первого тысячелетия нашей эры и назывался он Девягорском. То есть как он назывался у сарматов, неизвестно, но к двенадцатому веку его звали Девягорск, поскольку под таким именем он упомянут в летописях. Да и расположен он на высоком холмистом берегу реки Нугрь. Холмы, конечно, не горы, но... Одним словом, Девягорск.

Василий Никитич свою фантазию не стеснял, и любил, в отличие от Ньютона, измышлять гипотезы подчас и не подкрепленные никакими документами, но, как говорят сторонники девягорской гипотезы, отец русской историографии мог работать с не дошедшими до нашего времени источниками, например, с библиотекой Ивана Грозного и потому отвергать с порога существование Девягорска все же не стоит, и мы этого делать не станем, поскольку с Девягорском все куда интереснее, чем без него. Безусловно, кабы на территории нынешнего Болхова проводились археологические раскопки, то они могли бы пролить свет на прошлое города и в конце концов помочь определиться – существовал Девягорск на самом деле или нет, но раскопок не проводилось, и когда они будут... Обогнем вопрос с раскопками и пойдем дальше по третьей тропинке. В Ипатьевской летописи под 1147 годом сказано: «Святослав же приде к Дедославлю... В то же время посадники Володимери и Изяслави, выбегоша из Вятчи, и из Дебряньска, и из Мченъска, и из Облове. Святослав же оттуда иде Девягорску, и зая все Вятичи и до Бряньска, и до Воробиины по Десне, и Домагощъ и Мченеск». Понятно, что и Брянск, и Мценск и земля вятичей никак не могли находиться в Житомирской области, а значит и Девягорск... Вот вам и летописное подтверждение гипотезы Татищева, пусть и косвенное. Кроме того, Девягорск был упомянут в документе пятнадцатого-шестнадцатого веков под названием «Список городов дальних и ближних». Правда, он там записан литовским городом, но это уж к нашему делу не относится.

С другой стороны, сам Карамзин в примечаниях ко второму тому своей «Истории государства российского», после того как цитирует Ипатьевскую летопись, в которой упоминается Девягорск, пишет: «имена городов, напечатанные здесь косыми буквами, теперь совсем неизвестны. Некоторые из них, Облове и Девягорск...».

Есть еще и четвертая тропинка. Если пойти по ней, то можно прийти к... раскопкам, но уже в Тульской области и к еще одному Девягорску, расположенному возле города Чекалин. От него до Болхова всего девяносто километров. Так вот в тульском Девягорске, расположенном на левом берегу Оки, в 2011 году вела раскопки тульская археологическая экспедиция, обнаружившая остатки сгоревшей крепости двенадцатого века, следы посада, кладбища, рукоять ножа, веретена, погребение семи человек, которые предположительно погибли во время штурма города. Шесть тульских археологов написали по материалам раскопок ученую статью под научным названием «Локализация летописного Девягорска по письменным и археологическим источникам». В статье на четыре с лишним десятка страниц, среди текста, многочисленных фотографий, рисунков и таблиц я не нашел ни одного упоминания Болхова. То есть буквы, составляющие это слово, встречаются поодиночке неоднократно, но чтобы вместе...

Вот так. А как красиво все начиналось... Забыл сказать, что по той гипотезе, которая помещает Девягорск на место современного Болхова, в двести тридцать седьмом году под стены города приходит со своим войском Батый, разозленный семинедельной осадой неуступчивого Козельска. Приходит по дороге, которую, как писал орловский историк-краевед девятнадцатого века Гаври-

ил Михайлович Пясецкий, с тех самых пор в народе зовут Свиной. «Из преданий, сохранившихся в народе о Свиных дорогах, достовернейшее то, что оне проложены Татарами; почему и получили настоящее свое, презрительное для Магометан, название». По мнению Пясецкого, болховская, то есть девягорская крепость контролировала участок Свиной дороги от Рыльска до Козельска... Впрочем, все это уже не имеет никакого значения, раз Деягорск находился в девяноста километрах от нынешнего Болхова.

Теперь, полагаю, мы можем с чистой совестью пролистать триста с небольшим лет и перейти в пятьсот пятьдесят шестой год – год основания Болхова. Впрочем, задержимся на минуту. Орловские историки и краеведы позапрошлого и прошлого веков, еще не зная о том, где находился настоящий Деягорск, писали, что после разорения Батыем тот, воображаемый ими Деягорск, существовавший на месте современного Болхова, был уцелевшими местными жителями покинут и на триста девятнадцать лет о городе под названием... под каким хотите названием, под таким и не было, как говорится, ни слуху ни духу. Из летописей он тоже пропал. Зато крымские татары никуда не пропадали, и жизни от них не было совершенно никакой. С пятьсот одиннадцатого года по пятьсот двадцатый набегали они на южные границы Московского государства четырнадцать раз. Без малого по два раза в год. Редкий год не приходили всю первую половину шестнадцатого века. Удивительно, как русские крестьяне успевали восстанавливать свои разоренные хозяйства, чтобы новым грабителям было чем поживиться. И это при том, что крымские татары забирали себе не только зерно, скот, меха и все, что можно унести, но еще и тех, кого можно увести для продажи на невольничьих рынках Крыма.

Это было время, когда пограничные крепости на южных рубежах Московского государства росли как грибы после дождя. Болховская крепость и была одной из таких крепостей. Почему ее так назвали? Тут, слава Богу, не так много версий. В том месте, где поставили крепость, в реку Нугрь впадают две маленьких речки, почти ручьи – одна из них называется Клечетня, а вторая Болховка. По реке и назвали. Есть и более затейливая версия, по которой Болхов, тогда еще Деягорск (не тот Деягорск, до которого докопались тульские археологи, а другой, который существовал в воображении Татищева), в конце тринадцатого века стал столицей очень маленького Болховского княжества, входившего, в свою очередь, в просто маленькое Карачевское княжество, а оно в начале четырнадцатого века разделилось на два удела – Козельский и Звенигородский. Так вот Деягорск или Болхов сначала входил в Звенигородский удел, а потом достался младшему сыну князя Адриана Звенигородского Ивану по прозвищу Болх, ставшему родоначальником князей Болховских. Черт ногу сломит в близкородственных отношениях этих карманных княжеств с их князьями, и потому мы будем придерживаться первой, самой простой версии, к которой ни у историков, ни у археологов нет никаких претензий.

Крепость была самой обычной, можно сказать, типовой – двойные дубовые стены, между которыми засыпались земля и камни, земляной вал по периметру, башни, на стенах и в башнях пушки и пищали. К пушкам и пищалам прилагались пушкарки, стрельцы, городовые казаки, воротники и разного рода служилые люди. Был еще посад, в котором жили ремесленники, купцы и крестьяне, но гражданского населения в Болхове было раза в три меньше, чем военного. В разрядной книге под пятьсот пятьдесят пятым годом упоминается, что «город делал Григорий Иванов сын Нагово». Воеводой в еще строящейся крепости был Михаил Петрович Репнин. В Болховском краеведческом музее сохранился фрагмент бревна, датированный предположительно второй половиной семнадцатого века и найденный в восьмидесятих годах прошлого века на улице Ленина буквально в квартале или в двух от того места, где стояла первая Болховская крепость. Конечно, вторая половина семнадцатого века – это не вторая половина шестнадцатого, но невооруженным взглядом этого не увидеть, а что написано на маленькой табличке с пояснительным текстом, сразу и не рассмотришь. Скорее всего, это фрагмент того бревна, которым ремонтировали ту самую крепость, которую возвели при Иване Четвертом. Может он откатился, когда крепость обветшала... Чуть ниже этого фрагмента прикреплен к стене еще один фрагмент другого бревна с от-

верстием внутри. На табличке написано, что это фрагмент водопровода девятнадцатого века, но издали он смотрится как родной брат первого фрагмента.

Не будем, однако, отвлекаться на фрагменты. Уже в пятьсот пятьдесят шестом году Болхов приступил к несению военной службы. Служба эта не была легкой. Через шесть лет к его стенам подступил крымский хан Девлет-Гирей с пятнадцатитысячным войском. Не поздоровилось тогда Болхову. В октябре пятьсот шестьдесят пятого года, Девлет-Гирей снова пришел, и гарнизону крепости пришлось выдержать двухнедельную осаду. Обороной Болхова руководили воеводы Иван Золотой и Василий Кашин, и город не сдали, а сам Девлет-Гирей, узнав, что на помощь осажденным идут подкрепления из Москвы, осаду снял и ретировался. Через год после этой осады в Болхов приехал сам Иван Грозный с инспекцией¹. Наверняка воеводы просили усилить гарнизон, дать побольше пушек, пищалей, ядер, пороху и всего того, что обычно просят воеводы приграничных крепостей у начальства. Наверняка царь сократил количество просимых пушек вдвое, ядра приказал лить самим, пороху не дал вовсе и велел воевать не числом, а умением. Словом, вел себя так, как обычно ведут себя цари с воеводами приграничных крепостей.

Потом Иван Грозный укатил в Москву, а крымские татары что ни год набежали и набегали на Болхов, Белев, Одоев и так до самой Москвы со всеми остановками, пока не началось Смутное время. Тут количество набегающих и желающих поживиться чужим добром увеличилось в несколько раз, и маленький Болхов отбивался от них изо всех сил. Только раз болховчане по своей воле открыли городские ворота. Случилось это в шестьсот шестом году, когда в город вступило войско Ивана Болотникова после победы над войсками Василия Шуйского под Кромами. Через два года к Болхову, в окрестностях которого стояли пять полков русского царя под водительством воевод Дмитрия Шуйского и Василия Голицына, подошла из Орла армия Лжедмитрия II под командой гетмана Рожинского. У поляков сил было ровно в два с половиной раза меньше, но... нерешительность и бесталанность русских воевод, перебежчик Лихарев, рассказавший Рожинскому о том, какими силами располагает его противник, о расположении полков, о том, с какой неохотой воюют правительственные войска за Василия Шуйского, и военная хитрость Рожинского помогли войску Самозванца разгромить наголову царских воевод. Шуйский, испугавшись наступления, как ему казалось, очень большого неприятельского войска, решил отвести и спрятать артиллерию за стенами Болхова. Поляки перешли в наступление и преследовали остатки армии Шуйского на протяжении двадцати пяти верст. В Болхове приготовился к осаде пятидесятитысячный отряд во главе с воеводой Третьяком Сеитовым, но после артобстрела крепости, который стали вести из захваченных у Шуйского пушек войска Лжедмитрия, деморализованный видом бегущих с поля боя русских полков гарнизон решил сдаться, целовать крест Самозванцу и пойти вместе с его армией на Москву. Как писал Карамзин в последнем, двенадцатом томе своей «Истории государства Российского»: «беглецы, оправдывая себя, в рассказах своих умножали силы Самозванца, число Ляхов, Козаков и Российских изменников; даже уверяли, что сей второй Лжедмитрий есть один человек с первым; что они узнали его в битве по храбрости еще более, нежели по лицу». Шел болховский отряд хоть и вместе с войском Самозванца, но отдельно, под командой князя Сеитова. Недолго продолжался этот совместный поход: «удостоверенные, что Самозванец есть подлый злодей, они ушли от него с берегов Оки в Москву, извиняясь минутным страхом и неволею».

На этом бедствия Болхова во время Смуты не закончились. Пришлось Болхову, как и другим окраинным городам, уже после смерти Тушинского вора еще и польскому королевичу Владиславу присягать. Надеялись на то, что это уберет их от разбоя и грабежа со стороны поляков и казаков. Зря надеялись. Отряд пана Запройского Болхов разграбил и сжег. В четырнадцатом году приходили поляки и литовцы. В начале июня приходили под командой Мартина Казановского. Дважды неудачно штурмовали город и ушли по направлению к Козельску. Не прошло и месяца, как появились другие, которыми командовал полковник Юстиниан Лисовский, младший брат знаменитого Александра Лисовского. Воевода Степан Татищев сообщал в Москву: «приходили под Болхов литовские люди, полковник Устинко Лисовской да Ивашка Шеверда... и, слезчи с ло-

шадей и разделяясь, приступали к Болхову всеми людьми жестокими приступы в девяти местах, и бились об остроге съёмным ручным боем по всю ночь». Штурм отразили, но в тот же день, ближе к вечеру, Лисовский снова повел своих казаков на приступ и... снова Болхов устоял. И в третий раз, уже в третьем часу ночи, пошли разбойники в атаку, но тут удача повернулась к ним спиной. Атамана казаков Ивана Шеверду взяли в плен, а «литовских людей многих побили и языки поимали и переранили... и знамёна поимали и знаменщика убили». Лисовский в четвертый раз штурмовать Болхов не стал и увел своих казаков. Правда, они все же успели разграбить болховский посад и Оптиный монастырь, но долго не задерживались, поскольку стало им известно, что на помощь стольнику Степану Волинскому, командовавшему гарнизоном крепости, из Белева идет Дмитрий Пожарский.

В конце лета пятнадцатого года поляки и литовцы, приведенные Лисовским, трижды штурмовали Болхов и трижды болховский гарнизон под командой воеводы Степана Волинского² отражал эти атаки. В документах Разрядного приказа о походе Лисовского было записано: «Волинской и дворяне, и дети боярские, и стрельцы, и казаки, и всякие служилые и жилецкие люди... от Лисовского и от польских и литовских людей отсиделись и многих полских и литовских людей побили».

Еще через год поляки и литовцы, у которых, видимо, кончилось награбленное, снова явились. Снова гарнизон крепости под началом воеводы Богдана Вельяминова приготовился к осаде и... тут к нему на помощь подоспели московские воеводы Михаил Дмитриев и Дмитрий Скуратов с пятитысячным отрядом. Поляки отступили к Курску, а Болхов остался залечивать раны, нанесенные ему Смутой. Надо было торопиться это делать, поскольку промежутки между периодами залечиванием ран и нанесением новых у нас бывают очень малы. Иногда их и вовсе не бывает. Заметим в скобках, что набеги крымских татар все эти и последующие годы тоже никто не отменял.

И последнее о Смуте. Никитская слобода, появившаяся в Болхове еще в шестнадцатом веке, называлась по приделу святого великомученика Никиты в тамошней Благовещенской церкви. Располагалась она на западе города. Не жили ли болховчане в этом месте селиться, и жили там в основном ремесленники – кузнецы, гончары и кожевники. Так вот улицы, бывшие в Никитской слободе, местные жители еще в девятнадцатом веке называли «улицами Польши и Литвы», так как чаще всего с Запада приходили те, от которых потом не чаяли избавиться.

Не успел Болхов приступить к залечиванию ран, как в том же шестнадцатом году (в начале которого приходили поляки), в середине августа, дважды приступали к его стенам татары и дважды их от этих стен отгоняли. Мало того, сотня городских казаков настигла татар у реки Рог и отбила сто пленных. В конце сентября удалось отбить у татар еще сто пленных. Тут надобно сказать, что в это время в Болхове всех городских казаков было сто восемнадцать. В ноябре восемнадцатого года пришли литовцы. Болховский воевода Иван Наумов дал им бой в двадцати верстах от города у деревни Нагой и захватил пленных. При этом был убит командир разбойников – ротмистр Рогановский. Через три недели, в первой декаде декабря, снова пришли литовцы. Снова им дали бой под стенами Болхова и отогнали от города. В середине февраля следующего, девятнадцатого года новый набег литовцев. С этими бились на Деевском мосту через реку Нугрь, и мост, не выдержав тяжести, рухнул. Часть литовцев утонула сама, без посторонней помощи, части помогли, а часть взяли в плен вместе с их атаманом – Воленкой Гродцким.

Вот и залечивай тут раны... В шестьсот тридцать первом году, когда по всем нашим историческим документам, научным статьям, диссертациям, приходно-расходным ордерам и накладным Смута уже полтора десятка лет как закончилась и залеченные раны должны были давно зарубцеваться и только иногда ныть к непогоде, болховский воевода Иван Лодыженский писал царю: «Государь, объявилось у меня, холопа твоего, болховских стрельцов 27 человек, 25 человек все с пищали, у двух человек пищалей нет, казаков 67 человек все с пищали и их братья и племянников и сосед и захребетников 57 человек с рогатины, пушкарей и затинщиков 9 человек, посадских людей 52 человека с пищали, 103 человека с рогатины, братьев и племянников и суседей и за-

хребетников 35 человек с рогатины, дворян и детей боярских дворников 10 человек, Болховского уезда крестьян 304 человека». Это был не просто отчет, к которому воевода приложил челобитную болховчан с подробным описанием недостатков городских укреплений, это был крик о помощи, доставленный в Московский разряд стрельцом Ивашкой Киреевым. Больше всего было у болховичей рогатин, но много ли ими навоюешь...

В шестьсот сорок пятом году пришли крымские татары, а еще через пятнадцать лет уже не болховский воевода писал царю, а сам царь Алексей Михайлович писал болховскому воеводе Феодосию Беклемишеву об опасности прихода поляков и татар и приказывал: «жить в Болхове с великим береженьем, денные и ночные сторожи держать крепкие». Можно подумать, что обстановка в Болхове располагала к беззаботности. Крепость между тем от постоянного использования по прямому назначению довольно сильно обветшала и требовала капитального ремонта. Беклемишев отвечал царю, что «...лес ставлен тонок и редок и низок, и острожная насыпь низка: за речкою Болховкою гора выше острогу, с той горы воинские люди из мелкого ружья, из мушкетов и коробинов, в остроге и на обламах людей побьют; а защищать, Государь, острога нечем, пушек в Болхове мало, всего шестнадцать пищалей, и те малы; а пороху, Государь, в Болхове, в твоей государевой казне мало же, всего сто тридцать пуд ручного и пушечного. Да подле острогу старое городище выкинуто, бывал на нем, преж сего рубленый город, а ныне на том городище города и острогу нет... а на том городищи от реки Болховки пристойно сделать вал земляной, и о том о всем преж сего к тебе великому Государю в Пушкарской приказ я, холоп твой, писал многаяжды». Московские власти письмо воеводы и челобитную болховчан без внимания не оставили – город укрепляли дважды: в шестьдесят втором году перед набегом крымских татар и еще через два года перед возможным приходом поляков, которые приходили, но дошли только до Севска, от которого до Болхова две сотни километров с лишним. И вот так почти весь семнадцатый век, по крайней мере, первые три его четверти. Еще в семьдесят девятом году Болхов напоминал военный гарнизон – военных в нем было в три раза больше, чем гражданских.

Собственно о Болхове как о городе сохранилось довольно мало сведений. Сразу после Смуты в нем было всего шесть улиц – Никольская, Большая Пахотная Никольская, Никольская Малая, Рождественская, Пречистенская, Сергеевская и два переулк – Никольский и Рождественский; восемьдесят две лавки, из которых девять пустовало, два десятка кузниц, четыре харчевни и пять столов, на которых местные серебряных дел мастера выносили свой товар по торговым дням. Шестнадцать церквей и два монастыря. Каменных не было. Посадских и бобыльских дворов имелось в Болхове чуть более двух с половиной сотен. Треть из них после Смуты пустовали. Кого-то убили, кто-то решил попытать счастья в другом месте, а кто-то взял нищенскую суму и пошел добывать себе пропитание Христовым именем.

Между этими набегами, наездами и штурмами проезжал через Болхов антиохийский патриарх Макарий. Проезжал два раза – в пятьдесят четвертом году в Москву, а через два года обратно. Вместе с ним ехал его сын – архидиакон Павел Алеппский, оставивший подробные записки об этом путешествии. «Вечером прибыли к берегу реки, по имени *Нухри* (Нугрь), где и остановились. Мы ехали быстрее птицы... и прибыли в большой базар, лежащий на возвышенности, с сильною крепостью в стороне, на вершине горы, называемый Болхов. В нем двадцать церквей и два монастыря: один для монахов, другой для женщин. Мы отстояли обедню в церкви во имя св. Николая и затем, повидавшись с воеводой, выехали за город, где и остановились...». Вот и все, что написал Павел Алеппский о Болхове по пути к Москве. И еще записал архидиакон, уже выехав из города по дороге в Москву: «Начиная от этого Болхова, нам стали встречаться арбы с пленными, которых везли московиты из страны ляхов; тут были только женщины и дети, мужчины же перебиты мечом. Сердца наши разрывались за них. Бог да не даст нам видеть подобное!» На обратном пути, видимо, таких телег с пленными Павлу Алеппскому не встречалось, и потому более всего ему запомнился прием у болховского воеводы и то, что воевода подносил гостям чарки с водкой и вином стоя, в то время как они сидели.

Двадцать церквей в Болхове приходились на тысячу семьсот с небольшим душ населения, считая и служилых людей, и посадских с семьями. Значит, в городе одна церковь приходилась на восемьдесят восемь человек. В Москве к концу семнадцатого века на один храм приходилось две с лишним сотни душ. Вот и выходит, что жители города Болхова по части культовых сооружений могли москвичей заткнуть не только за пояс были почти в два раза богобоязненнее москвичей.

Что касается сильной крепости, то в середине семнадцатого века она имела одиннадцать башен и четверо ворот. Главными были Никольские, и над ними, в дозорной вышке, висел девятипудовый вестовой колокол. У этих ворот находился воеводский двор и приказная изба. Общая длина крепостной стены из врытых вертикально дубовых бревен, составляла девятьсот метров. Высота стены вместе с боевым балконом-обламом составляла шесть метров. В пороховом погребе по описи шестьсот семьдесят восьмого года хранились две с лишним тысячи пушечных ядер, триста шестьдесят ядер к затынным пищалям, почти сто пудов ружейного и пушечного пороха. Восемь десятков исправных мушкетов и семнадцать неисправных и полторы с лишним сотни берендеек – ремней с подвешенными зарядами, которые стрельцы носили через плечо. Пушек было всего ничего – семь медных и одиннадцать железных. Еще девять затынных пищалей. Еще недавно, при воеводе Беклемишеве, и пороха и пищалей было больше. Крепость от площади перед ней отделял ров глубиной девять метров, укрепленный по краю деревянными ежами. Внутри крепости было, как и во всех крепостях, тесно – одних только церквей стояло шесть, а еще пороховой погреб, таможенная изба, соляной и хлебный амбары, колодец, кабаки, кладбища при церквях и поповские дома.

Проезжавший в семьсот одиннадцатом году через Болхов другой священник – Иоанн Лукьянов – рассмотрел Болхов внимательнее, чем Павел Алеппский, но прежде чем мы расстанемся с семнадцатым веком и перейдем в восемнадцатый, скажем об Иване Ивановиче Ржевском, воеводе, родившемся в Болхове в шестьсот пятнадцатом году. В Болхове Иван Иванович прожил первые пятнадцать лет своей жизни, а потом... всю жизнь воеводой – в городах Малороссии, в далеком сибирском Енисейске, в Великом Устюге, в Нежине и осадным воеводой в Киеве. В те времена воеводы больше года в одном месте не служили. Власти полагали, и не без основания, что среднестатистический воевода к концу первого года вступает в преступную связь с местными, как сейчас сказали бы, элитами и начинает воровать и брать взятки. Зная это правило, жители города Нежина написали челобитную Алексею Михайловичу, в которой просили оставить у них воеводой Ржевского потому, что он «человек добрый, живет с ними Бога боясь, никаких бед, разоренья и воровства не допускает». Одной этой фразы из челобитной достаточно для того, чтобы поставить памятник Ивану Ивановичу хоть в Нежине, хоть на родине в Болхове, хоть в любом нашем городе, чтобы нынешние воеводы... Впрочем, это уже маниловщина.

Прослужил Ржевский в Нежине целых пять лет и уехал в Великий Устюг. После его отъезда нежинский протопоп Симеон Адамович писал в Москву ближнему боярину Артамену Матвееву: «Присылайте воеводой в Нежин доброго человека... давайте нам такого, как Иван Иванович Ржевский: и последний бы с ним теперь за великого государя рад был умереть». Иван Иванович похоронен в Болхове, в Спасо-Преображенском соборе. До Ржевского собор был деревянным. На его средства в шестьсот семьдесят первом году возвели каменный. Через сто семьдесят лет этот собор разобрали и построили на его месте новый – больше и краше. Самое удивительное, что несмотря на перестройку сохранилась надгробная плита над могилой Ржевского, вмурованная в один из столпов нижнего яруса двухэтажного собора³.

На этом история об Иване Ивановиче Ржевском должна была бы кончиться, но она продолжилась. У Ивана Ивановича было четверо детей – трое сыновей и дочь. Сыновья, понятное дело, все воеводы. Они и появлялись на свет с криком «Ура!», уже в кольчугах молочной спелости и с крошечными шпорами на розовых пятках. У одного из них, Алексея, родился сын Юрий Алексеевич, но уже не воевода и окольничий, как можно было бы подумать, а капитан-поручик, вице-губернатор Нижнего Новгорода и действительный статский советник. У Юрия Алексеевича

родилась дочь, Сарра Юрьевна, которая вышла замуж за Алексея Федоровича Пушкина и в свою очередь родила дочь Марию Алексеевну Пушкину (Ганнибал), родившую в свою очередь дочь Надежду, а Надежда подарила нам всем наше все – Александра Сергеевича Пушкина, и тогда Мария Алексеевна стала бабушкой нашего всего, а Сарра Юрьевна – прабабушкой, а Юрий Алексеевич Ржевский прапрадедушкой, а... воевода и окольничий Иван Иванович Ржевский блинами не торговал, царских сапогов не ваксил, но был убит при осаде Чигирина турецкой гранатой. В Болхове есть еще и улицы Большая Ржевская и Малая Ржевская, и я бы с удовольствием написал, что собор находится на одной из них, но... нет. Он стоит на улице Красная Гора, что не так уж и плохо, если вдуматься. Обычно-то у нас соборы стоят то на площадях Ленина, то на улицах Свердлова или Ворошилова, а то и на перекрестках улиц Розы Люксембург и Клары Цеткин.

Вот теперь вернемся к запискам священника московской церкви Покрова Пресвятой Богородицы Иоанна Лукьянова, проезжавшего через Болхов в семьсот первом году по пути в Иерусалим. В написанных им путевых заметках под названием «Хождение в Святую землю» читаем: «Град Болхов стоит на реке на Угре на левой стороне на горах красовито. Город древняной, ветх уже; церквей каменных от малой части; монастырь хорош, от града якобы поприще; рядов много, площадь торговая хороша; хлеба много бывает, а дровами скудно сильно...». Обычно на этом самом месте болховские краеведы, пишущие о родном городе, цитату обрывают и рассказывают о том, как обветшали крепостные стены, как проходила торговля хлебом, про множество красивых церквей, а у цитаты между тем есть и окончание: «...Люди в нем невежи, искусу нет ни у мужеска полу, ни у женска, не как Калуга или Белев, своя мера, дулепы». Обидные слова. В примечаниях к запискам Иоанна Лукьянова, напечатанных в восемьсот шестьдесят третьем году в журнале «Русский архив», написано, что «Дулёбый во Владимирской и Рязанской губ. значит косой, разноглазый». Иоанн Лукьянов был, наверное, очень остроглаз, поскольку пробыл он в Болхове всего день и успел заметить очень многое, включая отсутствие вкуса у жителей обоего пола и космогласие. И еще в примечаниях добавлено, что странное это прилагательное могло происходить от самоназвания славянского племени, жившего в этих местах в раннем Средневековье. Да хоть в позднем. Все равно обидно, тем более что Лукьянов о жителях соседнего Белева написал: «В Белеве люди зело доброхотны, люд зело здоров и румян, мужеск пол и женск зело крупен и поклончив». Лицо духовное, а туда же – «женск пол крупен и поклончив».

Ну, да Бог с ним, с Лукьяновым. Вот царь Петр никаких записок о Болхове, куда приезжал с сыном в семьсот шестом году, не оставил, а просто осмотрел пришедшую в негодность крепость и приказал снять с нее все пушки. Посмотрел царь и Спасо-Преображенский монастырь. Побывал в мужском Оптином монастыре и распорядился устроить в Болхове архимандрию. Архимандрия эта должна была стать сладкой оболочкой на горькой пилюле. За четыре года до посещения Болхова Петр Алексеевич, по причине вечной нехватки денег на военные расходы, распорядился у этого же монастыря отобрать принадлежащие ему мельницы и передать их в ведение болховского магистрата, а за год до своего приезда отправил в Болхов боярину и полковнику Денису Мартыновичу Юрасовскому царскую грамоту: «Как к тебе ся Наша, Великого Государя грамота придет и ты бы в тамошних водах, в реках и в прудах, велел ловить рыбу всяких родов и велел сажать в сатки, чтоб к Нашему В. Г. пришествию в Болхов живой всякой рыбы было б с удовольствием. И про улов той рыбы объявлял и подавал уловные росписи о том к нам В. Г., а отписку велел подать в приказе Большаго дворца боярину нашему Тихону Никитичю Стрешневу с товарищи, а буде поставишь указ Наш себе в оплошку, быть тебе в великой апале; да на тебе ж доправлена будет пеня знатная». Можно подумать, что они там в Москве рыбы свежей не видели.

Правду говоря, Петра Алексеевича более всего интересовали не рыба и не храмы, а бурно развивавшееся в Болхове кожевенное производство. Обувь, рукавицы и кожаная конская сбруя, выделанные болховскими мастерами, расходились в различные малороссийские города и города европейской части Российской империи. Петр Первый любил вмешиваться во все дела. Кожевенное исключением не было. Императора, понятное дело, интересовали солдатские сапоги,

а не бальные туфли. В семьсот девятнадцатом году из Москвы по его указу прислали в Болхов мастеров, чтобы те обучали их передовому московскому опыту. Мастера и приехали, о чем свидетельствует документ, написанный фискалами Свенской ярмарки⁴ киевскому губернатору: «...Да в прошлом же 719 году присланы в Болхов из Москвы от господина Нелединского-Мелецкого кожевенные мастера, которым велено учить оных болховских посадских людей означенный товар делать с ворваньем салом, а с дегтем пусть отнюдь не делали...». Надобно сказать, что у болховских мастеров было свое, отличное от предписанного по царскому указу, мнение касательно того, как выделывать кожи, и потому «...оные болховские посадские люди... противностью своею не токмо чтоб по указам обучаться, но и оные мастеров уничтожили и делать не починали, а делают и поныне с дегтем, о чем оные мастера подали к фискальным делам доношение». Вот и прорубай с ними окно в Европу. Вот и заказывай им сапоги для армии. Ты им хоть десять указов пошли, а они все одно будут кожу смазывать дегтем, а не рыбьим жиром.

Видимо, в выделке кож болховские мастера понимали все же больше царя, хоть и был он семи пядей во лбу, а потому еще через год по указу Петра в Болхов направили для обучения мастеров из Севской провинции⁵, хотя... кто его знает. Времена были такие, и царь был такой, что могли и пороть до тех пор, пока мастера этот рыбий жир не только для смазывания кож стали бы употреблять, но и внутрь. Еще и детям давать по столовой ложке каждый день. Так или иначе: «...велено помянутых кожевенных мастеров из Севской провинции послать в Болхов того ради, что в Болхове кожевников с пятьдесят человек. И тем мастерам по прежнему указу, который послан в губернию, против своих контрактов кожевенное дело против заморского образа производить и российский народ обучать на тех же заводах, где болховские кожевники ныне сами про себя делают, и для лучшего и скорого способа будет что понадобится к тем их заводам пристроить по их кожевенных мастеров указанью оным же болховским кожевникам к тем своим на свои деньги для того, что те заводы останутся у них же, кожевников, и на тех заводах делать им кожи и покупать из своих денег и продавать им те кожи от себя по вольною ценою...».

Кабы Петр Алексеевич ограничился только вмешательством в кожевенное дело... В семьсот шестнадцатом году в Болхов, как и во многие другие российские города, кроме Санкт-Петербурга, пришла новая беда. Царь приказал «из всех губерний людей лучших и пожиточных, которые наперед сего бывали у городской ярмарки в головах, в бургомистрах» выслать в новую столицу. Мало ему было плотников, каменщиков, кузнецов и других мастеровых людей, которых сотнями и тысячами забирали в строящийся город. В Болхове приказано было ехать в Петербург не кому-нибудь, а Денису Мартыновичу Юрасовскому, которому к тому времени было уже семьдесят пять лет. Пришлось старику писать царю челобитную, в которой он просил «Ваше Державство для своего царского многолетнего здравия и спокойства от оной высылки меня раба твоего за многие Твои Государевы службы и за старость, и за увечье, и за скудность... освободить». Ну, насчет скудности самому крупному землевладельцу в окрестностях Болхова Юрасовскому было грех жаловаться, да и его заслуги на государственной службе в данном случае были как разотячающим обстоятельством, но от переезда он был освобожден.

Тут самое время сказать, что Болхов, перестав быть крепостью и полностью утерев свое военное значение, не захирел, как многие другие городки в таком положении, не стал жить воспоминаниями о славном боевом прошлом, спиваться, зарастать сорной травой и паутиной. Безработные стрельцы, пушкарки и городовые казаки не просиживали в кабаках целые дни, жалуясь на обстоятельства. Они стали кожевенных дел мастерами, кузнецами, шорниками, сапожниками, пирожниками и плотниками, выделывали кожи, шили обувь, разводили фруктовые сады и пахали землю. Более всего развивалось кожевенное производство. Дешевое сырье покупали в основном в Малороссии. Вода в Нугре очень хорошо умягчала выделяемые кожи, а в окрестностях города имелись необходимые для производства залежи известняка и растения, содержащие дубильные вещества – кора ивы, лозы и дуба.

Академик Василий Федорович Зуев, проезжавший через Болхов в 1781 году, в своих «Путешественных записках» писал, что проживает в городе без малого пять тысяч четыреста душ, что церковей уже двадцать две, из которых четырнадцать каменных, да еще два монастыря, что в мужском монастыре имеется колокольня с часами, что одних только деревянных домов в Болхове около тысячи восьмисот, а каменных купеческих особняков только шесть, что питейных домов шестнадцать, каменных лавок всего три и один соляной амбар. «Жителей, коих по невыгодности к торговле места наиболее причесть должно к хлебопашцам и ремесленникам... Главнейшие их промыслы суть кожевенные и юфтяные и всякая сыромятная работа, также славятся жители вязанием хороших шерстяных чулков, варег и тому подобного, в коих снимают даже в соседних городах подряды». Кстати, скажем и о фруктовых садах. Их в начале восьмидесятых годов восемнадцатого века в Болхове было более четырехсот. Впрочем, тут было разделение – те болховчане, что жили на юге города, в пойме реки Нугрь, выращивали овощи, а те, что на севере и северо-западе, на холмах – разводили сады. По данным Зуева Болхов имел в длину три версты, а в ширину вдвое меньше.

И домов, и садов, и лавок, и питейных домов могло быть куда больше, кабы не страшный пожар летом семсот сорок восьмого года, в котором сгорело то, что осталось к тому времени, от крепости: воеводский двор, девичий монастырь, двенадцать церковей и полторы тысячи обывательских домов. Тем же летом в Орловском уезде был схвачен и препровожден в болховскую уездную канцелярию подозрительный крестьянин Афанасий Коровяков, рассказавший на допросе удивительную историю о том, как он, беглый солдат, пробрался из Москвы, где служил, проселочными тайными дорогами в Польшу. Там, в местечке Ветка, познакомился он с такими же беглыми солдатами и крестьянами. Год Коровяков жил в Польше, а потом был вместе со своими товарищами завербован польскими властями в команду поджигателей. Дали им пороху, серы, кремней и, самое главное, по двести рублей каждому, что по тем временам было огромной суммой. И пошли они, как написано в протоколе допроса «нищим образом» в Россию, где исхитрились сжечь город Глухов и несколько деревень Болховского уезда. В Болховском уезде, в селе Парамонове, жили поджигатели по паспорту, который им выписал земский писарь Егор Иванов за два рубля. У писаря они и жили. Афанасия Коровякова взяли за месяц до большого болховского пожара. Взяли и земского писаря Иванова, но часть поджигателей осталась на свободе. Все же из материалов дела неясно – то ли пожар дело поджигателей, то ли, как обычно, упала свечка или лучина выпала из поставца, загорелись занавески или пакля, а потом ветер разнес горящие угли, но с поджигателями, засланными из Польши, все выглядит куда затейливее, чем без них.

Само собой, что после такого пожара от Болховской крепости ко времени зуевского приезда не осталось ничего: «Укрепления в нем нет никакого кроме одних следов ныне осыпавшегося земляного вала, хотя в древности сказывают была и деревянная крепость». Вот так... В древности, которая и была-то всего полтора столетия назад. И еще о прошлом Болхова: «Что касается до его начала, то неизвестно, когда он и кем построен, а несчастий в разные времена как от набегов Крымских, так и Литвы претерпевал довольно». Заметим, что Василий Федорович Зуев ехал не как праздный турист, а как исследователь, отправленный Российской Академией наук в экспедицию для подробного описания вновь приобретенных земель между Бугом и Днестром, и уж он-то, надо думать, узнавал о прошлом Болхова не только из устных рассказов местных жителей, но и из документов.

Зуев был очень подробным – он в своих записках сообщил даже о том, из чего сделаны ограды в местных монастырях – в женском, заштатном, который находился внутри города, она была деревянной, а в мужском, рядом с городом, каменная. Еще и ворота железные. Пересчитал он и монахов с монахинями – в женском всего девять вместе с настоятельницей и пятьдесят восемь послушниц, живущих на своем содержании, а в мужском – семь монахов и два послушника. Прочтет об этом современный читатель и подумает – зачем мне знать, сколько жило в болховских

монастырях монахов и монахинь в конце восемнадцатого века, если я и в Болхове ни разу не был... Понятия не имею зачем. Жили они, молились, носили воду из колодцев, запасали дрова, чтобы зимой отапливать кельи, снова молились, снимали нагар со свечей, причащались, латали прохудившиеся подрыски, исповедовались и умерли. Сами придумайте зачем.

Вернемся, однако, в Болхов. Военных в последней четверти восемнадцатого века в городе не осталось вовсе, если не считать каких-нибудь будочников и городских. Даже герб, который был дарован Болхову императорским указом, как раз в тот самый год, когда через город проезжал академик Зуев, был мирнее некуда – «в серебряном поле засеянное гречихой поле, означающее изобилие сего плода». Ни тебе мечей, ни стрел, ни пушек с ядрами, ни крепостных башен – только гречиха. С этим гербом и стал Болхов уездным городом и центром Болховского уезда Орловской губернии⁶.

За три года до конца восемнадцатого века в городе было уже двадцать шесть каменных домов, из них дюжина была двухэтажных. Почти все эти дома были купеческими. Деревянных домов и вовсе было больше двух тысяч. По правилам написания краеведческих очерков, за общим количеством домов должна следовать роспись – сколько домов дворянских, сколько купеческих, сколько мешанских, солдатских, разночинцев, домов однодворцев, ямских; за росписью домов – роспись лавок – рыбных, мясных, москательных, мелочных, церковных, из них деревянных, каменных, список приказчиков в смазных сапогах, сидельцев в засаленных фартуках, вихрастых мальчишек на посылках; за лавками идут пивоварни, кузницы, свечные заводы, солодовни, харчевни, кабаки, половые, кухарки... и так до самых маленьких и нищих церковных мышей, но мы перечислять всего этого не будем. Скажем только, что в это же самое время в Болхове было целых сто семь кожевенных заводов и находились они при домах, стоявших вниз по течению реки Нугрь. Скорее всего, заводы эти были маленькие и работали в них чаще всего члены одной семьи и два-три наемных рабочих, но Нугрь они довели, что называется, до ручки, постоянно промывая в реке кожи от дубильных веществ, золы, извести, красителей вроде купороса и сливая в воду все отходы производства.

Век просвещения мимо Болхова не прошел. Болховские градоначальники, понятное дело, как Екатерина Алексеевна с Вольтером не переписывались, но в семьсот тридцать восьмом году решено было церковными властями устроить в городе школу для обучения детей духовенства. На этот счет вышел соответствующий указ. Выйти-то он вышел... только учителей для школы не нашли, и указ остался на бумаге. Через двадцать четыре года была сделана еще одна попытка. То же ведомство решило устроить такую же школу. Снова вышел указ, архиепископ Крутицкий Амвросий выделил триста рублей, собрали деньги с местного духовенства, купили дом помещика Петра Петровича Апухтина, нужные учебники, назначили учителей и специальным указом приказали болховским городским и уездным священнослужителям своих детей отправлять на обучение. Проработала школа целых два года, а потом начальство про нее забыло. Забыло – это значит перестало выделять деньги на ее содержание. На дрова, на зарплату учителям, на учебники. Дело в том, что Болхов перевели из одной епархии в другую, Московскую, и новое начальство не спешило ни с распоряжениями, ни с указами. Учителя и ученики долго не ждали – разбродились по домам, школу закрыли. Родители учеников не расстроились – домашнее обучение им было куда привычнее и удобнее, чем школьное. И куда бесплатнее.

Еще через двадцать два года в Болхове открыли первую светскую школу и через пять лет, в семьсот восемьдесят девятом году, ее преобразовали в малое городское училище. Было в нем всего два класса – в первом учили чтению, чистописанию, отучали слизывать с листа кляксы, краткому катехизису, священной истории, не реветь, когда тебя таскают за вихры или угощают березовой кашей за невыученный урок или плохое поведение, и первой части арифметики. Во втором классе читали книгу о должностях человека и гражданина, стоять столбом в углу за разговоры, в то время как учитель объясняет урок, зубрили пространнный катехизис, учились писать под диктовку, незаметно списывать и продолжали ненавидеть арифметику.

Одним из первых зрителей училища, организовавший при нем общежитие на пять человек, был помещик болховского уезда Александр Алексеевич Плещеев – поэт, переводчик, композитор и большой друг Василия Андреевича Жуковского. Отец Александра Алексеевича, Алексей Александрович – секунд-майор в отставке, жил неподалеку, в том же самом Болховском уезде, в деревне Знаменское. Стихов он не писал, музыки не сочинял, но в гости к нему и к его жене Анастасии Ивановне не раз и не два приезжал и подолгу гостил их старинный приятель – Николай Михайлович Карамзин. В последнее десятилетие восемнадцатого века Карамзин бывает у Плещеевых в Знаменском почти каждый год и живет месяцами. Вот что он пишет весной девяносто четвертого года в Петербург из Знаменского Ивану Ивановичу Дмитриеву: «Я живу в деревне не скучно и не весело, имею удовольствия и неудовольствия, смеюсь и плачу, езжу верхом и хожу пешком, пишу и за перо не принимаюсь, читаю и не беру книги в руки, сплю и бодрствую, пью мед и ключевую воду...». Увы, Карамзин нам не оставил ни одного описания Болхова, хотя, наверное, и проезжал через него не раз, как проезжают писатели, погруженные в свои веселые или невеселые мысли, думающие о своих сочинениях, о делах сердечных или неизвестно о чем думающие вместо того, чтобы внимательно осмотреть город, пересчитать количество каменных домов, церквей, колоколен, лавок, питейных домов, фонарей, кузниц, кожевенных заводов, городских и все аккуратно записать в свой блокнот. Нет, от писателей, тем более сентиментальных, этого не дождешься. Им подавай Европу, подавай Париж, Дрезден, или Лондон. Кофейни парижские подавай, Булонский лес и увеселительные лондонские вокзалы. Вот обо всем этом можно написать «Письма русского путешественника», а о Болхове, в котором ни кофейен ни вокзалов...

В этом смысле Василий Андреевич Жуковский, приезжавший в гости к сыну Алексея Александровича, Плещееву Александру Алексеевичу, в село Большая Чернь в двадцати километрах к юго-западу от Болхова, ничуть не лучше Карамзина. Еще и хуже, поскольку он поэт и мог бы проезжать через Болхов хоть тысячу раз – все равно в голове у него кроме стихов и Маши Протасовой, в которую он был так несчастливо влюблен, ничего не было. Так что и от Жуковского мы не узнаем ровным счетом никаких экономических подробностей из жизни Болхова и уезда на рубеже двух веков, а между тем в конце восемнадцатого века в уезде изготавливали скатерти, салфетки, полотна и прочную льняную ткань, называемую канифасовой. Болховскую пеньку и конопляное масло, канаты разных сортов, паклю и паклевую пряжу, без которых не обходилось строительство ни одного деревянного дома и ни одного корабля, везли на продажу в Воронеж, Таганрог, Одессу, Харьков, Царицын и на Ростовскую и Урюпинскую ярмарки. Конопляное масло поставляли и в Москву.

Бог с ними, с экономическими подробностями. Оставим их на время. В августе восемьсот двенадцатого года из усадьбы Плещеева Жуковский уходил в Московское ополчение, а в январе четырнадцатого года там же праздновали день рождения жены Плещеева Анны Ивановны и годовщину возвращения Жуковского из армии⁷. У Плещеева имелся собственный театр из крепостных актеров, и при его собственном участии и при участии Жуковского был поставлен «Филоктет» Софокла.

...Свечи трещат, натоплено так, что дышать нечем, у дам руки устали постоянно обмахиваться веерами, слышно как за закрытыми в зал дверями бегают дворня, приготавливая все к ужину, из кухни предательски пахнет жареным луком, а хор, состоящий из Тришек, Палашек, Агафонов и Аксиний, декламирует: «Сладкий Зевса глагол! От златого Пифона что приносишь ты ныне в знаменитые Фивы...»

Раз уж речь зашла о театрах, то не обойтись нам об упоминании еще одного крепостного театра, существовавшего на территории Болховского уезда в селе Сурьянино у помещиков Юрасовских. Богаче Юрасовских в уезде не было никого. Собственно, они и владели почти всеми землями вокруг Болхова. Сами они были выходцами из Литвы, состояли в родстве со Ржевскими, и один из Юрасовских еще при Алексее Михайловиче был пожалован саном Московского боярина, но сейчас не об этом. Алексей Денисович Юрасовский в восемьсот пятом году купил за тридцать

семь тысяч ассигнациями у тамбовской и московской помещицы генеральши Чертковой оптом сорок четыре певца с женами, детишками, с их бабушками и дедушками, нотами, балалайками, рожками, свирелями, жалейками и гуслями. Общим числом почти сто человек. Эти певчие были еще и актерами. В поименном списке отмечалась, к примеру, «отменная, зело способная на всякие антраша тансерка, поведения крайне похвального и окромя всего того, лица весьма приятного».

Театром и балетной труппой управляли братья Алексей и Петр Денисовичи, а их сестра Александра содержала духовный хор, который выступал не только в Сурьянино перед окрестными помещиками, но выезжал на гастроли и в Орел, где пел по разным церквям и у архиерея. Вместо общепринятых тогда певческих кафтанов хористы носили черные испанские плащи. Посреди этого хора выступала иногда и сама помещица с лирой, в древнеримской тоге и лавровым венком на голове. Все хористы были брюнетами, но не натуральными, а крашеными. В Болхове несчастных хористов, как только они там появлялись, дразнили угольщиками. Надо сказать, что хористы в ответ не дразнились в ответ, а сразу засучивали рукава и лезли в драку. По части махать кулаками они были большие мастера и порой устраивали такие побоища, что и полиция их могла с большим трудом утихомирить. Не дураки певчие были и выпить. Пропивали они в болховских кабаках не только наличные, но и свои испанские плащи, сапоги и шляпы. Драться при этом они не переставали. Тут уж пьяных и уставших певчих сажали на съезжую или в холодную, а их барыне полиция сообщала, что хор ее в полном составе в одном исподнем сидит в ожидании дальнейших распоряжений. Юрасовская платье их немедленно выкупала, а самим безобразникам приказывала немедленно отправляться в Оптиный монастырь говеть, раскаиваться в грехах и возвращаться домой только с запиской от настоятеля, что грехи их за полным раскаянием отпущены. Так они и поступали.

Театральная и балетная труппы давали представления в селе Сурьянино. Для обучения крепостных балету Петр Денисович Юрасовский выписал за огромные деньги то ли из Италии, то ли из Франции балетмейстера, некоего Санти. Специально было оговорено, что будущих балерин на репетициях бить нельзя. Петр Денисович временами жил в Москве и за репетициями следил мало, если вообще следил, а Санти... вряд ли у него был переводчик, а сам он русского языка не знал и потому для объяснения вовсю пользовался не только жестами, итальянскими или французскими ругательствами, но и кулаками.

Так или иначе, а в восьмьсот шестнадцатом году премьерный балет под названием «Разбойники Средиземного моря или благодетельный алжирец» был подготовлен. Уездный болховский бомонд был на представлении в полном составе⁸. Все шло хорошо, и прима-балерина, которую звали Нина – девушка красивой наружности и, конечно же, фаворитка Петра Денисовича – была на сцене выше всяких похвал, как вдруг, во время очень трудного пируэта, оступилась и упала на подмостки к ногам стоявших там купидонов, нимф и амуров. Все ахнули и тут же ахнули еще раз, поскольку в этот момент из-за кулис выскочил Санти, из которого, в свою очередь, выскочил настоящий Карабас Барабас с хлыстом в руках и стал полосовать спину оступившейся балерины, ухватив в руку при этом ее распущенную косу. Конец этой сцены был, однако, совсем не таким, как в театре Карабаса Барабаса. Нина сделала пируэт и натренированной на репетициях ногой так ударила Санти, что сломала ему ребро. Санти рухнул замертво. Дали занавес. Среди зрителей нашелся доктор, который стал перевязывать Санти, а Нина в суматохе исчезла, сумела добраться до Москвы и упасть в ноги Петру Денисовичу, жившему в это время в столице. Ее простили, а незадачливого балетмейстера было велено отправить туда, откуда он приехал. С тех самых пор ни в Болховский уезд, ни даже в Орловскую губернию итальянских и французских балетмейстеров никто не выписывал.

На этом самом месте нужно перестать рассказывать о культурной жизни⁹ Болховского уезда и вернуться наконец к болховским кожевенным, свечным, салотопенным и пенькотрепальным заводам, подсчетам деревянных и каменных домов, улиц, фонарей и городских. Так мы и сделаем, только прежде скажем о том, что знаменитая гурьевская каша, не имеющая никакого отношения

к графу Гурьеву, своим происхождением имеет не Петербург и не Москву, а Болховский уезд, и придумал ее рецепт крепостной повар Петра Денисовича Юрасовского Захар Кузьмич Аксенов, купленный у Юрасовского вместе с женой Домной, двумя дочерьми Акулиной и Василисой, сыном Сидором, с женою сына Матреной и малолетним их сыном Карпушкой. Сумма сделки была такой, что в купчей крепости ее решили не указывать, а только написали, что продавец получил с «кавалера графа Гурьева за оную семью крепостных людей ходячею российскою монетою все, что полагается по уговору – все без остатку...» Правда, потом выяснилось, что Захар Аксенов до того, как попасть к Юрасовскому, жил в Москве и учился у французских поваров, так что вполне может статься, что часть ног знаменитой каши растет не из России, а из Франции.

Вот теперь вернемся... Нет, еще не вернемся. Скажем еще несколько слов о проезжающих и уж точно вернемся. В восемьсот семнадцатом году через город, по пути в Киев, проезжал очередной наблюдательный путешественник – князь Иван Михайлович Долгоруков. Записал он в своем дневнике о том, что проиграл хозяйке дома, в котором остановился, и двум болховским барышням в карты восемнадцать рублей, о том, что мужской Тихвинский монастырь под городом богат, что чудотворный образ Тихвинской Богоматери привлекает сюда множество паломников, что братии мало и в «храмах большая нечистота: грачи, под куполом соборной церкви летают свободно, как в рощи, и крик их заглушает иногда голос Диакона», что «Болхов издали – картина; город разбросан по буграм и весь в садах. В нем 11 тысяч душ, населенных без тесноты, на обширном пространстве. Более всего удивило меня в нем то, что конечно четыре пятых частей населения в нем составляет женской пол. На каждого мужчину можно счесть по несколько женщин. Естли не Религия, то натура, конечно, присудила этот город следовать правилу Магометан и соблазняться многоженством». Так ли обстояло дело с женским полом в Болхове в семнадцатом году или Долгоруков все это сочинил, мечтая о многоженстве, поскольку он был по совместительству еще и поэт, а не только тайный советник и Владимирский губернатор в отставке – нам неизвестно. Известно только то, что по официальной статистике в восемьсот тридцать шестом году в Болхове проживало женщин действительно больше, чем мужчин, но вовсе не в четыре раза больше, а всего на полтора процента.

Чтобы уж совсем закончить с проезжающими, упомянем Фонвизина, переночевавшего в семьсот восемьдесят шестом году в доме мещанина Гаврилы Кличина по пути в Вену, Пушкина, проехавшего через Болхов на Кавказ и не остановившегося здесь переночевать, и Барклай-де-Толли, даже не проехавшего, а проскакавшего через город со своими адъютантами в восемьсот семнадцатом году по дороге в Козельск.

Теперь, наконец, о Болхове и его промышленности. В восемьсот двадцать восьмом году местные кожевники получили казенные подряды на поставку кож в армию. Вот тут-то и начался золотой век болховских купцов, торговавших солдатскими сапогами. Каждый год они получали подрядов на суммы от восьмисот тысяч до полутора миллионов рублей. Крупнейшими заводчиками в Болхове середины девятнадцатого века были три купца – Клягин, Евдокимов и Петухов. На отходах кожевенного производства поднялось клееварение и выделка войлока. Только отходов шерсти кожевенные заводы Болхова давали более тринадцати тысяч пудов в год. Расцвело производство валенок. На набережной Нугря стали строиться такие особняки...

Казенные подряды, особенно на большие суммы, как известно, могут довести не только до больших особняков, но и до больших неприятностей. Болховские заводчики пустились во все тяжкие, пытались получить не просто прибыли, а сверхприбыли. Стали сдавать кожи не только своей выделки, но и купленные задешево в других городах, худшего качества. Вместо коровьих кож пускали на изготовление сапог конские. Поговаривали даже, что они умудрились под кожу подделывать картон. Все сходило с рук, поскольку армейские интенданты, принимавшие такого качества сапоги... Нет, не зря Наполеон говорил, что любого армейского интенданта можно расстреливать после пяти лет службы. Все сходило с рук, пока не началась Крымская кампания и подметки у солдатских сапог стали отрываться на ходу. В восемьсот шестьдесят четвертом году

в Болхове создали специальную комиссию для приемки кожевенного товара в казну. В тот год общая сумма подряда составляла миллион двести тысяч, из которых на триста тысяч поставлял Клягин, на четверть миллиона Евдокимов, на шестьдесят две тысячи Петухов, а все остальное – заводчики помельче. Четверть всего товара болховских производителей была забракована. Купцы прибегли к известному средству, которое помогает у нас всегда, но... не вышло. Уже и нашли человека в комиссии, который был готов пойти навстречу пожеланиям кожевников, как все выплыло наружу, разразился мировой, в масштабах Болхова, скандал, и взяточник покончил жизнь самоубийством.

Тогда подрядчики вступили, выражаясь современным языком, в картельный сговор и повысили цены, но и тут случился конфуз. Казань и Курск взялись поставить в армию тот же подряд, да еще и за меньшие деньги. В Болхове грянул гром – из шестидесяти кожевенных заводов, на которых работало около семисот рабочих, разорилась ровно половина. Выжили только средние и мелкие предприятия с годовыми оборотами до миллиона рублей. Еще учтем, что за год до описываемых событий в Болхове случился страшный пожар, уничтоживший три сотни домов и несколько десятков кожевенных предприятий. Так что, начиная с шестидесяти четвертого года, о развитой и процветающей кожевенной промышленности в городе можно было говорить разве что в прошедшем времени.

Оставим кожевников и взяточников. В «Историко-статистическом описании городов Орловской губернии» за восемьсот тридцать восьмой год написано, что болховские мещанки ужас как старомодны. В то время как женский пол Орловской губернии en mass уже сменил сарафаны на модные платья и кокошники на повязки, в Болхове все еще носят сарафаны, кафтаны особого кроя и жемчужные сетки на головы, спускающиеся нитями на глаза. И это не все. Девушки на выданье в Болхове не ходили в церкви. По крайней мере, старались не ходить, чтобы не дай Бог не прослыть «Христовыми невестами». И это при том, что церквей в Болхове было больше, чем в любом другом городе Орловской губернии. Вот все те, кто на выданье, в них и старались не заходить. В историко-статистическом описании еще написано, что в Болхове восемьсот тридцать восьмого года проживало почти тринадцать с половиной тысяч человек в восьмидесяти пяти каменных домах и в двух с лишним тысячах деревянных, что работало тридцать восемь кожевенных заводов, но это все материи скучные, и мы о них говорить не будем.

Скажем лучше о храмах, в которые старались не заходить девушки на выданье. В восемьсот сорок первом году старый, скромных размеров, Спасо-Преображенский собор, выстроенный еще на деньги Ивана Ивановича Ржевского, стали ломать и строить новый. Затеял строительство нового на свои же средства церковный староста собора и болховский скотопромышленник Иосиф Дмитриевич Акулов. То есть сначала хотел он пристроить к старому собору престол во имя Печерской Божией Матери, но собор стоял на горе, и пристройка неминуемо сползла бы, а потому, по совету своего свата, тоже болховского купца Филиппа Григорьевича Шестакова, Акулов затеял строительство нового городского собора. Иосиф Дмитриевич обязался по обету всю прибыль от продажи волов отдавать на строительство храма. Мало того, он распорядился, чтобы на рогах продаваемых волов сделать пометки в виде двух букв «Н.Ч.», что означало Николай Чудотворец. С одной стороны, может показаться, что Акулов немного... а с другой, когда партия волов при перегоне останавливалась на кормежку и погонщики владельцам пастбищ рассказывали и про то, что означают две буквы на рогах животных, и про обет, данный болховским купцом, то многие владельцы пастбищ или вовсе отказывались от платы за съеденную траву, или брали куда меньше, чем полагалось по прейскуранту.

Рассказ о строительстве собора нехорошо прерывать статистикой, но мы все же втиснем сюда буквально несколько цифр, касающихся болховских купцов. Как раз через год после начала строительства нового собора, в восемьсот сорок втором году, в Болхове на шестнадцать с лишним тысяч жителей приходилось восемнадцать купцов второй гильдии и почти девятьсот купцов третьей. К купцам пристегнем и ремесленников – почти три сотни сапожников, что неудивительно

при таком развитии кожевенного дела, и полторы сотни кузнецов. К кожевному производству прибавим пенькотрепальное и изготовление разной толщины канатов, веревок и бечевков. Торговали хлебом, вывозили подростков в соседние и украинские города и отдавали их мальчиками на побегушках в различные торговые заведения. Женских промыслов было всего ничего – вязание чулок, кружевоплетение и работы на шерстомоинях.

Вернемся к строительству собора. Акулов не успел его достроить – Иосиф Дмитриевич умер через два года после начала стройки, истратив шестнадцать тысяч рублей своих средств и доведя стены до перемычек окон второго этажа. Горожане доверили достройку храма свату Акулова – Филиппу Шестакову. Тот, со своим помощником Матвеем Поповым, приступил в сорок четвертом году к достройке и уже через два года были освящены все три престола нового собора. Еще через два года Филипп Григорьевич Шестаков заразился холерой и умер. Достраивал собор его сын – Василий Филиппович. Полностью постройка была закончена к восьмьсот пятьдесят первому году.

Одним из тех, кто освящал собор был, позже причисленный к лику святых, архимандрит Макарий (в миру – Михаил Яковлевич Глухарев) – настоятель Болховского Троицкого Рождества Богородицы Оптиного монастыря. О нем нужно сказать особо. Макарий первым в России перевел с древнееврейского на русский Ветхий Завет, а Новый Завет с греческого. Долго и, увы, безуспешно, просил он у церковного начальства разрешения напечатать свои переводы. Написал письмо митрополиту Филарету, в котором доказывал, что переводить Библию нужно с оригинальных языков. Начальство отвечало отказом. Надо сказать, что и Макарий в долгу не остался – в своем ответном слове синодальному начальству наговорил такого, что Св. Синод наложил на него епитимью, «чтобы молитвой с поклонами он очистил свою совесть», освободил его от миссионерской работы, а вместо разрешения отправиться паломником в Иерусалим отправил его настоятелем в Болховский монастырь. Здоровья Макарий был слабого и просил Св. Синод разрешить ему при келье устроить домовую церковь. И в этом ему было отказано. В монастыре он и прожил три последних года своей жизни. Там и похоронен. Перевод его был через полтора десятка лет после его смерти опубликован и затем использован при работе над Синодальным переводом Библии. В двухтысячном году Макария даже канонизировали, а при жизни... При жизни ему все же разрешили отправиться паломником в Иерусалим. Вот только он не успел воспользоваться этим разрешением – заболел и умер.

От просветителя Макария перейдем к просвещению. Тут рассказывать особенно нечего. На ниве просвещения Болхов в первой половине девятнадцатого века не перетрудили. С просвещением дело обстояло из рук вон плохо, но при этом наблюдалось редкое единодушие между гражданами – ученики не хотели учиться, их родители не хотели своих детей отдавать в школы, городские власти не хотели тратить денег на содержание учебных заведений. При малейшей возможности родители за учеников не платили, ученики и учителя мгновенно разбегались по домам. Особенно не любило отдавать учить своих детей болховское мещанство и купечество. К примеру, в восьмьсот одиннадцатом году в Болхове было пятьдесят два ученика. На все двенадцать тысяч жителей города. Из этого количества учеников детей мещан и купцов тридцать шесть. Мягко говоря, немного. Да и те дети, что учились, стремились как можно скорее закончить обучение. С полного одобрения родителей, конечно. Научатся по складам читать, кое-как писать и началам арифметики – и домой не оглядываясь. Каждый год пятая часть учеников бросала школу. Дошло до того, что власти уговаривали родителей не забирать учеников до конца обучения. Пугали их тем, что не окончившим начальный курс будет трудно поступить в высшие учебные заведения, что в случае поступления на государственную службу карьерный рост... Куда там. Нашли чем пугать детей мещан и купцов с планеты Болхов. Какие высшие учебные заведения, какая государственная служба... В восьмьсот тридцать шестом году на весь город было полторы сотни учеников, а еще через шесть лет немногим более двухсот. Пробудил стремление горожан к обучению закон о всеобщей воинской повинности семьдесят четвертого года. Тем, кто имел образование, сокраща-

ли сроки действительной военной службы. Про университеты и говорить нечего – даже тем, кто закончил народные училища, срок службы сокращался на треть. Тут уж болховчане повели своих чад учиться, учиться, и учиться, как завещала им военная реформа графа Милютина. Число учащихся стало неуклонно расти и к началу девяностых годов девятнадцатого века выросло почти в пятнадцать раз. В Болхове появилась даже женская начальная школа. Правда, из тех, кто начинал учиться, заканчивали курс немногие. Даже в девяностых годах девятнадцатого века у мальчиков оканчивало полный школьный курс едва десять процентов от начинающих. У девочек дела обстояли ничуть не лучше. Справедливости ради нужно сказать, что ни Болхов, ни Орловская губерния не были, что называется, из ряда вон в том, что касается народного образования. В соседних и в не очень соседних губерниях дело обстояло ничуть не лучше.

И снова статистика. В памятной книжке Орловской губернии за восемьсот шестидесятый год написано, что в городе проживало почти двадцать тысяч человек. Через сто шестьдесят лет, то есть в наши дни, их проживает без малого одиннадцать. Если же сравнивать население Болховского уезда и Болховского района, то разница получается еще более значительной – в восемьсот шестидесятом году около девяносто пяти тысяч человек, а в две тысячи двадцатом – шестнадцать с половиной. Правда, каменных зданий в Болхове стало куда как больше двух сотен, которые были полтора века назад.

Как раз в то самое время, когда в Болхове проживало двадцать тысяч человек в двухстах каменных домах и в двух тысячах деревянных, когда в городе жили почти девять десятков потомственных дворян и двести с лишним личных, когда одних только священнослужителей в Болхове имелось без малого четыреста, когда каждый десятый житель был военным – вот тогда через город проезжали Фет и Тургенев¹⁰. Не просто проезжали как, скажем, Пушкин по пути на Кавказ или Жуковский по пути к Плещееву, а переночевали в гостинице и наутро прогулялись по городу. Ехали они в соседний с Болховским Жиздринский уезд на охоту, а по пути заехали в село Павлодар в усадьбу знакомых Тургенева Апухтиных. У Николая Федоровича Апухтина и его жены Марии Андреевны был сын... Экскурсовод Болховского краеведческого музея вас истомит, пока доберется до романа Апухтина «Ночи безумные», положенного на музыку Чайковским – сначала расскажет вам о родословной старинного дворянского рода Апухтиных, о генерале и кавалере Александре Петровиче, о сенаторе и предводителе дворянства Орловской губернии Гаврииле Петровиче, о Симбирском и Уфимском генерал-губернаторе генерале Акиме Ивановиче, о поручике и судьбе Болховского уезда Евстигнее Андреевиче, о Федоре Евстигнеевиче, о Николае Федоровиче и, наконец, об Алексее Федоровиче Апухтине – поэте, родившемся в Болхове, где его отец служил уездным судьей. Небольшой, если не сказать маленький, дом, где родился поэт, сохранился. Правда, теперь он с ног до головы обшит сайдингом и совсем не похож на тот, что был в позапрошлом веке. Старушка, которая в нем живет, терпеть не может, когда перед ее домом останавливаются экскурсанты и заглядывают в окна. Что же до села Павлодар, в котором Апухтин провел все свое детство и потом прожил еще два года – с шестьдесят третьего по шестьдесят пятый, числясь старшим чиновником для особых поручений при орловском губернаторе, то оно обезлюдело. Кстати, именно в Павлодар приезжал в шестьдесят третьем году к Апухтину в гости его близкий друг Петр Ильич Чайковский, написавший на стихи Апухтина шесть замечательных романсов. Если сейчас же не написать, что в Болхове памятник Апухтину стоит в самом центре, перед домом детского творчества, напротив главного городского Спасо-Преображенского собора, то болховцы обидятся, но я напишу. Памятник небольшой, но на нем есть все, что у нас полагается быть на памятнике русскому поэту прошлых веков – и гусиное перо, и свеча, и свиток с цитатой из его стихотворения.

От стихов перейдем к прозе. Не к прозе Апухтина, которая, на мой вкус, куда лучше его мажорных и вычурных стихов, а к прозе жизни, то есть к коноплеводству. Оно всегда конкурировало в Болхове с кожевенным производством, а после пожара и потери государственного заказа кожевниками стало основным источником доходов местных жителей.

Конопляные поля в Орловской губернии появились еще при Петре Первом, когда и губернии еще и не было. Флоту и не только ему нужны были канаты, а конопляное масло в те времена заменяло подсолнечное. К середине девятнадцатого века все поля вокруг Болхова были заняты посевами конопли. В городе в шестьдесят восьмом году числилось шестнадцать пенькозаводов и столько же паклетрепальных заведений. Сначала местные промышленники скупали у крестьян коноплю, потом из ее стеблей получали пеньку – грубое лубяное волокно. Каждый год в летний сезон до восьмисот человек из болховских мещан и жителей пригородных слобод, называемых на профессиональном жаргоне трепачами, на пенькозаводах вырабатывали до тридцати пяти тысяч пудов пенькового волокна. Все это богатство отправляли в Петербург, где у болховских пеньковых магнатов имелись собственные склады в порту. Со складов пеньки отправлялась в Европу, где она шла на производство канатов и веревок. Из отходов пенькового производства получалась пакля, из которой делали бечевки разной толщины. Работали на таких, с позволения сказать, заводах, похожих на кустарные артели, целыми семьями. В сутки можно было заработать от тридцати до тридцати пяти копеек. При этом рабочий день мог длиться и до пятнадцати часов в сутки. Не бог весть какие, прямо скажем, деньги, если учесть, что в год в Болхове выпускалось пеньки, пакли и канатов на полтора миллиона рублей. Эта сумма, между прочим, равнялась годовому бюджету всей Орловской губернии. На торговле пенькой и паклей поднялись две болховские купеческие семьи – Турковы и Мерцаловы. Главу семьи Мерцаловых на Промышленной выставке в Москве даже наградили золотой медалью для ношения на Владимирской ленте. В царском указе значилось: «пеньковому фабриканту Алексею Мерцалову за обширное в Болхове производство пеньки для заграничной отпускной торговли...». Экспортная заграничная торговля – это вам не в Воронеж и на Урюпинскую ярмарку пеньку возить.

Раз уж зашла речь о промышленных выставках, скажем и о второй Болховской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке девятьсот десятого года, которую устроило Болховское сельскохозяйственное общество. На ней Болховский женский монастырь получил малую серебряную медаль за представленную бурую корову Светланку шести лет и похвальный лист за детские рукоделия. Конечно, бурая корова Светланка шести лет это вам не четырехмоторный самолет «Илья Муромец», но ведь и Болховский женский монастырь не завод «Руссо-Балт».

Производство пеньки в Болхове и уезде оказалось очень живучим. Его смогли угробить окончательно только в двадцать первом веке, когда о кожевенном производстве уже и думать забыли. Кстати, о кожевенном производстве. О былой славе болховских кожевников напоминает только стоящий в местном краеведческом музее стул, у которого спинка и сиденье обиты тисненой кожей. Затеиливое тиснение выше всяких похвал, что и говорить. Тут тебе и листочки, и ягодки, и стебельки. Не погонись болховские купцы за легкими деньгами, не подделывай они картон под кожу, может быть и сейчас... Ну, да что об этом говорить. Сделанного не воротишь.

На этом разговор о болховской промышленности в девятнадцатом веке можно закончить. Не копаться же в самом деле в производстве кирпича для местных нужд, тележных колес, телег, саней, бочек, плетении корзин, коробов, изготовления шерстяных подпоясков, подпруг, вязании шерстяных чулок, торговле медом, салом и воском.

Перед тем как перейти к рассказу о борцах за народное дело, крестьянских волнениях, первых, вторых и третьих большевиках, скажем и о культуре. Не так чтобы она в Болхове в конце позапрошлого века расцвела¹¹, но в восемьдесят пятом году болховский учитель Хализев открыл библиотеку-читальню. Записалось в нее читателей ровно двадцать семь человек. Про уезд и говорить нечего – по переписи девяносто седьмого года восемьдесят четыре процента населения было неграмотным. Да и в самом Болхове даже в девятьсот тринадцатом году еще семьдесят процентов горожан были неграмотными. И это при том, что население города в девяносто третьем году составило двадцать семь тысяч человек. В это трудно поверить, но уездный Болхов в конце девятнадцатого века был в полтора раза больше тогдашних Архангельска, Вологды и Владимира. В два с половиной раза больше Петрозаводска, больше Новгорода и Пскова. Все эти бесчислен-

ные кожевенные, пенькотрепальные, мыловаренные, клеевые, сально-свечные, табачные и кирпичные заводы, крупорушки, маслобойни, кабаки, городское трехклассное училище, библиотеку-читальню, Спасо-Преображенский собор и еще почти два десятка церквей, Одерскую площадь, на которой продавали старых лошадей живодерам, двухклассное женское приходское училище, кузницы, шорные мастерские, почту, богадельню, тысячи деревянных и сотни каменных домов освещали сто тридцать керосиновых фонарей.

О самих жителях города орловский краевед и писатель Тимофей Афанасьевич Мартемьянов писал в изданной в восьмьсот девяносто шестом году книге «Город Болхов Орловской губернии»: «Вообще, тип болховитянина доброго старого и даже не особенно старого времени не очень-то привлекателен; характерные черты его составляли: “своемерство”, невежество не простое, но горделивое, надменное, щеголявшее жалкой ученостью “на медные гроши”: грубоватость, преувеличенное поклонение, на китайский манер, всему своему, столь же сильное презрение ко всему чужому, не местному... Умственное достоинство типичный болховитянин ценит на “рубли”: “рубль – ум, два рубля – два ума, а три – так совсем разумный человек”, – гласит популярная болховская поговорка. И, замечательно, этот своеобразный “умомер” и доселе распространен в Болхове...».

На рубеже веков в Болхове появились первые революционеры. Немного – всего двое. Одним из них был уроженец Болхова Евгений Алексеевич Преображенский, впоследствии ставший профессиональным революционером, написавшим совместно с Бухариным книгу «Азбука коммунизма», а вторым – еще один уроженец – сын болховского купца Ивана Анисимова. Вот как Преображенский, учившийся тогда в Орловской классической гимназии, описывает свои болховские каникулы: «В нашем городе этим летом единственная революционная ячейка состояла, по-видимому, из меня и моего товарища детства, сына местного купца Ивана Анисимова, впоследствии ставшего меньшевиком, и, кажется, эмигрировавшего вместе с белыми. Мы отправлялись с ним вдвоем за город в наиболее глухие места и выражали наш протест против самодержавия пением “Марсельезы”, но так, чтобы никто, кроме нас, не слышал. Когда мы проходили мимо болховской городской тюрьмы – жалкого старомодного зданьяца, где обычно содержалось десятка два мелких ворюшек и конокрадов, наши мысли уходили к Крестам и Бутырмам, где томились дорогие нам борцы против самодержавного режима».

В конце девятьсот пятого года в Болхове уже была создана группа РСДРП, которую возглавили братья Александр и Николай Черкасовы. У них имелась даже бронзовая печать с гравированной по краю надписью «Российская социал-демократическая рабочая партия», а в центре – «Болховская группа Орловско-Брянского комитета». В следующем году началась агитация на кожевенных заводах, весной девятьсот шестого года в городе начались маевки, по ночам разбрасывали прокламации, а к лету рабочие одного из кожевенных заводов предъявили хозяевам экономические требования. Агитировать на кожевенных заводах было легко. Газета «Орловский вестник» в ноябре пятого года писала об условиях работы кожевников: «Положение нашего рабочего прямо ужасное. Ему приходится работать 17–18 часов в сутки в зловонном нездоровом помещении, лишенном света и воздуха. Зак выделку кож заводчики платят гроши. Большинство работают сдельно, зарабатывая в среднем от двух до трех рублей неделю. Проработав на заводе пять-шесть лет, рабочий получает чахотку. Смело можно утверждать, что из 2000 рабочих 1500 были заражены туберкулезом». Большевики пришли туда, где все к их приходу было подготовлено болховскими кожевенными фабрикантами.

Еще раньше, летом пятого года заволновались и крестьяне в уезде. Уездные помещики стали просить предводителя дворянства прислать казаков для охраны своих имений: «...В этой части уезда неспокойно... Жить стало страшно. Многие укладывают свои вещи, как в пугачевщину, и собираются уезжать из имений». Через год в уезде произошло уже вооруженное столкновение крестьян с полицейским отрядом. Появились первые убитые. Все же властям удалось разгромить первую большевистскую ячейку в Болхове, арестовать и посадить ее активистов, конфисковать гектограф и до начала девятьсот десятого года ячейка перестала существовать.

В болховском краеведческом музее лежит под стеклом фотокопия первой страницы дела, заведенного полицией в тринадцатом году на Николая Никитовича Козырева – одного из самых активных членов болховской ячейки РСДРП. Красиво, с завитушками написанные фамилия, имя и отчество...

И четырех лет не прошло, как кончились завитушки, и в Болхове и уезде началось то, что началось по всей Российской империи, но прежде чем перейти к рассказу об этих событиях, бросим прощальный взгляд на старый Болхов, который, как говорили то ли древние греки, то ли древние римляне, сначала не был, потом был и теперь уже никогда не будет. Нет, мы не будем в десятый или пятнадцатый раз пересчитывать кожевенные или пенькотрепальные заводы, кабаки, библиотеки, крупорушки, кузницы, земские больницы, богадельни и маслобойни. Не скажем и о добровольном пожарном, потребительском и сельскохозяйственном обществах, о замене керосиновых фонарей на газовые, о городском саде с его духовым оркестром и танцами, о синема-тографе «Иллюзион», в котором, грызя подсолнухи, болховичи смотрели «Ключи счастья» или «Оборону Севастополя».

Скажем только о стихотворении Саши Черного, приезжавшего летом девятьсот одиннадцатого года в Болхов. Приезжал он, чтобы встретиться с местным поэтом, Евгением Соколом, с которым состоял в переписке. Лучше бы не приезжал и тогда не написал бы стихотворения «Уездный город Болхов», в котором... которое... Ужас что такое, а не стихотворение. Там и про Одерскую площадь, и про понурых одров, и про пыль, и про боровов, гуляющих по улицам, и про понурых крестьян, и про пустыри, заросшие пыльными репейниками, и про мутные стекла, сквозь которые мерцают божницы, и про мух, и про многочисленные церкви, и про синема-тограф, и про подсолнухи, и про вспухших от сна кожевниц в корсетах, и про облупленные коринфские колонны, поддерживающие кров мещанской богадельни, и про караван тоскующих ворон... В Болхове эти стихи ни один краевед не то что не помнит, а не вспомнит и под пыткой. В книжках о Болхове их нет даже и в примечаниях, но в музее они раньше висели на стене в зале, изображающем купеческую гостиную. Зал остался, но листок со стихами убрали. Экскурсовод сказал мне, что убрали потому, что... убрали и все. Остались только иллюстрации к этому стихотворению – несколько цветных миниатюр на одном листе. На каждой миниатюре – строчка из стихотворения. Висит, прямо скажем, не на самом видном месте, но и ее скорее всего уберут. Посетители задают ненужные вопросы и вообще...

В тот самый год, когда случилось Саше Черному написать свое злосчастное стихотворение, в то же самое лето в городе образовалось Болховское общество распространения телефонов. Оно распространяло телефонную связь и телефонные аппараты в городе и уезде. Членами общества могли быть лица обоего пола, кроме учащихся учебных заведений, несовершеннолетних, состоящих на действительной службе нижних воинских чинов и тех, кто ограничен в правах по суду. У каждого члена общества был один голос, но у тех, кто имел несколько телефонных аппаратов, могло быть два голоса. Были члены действительные, были почетные и были члены соре-внователи, просто уплатившие деньги за установку телефонного аппарата. У этих права голоса не было. «Все члены и лица, пользующиеся телефонным аппаратом, обязаны бережно обращаться с аппаратом и при переговорах соблюдать установленную законом корректность. Нарушители этой корректности подвергаются выговору Правления или исключения из общества с утверждения этого исключения общим собранием». Все исключенные в обязательном порядке свои телефонные аппараты возвращали Обществу. Общество могло быть закрыто или по решению общего собрания, или по распоряжению властей. «О закрытии Общества публикуется в местных Губернских ведомостях и правительственным вестнике и доводится до сведения Министерства Внутренних дел через посредство Орловского губернатора». В шестнадцатом году в Болховском обществе распространения телефонов состояло сто два абонента и решался вопрос об установке нового коммутатора еще на сотню пользователей¹².

Когда общество распространения телефонов приказало долго жить, не было уже ни Министерства Внутренних дел, ни Орловского губернатора, ни правительственного вестника, ни самого правительства.

Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов появились в Болхове еще в марте семнадцатого года. В августе в городе началась забастовка кожевников, а в уезде крестьяне стали захватывать помещичьи земли. Товарищ председателя Союза землевладельцев Болховского уезда отбил телеграмму Временному правительству: «В Болховском, Мценском, Карачевском и Козельском уездах, главным образом, по почину комитетов, начались захваты земли, косят самовольно луга, свозят скошенное сено, снимают рабочих и пленных, назначают невероятно высокие цены на рабочих и поденных, сдают в аренду земли по невероятно высоким ценам на рабочих и поденных, сдают в аренду земли по невероятно низким ценам, производят обыски, отбирают коллекционное и охотничье оружие и вообще глумятся над земельными собственниками. Просим принять энергичные меры к восстановлению порядка». Три прилагательных «невероятные» в одном предложении. Сколько таких телеграмм получало Временное правительство, бывшее не в состоянии принять не только энергичные, но и любые меры даже в Петрограде...

С января восемнадцатого года в Болхове установилась советская власть, и местный Совет избрал девять комиссаров, чтобы проводить решения новой власти в жизнь. Решений провели много и к двадцать пятому году население Болхова сократилось на треть. Появилось три детских дома для беспризорников. В музее от тех времен остались два жетона «Свободная Россия», выпущенные Временным правительством, удостоверение болховского комиссара юстиции Кутузова, черная кожаная куртка с привинченным к ней орденом Красного Знамени, трехлинейка Мосина, ржавый штык, сабля, наган, мандат, выданный гражданину Милютину в том, что он «действительно является чрезвычайно-уполномоченным по проведению ударного двухнедельника по ликвидации неграмотности» в Мыринской волости Болховского уезда, фотография колокольни Георгиевской церкви в момент, когда с нее сбрасывают колокол, опись имущества недоимщика, пулемет Максима, печка «буржуйка» и афиша спектакля «Смерть Иоанна Грозного», сыгранного зимой двадцать четвертого года. Это был бенефис помощника режиссера Беликова и суфлера Преображенского. Играл духовой оркестр, в спектакле участвовала вся труппа в париках и костюмах времен шестнадцатого столетия.

К двадцать восьмому году, когда Болхов стал райцентром Орловского округа Центрально-Черноземной области, жизнь все же стала налаживаться. Ожили кожевенно-обувное и пенькотрепальные производства. Валяли валенки. Валенки, конечно, не самолеты и даже не газонокосилки, но в самолетах зимой по сугробам не походишь, а газонов в Болхове отродясь никто не косил. Появилась плодосушильная промышленность. Тоже, конечно, не бог весть какие нанотехнологии, но в советской триаде «первое, второе и компот» компот из сухофруктов не менее важен, чем народность в формуле «православие, самодержавие, народность». Впрочем, в двадцать восьмом году о последней формуле лучше было не вспоминать.

Газета «Болховская коммуна» в конце сентября тридцать первого года была тревогу из-за того, что сентябрьский план по хлебозаготовкам за две декады выполнен едва на четверть. В связи с этим необходимо: «Большевицким огнем бить по право-оппортунистической практике. Изжить потребительские настроения. Нанести сокрушительный удар кулацко-зажиточной части». Нельзя было допускать «никаких промедлений в выполнении твердых заданий». Кстати, о потребительских настроениях. Один из корреспондентов «Болховской коммуны» в заметке «Кулацкая выдача авансов» сообщал, что в колхозе «Ленинский путь» «выдача продуктовых авансов производится по едокам, а не по трудодням. Инициатор кулацкой выдачи авансов Большов Г.И.». Корреспондент требовал «Прекратить выдачу по едацкому принципу, производя ее исключительно по количеству и качеству труда каждого колхозника». Бедный Большов... досталось ему, наверное, по первое число.

Районные партийные власти, чтобы выполнить план хлебозаготовок, объявили с двадцатого по тридцатого сентября «декаду прорыва выполнения сентябрьского плана хлебозаготовки и окончательной зачистки других заготовок (сенозаготовки, шерстезаготовки, молокозаготовки, яйцезаготовки, птицеводства)»¹³ с тем, чтобы догнать, выполнить и перевыполнить план уже к первому октября. Для этого предлагалось в двухдневный срок «взыскать все твердые задания с кулацко-зажиточной части, привлекая виновных как к административной, так и судебной ответственности». Одновременно с этим отмечалось, что некоторые руководители сельсоветов «Не прекратили еще продолжающуюся преступную дискуссию о невозможности выполнения плана и не организовали по-большевистски выполнение сентябрьского плана хлебозаготовок». Можно не сомневаться, что и председателям сельсоветов досталось ничуть не меньше, а то и больше, чем товарищу Большову Г.И.

Это с одной стороны, а с другой – к началу тридцатых годов в Болхове работало семь городских общеобразовательных школ, построили электростанцию, позволившую осветить не только государственные учреждения, но и часть домов горожан, провели водопровод на окраины города, открыли педучилище, автошколу, медицинскую школу, республиканские курсы киномехаников, школу комбайнеров, дом культуры, библиотеку, кинотеатр и краеведческий музей. Работали четыре артели, производившие швейные, вышивально-строчевые, канатно-веревочные, пенькоткацкие, кожаные, шорно-седельные и войлочные изделия. Животноводство в районе расцвело так, что коров и быков колхозов «Красный пахарь» и «Ленинский путь» допустили к участию на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке тридцать девятого года. Быков Франца Первого, Лотоса, коров Фанду, Малютку, Зорьку и Крошку наградили аттестатами первой степени. Доярка колхоза «Красный пахарь» Александра Казакова даже получила большую золотую медаль ВСХВ за высокие надои. У Крошки и Малютки суточные достигали сорока пяти литров молока. Еще две доярки этого колхоза получили серебряные медали – большую и малую. Помните шестилетнюю корову Светланку, за которую монахини Болховского женского монастыря получили малую серебряную медаль на выставке в Болхове? Куда ей против Фанды, Малютки, Зорьки и Крошки, не говоря о быках Франце Первом и Лотосе. Да и монахини против доярок с большими золотыми и серебряными медалями и аттестатами первой степени...

С третьей стороны, библиотека, гимназия, городское училище, пять начальных, шесть церковно-приходских, восемь школ грамоты и даже кинотеатр, упомянутый в стихотворении Саши Черного, появились в городе еще до эпохи исторического материализма. Существовало общество распространения телефонов с сотней абонентов, после семнадцатого года переставшее быть навсегда. Четырех артелей не имелось, но перебоев в снабжении населения шорно-седельными, канатно-веревочными, пенькоткацкими и войлочными изделиями не наблюдалось ни одного дня – и валенками, и веревками, и конской сбруей жители Болхова были обеспечены. Правда, до октября семнадцатого года в городе не было республиканских курсов киномехаников, автомобильной и медицинской школ, педучилища, школы комбайнеров, четырех артелей и декады прорыва выполнения плана хлебозаготовок. Не было почти четырехсот репрессированных в тридцатые годы жителей и уроженцев Болхова и района, отправленных в лагеря или расстрелянных. Стоило ли из-за курсов киномехаников, пусть и республиканских, школы комбайнеров, автошколы, педучилища, краеведческого музея и декады прорыва выполнения плана устраивать в семнадцатом году все то, что... Из-за декады прорыва выполнения плана точно не стоило.

Немцы вошли в Болхов девятого октября сорок первого года. Вернее, въехали на мотоциклах, на каждом из которых сидело по три солдата в зеленых касках, в зеленых плащ-палатках и с автоматами. Все было как в кино о войне, которое тогда еще не снимали. Город горел. Горели торговые ряды, библиотека, банк, сушильный комбинат, горел Спасо-Преображенский собор, в котором хранилось зерно. Из горящего собора жители уносили в мешках и сумках подгоревшее зерно, из магазинов – хлеб и соль. Уже в начале января сорок второго года началась Болховская наступательная операция. Шла она без малого три месяца до двадцатого

апреля, и командовали ей два генерала – Жуков и Черевиченко, но она успехом не увенчалась. Увенчалась она десятками тысяч убитых, пропавших без вести и взятых в плен. В ноябре сорок второго Болхов стали бомбить и бомбили до тех пор, пока не освободили в конце июля сорок третьего. Окраины города были разрушены. Только центр и сохранился. Сохранилась под стеклом в музее немецкая губная гармоника, немецкая граната на длинной деревянной ручке, немецкий соломенный эрзац-валенки, белая нарукавная повязка жителя деревни Калиновка Болховского района с надписью «Dorf Kalinowka Haus №149», пожелтевший листок с напечатанным приказом немецкого командования, в котором написано: «Германскому правительству лучше известно, где ваша работа принесет наибольшую пользу. А поэтому приказывается. Всем без исключения молодым мужчинам, женщинам и девушкам 1925 года рождения записаться на работу в Германию...». Рядом с приказом висит бумага под названием «Акт», датированная десятым марта сорок четвертого года. Написано в бумаге: «Мы, нижеподписавшиеся члены Районной комиссии по учету ущерба в составе председателя комиссии тов. Молова и секретаря Полтевой и членов т.т. Черкасова, Ключева, установили, что на основании имеющихся материалов, представленных комиссией предприятий, учреждений, сельсоветов и колхозов, а так-же на основании свидетельских показаний, немецко-фашистские захватчики в период оккупации Болховского района Орловской области с 8 октября 1941 года по 28 июля 1943 года принесли предприятиям, организациям, культурно-бытовому, колхозному, сельскому и промышленному хозяйству, а так-же рабочим, служащим и колхозникам нижеследующие злодеяния и убытки...». Далее идет длинный список разрушенного и уничтоженного, в котором промышленные предприятия, школы, клубы, библиотеки, больницы, врачебные и фельдшерские пункты, родильные дома, дома жителей Болхова и района, скотные дворы, амбары, подсобные предприятия, машинно-тракторные станции, магазины и ларьки на общую сумму более чем в полтора миллиарда тогдашних советских рублей. И это не все. Немцы вырубали на дрова триста гектаров садов, в числе которых был весь городской сад.

Конечно, все потом восстановили, а простой овощесушильный завод превратился в сложный консервно-овощесушильный, который стал производить кроме сушеных овощей и фруктов самые разные варенья, консервы, крахмал, сухие кисели в брикетах, которые так любили грызть дети, и супы. Уже в пятьдесят девятом году в Болхове производилось более полутора миллионов банок консервов. Банок с вареньем и брикетов с сухими киселями до нашего времени не дошло, хотя они и были, понятное дело, куда вкуснее, чем те иностранные, что продают сейчас, но в краеведческом музее хранится чудом уцелевший пакет из-под вермишелевого супа с мясом, производства Болховского консервно-овощесушильного комбината.

Длина городского водопровода к шестидесятым увеличилась по сравнению с довоенной в три раза. Болховская киношкола ежегодно выпускала четыреста киномехаников широкого профиля. Любой из этих специалистов мог показывать и кинокомедии, и трагедии, и драмы, и мультфильмы, причем не только рисованные, но и кукольные. Такие же специалисты широкого профиля работали и на Болховской мебельной фабрике, выпускавшей от бочкотары для пищевых предприятий до театральных кресел, диванов и стульев, еще артель «Коллективный труд», выпускавшая в год на шесть миллионов обуви и другого кожаного товара, еще маслозавод, перерабатывающий молоко местных производителей в масло и сыр, еще хлебокомбинат, еще пенькозавод, еще Болховский племенной рассадник симментальского крупного рогатого скота, еще Злынский конезавод, занимавшийся воспроизводством пород лошадей «русская рысистая» и «русский тяжеловоз», еще государственная конюшня в деревне Татинки, занимавшаяся разведением лошадей пород «русская рысистая», «орловская рысистая», «першерон» и «советский тяжеловоз», еще шахта по добыче угля; еще артель «Соцтруд» производившая валенки, еще Болховское училище механизации сельского хозяйства, выпускавшее в год до шестисот комбайнеров, трактористов, электромонтеров, строителей, еще драматический кружок Дома культуры, еще внутригородской автобус, еще районная библиотека с двадцатью тысячами книг, еще детская библиотека, еще во-

семнадцать библиотек в селах Болховского района, в которых двести тысяч книг, еще городская баня, еще завод полупроводниковых приборов, основанный в шестьдесят восьмом году...

Теперь из всего того, что работало тогда, осталось не так много. Точнее сказать, совсем мало. Если исключить драмкружок Дома культуры, городской автобус и библиотеки, то останется хлебокомбинат, сыродельный завод и завод полупроводниковых приборов. Тут бы нужно рассказать о баранках и пряниках хлебокомбината, о выпускаемых на сыродельном заводе семи видах сыра, о двух видах кефира, трех видах сметаны, двух видах масла, трех видах творога, о четырехканальном изоляторе логических сигналов, о восьми видах микросхем, о трех видах диодов, выпускаемых на заводе полупроводниковых приборов, которые летают и в ракетах, и в спутниках, плавают в подводных лодках и в... но мы не будем этого делать, поскольку микросхем мало, знать, где они летают и с какими целями, нам не положено, а завод, чтобы не умереть с голоду, выпускает еще и мангалы, решетки, теплицы, люстры, бра, посуду, электроинструменты, фонари, скамейки, столы, беседки, фонари, занимается сельским хозяйством, пчеловодством, туризмом... Проще перечислить то, чем он не занимается и... все равно уезжают болховичи на заработки в столицу. Особенно молодежь уезжает.

Нет, лучше я вам расскажу про болховские куранты на колокольне Спасо-Преображенского собора. По легенде, которую рассказали в музее, куранты собору и городу подарил девятьсот шестнадцатом году земский доктор Михаил Соломко. Собственно, это еще не легенда – все так и было. Никто не знает, где часы изготовили – то ли в Швейцарии, то ли в России. Это тоже еще не легенда, а только предисловие к ней. По легенде, Соломко пригласил всех жителей города и окрестных деревень посмотреть на то, как новые часы будут устанавливать на колокольне. Жители пришли с трех сторон, а с четвертой не пришли. Соломко обиделся, и с той стороны, с какой жители не пришли, велел часов не ставить¹⁴. Куда он дел лишние часы – легенда умалчивает, но на соборной колокольне часы действительно стоят только с трех сторон. К самому механизму посторонним вход, конечно, воспрещен, но на колокольню подняться можно. В соборе батюшка, если его попросить, откроет дверь в стене колокольни, и вы сначала по узенькому винтовому коридору, задевая за стены плечами, подниметесь по высоким истертым ступенькам на первый ярус колокольни, а потом по унавоженной голубями деревянной лестнице на второй ярус, потом на третий, где висят колокола, внутренняя поверхность которых исписана именами тех, кто не забыл взять с собой мел, чтобы сообщить городу и миру о том, что их зовут Витя, или Саша, или Ира. С третьего яруса маленький Болхов виден весь. Если замереть и прислушаться, то слышно, как над головой, на четвертом ярусе, неторопливо и основательно, громко тикая и голубино воркуя, идет болховское время. Точнее, ходит по кругу.

Примечания

¹ Никаких достоверных сведений о результатах посещения Иваном Васильевичем болховской крепости не сохранилось, но осталась народная легенда, которую мне рассказали в местном краеведческом музее. Нет, царь не прятал в подвалах болховского острога своей библиотеки – тогда он ее еще только начал собирать. Ему понравилась девушка, которую он встретил, подъезжая к Болхову. Разумеется, он решил на ней жениться и немедленно это сделал. Свадьбу играли в Болхове. Кстати, Болхов тогда, по легенде, назывался еще Девягорском. Царь на радостях бросал жителям Болхова золотые и серебряные монеты, а жители, ползая в грязи (это было весной, в распутицу) их собирали. Иван Васильевич страшно хохотал, наблюдая за этими сборами. След от его царской ноги верноподданные жители аккуратно вырезали из грязи, залили драгоценным металлом и отливку долгие годы хранили в Троицкой церкви. Первую брачную ночь царь провел в Девягорске. По воспоминаниям старожилов, его страшно кусали блохи, и наутро проснувшийся Иван Васильевич якобы сказал: «Какой же это Девягорск? Этот город должен называться Блоховым». Ну, а уж от Блохова до Болхова, что называется, рукой подать. Вот так и стал Девягорск Болховым. Куда

потом подевалась царская жена, в музее не знают. Видимо, эта часть легенды до нас не дошла. Скорее всего, Грозный жену утопил, или душил, или заточил в дальний монастырь навечно. Короче говоря, поступил по-царски. Драгоценный отпечаток его ноги тоже куда-то пропал.

² Степан Вольтинский вместе с воеводами Брянска и Лихвина удостоился царской похвалы за свою «прямую службу и радение», а воевод струсивших и оставивших свои города на милость неприятеля, как это было, например, в соседнем Белеве, приговорили «бить кнутом по торгам и казнить смертью безо всякие пощады». Как бы не заступничество матери царя Михаила Федоровича старицы Марфы Ивановны, не сносить бы им голов. Царь их помиловал, но уж кнута они отведали «безо всякие пощады».

³ «Лета 7186 на службе Великого Государя Царя и Великого князя Федора Алексеевича вся великия и малыя и белыя России Самодержца. В малороссийском городе Чигирин окольный и воевода Иродион, зовомый Иваном Ивановичем Ржевским, в нашествии и облежании в осаде от безбожных турецкого султана людей от визиря и от пашей от иных многих земель, которые в том облежании стояли, сидел в осаде со многими Государственными ратными людьми четыре недели. И убиен он раб Божий окольный и воевода Иван Иванович гранатною стрельбою месяца Августа в 3 день 186 года в субботу, в 11-м часу дня; а до приходу к Чигирину государских ратных людей с бояры и воеводы, он сидел в целости, а по убиении его окольного и воеводы в 8 день Чигирин от турских людей взят, а тело его из Чигирина вывезено до взятия и погребено в Болхове в соборной и апостольской церкви Всемилоственного Спаса в 7186 года сентября в 10 день, а сия церковь строения его окольного Ивана Ивановича».

Рядом с могилой Ивана Ивановича находилась могила одного из его сыновей – Тимофея Ивановича. Надгробную плиту с этой могилы при возведении нового собора в девятнадцатом веке тоже сохранили и вмуровали в колонну рядом с надгробной плитой его отца. «1703 года на службе Великого Государя Царя и Великого князя Петра Алексеевича вся великия и малыя и белыя России Самодержца во Астрахани был воеводою полковым и осадным стольником Тимофей Иванович Ржевский. И убиен он раб Божий воевода Тимофей Иванович 705 года июля 30 дня от противников и восстающих бунтами стрельцов московских и астраханских и мучен был многими язвами и скончал жизнь свою за волю монарха своего со многими стольники и дворяны и полковники, которые скончали живот свой в повелении оных бунтовщиков и погребено тело его в соборной церкви 706 года августа...»

⁴ Ярмарка, проходившая неподалеку от Брянска. Возникла в восемнадцатом веке и просуществовала до начала двадцатого.

⁵ Севская провинция была образована в составе Киевской губернии по указу Петра Первого «Об устройстве губерний и об определении в оныя правителей» в 1719 году.

⁶ Хотя эта история непосредственно к Болхову и уезду не относится, но могла случиться и в Болхове, и в Мценске, и в Саратове, и в Казани. Двести лет назад могла случиться, и сейчас, и даже через сто лет может, и потому, пусть и в примечаниях, рассказать ее стоит. В 1787 году дворяне Орловского наместничества добровольно и с охотой собирали деньги на организацию проезда Екатерины Алексеевны через их владения. Болховские дворяне тоже, конечно, в этих сборах принимали посильное участие. Планировалось, как и всегда у нас планируется перед приездом высокого начальства, исправить дороги, убрать мусор, устроить триумфальные арки, увитые цветами, пирамиды при въездах в города и фейерверки. Вот что писал по поводу сбора денег правитель Орловского наместничества Семен Александрович Неплюев предводителю дворянства соседнего с Болховским Малоархангельского уезда: «Милостивый государь мой, Федор Яковлевич. По случаю вожделеннейшего прибытия в Орел сей весной ея императорского величества, нужно будет всем дворянством изъявить свое признание к столь знаменитому случаю... Сбор также для триумфальных ворот, положенный гг. предводителями, по поводу предложения, сделанного от г. Предводителя, – по пятисот рублей с округи, благоуспешно довольно продолжается и хотя доходит до моего сведения, что некоторые из дворян сих денег дать не желают, а как сие не более двух копеек

с души, то я и не могу дать сему веры; однако-же, при сем случае советую вам никого к тому не принуждать, а только отобрать деньги или отзыв – кто не хочет давать тех денег ибо в таковом сборе отнюдь принуждения быть не должно, там, где подданные изъявляют свое усердие государю. Чувство сие столь почтенно, что ему должно дать полную свободу, ибо, хотя я удостоверяюсь на положение гг. предводителей, подрядил и строя все к тому нужное чести губернии и дворянства; но если бы сих денег по недачи некоторых и не достало, то я лучше захочу добавить то своим... нежели кого-либо принуждать к даче такой безделицы, как сей сбор между нами, дворянами, положен. Но только при сем предписываю вам иметь список всем тем, которые не согласились на сию дачу, дабы я, быв начальником, мог свидетельствовать усердие и поднести список только о тех, которые участвовали в том и отметить в другом тех, которые не имели сего желания. Сие и вам будет нужно, равно и последователям вашим, чтобы ведать усердствующих и отличить их...». Через Болхов императрица не проехала, но пирамиды перед въездом в город все же поставили. Не высокие каменные, а маленькие деревянные, но ведь и денег собрали только на деревянные.

⁷ Более двухсот дворян Болховского уезда, «изъявившие беспримерную ревность щедрым пожертвованием не токмо имуществ, но и самой крови и жизни своей...», получили бронзовые медали на Владимирской ленте по царскому манифесту от 30 августа 1814 года. Болхов и уезд войной затронуты не были, но для фронта и для победы сделали все, что смогли. В подробном расчислении о сборе для армии Орловской губернии с купцов, мещан, владельческих и удельных крестьян и казенных поселян на долю Болхова и уезда приходится без малого шестьдесят пять тысяч рублей денег, 1642 полушубка, столько же пар сапог, почти пять тысяч пар лаптей, 8395 пудов сухарей, 2215 четвертей овса и 42506 живых душ. Цифры, может, и мертвые, но души живые.

⁸ Представления в крепостном театре Юрасовских длились много лет. Вот одна из афиш, отпечатанная в местной типографии. Она настолько хороша, что не привести ее хотя бы в примечаниях (с сохранением авторской орфографии) невозможно.

«Афиша Сево 11 мая 1828 году в Сурьянино Болховского уезду Сево числа опосля обеда по особливому сказу крепосными людьми прапорщика Алексея Денисовича, совместно с крепосными брата ево Маера Петра Денисовича при участии духовнаво хора Александры Денисовны Юрасовских на домовом театре Сурьянинском представлен будет: “Разбойники Средиземного моря или благотельный алжирец” большой пантомимной балет в 3х действиях, соч. Г. Глушковского, с сражениями, маршами и великолепным спектаклем. Сия пизса имеет роли наполненные отменною приятностью и полным удовольствием почему на Санкт-Петербургских и Московских театрах часто играна и всегда благосклонно публикою принимаема была. Особливо хороши: наружная часть замка Бей, пожар и сражения. Музыка г. Шольца, в коей Васильев, бывший крепосной человек графа Каменского играть будет на скрипке соло соч. Шольца; танцовать будут (вершить прыжки, именуемые антраша) в балете: Антонов Васька, Хромина Васютка и Зюрина Донька втроем (pas de trois); Картавая Аниска – соло; Антонов Васька, Родин Филька, Зюрин Захарка и Демин Ванька вчетвером (pas de quatre); Зюрин Захарка, Петров Сидорка, Хромин Карпушка втроем (pas de trois); Хромина Васютка и Зюрина Донька вдвоем (pas de deux). Засим дано будет “Ярмарка в Бердичеве или Завербованой жит”. Препотешной разнохарактерной, комической пантомимной дивертисман, с принадлежащим к оному разными танцами, ариями, мазуркою, русскими, тирольскими, камаринскими, литовскими, казацкими и жидовскими плясками, за сим крепосной Петра Денисовича Юрасовского Тришка Барков на глазах у всех проделает следующие удивительные штуки: в дутку уткой закричит, в ту же дутку как на музыке играть будет, бросив дутку пустым ртом соловьем засвищет, заиграет бытто на свирели, забрешет по собачьи, кошкой замыучит, медведем заревет, коровой и телком замычит, курицей закудахчет, петухом запоеет и заклохчет, как ребенок заплачет, как подшибленная собака завижит, голодным волком завоет, словно голубь и совою кричать приметца. Две дутки в рот положет и на них сразу играть будет, тарелкою на палке, а сею последнюю уставя в свой нос – крутить будет, из зубов шляпу вверх подкинет и сразу ее без рук на голову наденет, палкой артикулы делать будет бытто мажор, палку

на палке держать будет и прочее сему подобное проделает. В заключение горящую паклю голым ртом есть приметца и при сем ужасном фокусе не только рта не испортит, в чем любопытной опосля убедитца легко может, но и груснаго вида не выкажет. За сим расскажет несколько прекуриозных рассказов из разных сочинений наполненных отменными выдершками, а в заключение всего: духовной хор крепосных людей Александры Денисовны Юрасовской исполнит несколько партикулярных песен и припевов за сим уважаемые гости с фамилиями своими почтительнейше просютца к ужину в сат в конец липовой алеи, туды, где в сваем месте стоит аранжирея».

9 Имелась еще в Болхове жизнь некультурная. Обычная, обывательская. Без падекатров и духовных хоров. Та самая, от которой норовят убежать «В Москву, в Москву, в Москву!». В конце восемнадцатого и в начале девятнадцатого веков жил в Болхове купец Алексей Малахов. Он был, как говорили в советское время, активный общественник – и словесным судьей работал, и бургомистром магистрата, и даже городским головой. Был Малахов, несмотря на свои должности, страшный грубиян. Как-то раз обругал квартального надзирателя Иванова и прапорщика инвалидной команды Агаркова, когда они были при исполнении. Так обругал, что собрались подавать на него в суд, но Малахов попросил прощения и обошлось. Счетчика питейных заведений Красильникова он и вовсе заковал в кандалы и упек в колодничью избу. Завели на Малахова дело, но оно, на его счастье, сгорело в магистрате во время пожара восемьсот одиннадцатого года. Не успело сгореть одно дело, как пришлось заводить другое и даже третье – Малахов самовольно лишил дома дьякона Воронцова, и тоже самовольно, без согласия общества, продал один из домов, принадлежащих городу, купцам Торубаровым. Сделали ему в восемьсот седьмом году от губернского правления строгий выговор с указанием, чтобы от подобных действий он впредь воздерживался. На должности городского головы он все же не задержался. В шестнадцатом году Малахов уже мещанин и занимает должность депутата квартирной комиссии от купцов и мещан. И на этом месте он своих замашек не оставил – обидел подпоручика Пасекова, секретаря уездного суда Селиверстова и купца Василия Клягина во время описи имущества последнего. И тут пришлось извиняться, чтобы дела не ушли в суд, но по последнему делу магистрат его хотел допросить, а грубиян не хотел являться для допроса, а городничий послал за грубияном квартального надзирателя, чтобы отвести его в полицию, а тот оказался идти... Короче говоря, в полицию его все-таки отвели, там допросили, как всегда неожиданно выяснилось, что пропали двадцать четыре тысячи рублей казенных пошлин по делу купца Василия Клягина, в которое оказалась замешанной племянница Клягина, она же по случайному совпадению невестка Малахова. Оказалось, что Малахов успел написать донос на членов магистрата, тоже замешанных в этом деле. Короче говоря, все окончательно запуталось, как это обычно бывает в маленьких уездных городках. Верный себе Малахов в промежутках между всеми этими событиями успел нанести тяжкую обиду купеческому сыну Мерцалову.

Впрочем, все это была преамбула к делу. В шестнадцатом году в Болхове квартировал карабинерный полк. Продовольствие нижним чином должны были поставлять болховские обыватели, но... не поставляли. Городничий кивал на городскую Думу, Дума кивала на комиссию квартирмейстеров, председателем которой был Малахов, а командир полка карабинеров полковник Гартунг жаловался командиру дивизии генерал-майору Красовскому на болховские власти и на грубияна и пьяницу Малахова лично. К тому времени Малахов еще и запил. Генерал приехал в Болхов и предложил властям выбрать в квартирную комиссию вместо пьяницы и дебошира Малахова приличного человека. Власти и члены комиссии на это с удовольствием согласились.

На следующий день... если все рассказывать по порядку, то никакого примечания не хватит, а потому скажем только, что Малахов при виде генерала шапку не снял, смотрел ему дерзко в глаза, был отправлен на гауптвахту, по дороге туда взбунтовал народ, народ ударил в набат, зачинщиками бунта оказали два мужика из мещан, один из которых был, естественно, пьян, потом пьяных, что еще естественнее, стало больше, и под их защитой Малахов пошел домой, а из дому скрылся в неизвестном направлении. Дело дошло до Орловского губернатора, Малахова аресто-

вали, отправили в магистрат Болхова отбывать наказание, но там его освободили из-под караула и отдали на поруки. Отданный на поруки Малахов мгновенно накатал жалобу на имя губернатора и отвез ее в Орел, а оттуда его по предписанию генерала Красовского отправили в болховскую тюрьму. На всякий случай, по словесному приказанию командира гренадерского корпуса генерала от инфантерии графа Остермана-Толстого, Малахова заковали в кандалы. Малахов, которому к тому времени было уже шестьдесят пять лет, на допросах упорно безмолвствовал, а народ безмолвствовать не собирался, и некто, как сообщал караульный офицер прапорщик Дорожинский, «в нагольной шубе с рыжей бородой» призывал бить в набат, а бывшие в толпе обыватели обещали разнести по кирпичу тюрьму, если народного героя не освободят. Караульных оттеснили и Малахова снова освободили. Тут уже дело дошло до графа Аракчеева, а от него до императора.

В восьмьсот семнадцатом году последовало Высочайшее повеление, сообщенное графом Аракчевым орловскому губернатору «о неоставлении без внимания буйственного поступка болховских жителей при взятии Малахова на гауптвахту, также о предании зачинщиков сего происшествия суду». Все это время сын Малахова, Павел, не переставая писал жалобы в вышестоящие инстанции. Сенат усмотрел в деле Малахова нарушения и повелел его освободить из-под стражи. Его и освободили в очередной раз на поруки двух болховских купцов и двух мещан.

На вновь учиненном допросе Малахов отвечал, что не только не смотрел с дерзким видом на его превосходительство генерал-майора Красовского, но даже и не видел его, поскольку тот подъехал незаметно сзади, но как только увидел, шапку немедленно снял и смотрел так, как и полагается смотреть обычному мещанину на генерал-майора и командира дивизии. В пересказе Малахова выходило так, что народ он не бунтовал, к набату не призывал, а спокойно дошел до тюрьмы и сел в нее, а уже в камере услышал набат. Не будем описывать жалобы Малахова на поведение генерала Красовского, а скажем лишь, что в том же году жители Болхова через сына Малахова Павла передали на Высочайшее имя жалобу на притеснения и неприятности, претерпеваемые горожанами от военных, занявших постоем лучшие дома в Болхове. Подписалось под жалобой двадцать шесть купцов и сто восемь мещан. В восемнадцатом году по поводу этой жалобы последовал Высочайший рескрипт на имя фельдмаршала князя Барклая-де-Толли. Михаил Богданович получил рескрипт и... скончался. Дело было передано барону Сакену, заместившему князя на посту командующего Первой армии. Назначили следователем другого или даже третьего генерала, который, расследовав дело Малахова и жалобу болховчан, нашел последнюю совершенно необоснованной. Болховчане в ответ на это написали новые жалобы министру юстиции и в Сенат. Сто с небольшим человек из болховских купцов и мещан написали жалобу императору. Так прошел еще один год... Тем временем генеральское следствие выяснило, что жалобу горожан писал Павел Малахов, и среди подписавших есть дети и мертвые души. Малахов к тому времени находился под судом по девяти уголовным делам. Арестовали пять человек свидетелей. Уголовная палата приговорила брата Малахова Алексея за то, что он участвовал в сборе подписей под письмом императору и за неуважение к начальству, к тридцати ударам плетью «яко безпokoйного человека и в обществе терпимым быть не могущаго» и к ссылке на поселение. Бунтовщиков, отбивавших Малахова и вызволявших его из тюрьмы, посадили в ту же тюрьму на три месяца каждого. Самому Малахову Сенат выписал два десятка плетей и велел отправить в Сибирь на поселение. Жителей Болхова, подписавших прошение на Высочайшее имя, оштрафовали в пользу казны на двести рублей, чтобы впредь им было неповадно отвлекать Государя своими клязмами. Дело продолжалось с семнадцатого по двадцать третий годы и закончилось тем, что старик Малахов пропал. Бог его знает, как это случилось – то ли сделал подкоп из тюрьмы, то ли сбежал, сидя дома на поруках, то ли испарился каким-то еще, быть может даже сверхъестественным способом. Его объявили в розыск, но он как сквозь землю провалился. Так и не нашли. Шесть лет Болхов жил этим делом. Шесть лет часть болховчан была за Малахова, а часть против. Шесть лет во всех болховских гостиных перебивали кости полковнику Гартунгу, генералу Красовскому, фельдмаршалу Барклаю-де-Толли и даже графу Аракчеву. Шесть лет говорили, что Государя обманывают военные, а не

то бы он... Шесть лет писали прошения, рвали их, снова писали, собирали подписи и отправляли в Петербург, шесть лет почтовые тройки с лихими ямщиками возили жалобы, письма, отношения и доклады из Болхова в Орел, скакали фельдъегеря с рескриптами, шесть лет все кипело, бурлило, пенилось и... снова уснуло.

¹⁰ Между прочим, братья Юрасовские были хорошо знакомы с Тургеневым. Так хорошо, что имя их гувернера, французского эмигранта графа Бланжия, даже попало на страницы тургеневского рассказа «Льгов». Правда, его имя упоминается всего лишь раз и в предложении «Под сим камнем погребено тело французского подданного, графа Бланжия», но это все же рассказ Тургенева, а не приходно-расходная ведомость одного из болховских кожевенных или пенькотрепальных заводов.

¹¹ Может, она и не цвела, как в столицах, но в девяносто девятом году в Болхов приезжал ансамбль петербургских арфисток и бразильский король огня Монте Кострильо, глотавший огонь и другие предметы по желанию публики. Правда, потом оказалось, что Монте Кострильо – бывший носильщик станции «Отрада» Московско-Курской железной дороги Матвей Кострицын, но событие от этого культурным быть не перестало.

¹² В тридцать пятом году в Болхове был сорок один абонент. Почувствуйте разницу.

¹³ Эта газета теперь висит под стеклом, в музее. Там же, но в соседнем зале, висит еще одна газета, «Болховская новь», вышедшая в сентябре девятьсот восемьдесят девятого года. Над большими черными буквами названия газеты курсивом набрано: «Эта неделя объявляется ударной по завершению уборки картофеля. Обращаемся болховчанам оказать помощь селу». Ну и, конечно, заметка о том, что и кто мешает убрать картофель вовремя и без потерь. Прогресс, конечно, налицо – в тридцать первом понадобилось две недели прорыва, а через пятьдесят восемь лет – всего одна.

Кстати, скажем и о краеведческом музее Болхова. Рассказал мне эту, увы, невыдуманную историю музейный сотрудник. Приходит в музей молодая семья: папа, мама и ребенок – школьник младших классов. Билет ребенку стоит десять рублей. Билет взрослому – пятьдесят. Экскурсия – пятьсот. Если набрать десять человек желающих – выйдет по пятьдесят, но разве их наберешь... Родители и говорят музейщикам, что они бесплатно посидят возле кассы, а ребенок за десятку пусть походит сам по залам музея. Москвич или житель Петербурга, может, и удивится этой истории. Может, даже и не поверит, а провинциал только вздохнет и скажет... да ничего не скажет. Он знает какие зарплаты нынче в Болхове или в Вене, или в Нерехте, или в Вельске, или в Ветлуге, или в Кологриве... а потому вздохнет он еще раз и промолчит.

¹⁴ Правду говоря, четвертая сторона колокольни обращена в сторону куполов собора. С этой стороны куранты и не увидеть, даже если там их установили бы.

Библиография

- Е.Г. Захарик. Болхов. Орел: Орловское кн. изд-во, 1960. 62 с.
 А.Е. Венедиктов. Болховские куранты. Тула: Приокское кн. изд-во, 1982. 191 с.
 Рустика. Город Болхов Орловской губернии (Историческо-бытовые очерки). Орел: Типография газеты «Орловский вестник», Н.А. Сентяниной, 1896. 94 с.
 Болхов из глубины веков до наших дней. Орловская область, г. Болхов, 2018. 165 с.
 А. И. Лысенко. Болхов. Колокольное имя твоё... Орел: Вешние воды, 2009. С. 208.
 Болховские были. Историко-литературный альманах. Орел: Вешние воды, 1994. С. 118.
 Устав общества распространения телефонов в г. Болхове и уезде. Орел: Типография газеты «Орловский вестник», А. И. Аристова, 1911. 18 с.
 Г.М. Пясецкий. О четырех главных дорогах, которыми татары вторгались и опустошали пределы нынешней Орловской губернии // Орловские епархиальные ведомости. №19 1 октября 1870. С. 1235–1249.

В.Г. Сапелкин. Краткий исторический очерк развития народного образования в Болховском районе Орловской области. Болхов, 2017. С. 114.

Е.Е. Красноперова. Улицы города память хранят. Орел: Картуш, 2019. С. 472.

А.М. Воронцов, А.В. Дедук, О.Н. Заидов, А.М. Колоколов, Е.В. Столяров, А.В. Шеков. Локализация летописного Деягореска по письменным и археологическим источникам // Город Средневековья и раннего Нового времени VI: Археология, История / Сост. И. Г. Бурцев. Тула, 2018. С. 7–49.

Дело о Болховском мещанине Алексее Малахове в чинении им буйственных поступков и в слушании начальству при взятии его, по приказанию г. генерал-майора Красовского, за неуважение и чинимые грубости к начальству // Труды Орловской ученой архивной комиссии. Орел: Типография С. А. Зайцевой, 1892. С. 36–55.

Путешественные записки Василия Зуева от С. Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. СПб, 1787. С. 119–121.

Путешествие в Киев в 1817 году. Сочинение князя Ивана Михайловича Долгорукого. Издание Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете. М., 1870. С. 14–15.

Хождение в Святую землю московского священника Иоанна Лукьянова: 1701–1703, М.: Наука, 2008. С. 667.

Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским: (По рукописи Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел). Вып. 1–5 / Пер. с араб. [и предисл.] Г. Муркоса. М.: О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1896–1900.

В.Р. Апухтин. Орловское дворянство в Отечественную войну. Очерк и материалы. Юбилейное издание Орловской Ученой Архивной Комиссии на средства Дворянства Орловской губернии, Орел: Типография газеты «Орловский Вестник» А. И. Аристова, 1913. С. 179.

Былые чудачи в Орловской губернии. Составил Орловский старожил. Второе издание. Орел: Типо-литография А. П. Матвеевой, 1909. С. 117.

Труды Орловской Ученой Архивной Комиссии за 1901 и 1902 гг. Орел: Типо-литография М. П. Гаврилова, 1903. С. 58–60.

А.В. Зорин. Александр Юзеф Лисовский: герой Смутного времени [Электронный ресурс] // История военного дела: исследования и источники. – 2012. – Т. III. – С. 1–203. <<http://www.milhist.info/2012/10/26/zorin>> (26.10.2012).

Орловская старина. Исторические сведения об Орловской губернии извлечены из архивов А. Пупаревым. Том 1. Статьи вошедшие Орлов. Губ. Вед. 1872 г. Орел: Губернская типография, 1872. С. 42–49.

Императрица Екатерина II в Орловской губернии. Очерк составил Н. Барышников. Орел: Типография газ. «Орловский Вестник», 1886. С. 44–47.

А.М. Полюнkin. Болховские истории. Орел: Картуш, 2016. С. 216.

А.Б. Гулярян. Общественно-политическая жизнь Орловской губернии в конце XIX – начале XX века. Орел: Издательство Орел ГАУ, 2007. С. 69–70.

Болховская коммуна. №86 (152) 24 сентября 1931. С.1.

Болховская новь. №109 (8169) 12 сентября 1989. С. 1.

Краткое генеалогическое описание рода дворян Юрасовских со времени приезда их в Россию в 1642 году / сост. в 1827 г. Н.И. Хитрово; испр. и доп. в 1890 г. Голицын. М.: [Тип. М. П. Щепкина], 1890. 32 с.

Вера МЕРКУРЬЕВА

ПИСЬМА И СТИХИ

Из неопубликованного

Публикация, вступление, комментарии Татьяны Нешумовой

Вера Александровна Меркурьева (1876–1943) – большой (но все еще потаенный для многих) поэт, открытый для современного читателя Михаилом Леоновичем Гаспаровым. Ее жизни и стихам он посвятил не одну статью. В 2007 году в издательстве «Водолей» вышло собрание ее стихотворений «Тщета», подготовленное Владиславом Резвым¹.

За последние годы в печати появились еще некоторые материалы, связанные с Меркурьевой: ее шуточные стихотворения на случай и воспоминания о ней². Настоящая публикация состоит из двух частей: эпистолярной, которая освещает последние и предпоследние страницы жизни поэтессы, и поэтической, в которой большинство стихотворений шуточно-бытового характера, созданных в относительно счастливые мирные времена (кроме последнего, впитавшего горький опыт военных переживаний). Все эти документы сохранились в домашнем архиве гимназической подруги Меркурьевой Евгении Яковлевны Рабинович³ и любезно предоставлены ее наследниками. Благодарю Вл. Резвого и И. Ахметьева за помощь в подготовке этой публикации.

Вера Меркурьева – Гене Рабинович

I.

[Не датировано]

Геня, мне ничего, слабость верно в результате бестемпературья. Дай знать о костюме. Приходи в выходной купаться.

«Заметано».

Целую. Вера

¹ Гаспаров М.Л.. Вера Меркурьева (1876–1943). Стихи и жизнь // Лица. Биографический альманах. Вып.5. М.– СПб., 1994. С. 5–97 (далее: Лица). См. также электронную публикацию книги: https://imwerden.de/pdf/litsa_biografichesky_almanakh_tom05_1994_ocr.pdf; Гаспаров М.Л. Вера Меркурьева: техника стилизации // *Presenze femminili nella letteratura russa*. Padova, 2000. P. 62–72. Обе работы воспроизведены в книге: Меркурьева В.А. Тщета. Собрание стихотворений. Сост. и примеч. В.А. Резвого, вступ. ст. М.Л. Гаспарова. М., 2007 (далее: Тщета).

² Меркурьева В.А. «Умейте жить минуткой». Подг. текста и коммент. Т.Ф. Нешумовой // *Toronto Slavic Quarterly*. 2008. № 24 (<http://sites.utoronto.ca/tsq/24/merkurjeva24.shtml>); Архиппов. Е.Я. Книга о Вере Меркурьевой // Архиппов Е.Я. «Рассыпанный стеклярус». Подг. текста и коммент. Т.Ф. Нешумовой. М., 2016. Т. 1. С. 208–229 (далее: Архиппов).

³ Меркурьева писала: Рабинович, а в стихах называла «Друженька-сухарик» (Тщета, с. 466). «Рукописи Меркурьевой были сданы в РГАЛИ в 1961 С.В. Шервинским и Е.Я. Рабинович» (Лица. С. 5).

2¹.

Старки²
29. VII. 40.

Геничка, дорогая, вчера пришла твоя открытка от 22-го – шла 7 дней! Думаю, что и моя к тебе на дачу шла столько же, и что ты ее теперь получила и знаешь, что я помню! Я отдышиваюсь, дожди и прохлады – хорошо, но тревог много с болезнями: у Инны Григорьевны³ что-то с почками, она едет в Москву к докторам, пробудет числа до 1-2-го. Александр Сергеевич собрался в Кисловодск на месяц⁴. Может, ты приедешь на его место? Приезжай, голубчик, поживем вместе тихонько, повидаемся перед зимой. С собой захвати только теплое что-нибудь: кофточку на вате, вечерами и утром свежо, лето, похоже, кончилось. Очень хочу тебя видеть. Целую тебя и всех. Соскучилась.

3.

Старки
6. VIII⁵. 40 г.

Генюра, получила ли ты мои 2 открытки – одну в Тупиково (первую), другую в Москву. У меня была от тебя одна. Где ты? У нас немножко раз'ясняется. Инета⁶ была всерьез больна – воспаление почечных лоханок, лежала тут первые 2 недели, потом ездила в Москву к докторам на 4 дня, вернулась с проверенным диагнозом и лекарствами. Сейчас ей определенно лучше, она выходит, гуляет, температуры нет, боли почти перестали.

Александр Сергеевич уехал в Кисловодск, сегодня была оттуда телеграмма о приезде. Надеется подлечиться там до 1-х чисел сентября. Его комнатка свободна – ждет обитателей. Хорошо, если б дождалась тебя. Мы с Инетой очень этого хотим. Никому дороги не перейдешь: Марина Цветаева⁷ не может приехать, Катя⁸ уехала во Владикавказ до 1.X, остается Юрий Дмитриевич⁹ и случайные – они всегда разместятся. Здесь – ты знаешь что: река, лес вдаль, кошки тоже вдаль. Еда – достаточная, хлеб возят из Коломны каждый день, молоко, яйца, картофель, огурцы, кабачки. Масло – возят из Москвы приезжающие! Сахар держится еще наш. Вообще с собой захвати немного масла, сахару, чаю (все сие обязательно, это чтобы ты не сомневалась), пару простыней (подушки, одеяла есть) и, если поймаешь, папиросы для меня: «Спорт» или любые не дороже рубля. Дороже – не могу курить из-за крепости, кашляю.

¹ Почтовая карточка. Москва, Зубовский бульв., д. 6, кв. 19. Евгении Яковлевне Робинович. Ст. Пески-Коломенские Ленинградск. ж.д. Село Черкизово, погост Старки, д. Корнеевой. Штемпель получения 30.07.40.

² Меркурьева и Кочетковы с 1935 г. вплоть до войны снимали на лето дом на погосте Старки у станции Пески Казанской железной дороги, около деревни Черкизово, где жила семья С.В. Шервинского. Подробнее см.: Петросов К.Г. Литературные Старки (поэты «черкизовского круга» и Анна Ахматова). М., 1991; Архиппов. Т. 2. С. 516.

³ Прозрителева Инна Григорьевна (1891/1892 – 1957) – жена А.С. Кочеткова. См. о ней в воспоминаниях Л.В. Горнунга о Кочеткове (Горнунг Л.В. «Свидетель терпеливый...») Дневники, мемуары. Сост., коммент, подгот. текста Т.Ф. Нешумовой. М., 2019. По ук.).

⁴ Кочетков Александр Сергеевич (1900–1953) – поэт и переводчик. В Кисловодске жили родители его жены.

⁵ В оригинале описка: VII.

⁶ Прозрителева.

⁷ Меркурьева познакомилась с Цветаевой весной 1918 г. Сохранилось четыре письма Цветаевой к Меркурьевой 1940 г. Подробнее см.: Лица. С. 87; Цветаева М.И. Собр. соч. в 7 т. Т. 7. М., 1995. С. 685–692.

⁸ Юрченко Екатерина Андреевна (? – 1966?) – знакомая В.А. Меркурьевой и ученица Е.Я. Архиппова, адресат их стихотворений. Переехала из Ordжоникидзе в Москву в 1935 г., работала в Институте истории АН СССР. См. ее письмо 1942 г. к Архиппову о Меркурьевой (Лица. С. 95-96).

⁹ Возможно, поэт Юрий Дмитриевич Цертелев, знакомый С.В. Шервинского.

Если прихватишь Чернушкина или его маму – никого не смутит, ибо тут уже 6 кошек, не считая приходящих – одной больше «какая вам разница»?! Погода, кажется, устанавливается к теплу, все реже дожди, вообще тут сухо и воздух, единственное – чист (*так!* – Т.Н.). У нас много тише прежних лет. Из-за трудности поездок мы с Инетой лежим, читаем, пишем. Скучно и успокоительно. Пожалуй, ты здесь отдохнешь лучше, чем в Тупике. До 16-го здесь Пава¹, приходит и уходит. Здесь она спокойная и милая.

Я приболела животом – разные неосторожности и соблазны. Было мерзко, теперь отпустило. Понемногу скребу карандашом, лежа. Замучилась в Москве перед отъездом так, что и сейчас еще не осознала отдыха. На реке была только раз, вернулась задыхаясь. Трудно далась мне прошлая зима.

Хочу видеть тебя здесь, пожить с тобой, а не переписываться. Зимой мы друг друга видим сквозь болезнь и усталость. Давай посмотрим здесь сквозь досуг и отдых. Если телеграфируешь *накануне* приезда поезда – вышлем мальчика донести вещи. Телеграммы безотказно доходят в тот же день! До свиданья, Геня, милая, приезжай, пожалуйста, комната славная, совсем тихая и чистенькая, без мух, жизнь – без Александра Сергеевича² тоже мирная. Целую тебя, отвечай и приезжай.

Вера.

А что Лена³ с отпуском? Как все они? Никто не написал.

Если найдешь (на Никольской или в диетических «Ессентуки» №20 (или 18) – захвати 1 бутылку. Но не разыскивай очень, это на всякий случай). Лучший поезд сюда из Москвы: 3.30 дня, с ним меньше наплыв, и он прямой, сюда приходит в 6.10, тоже нежарко и светло идти. К утреннему, в 6 часов, трудно попасть, и, говорят, с ним много народу не попавших на ночной поезд и служащих в службы. А с этим для служащих рано, а для молочниц поздно, и он свободный, но приехать на вокзал надо все же часа за полтора или взять билет раньше. Да, захвати паспорт, для билета обратно в Москву!

<На полях:>

Инна Григорьевна и Пава тебя усиленно зовут.

Костя (сын Варв. Тр.) поправляется (у него была операция язвы кишки), но еще в больнице. Была большая тревога, но, видимо, обошлось.

Вера.

4⁴.

Старки
8. VIII. 40.

Геня, милая, собирайся к нам, хорошо дышится здесь. Преодолей посадку (поезд 3 ч. 32 м. дня – надо прийти *за 2 часа*). Зато здесь отдохнешь. Не привози Ессентуков – достали множество. Привези масло сливочное, сколько сможешь, не загружаясь, и папиросы Спорт или любые за 1 р.

Не нужны ли тебе твои старые туфли? – у меня под кроватью, в деревянном ящике, в компании с другими того же типа опорок! Но для дачи подходят. Если захочешь взять – ключи у Марьи Павловны⁵. Только смотри, чтоб не заскочила и не осталась запертой какая-либо бродячая кори-

¹ Неустановленное лицо. Далее, если имя не комментируется, значит, сведениями о нем мы не располагаем.

² Кочеткова.

³ Рабинович, сестра Гени.

⁴ Почтовая карточка. Штемпель получения 10.08.40.

⁵ Соседка Меркурьевой по арбатскому дому. Ср. «Ключи надо взять у какой-то Марьи Павловны Коноворовой в № 96 (того же 4-го этажа)» (Архиппов. Т. 2. С. 546).

дорная кошка, их там много, и они рвутся, по старой памяти, ко мне. Это мой кошмар. Дорогая, приедь – очень ждем тебя. Целую. Вера.

5¹.

Старки
23. IX. 40.

Что же ты замоталась, Геничка? недели 2 ничего от тебя. Получила ли ты мои письмо и открытку? Хотела выезжать, но решила остаться еще на неделю – по многим соображениям. Перееду, как обычно, в первых числах октября. Здесь еще не холодно – хотя как сказать! Зелень, чисто, тихо. Боюсь тебя звать – усталости и погоды боюсь. Переменчиво очень все. А видеть хочется – соскучилась без тебя. Целую, дорогая, теперь уже скоро приедешь на Арбат. Напиши еще раз сюда. Вера.

Должно быть, 29-го состоится чтение «пьесы» – должна бы кончиться – но кто же ее знает!² Пощелуй наших. Тебе привет от Зайцев³. Вчера были Нонна с Джемалэддином⁴. Пощebetали и умчались.

6⁵.

Арбат
4. X. 40.

Геничка, приехала, жду тебя. Целую.
Вера.
Скоренько?

7⁶.

Старки
5. VIII. 41

Дорогая,

Елена Ивановна⁷ не поехала вчера в Москву, как собиралась, и побудет еще несколько дней здесь, а телефон у нее выключили, так что эта линия связи с тобой отпала. Остаются открытки. Пиши хотя бы раз в неделю, чтобы я знала о твоей сохранности. Ничего – уже больше месяца – не знаю о Кате⁸. Если что знаешь – сообщи. На запросы (Б. Пироговская, д. 7, кв. 1) не отвечает. Письма с опозданием доходят сюда. Только мне никто не пишет. Если б ты приехала! Поезда – через Раменское – свободные и удобные. Целую тебя, напиши же!

Вера.

Инета, Елена Ивановна шлют тебе поклоны и призывы. Неужели не приедешь хоть на сутки? Спокойна ли ты за сестер?

¹ Почтовая карточка. Москва, Зубовский бульв., д. 6, кв. 19. Евгении Яковлевне Робинович. [Без обратного адреса] Штемпель получения 24.09.40.

² Вероятно, речь идет о стихотворной сказке Меркурьевой «12 месяцев», о которой см. ниже подробное письмо.

³ Прозвище четы Кочетковых.

⁴ Возможно, тут контаминация в игровом духе Меркурьевой: неизвестного нам мужчину звали Джемал, а она скрестила его с персидским поэтом-суфием XIII века Джалаладдином Руми.

⁵ Почтовая карточка.

⁶ Почтовая карточка. Штемпель получения 6.8.41.

⁷ Деева Елена Ивановна, знакомая Меркурьевой. Упоминаемый ниже ее муж, возможно, Деев Аркадий Дмитриевич (1898–1981) – литературовед.

⁸ Юрченко.

Черновики телеграмм времени сборов в эвакуацию:

Деевой

Мое членство группоме несовместимо иждивенчеством родство не установлено ехать Кочетковым нельзя

Дееву

Необходимо включение в группу или вызов если невозможно хлопчите распоряжение содействия моему отъезду совместно писателями

8¹.

*За Каширой
30. X. 41 г.*

По предупреждению за полчаса выбрались на вокзал в полном разгроме. Посадка была трудна – не давали вагона, 8 часов сидели на улице. Дали жесткий, но отапливаемый. Еду полумертвой, все дико. Спокойно, не обстреливают совсем, едешь, как в старину, перед глазами вы и только вы, неотступно. Узнавай о нас от Нины Павл. (К-О-70-22). Ничего не могу сказать, ничего – подумать, боль непереносимая все время за тебя, за вас. Напиши до востребования. Твоя Вера.

9.

*Ташкент
Учительская, д. 26, кв. Аракчеева
5. XII. 41 г.*

Кто где из вас, милая?

Гене адресовать бесполезно. Пишу на всякий случай сюда². Уехали, остались? Писала с дороги открытки и письма, дошли ли? Ехали трудно и долго, почти 25 дней. Купить по дороге ничего нельзя было, а с собой запасов хватило на 5 дней, но эшелону дали сухой паек: хлеб и по банке консервов растительных на человека. Также по 200 гр. масла сливочного, сахару и немного чаю. Это дало возможность доехать. Это исключение – для академиков, ехавших в том же поезде и писателей. А вообще надо брать с собой все что есть. В дороге варили картофель, кашу в печке вагонного отопления. Даже кипятку на станциях не всегда доставали. Я лежала 2 недели с воспалением легких – гриппозное, ползучее, один фокус сменялся другим, все время температура. Выжила – тяну. Тяжело очень, горько жалею, что уехала. Здесь для меня бессмысленно и горько до последнего. Хоть бы найти вас, списаться. Не знаю, кто жив, пишу всем: Зинаиде Ник. (Арбат, кв. 101)³, Кате Юрченко (Б. Пироговская, д. 7, кв. 1), Пясецкой (Арбат, кв. 80), ни от кого нет ответа. Жутко очень. Целую вас 4-х – если вы там.

Вера.

Умоляю протелеграфировать сюда. Телеграммы доходят через неделю, письма идут месяц. Здесь трудно с пропиской. Ташкент не принимает, отправляет в Самарканд. Кочетковы добились через союз <писателей>.

¹ Почтовая карточка. Москва. Скатертный пер. Д. 20, кв. 2. Елене Яковлевне Рабинович для Гени. Штемпель отправления: 7.11.41, Треполье (ж.д. станция в Рязанской области). Штемпель получения: Москва, 16.11.41

² письмо без конверта, так что можно только предполагать, что оно адресовано Елене Яковлевне Рабинович.

³ Очевидно, соседка по московскому дому.

Ю.

Ташкент
Учительская, д. 26, кв. 1
23. XII. 41 г.

Геня, вот откуда пришлось писать тебе – непонятно все. Послала тебе с дороги и отсюда несколько открыток и письмо – не знаю, дошли ли, все на адрес Лены, так как перед отъездом <слышала>, что твой район освобождается. Ни от кого из вас здесь ничего не нашла (до востребования). Сюда приехала неделю назад Катя Юрченко, эвакуированная с Академией, она ничего о тебе не знает.

Мы здесь уже месяц, нашли комнату, с трудом прописались (Ташкент не принимает, направляет всех приезжих в Самарканд), живем втроем, Кочетковы и я. Здесь как будто хорошо, т.е. тепло, тихо, славные люди кругом. Но дорого все невероятно, с работой у Ал. С. трудно, так что перебиваемся кое-как, в сущности, впроголодь. Надо быть на госснабжении (как учреждения) или иметь очень большие средства. Стоимость всего примерно вдвое, а то и вчетверо против московских государственных цен. Хлеб хороший, по карточкам, больше, кроме сахару, ничего не дают. Нет абсолютно мыла, спичек и соли. Это все пишу на случай, <если> задумаете переезжать сюда. Комнату найти можно за 150-200 руб. в месяц, при условии прописки, которую дают только эвакуированным сюда учреждениям. Говорят, в маленьких окрестных городках – Чимкенте, Намангане, даже Фергане, лучше, дешевле и легче устроиться, но работу там найти невозможно, да ее и здесь нет.

Мне тяжело исключительно, жалею страшно, что уехала. Как бы ни было трудно и страшно в Москве, но там свой угол, привычные условия и свой круг. А здесь – угол за ширмой, нарушение всех привычек, вечная напряженность и давление – не у себя, мешаешь, чувство быть инородным телом. Климат не имеет значения – я же все равно не могу ходить. Болела сильно (воспаление легких) в дороге, здесь желудочным, от перемены воды и пищи. Поэтому не то что ходить, но и ползать не могу. Настроение тяжелое, поднимается только когда хорошие сводки с фронта. Если смогу вернуться, увидимся, если нет – я не выживу здесь. Это не для меня.

Инна Григорьевна много работает – топит печку, убирает комнату, моет пол, готовит в голландке. Не по силам ей это. Плохо чувствует себя – сердце, с легкими что и тоже слабость. Сейчас она ушла в поликлинику, видимо, немоготу стало. Александр Сергеевич тоже худ, истощен, мучается то печенью, то ногой, а сейчас у него грипп, раздражителен до невероятия. Словом, всем несладко. У меня удушьё иногда ночи напролет – не сплю и другим не даю. Напиши, если получишь.

Живу только ожиданием московской жизни. Целую тебя и твоих. Вера.

24.I.42. Месяц лежало письмо – от тебя так долго не было вестей, что я думала, вы уехали. Получила твою телеграмму – рада за вас, выдержали на месте трудное время, теперь легче будет. Не то что мы – разгромленные беженцы. Комнату мою¹ заняли, вселили в нее двух женщин. Теперь я без угла, на всю жизнь за чьей-нибудь ширмой. Больше ничего нового. Инна Григорьевна болеет, Александр Сергеевич раздражен хронически, я задыхаюсь почти круглые сутки. Хорошо устроились.

Письмо Е. Дервиз² к В.А. Меркурьевой

3 марта 1942 г.

Дорогая Вера Александровна!

¹ Весной 1935 Вере Александровне удастся получить комнату в Москве – на Арбате, угол Смоленской площади» (Лица. С. 78), речь именно об этой жилплощади.

² В воспоминаниях о Кочеткове Л.В. Горнунг пишет о ее дружеском участии к семье поэта в последний год его жизни (Горнунг. С. 641). В Институте переливания крови работал ее родственник, врач, профессор Георгий Валерианович Дервиз (1897–1980).

Нет, не жалеите, что переехали. В теперешнее военное время везде нелегко жить. Там у вас все же ближе к земле. Я продолжаю работать в Институте Переливания Крови. Сегодня там у нас дали свою кровь несколько англичан из английской миссии. У нас в квартире теперь есть радио. Не Александра Сергеевича ли перевод передавался недавно (Джамбула¹)? Что он работает (А.С.)? И Вы, и А.С. должны написать об отечественной войне². Поклон от меня Инне Григорьевне и Александру Сергеевичу.

Е. Девиз

II.

Ташкент

Учительская, д. 26, кв. 1

5. III. 42

Геничка, дорогая, получила твое письмо – первое из Москвы, открытку не получала, а телеграмма дошла, но на ответную телеграмму не было рублей очень долго, а я рассчитывала, что ты получишь мое письмо, давно, еще до телеграммы, написанное, но не отправляемое, потому что я не была уверена, где ты. Но я отсюда уже послала несколько открыток и писем тебе на Ленин адрес – Скатертный, 20 – все же до твоей телеграммы. Неужели не доходили? Нового за этот месяц не прибавилось, по-прежнему трудна жизнь. Чтобы прожить по ценам рынка теперь на троих надо в день 90-100 руб., а мы обходимся на 15-20, конечно, за счет количества съедаемого. А я еще многого и есть не могу – капуста, редьки. Кофе давно – больше месяца – нет. Исхудали все, больше всех Инна Григорьевна. Она целые дни в работе и разгоне – уборка, стирка, топка печки голландки каменным углем, продажи (носильного), покупки (съедобного) – все на ней. Целые дни на ногах, а ведь она слабосильной была всегда, а теперь и говорить нечего. Изумительно, как она это выносит, не жалуясь, бодро, все время убаюкая Александра Сергеевича, поддерживая меня. Такой я ее не знала и не считала способной быть такой. Ал. С. ужасен: или спазмодически работает, тогда неприкосновенен, и в комнате гробовая тишина, или не работает – тогда лежит за своей ширмой, хандрит, курит и орет дико, чуть ему что не по нраву. Большой грубости, чем у него к Инне Гр., и большего терпения, чем у нее к нему, я не видела. На меня он не кричит, но мы просто не разговариваем. Жить невесело, как видишь. Надежда только одна – прогнать немцев, и я вернусь в Москву. Благодаря Зинаиде Николаевне, комната моя, по-видимому, уцелела (в нее веселили, но временно), она внесла мою задолженность по квартире, восстановила мое положение, сохранила оставшиеся вещи, книги. Вообще, если б не она, мне некуда было бы вернуться, а сейчас есть просвет.

Катя Юрченко здесь, живет даже в нашем же дворе, но видим ее редко – поздно возвращается со службы, устает. Устроена неизмеримо лучше нас: комната почти бесплатно, столовая при службе, порядочный паек – масло, керосин, сласти, белый хлеб и проч., порядочная зарплата. Несмотря на работу, гуляет, бывает в театре, на концертах, вообще ей жаловаться не приходится, она ничего не потеряла с переездом. Но это привилегированное учреждение, писателям много хуже, если не считать, конечно, знаменитостей, Алексея Толстого и др. Здесь Ахматова, живет в общешитии писателей, но у нее комната, изредка заходит к нам, обаятельна, как никто. Кажется сном.

Моя жизнь за ширмой? – рано встаю, брожу по чужим углам в поисках чашки кипятку, чтобы смягчить душу. Затем смотрю, как Инна Гр. работает, среди дня суп из столовой стоимостью 55 копеек – можешь судить, каков. Вечером кипятков, забеленный молоком, а иногда и не забелен-

¹ Джамбул Джабаев (1846–1945) – казахский поэт-акын. В военные годы главным переводчиком Джамбула был Марк Тарловский. Стихотворение, прозвучавшее по радио, скорее всего, «Ленинградцы, дети мои» (в переводе Тарловского).

² Меркурьева написала венки сонетов «На подступах к Москве» (Тщета. С. 143–426). У Кочеткова есть неопубликованная драматическая сцена «Смерть Фауста» (1943), в которой Фауст и Мефистофель оказываются под Москвой во время войны.

ный. Не всегда вареный картофель или рисовая на воде размазня, чаще нет. Хлеб черный – боюсь, ем осторожно только корочки, мякиш отдаю котенку – конечно, уже обзавелись беспризорным рыжиком. Так до вечера, ложусь в холодную и – ах какую жесткую – постель, а ночью то и дело просыпаюсь в удушье. И помочь некому и нечем. Московская жизнь кажется райской – кофе, кипяток для грелок, мягкая постель, у себя одна, никем не стесняемая и никого не стесняющая, милые соседки кругом, всегда готовые помочь, разделить беду.

Елена Ивановна живет рядом с нами, в том же дворе, у друзей Инны Гр., рвется в Москву и не может пока что попасть. Очень измучилась тут бесцельностью жизни, когда муж в одном конце (Москве), сын в другом (Ашхабаде). Обе мы горько жалеем об отъезде из Москвы. Вынудила необходимость: она за сыном помчалась, я боялась затруднить Кочетковым выезд, оставаясь, да и жить одной казалось страшным. Ну что говорить, ошибка сделана, поправить ничего нельзя, надо ждать, если подождет и смерть.

Как у тебя теперь? Ближе к весне – легче в домах, теплее, светлее – дни дольше. Только бы дела на фронте весной быстро развернулись в нашу сторону, а то все, все наши маленькие бедствия можно вытерпеть. Моя жизнь ведь не столько сама <по> себе трудна, сколько трудно выноσιма в 65 лет и со всеми моими недугами. Дорогая, если б ты видала Инну Гр. – моего объема перед выездом, ты бы не боялась за Лену, Леночка много моложе, выдержит и поправится, она быстро набирает здоровье.

Целую тебя и всех твоих поочередно. Увидимся ли? У меня – от слабости, верно, – нет надежды на встречу. Будьте все здоровы, дождитесь победного конца войны и расцвета жизни после него. Напиши – хоть открытку, чтобы я знала, что ты там же и так же хотя бы, и что знаешь обо мне. Привет от недружной, но любящей четы Кочетковых.

Вера.

Здесь Усовы, Алиса неузнаваемо похудела и состарилась, а он такой же. Она просила кланяться тебе, живут хорошо, устроено, он профессорствует в вузах по языкам¹.

12.

Ташкент
Учительская, д. 26, кв. 1
25. V. <42>

Геня, милая. Давно нет от тебя ничего, да и я не пишу о тяжелом – не хочется, а легкого нет ничего. Жизнь трудная, голодная, только не холодная, а уже теперь жаркая. Последние 2 дня, впрочем, дождь, говорят, для Ташкента вещь небывалая. А когда солнце, я даже во двор не могу выйти. Что будет летом – думать боюсь, я и северного солнца не выносила. Пока в комнате (затененной) можно дышать, но спят тут все на дворе.

Все здесь поспевает на месяц, а то и на 2 раньше, но проку от этого мало, недоступные цены.
27.V.

Продолжаю через 2 дня, стоит оторваться, чтобы колесо закрутилось в другую сторону. У нас лежит больная Инна Григорьевна – желудочное началось, а продолжилось легочное, встать не может от слабости. Необходимо питание, а мы 2 месяца мяса не видели, довольствуемся чаще всего хлебом с водой (горячей, а иногда, когда негде вскипятить, и холодной), обедом из столовой (обед на троих), изредка вареной картошкой – по тому же принципу: побольше воды, поменьше картофеля, ничего не сделаешь: продано *все*, осталось то, что на себе, летнее, работы у Александра Сергеевича нет, пьеса его идет в 10 городах², а отчисления авторские не поступают или с такими затяжками, что сводятся к нулю. Ал. С. переживает тяжело, он не активен, найти выхода не может,

¹ Усов Дмитрий Сергеевич (1896–1943) – поэт, переводчик, филолог. Его жена Усова Алиса Гуговна (урожд. Левенталь, 1894–1951). См. о них: Усов Д.С. «Мы сведены почти на нет...». Сост. и подгот. Т.Ф. Нешумовой. Т. 1 и 2. М., 2011 (по ук.).

² Пьеса, написанная Кочетковым совместно с К. Липскеровым, «Надежда Дурова».

поэтому в состоянии крайней депрессии, чередуемой вспышками дикого раздражения. Инна Гр. неожиданно на высоте: одна из нас не унывает, бодрится, работает весь день, убирая, стирая, моя пол, носья воду. Источена, худа – как я, дальше некуда. Я – едва брожу и, к собственному и общему недоумению, поправляюсь: одышка легче, двигаюсь, хотя плохо, но как-то лучше, чем зимой.

Выход? – чем скорее выгонят немцев, тем больше шансов у нас выжить. Резэвакуации писателей, говорят, до сентября не будет. До тех пор будем тянуть, если будут хоть редкие полочки, если нет – вымрем. Авось до этого не дойдет, обидно не увидеть своими глазами расцвета и подъема страны и, особенно, Москвы после войны. Сейчас доходят слухи, что Москва чистится, ремонтируется, принимает обычный довоенный вид, и так радостно это, и так жалко не видеть своими глазами. Вам, оставшимся, трудно было, но не труднее, чем нам, уехавшим. Вы не были так выбиты из колеи, не пережили такой ломки жизни, как мы, и возврат к норме для вас наступит раньше, а до нас еще когда докатится.

Для меня жизнь здесь – большая школа отречения от себя, от своей личности – довольно-таки определенно выраженной, школа терпения и молчания. Поздновато учиться в 65 лет – но очевидно требуется.

Как вы четверо живете? Жизнь твою и Лены представляю, Машину труднее: не пришлось ли ей работать на труд-фронте? Здесь потребовали Инну Григ. на сельско-хозяйственную работу в колхозе, как раз когда она лежала, – оказалось ошибкой: ей 50 лет, не подлежит по возрасту, но пока это выяснялось, день был тревожный. Вообще, как и следовало ожидать, порядку и толку тут меньше, чем в центре, а перегибов и усердия не по разуму больше.

Елена Ивановна Деева здесь, живет рядом, суетлива и болтлива по-прежнему, временами мила и забавна, и трогательна. Катя Юрченко тоже в нашем дворе, но она производит очень гадкое впечатление. Устроена хорошо (столовая, академический паек и почти никакой работы, целые дни гуляет), пополнела, хорошо одета, занята романом с одним сотрудником (женатым и с младенцем), очень черства и бездушна, я ее такой в Москве не знала. Все-таки нам она кое-чем обязана, не говоря уже о широком гостеприимстве и в Москве, и в Старках, и в Орджоникидзе прежнем – все забылось, теперь она только дрожит над своим пайком, оберегая его от посягательства! Дико, непонятно, но так. Знает, что Инна Гр. больна и голодает, потому что ей нельзя черного хлеба и обеда из столовой, слышит от меня об этом, ест в *это время* (за чаем) белый хлеб с маком – и не посылает ей хотя бы ломтика! А она не стеснена, хлеб имеет, кроме пайка, еще коммерческий. Фразы вроде: «вот надо опять идти в ларек, а я так устала, но у нас дают коврижку, я же не могу без коврижки» – это она говорит голодным. У меня такое отвращение к ней, как редко к кому. Но или я ее не знала, или она изменилась. Знаешь, это время – пробный камень для всех. Люди показывают свою истинную сущность, наносная полировка стирается в трении событий. Мне тяжело, но очень хочется не поддаваться, преодолеть, выйти из испытания с честью, дожить до времени жатвы и богатого урожая, иметь в нем заслуженную долю.

Напиши, дорогая, о себе, о своих. Очень хочется вестей о вас. Знаю, что не пишешь и от загруженности, и от забот, и от слабости – как только ты выдержала с твоим сердцем эту зиму?! Когда увидимся – если увидимся, – будет хорошая встреча. Целую тебя, дорогая, и всех по очереди. Хотя бы Лена написала. Курит ли она? Я вечно мучаюсь без табаку, без кофе обойдусь, но без курева трудно. Иногда присылает Ахматова немного табаку, курю с двойным удовольствием. Еще целую, жду – месяца через 2 – письма от тебя. Вера.

10.VI. Залежалось письмо из-за отсутствия конвертов. За это время установилась 60° жара. Я ее выношу полумертвой. Говорят, тут так до конца августа. Мне не вынести. Я вся – сплошная болячка: постоянная боль в ребре под ложечкой и временами при кашле и повороте – резкая боль в крестце. Думаю, что все дело в закупорке вен, которые набухли везде сильно очень. Странно, Геничка, неужели не увидимся мы больше с тобой?

Письмо Меркурьевой к Ивану Николаевичу¹

Ташкент
Учительская, д. 26, кв. 1
18. VIII. 42

Уважаемый Иван Николаевич, –

Минуя «общих знакомых», посылаю свою пьесу² Вам прямо так, чтобы между нею и театром не было никого третьего. Поэтому же не сообщаю ничего об авторе, кроме имени – неизвестного. Написана пьеса в 40-м году, показана 2-3-м близким, в печать и в театры *не* направлялась, по субъективным причинам.

Сказка – влитая в жизнь, о детях – не для детей, о взрослых – пожалуй, не для современников, простая, ограниченная и внутренне сложная и раздвигаемая за края своей рамки. Так задумана. Как вышла, не знаю. Даю ее Вам для проверки – скорее, чем для постановки. Хотела бы знать Ваше мнение о сценичности, актуальности и долговечности.

О стихе: в сказке – звучание каноническое, напевное, выдерживание точного размера, но сцены бытовые – финал многолетней работы над ритмической речью, попытка заставить ее звучать разговорно. Отсюда при чтении, сохраняющем ритм, выделяется рифма не паузой после строчных, а интонацией, особенно, когда смысловое ударение допускает это.

Вот, кажется, все авторские ремарки на полях. Разрешите позвонить Вам через несколько дней и договориться о возможности ответа.

Уважающая Вас
Вера Меркурьева³.

124.

5. X. 42 г.
Ташкент

Геничка, получила твоё письмо от 30-го сентября, но не могла его перечитать 2-й раз – так оно меня надорвало. Ты не знаешь, как я проголодалась по ласке, по простым нашим ласковым словечкам, по памяти о наших днях. Я высохла здесь за этот год. И твоё письмо ко мне прежней – показало мне, какой я стала.

Возьмите меня отсюда, возьмите меня отсюда, сделайте не знаю что, но дольше жить я не могу. Я должна выжить себя, если не уеду. Только чудо спасет меня, пусть будет чудо. Я погибаю, Гения моя, и от физических мук, и от нравственных! Кому я была когда-нибудь как-нибудь дорога, помогите. Вера.

¹ Предположительно, к Ивану Николаевичу Берсеневу (1889–1951), актеру и режиссеру московского театра Ленинского комсомола, эвакуированного в Ташкент. «Двенадцать месяцев» – сказка для сцены, не опубликована.

² «Двенадцать месяцев» – сказка для сцены, не опубликована.

³ На обороте письма, написанного чернилами, карандашом запись: «За 18 месяцев...».

4 Почтовая карточка. Москва. 3-я Звенигородская, д.3, корпус 18, кв. 88. Евгении Яковлевне Робинович Ташкент. Учительская, д. 26, кв. 1. Штемпель отправления: 6.11.42. Штемпель получения: 21.11.42. темпель: «Просмотрено военной цензурой / Ташкент / 126». Текст на обороте местами расплылся.

Вера Меркурьева, неопубликованные стихи

Что за странная манера
И какой ужасный нрав:
Все приличия поправ, –
Что за странная манера –
Гнать из дому кавалера,
Вдруг лишив привычных прав.
Что за странная манера
И какой ужасный нрав!

1922

Целу зиму жила в бочке,
Одинокая была.
Никому-то не мила,
Целу зиму жила в бочке,
А теперь – на желобочке,
Разомлела от тепла!
Целу зиму жила в бочке
Одинокая была...

1923

Если в доме вышел хлеб,
Пожалуйста, сбегайте, Глеб¹.

Если в доме нет воды,
Глебушка, кофию дам за труды.

Но для «Гретца» необходим керосин,
Глеб, до Марьинской шаг один.

Натяжеле ль налегке ль,
Мечется Глеб с Гумилевым в руке.

¹ Неустановленное лицо, участник дружеского кружка Меркурьевой во Владикавказе (упомянута одна из улиц этого города – Марьинская, ныне Маркуса).

С Гумилевым в душе, с Гумилевым в мозгу
Сквозь снег, дождь, слякоть, згу.

А Слободской¹, кофе смолов,
Забыв и совесть, и честь, и стыд,

Самодоволен, как сто ишаков,
Над самой большой чашкой сидит.

Глеб озадачен, Глеб раздражен,
Гумилева в карман, керосин на стол.

Глаза разгорелись, готов на рожон,
Под Глебом вздрагивает пол.

Хозяйка, отдайте ее ему,
Большую, а маленькую для меня.

И ликвидируйте кутерьму,
Хоть ради сего бисквитного дня.

<1926?>

Соседи

Где в кружок собрались березки,
На бегу ль приостановясь, –
Где чернят их беленую бязь
С угольков зари ополоски, –

Мы в кружок сошлись по привычке,
Прежде чем на ночь разойтись.
Как стрижи, разрезающие высь,
Голоса < >² в перекличке.

– Спать глазам уже не пора ли?
(– Ты такой же, такая же, как я. –
Помни: сад, и ночь, и скамья –)
– Еще рано. Вы не устали? –

– Мы соседи, мы тоже рядом –
– Что тебе, что вам до меня? –
Исцеляющая ожоги дня
Тьма стустилась над дачным садом,

¹ Слободской Михаил Иванович (1895 – не ранее 1934) — поэт, журналист, переводчик с языков народов Северного Кавказа. Подробнее о нем см.: Архиппов (по ук.) и упомянутая выше публикация «Умейте жить минуткой».

² Оставлено место для слова.

И глаза, и травы замглив в нем.
Тянет водорослями от реки.
Обгорев, зари угольки
Осыпаются звездным ливнем.

4. IX

Ко святым местам
Чтительный ходил паломник.
Что ж обрел он там?
Хлам заброшенный? И лом в них?

Причитают и рекут
По чуланчикам учуйнички:¹
Где же настоящий нам приют?
Пяль и в даль и в свои очки –

«Дом поэта» стал Поэтодом²,
А Кассандра³ хрустит джаз-бандитом.
Хоть парчой их кроет Едавид там –
Все ж дорожные расходы взять судом.

Посылка

Если у Вас тик-с
От джаз-банда ритма стиховздорного,
Рады мы: в сундук бесспорно вы –
Вложите Кап-койский⁴ Фернапикс⁵.

Разойтись бы по углам,
Чтоб не мокнуть под дождем –
Где там! Зайцам и котам
Непогода нипочем.

¹ Неологизм, соединивший «чутять» и «ушкуйников».

² Дом Волошина в Коктебеле.

³ Поэтическое прозвище Меркурьевой.

⁴ Кап-Кой – старое осетинское название Владикавказа.

⁵ Разновидность коктебельских камушков. Встречаются разные варианты написания слова. Есть фразеологизм: расправиться, задать фернапиксу, задать шороху. Это стихотворение Меркурьевой, возможно, связано с обращенным к ней стихотворением М. Слонковского «Почти баллада» (Архиппов. Т. 2. С. 300).

Чуть хозяйка спать легла,
Увернулася – увы! –
Пума мчится из села,
Заяц едет из Москвы.

Жадные – что есть, давай!
Мокрые – хоть отожди.
Значит – бедная вставай
И суши их да корми.

И она, свершивши тур
Восемнадцатый уже,
Заплуталась меж фигур
В затененном блиндаже

И несет под зонтиком
На десерт – вниманья знак –
Зайцу кашку с молоком,
Пуме спички и табак.

29. VIII¹

Натюрморт

Полухорие I	Было трое – пятеро осталось.
Полухорие II	Нас побольше – mille e tre ² .
Полухорие I	Распожает нас сердца жалость.
Полухорие II	Размножает нас бес в ребре.
Полухорие I	Разношерстны и разномастны, Недопьем мы, недоедим.
Полухорие II	Разнолики и разнострастны, Все – увы! надоедим.
Хор	Но жребий их – примечай-ка – Вечно с чьим-то побегом свит.
Полухорие I	То бежит за нами хозяйка.
Полухорие II	То хозяин от нас бежит.
Хор	Беспокойствие, друг, умалишь Ты снаружи, как и внутри, Коль красавиц будет – одна лишь, А кошавиц – тысяча и три.

¹ Год не проставлен, это может быть вторая половина 1930-х, и даже предвоенный 40-й, когда Кочетковы и Меркурьевы жили в Старках. Заяц – чета Кочетковых (поэт А.С. Кочетков (Заяц) и его жена И.Г. Прозрителева), а Пума – сама Вера Меркурьева. Кашка с молоком утешала желудок Кочеткова после возлияний, а о том, какая страстная курильщица была Вера Меркурьева мы знаем и из стихотворения Д.С. Усова: «Если б не курево, / Видеться чаще / С Верой Меркурьевой / Было бы слаще».

² Тысяча и три (ит.).

Возвращение Сасунци¹

Эпизод, не включенный в сводный текст поэмы

Ликованье на погосте –
К нам Сасунци едет в гости.
Будем загодя встречать,
Вежливенько вопрошать:
– Как те на море гляделось,
Как спалось, пилося и елось,
И какие чудеса попадались на глаза? –
Молвит Сасунци спесиво:
– Эко выдумали диво!
Коктебель как Коктебель –
Меж земли и моря щель,
Ничего нет в этой дальке
Окромя волны да гальки.
Карадаг как Карадаг –
Не взойти ни так, ни сяк.
Впрочем тут живем – не спорим,
Море – морем, горе – горем. –

Станем спрашивать его,
Не привез ли нам чего,
Мол, не примем без гостинца
Киммерийского бесчинца,
Пустышом из дальних стран
Чать вернется бусурман!
Фыркнет, гордо расфуфырясь:
– Есть вам мака, есть вам ирис,
Есть коврижка, есть и торт,
Есть и папиросы Спорт.
Есть платочки для старушек,
Для детишек – воз игрушек,
Для приятелей-мужчин
Есть бочонки фряжских вин,
А для преданной супруги –
Награждение по заслуге –
Есть, подруженькам на зло,
Венецское стекло. –

Спросит Сасунци: – А вы то?
Без меня вы жили сыто,
Чем вы бьете мне челом? –
Мы ж руками разведем:
– Принесла тебе жена-то

¹ Это шутивное стихотворение связано с участием Кочеткова в коллективном труде по переводу армянского эпоса «Давид Сасунский» (совместно с В. Державиным, К. Липскеровым, С. Шервинским), вышедшим в 1939 году. См. письмо Меркурьевой к Архиппову от 4 января 1939 года: Архиппов. Т. 2. С. 558. В архиве есть два автографа стихотворения, различающиеся только написание слова «Сасунци»: в одном оставлено это несклоняемое армянское слово, в другом оно заменено на «Сасунца» и склоняется.

Не ребят-ат, а котят-ат,
Кот Трезор и кот Брыкан,
Ай, поруха, ай, изъян! –
Дальше что? Известно – бочка
Для котят с Инетой. Точка.
По Москве-реке плывут,
Ждут, авось их поберут,
Выловят на теплоходе
При честном при всем народе.
А Сасунци чемодан
Хвать и – тягу в Ереван.

Не включенный в бригаду переводчик-аноним

*Старки
31. VIII. 39*

<Слезой изойдя>¹

За 18 месяцев лютейшей
из лютых войн, свирепее стократ
звериных – в них лишь когти, зубы, в ней же
мертвит живое мертвенный снаряд,

покорный слепо смертоносной воле,
жестокости, какой не знал и брат –
убийца первый, Каин. Сыто поле

костьями, море – кровью, небо мглой
пожара, сердце горестью о доле
погибших или потерявших в той

проклятой яме стержень жизни – кровью
и плотью слитых с ним в одно душой
и телом, что неловко так любовью

зовут. Но над могилой немота
одна смиренная пристойна изголовью
земли сырой, а эта повесть занята

другим.

<декабрь 1942>

¹ Веь автограф – чернилами, а первые два слова – карандашом со сдвигом вправо, поэтому нет полной уверенности, что они оставлены как часть (или название) этого текста.

Алия ЛЕНИВЕЦ

ДОРОГА К ЛЮБВИ, ИЛИ

Путь маленького бесстрашного камешка

Оксана Васякина. Рана. – М.: Новое литературное обозрение, 2021. – 280 с.

«Я мыслю книгу и письмо как путь, как дорожку, которую я иду сквозь себя к другим», пусть даже *«порой путь заключен в петлю»* – именно эти слова из текста для многих читателей могут стать своего рода эпиграфом ко всему произведению.

Путь маленького черного бесстрашного камешка, брошенного в воду боли – одна из ключевых метафор, используемых автором для описания концепции, сюжета и структуры книги. *«Мой путь беспокоит, бередит мою память и рождает круги маленьких историй, которые тихо, одна за другой, расходятся, увеличиваются и опоясывают мой рассказ, они есть фон моего движения».* Но по мере движения камешка эти *«круги отходят от оси движения все дальше и дальше, становятся тоньше и исчезают. Боль, как круги на воде, становится неразличима, прозрачна, она растворяется».* «Рана» уже в первых своих строках открыто и откровенно демонстрирует эту метафору: *«Любовь Михайловна сказала...», «Андрей сказал...», «Любовь Игоревна сказала...», «Сват сказал...», «Муж маминой бывшей соседки, уже уходя с поминок, сказал...», «Михаил Сергеевич позвонил в 09:50 и сказал...», «Женщина сказала...», «Люди говорят...».* Чужие слова, попадающие в поле сознания героини, утопают в нем, оставляя на поверхности лишь небольшие следы – расходятся этакими кругами по воде. И по мере читательского движения эти *«круги становятся тоньше и исчезают»*, обнажая нутро повествовательницы: рассказ об отношениях с мамой и подругами-любовницами-женами, картины степи и тайги, воспоминания и размышления.

«Рана» Оксаны Васякиной – это автофикциональное письмо. Автофикшн как кросс-литература, располагающаяся на пересечении автобиографии и художественной прозы.

При этом вопрос о жанре этого произведения остается открытым. В связи с особенностями сюжета и композиции этот текст уже определили как «роуд-бук»¹ (дорожная книга): своеобразный маршрут из одной точки в другую с остановками на «спеучастках» и размышлениями по поводу. Режиссер и литературный критик Арсений Гончуков назвал эту книгу «death-травелог»;² этакое «путешествие со смертью» (звучит вполне себе поэтично). Для фем-авторки Ирины Карповой произведение становится «песней песен»³ (поскольку автор рецензии никак не объясняет этот свой выбор, видимо, в значении «наилучшая или наиглавнейшая из песен», с оглядкой на Соломона). Но какими бы разнообразными ни были жанровые определения книги, Оксана Васякина в одном из интервью⁴ рассказывает об истории своего решения: изначально текст был назван «роман-поэма», в ходе совместной работы с редактором серии Денисом Ларионовым намечался серьезный крен в сторону «поэмы» («Мертвые души» Гоголя, «Москва-Петушки» Ерофеева), но на финишной прямой «Рана» осталась всего лишь «романом». И критериями для обозначения жанра стали не литературные особенности текста, а коммерческая прагматика: рукопись можно и нужно продать. Автор, отмечая гибридность текста (*«включает в себя эссе, поэтические тексты и заметки»*), все же говорит о приоритете романной формы, пусть даже в таком не совсем традиционном изводе

¹ Иван Шульц. Смерти нет, но она обязательно будет. Оксана Васякина и ее «Рана» // Горький. 29 марта 2021. <https://gorky.media/reviews/smerti-net-no-ona-obyazatelno-budet/>

² Арсений Гончуков. Смерть, которой нет: смерть как форма авторского высказывания о травме // Прочтение. 14 апреля 2021. <https://prochtenie.org/texts/30551>

³ Ирина Карпова. Как пройти по полю из огня. О книге Оксаны Васякиной «Рана». <https://kkbbd.com/2021/04/09/the-wound-by-oksana-vasyakina/>

⁴ Оксана Васякина: «Для меня принципиально называть свое письмо женским» // Новая газета. № 35 от 2 апреля 2021. <https://novayagazeta.ru/articles/2021/03/28/oksana-vasiakina-dlia-menia-print-sipialno-nazyvat-svoe-pismo-zhenskim>

(хотя сегодняшнего всеядного читателя удивить не так просто): *«от романа в нем есть все: сюжетная рамка, система персонажей, место, пространство, конфликт. Только этот конфликт находится в зоне внутреннего, эмоционального сюжета»*. И ключевая авторская метафора работает даже на этом структурном уровне – размытые жанровые границы выглядят своеобразными кругами на воде: эссеистика, травелог, заметки и записки, авторские и чужие поэтические тексты и проч.

Книга вышла в начале года, и о ней есть ряд противоречивых высказываний, что, учитывая тематику и фем-оптику, вполне объяснимо. Так одним из важных достоинств книги называют «человеческий язык» и «интонацию открытости»: ¹ *«Васякина пишет как патологоанатом, <...> и ее язык – это язык операционной, где яркие лампы направлены в центр оперируемой раны и ничто не скрыто, ничто не утаено»*. Прямоговорение большой литературой (точнее, элитарным ее сегментом, а Васякина, безусловно, претендует быть признанной именно этой частью читающей публики) никогда не расценивалось «достойнством» книги (исключение – художественный прием, блестяще реализованный автором). Для поэтики феминистического письма «называние вещей своими именами» является ключевой, почти манифестарной, особенностью. Но рассматривать роман, вооружившись исключительно фем-оптикой, – большая ошибка. Ведь именно с этим текстом Оксана Васякина пытается выйти из строя фем-сообщества (в рамках которого ей, видимо, тесно), привлечь внимание и расширить читательскую аудиторию. Здесь именно эта особенность повествования – прямое высказывание – обоснована авторскими задачами, главная из которых – создание образа главной героини. Повествовательница должна вызывать безоговорочное доверие читателя: сюжеты реальной биографии автора; фрагментарность, намекающая на дневниковые записки и заметки; вопросно-ответная структура, создающая эффект внутреннего разговора с самой собой; интонация предельной откровенности (без ложного пафоса и набившей оскомину исповедальности). И, пожалуй, придется

смириться и констатировать уход эзопова языка из литературы и жизни, по крайней мере его некоторую трансформацию: прямоговорение – основной инструмент общения сегодняшнего дня и сегодняшнего поколения (отчасти это влияние виртуального полуанонимного масочного общения).

Система вопросов и ответов – это не просто внутренний разговор героини, но и внутренний диалог с иными собеседниками, в частности, с мамой. Часто именно смерть заставляет вести подобное общение: расставить все точки, на которые не хватило времени и желания в жизни и при жизни. И это, конечно, с одной стороны, принятие и проживание самого факта смерти близкого человека, с другой – попытка самопознания и понимания себя в новых условиях и новом статусе. И это вечное нанизывание вопросов, подчас остающихся риторическими, с не меньшей настойчивостью возвращает читателя к ключевой метафоре текста: круговое растворяющееся движение. Этой же задаче подчинены бесконечные повторы и постоянное проговаривание одного и того же на уровне слов и предложений, географических названий и объявления маршрута, сюжетных элементов (в том числе выстраивание отношений с разными партнерами или перелеты и проживание одной и той же ситуации в разных аэропортах с разными правилами). Эти лексические и сюжетные повторы могут быть произнесены и в разных формах: так появляются в прозаическом тексте стиховые фрагменты, например, «Ода смерти». Такое кольцевое речевое движение, как круги на воде, растворится, когда будет названо главное, когда говорящий дойдет до конца пути и поставит точку.

«Рана» – это история девочки, которая росла и выросла как «сорная трава», никому, по большому счету, не нужная. И примириться с существованием этой тотальной стены одиночества отчасти помогает фильм «The Wall» Алана Паркера: *«Теперь я понимаю, что дело было в мальчике, главном герое фильма. Он был очень одинок. Вместе с ним я бродила по игровой площадке и подходила к незнакомому взрослому, чтобы тот покатал меня на карусели. Вместе с ним я находила огромную больную крысу в рыжем закатном поле. Вместе с ним хоронила*

¹ Ирина Карпова. Там же.

друга-крысу в канале». Ребенок обретает друга, пусть даже он – житель иного пространства. В свою очередь, это рифмуется и с существовавшими тогда отношениями с родителями, и с существующим сейчас внутренним диалогическим поведением (надо признать, что и урна с прахом матери тоже оказывается таким «мальчиком из фильма»).

В книге читатель сталкивается не просто с ребенком, который не чувствует родительского тепла, но с человеком, который не умеет его распознать. Даже во взрослых воспоминаниях о детстве звучат жестокие слова кажущейся правды: *«Она смотрела сквозь меня, но ее взгляд как будто бы не был рассредоточен, он схватывал общий план, словно я – часть домашнего обустройства, табурет или тумба от телевизора»*. Ребенок, обожающий и боготворящий свою мать, не находит того ответного отклика, на который рассчитывает: *«Она не любила именно меня. А я ее обожала, обожала до судорог. Но со временем обожание переплывало в тихую, глубокую корневую обиду и боль. Еще и потому, что она хотела и умела любить мужчин, а меня не хотела и не умела»*. Ребенок поглощен собственной обидой, болью и ревностью. Но в своих воспоминаниях героиня иногда проговаривается. Так, кажется характерным эпизод с приобретением нового альбома Земфиры. Семья, живущая в невероятной бедности, когда мама может себе разрешить единственное удовольствие – кусочек колбасы без хлеба – лишь в день зарплаты, фактически не может позволить себе эту покупку. Но мама отдает последние деньги ребенку: музыка оказывается важнее хлеба. Или дитя – важнее денег? Переезжая из Усть-Илимска в Волжский, с продажи квартиры мама покупает всего две вещи: стиральную машину себе и плеер дочери. В таком распределении капитала, кажется, вовсе нет двусмысленности, пусть даже побег-переезд был связан с мужчиной: *«Мама ехала за любовью. Как настоящая женщина»*. Пожалуй, именно это является ключевым в образе матери: *«Мама была настоящей женщиной. Женщиной в квадрате. Женщиной-женщиной. ЖЕНЩИНОЙ»*. И логика ее поведения кроется именно в этом: желание нравиться и быть красивой даже с искаленной болезнью грудью, жертвенность и забота о слабых мужчи-

нах даже после смерти, согласие быть битой и униженной из-за страха остаться одной. Но это публично не раз проговоренная и понятная модель гендерного поведения, исторически и архетипически обусловленная. Мать, понимая силу дочери, свою заботу отдает слабому – мужчине: не скрыта ли в этом и любовь к близким тоже? Но взрослая дочь продолжает каталогизировать собственные обиды даже у постели умирающей матери: несколько дней ухода за больной, в том числе просмотр сериала про ментов, героиней мыслится как личный подвиг. Это болезненное отношение дочери к матери может быть отчасти объяснимо сексуальной ориентацией героини. Ее восхищение силой, красотой, обаянием, женственностью матери было сладостным, мучительным и неотпускающим: *«Это ее свойство иметь власть надо мной никак не ослабевает. Я все иду за ней и всматриваюсь в ее смерть. Я заморожена ею. Своей матерью»*. Мать (женщина) была центром пространства, центром мироздания героини. Но этот ее детский мир был разбит на куски из-за тотального материнского равнодушия, в котором ребенок не смог распознать простого отсутствия языка. Язык, отрезанный женщине мужчиной, в мамином воплощении не нашел себе эквивалента: у нее не оказалось понятного дочери инструмента для высказывания своей любви (вспомним упомянутый в «Ране» древнегреческий миф о Филомеле). Эта искаленная связь между матерью и дочерью давала свои плоды: *«Мне казалось, что я какая-то испорченная, сломанная, с недостающим органом чувства и ощущения жизни. Из-за этого я совершенно не понимала, как строить и налаживать отношения с женщинами, и это действительно было проблемой»*. Так в книге появляется целый пласт сюжетов, рассказывающих о взаимоотношениях героини с разными девушками (Катя, Полина, Олеся, Жанна, Алина и т.д.). Истории, расходящиеся кругами на воде, пока героиня не встречает ту самую единственную жену.

Закономерным оказалось знание о том, что в фем-среде тоже есть свои изгои – так называемые «бучи» (маскулинные женщины). Под прицел откровенно высказываемого лесбиянками «фи» и «фу» попадали не только сами «бучи», но и те, кто испытывал к ним

симпатию. Так рассыпается провозглашаемая феминистками манифестарность свободы и равенства. Радикальный феминизм, как любое движение, пропагандирующее собственную правоту, не дает права на свободу иной точки зрения, иной позиции, иной картины мира. «Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого». Эта давняя истина, видимо, никогда не будет реализована в существующей реальности. Феминистки, как и лесбиянки, ничем не отличаются от «обычных», «нормальных», людей: «В лесбийской и феминистской среде была допустима “золотая середина”, но все, что касалось радикального приближения к краю гендерного спектра, отпугивало и порицалось». Вот оно, «правило золотой середины» – необходимость «быть как все», страх сделать шаг влево или шаг вправо, трусость публично признать собственную инаковость и принять чужую уникальность. Этот почти животный, рабский ужас столкновения с кем-то другой крови правит миром, независимо от натянутой маски феминизма, тоталитаризма, радикализма или либерализма.

Эта книга не только о свободе и праве быть другим, но и признании этого права за другими. И может ли оказаться это признание постулатом «возлюби ближнего своего»... Финальными строчками романа становятся именно слова любви. Весь путь героини – это движение к любви и свободе. Свобода, наконец, произнести себе самой такое простое и такое сложное: «Мама, я тебя люблю». Признать за мамой право быть сильной, красивой, страстной, равнодушной, старой, умирающей, мертвой, другой... Признать за собой право быть одинокой, ищущей, самостоятельной, амбициозной, заботливой, непонимающей, жестокой, любящей, другой... Признать не только инаковость, но и неразрывную связь друг с другом, а шире – всего живого в мире. «Мне всего лишь хотелось написать о любви», – подводит итог повествовательница.

Путешествие завершилось, дело сделано, гельштат закрыт. Но предав земле прах, героиня не может вернуться с пустыми руками – это противоречит всем законам художественной прозы. Даже в сказке, пройдя огонь, воду, медные трубы и оставив часть себя в том

мире, Иванушка-дурачок или Василиса Прекрасная возвращаются с искомым, ради чего затевалось путешествие, и с неизбежными дарами. Так повествовательница получает искомое (обретенный покой, язык, любовь) и дары (мамино растение). После похорон тетка отстригла для героини черенок цветка, отданного ей матерью до переезда в Волжский. Кротон был привезен в Москву и, долго приживаясь в новых условиях, все-таки пошел в рост: «*Маленькое, смелое растение летело вместе со мной в самолете и ехало по сибирской трассе тысячу километров. Потом переезжало из квартиры в квартиру. В нем нет ничего, что могло бы быть связано с мамой. Мама отдала тетке совсем маленькое растение. Но мысль о том, что этот кротон родился от мамино цветка, меня греет*». У кротона, или кодиеума, благодаря пестроте листьев есть свои народные прозвища: плащ Иосифа, домашний светофор, фейерверк красок и др. Кротон относится к типу тропических капризуль. И если не создать определенных условий растению, то он сбросит листья, которые могут не отрасти, и ствол останется стоять голым. Выращивая кротон в домашних условиях, необходимо соблюдать правила безопасности, поскольку его сок ядовит: может спровоцировать тошноту, рвоту и аллергическую реакцию в виде сыпи. Другой, не менее экзотический цветок, о котором пишет героиня, – хойя. Тропическое вечнозеленое изысканное растение отличается, что удивительно, своей неприхотливостью и нетребовательностью в уходе. Именно этот цветок рос у мамы повествовательницы и, по ее словам, пах трупом: «*Когда хойя цветет, она пахнет медом. <...> Мама говорила, что мертвое тело пахнет чем-то сладким*». Спустя несколько месяцев после похорон на цветочном рынке героиня купила молодую хойю. Два экзотических, таких оригинальных и своеобразных растения в типовой московской квартире как дочь и мать, гармонично сосуществующие в одном пространстве, в одном мире, где нет камней и кругов на воде. Но и об извечном «Memento mori» не стоит никогда забывать: «*Я думаю, что умирая в маленькой квартире от рака серой зимой, видеть яркую стрекоду-саранчу – это не так уж и плохо*».

Андрей ПЕРМЯКОВ

МИР, КАКИМ ОН МОГ БЫТЬ И ОДНАЖДЫ
ПОЧТИ СТАЛ

**Андрей Гришаев. Останься, брат. –
Ozolnieki: Literature Without Borders, 2020.
– 140 с.**

**Евгения Риц. Она днём спит. – М.: Рус-
ский Гулливер, 2020. – 120 с.**

Летописи знают много случаев, когда художник, литератор, композитор, либо иной творец не совпадал с выпавшим ему временем и делался знаменитым спустя много лет. Более редок иной вариант: некое явление возникает, точно закрывая лакуну, существовавшую в минувшем времени. Причём в очень плотном времени, заполненном разнообразными художественными течениями, сохраняющими своё значение поныне. Самый очевидный пример – прерафаэлиты, обратившиеся, минуя своих непосредственных и опосредованных предшественников, к флорентийцам, жившим четырьмя веками ранее.

Две книги, вышедшие в 2020-м году и ставшие предметом нашего разговора, такой однозначной привязки к когда-либо существовавшим литературным предкам не имеют. Ещё несколько лет назад их авторов, Евгению Риц и Андрея Гришаева, называли «крайне важными поэтами своего поколения». Уже тогда апелляция к определённом возрасту и определённой генерации казалась излишней, а теперь, будем надеяться, осталась в прошлом. Это действительно значимые, влияющие и любимые авторы вне календарных и паспортных моментов. А вот их книги имеют вполне определённое время действия. Как в следующем тексте Евгении Риц:

<...>

Зимний день переходит в другой порядок,
Весь разрезан, разрежен на горловой

подложке,

Как аспирин и сода

Неисцелимо
Полоскали голос в весьмадесятом,
Разбавляли жёлтым фурацилином
Между концом и началом года
Делится атом.

«Весьмадесятые» – отличное определение хронотопа. В самом деле, формальных примет наступившего века или даже финала века минувшего у читаемых нами авторов немного. У Гришаева часто приметен в руках смартфон, но мало ли как поэт назовёт средство фиксации своих мыслей? Встречаемый полицейский? Однако стихотворение, приведённое выше, происходит *настолько* везде, что о времени и месте действия читатель волен додумывать разное. А нередко упоминаемая и очень фундаментальная «Пятёрочка» вполне может быть принятым в квартале именем магазина на углу. Зато базовое место действия многих стихов – Ленинград, город, которого тридцать лет как нету. Обращение «*Сохрани это в облаке*» при прочтении из нашего времени являет собой красивую двусмысленность, но, в сущности, тоже не слишком обязательную.

Риц называет свой город «*Нижним*», однако его так многие называли всегда. Сравнительно недавнюю прозаическую, но очень поэтичную публикацию Евгения озаглавила «*Фрагменты путеводителя по Горькому*»¹. И «*Лето 2010-го года*», ставшее циклом стихов, вполне могло быть летом 1972-го, когда пылали предыдущие леса. Хотя в её стихах живы Дашевский, Горбаневская. Есть Зара, Арбидол, Манго и хостелы. И в Горьковском метро уже целых полторы ветки. Но всё равно «*Песня о русской зиме на иврите / Из приёмника “Вэф”*» убеждает и звучит реальнее, чем упоминания 94-го и 95-го годов. И аскорбинка реальней. И, конечно, ириски. А ещё в книжке трижды упомянут целлофан. Его ведь почти нет теперь. Даже цветы заворачивают в плёнку БОПП.

Но главное – иное. Главное – незаполненный звук времени, не наставшего после семидесятых-восемидесятых. Звуку ничто не мешало возникнуть тогда. Не только ведь по-

¹ Евгения Риц. «Фрагменты путеводителя по Горькому». Сноб. 14.05.2017. <https://snob.ru/selected/entry/124312/>

эты, ставшие персонажами этой публикации, но и все мы действительно родом из семидесятых, во многих смыслах слова. Тогда возникло много удивительных явлений, определяющих современную культурную ситуацию: от постконцептуализма в его русском изводе до мета-метафористов, «Московского времени»... всего прекрасного не перечислишь. А такого звука не возникло. Почему? Вроде, все составляющие уже были. В цитируемом далее стихотворении Гришаева, кажется, легко найти отсылки к моментам давних лет. Это сейчас совмещать в одном верлибре Мандельштама, Пастернака и советскую песню рискованно: может показаться ретроградством. А в упомянутые времена подобные методы приручения социального были популярны. Правда, получалось нечасто:

Рабочие и свидетели сцены
Переговариваясь, расступались

Я люблю тебя жизнь ты мгновенна

Кто это сказал? Человек с киркою
Кивает

Похожий на позднего Мандельштама
Смотрит напряжённо
Будто фотографируется
На последний паспорт

Совершенно очевидно, что строки написаны сейчас. Есть в них малоуловимые, но важнейшие паттерны времени. Но с минимальным сдвигом звучания они могли возникнуть и несколько десятилетий назад. Отчего же не возникли? Кроме банального замечания о том, что чудеса свершаются или не свершаются вовремя и у этих чудес есть создатели, сказать, кажется, нечего. Но мы попробуем. И, может быть, проведём некоторые важные параллели и перпендикуляры к тем временам.

Только сперва уточним существенный вопрос: отчего эти книги мы рассматриваем вместе? Дело же не в годе выпуска? Кажется, у их авторов нет взаимных отсылок. У них вообще, назло и вопреки моде, очень мало цитатности, центонности, переключек с ровесниками. Да и с прошлыми поколениями поэты эти чаще об-

щаются через не прямые отсылки, как в приведённом выше тексте Гришаева.

Впрочем, если выйти чуть за пределы рассматриваемых сборников, можно найти немало важных моментов. В предыдущей книге¹ Андрея Гришаева есть ставшее весьма известным стихотворение:

У него в кармане зажигалка и коробок.
К бывшей жене он идёт, дядя в плаще.
Там угрюмый пацан, огрызающийся
на «сынок».
Они пьют чай и ни о чём вообще...

Книга «Она днём спит» содержит текст, начинающийся аналогично:

У него в кармане ледяная рука,
Ссаженные костяшки, ветер знобит
деревья.
Это вопрос веры или доверья,
И мера невелика.
Или это всё музыка, музыка, лёгкая
болтовня,
Трёп белья на верёвке, колкие
поколоченные ковры.
С каждым слоем всё больше меня
Остаётся без кожиры.

Конечно, все совпадения абсолютно случайны. Зато расхождения – невероятно интересны. Возможно ли, что здесь мы видим того же «дядю», возвращающегося домой? Вполне. Теперь сопоставим. Текст Гришаева, завершившийся появлением у колен лирического героя кошки, некогда жившей в доме оставленной семьи, являет человека довольно сосредоточенного. Он идёт на эмоционально нелёгкое общение, чуть сбившись, сложив в один карман коробок и зажигалку. В душе, безусловно, происходят чрезвычайно бурные движения, но это всё сказано через нюансы звучания. Он (сугубо лирический герой, а не гипотетический автор!) воспринимает вторжение чего-либо как трансгрессию, нарушение границ мира. Тем более – кошки, которой уже давно как, вроде, нет на свете.

¹ Андрей Гришаев. Канонерский остров. М.: Воймега, 2014. – 96 с.

Марианна Ионова писала, рассказывая, опять-таки, о предыдущей книге автора: «... лирический герой Гришаева пребывает в неразрывной связи с вещами мира как многого- ставным целым. Его окружает *природа*, но мы не встретим мало-мальски законченного, до- стоверного ландшафта, “пейзажа”. Лес, облако, снег и т. п., – все это знаки, почти обобщенные значки, представляющие то целое, с которым герой напряженно соприкасается. Птица – уже больше, чем знак; это даже не символ жизни, скорее ее воплощение»¹. Соответственно, пре- вращение символа в конкретный предмет – яв- ление особое, важнейшее для стихов Гришаева.

Рассеянный герой Евгении Риц принимает мир целиком, будто глядя на него собственны- ми глазами и заодно глазами тех, кого он ви- дит. Буквально переходя на их точку зрения в какой-то момент:

Человек качается на руках,
Он ещё не видел весну и лето.
Это твой человек, это его страх,
Его новое лёгкое тело.
Никогда уже не будет столько воды,
Но будет, наверное, много снега.
Линию по ладони веди-веди
До третьего века.
От окна к постели плывёт
перевёрнутый свет,
Но нам ли знать, так ли он перевёрнут,
Или это просто осколки комет
Толкуются в зрачке, как зёрна?

Младенцы же видят мир перевёрнутым по сравнению с нами. То есть мы видим его так же, но мозгу удобнее разворачивать картинку – для нашей безопасности.

Или вот героиня стихотворения, строчка из которого стала названием книги, очень на- поминает вампира. Но это своеобразный вам- пир, присваивающий не кровь, не душу, даже не внешность, но нечто ещё более тонкое: ви- зуальный образ, оболочку оболочки:

<...>

Но что ей кровь? Она поднимет веки
И свет из глаз сосёт, и цвет пускает вглубь,
И вот уже на месте человека
Темнеет контур незнакомых губ,

<...>

Потерпевший, ничего не заметив, уловлен чужим миром. Экономика обмена света на цвет честна, хоть и не всякому доступна.

Упаси Господь выяснять, какой из вариан- тов взгляда на окружающее и сотворения лич- ного мира лучше или хуже! То есть существуют любители поэзии, предпочитающие стихи Риц стихам Гришаева или наоборот. Это нормаль- но и даже отлично. Но ценность их миров особенна. Вадим Калинин интересно сказал о книге «Она днём спит». И о лирической геро- ине, и об авторе книги тоже: «В её причудли- вой вселенной никогда не возникнет ничего обычного. Её желание тому гарантией. Эта её трогательная забота о вверенном ей мире мо- жет показаться вам странным капризом. Её ваше мнение по этому поводу и многим дру- гим поводам, само собой, не волнует. Она не ждёт одобрения ни от кого и ни перед кем не отчитывается. Она просто щёлкает пальцами и превращает скучные банальности в неудобные чудеса»². С переменной местоимения и мелких нюансов ровно то же следует сказать о книге Гришаева.

Антиподами трепетному миру поэтиче- ской книги в статье Калинина становятся миры вполне фундаментальные. Созданные интеллектуальными, ироничными умными авторами фантастики, фэнтези, да и литерату- ры, носящей имя «интеллектуальная». Здесь Калинин делается Станиславским, говоря традиционное «Не верю»! Странно, да? Так всё проработано, так всё хорошо, уже почти полу- чилось... Но нет. Почему? Опять процитируем его рецензию: «Мне кажется, что Евгения Риц сознательно истребляет цельные нарративы и сюжеты в своих текстах. Как только нарратив высовывает свою банальную, предсказуемую, насквозь логичную голову, Евгения постукает

¹ Марианна Ионова. Простое назначение. О книге Андрея Гришаева «Канонерский остров». Новый мир. 2014. № 8.

² Вадим Калинин. Недостающие вселенные (Евгения Риц. Она днём спит). Новый мир. 2021. № 1.

с ним, как жестокая и своенравная колдунья. Она не уничтожает и не выкорчёвывает его. Она превращает его в причудливое, неожиданное и странное нечто. В пугающее чудо».

Да. Осталось лишь вспомнить теорему Гёделя о неполноте. Её цитируют к месту и не к месту, но в отношении рассматриваемых нами книг она кажется почти необходимой. Приведём формулировку теоремы в популярном, не строгом, но не упрощённом варианте: «Всякая система, начиная с определённого уровня сложности, или противоречива, или неполна».

То есть при устройении некоего мира предстоит выбор: или жёстко заданный, подробно расписанный континуум будет буксовать на стыках, или следует задать лишь некие пункты и контуры. Тогда созданное будет способно к эволюции. Создатель, похоже, так и сделал когда-то. Говорят, наш большой и видимый всеми мир тоже состоит из пустоты. И вообще мерцающие, по-разному мерцающие вселенные надёжней фундаментальных.

На словах и в теории всё просто. Но есть важнейший момент: недостроенность мира – необходимое условие его жизни и эволюции, однако чрезвычайно недостаточное условие! Сколько мы видели неудачных вселенных, выстроенных литераторами? Тут и включается мастерство, тут и возникает своеобразие. Мир Евгении Риц действительно параллелен. Там живут, фиксируя реальность, эльфы и сифиды. Но это другие эльфы, из не слышанных нами сказок. Устройство того мира делается понятным при взгляде на совсем небольшой образ. Как палеонтолог воспроизводит быт древнего человека по найденной косточке, так и мы, наблюдая фрагмент, достраиваем иную реальность:

<...>

Овоборелый муравей –
Мелиоратор и локатор,
И черно-белых крошек клад
Суёт шестой и пятой лапой
В раздвинутые рты ребят.

Тут «У бывших цветами растений / Отрастают свои города». То есть созданное само развивается, зыблясь контурами. Те контуры реальней реального мира. Ибо мир прячется

в траве, а контурная карта мира – в Господнем рукаве:

Земля говорит:

«Господи, спрячь меня в траве.
Моё жадное сердце, спрячь и его в траве,
Чтоб грудная жаба, ряска, осока,
Синяя стрекоза,
Чтоб горящий спирт
Твоего востока
С утра заливал глаза».

Карта мира говорит:

«Господи, спрячь меня в рукаве».

Гришаев творит несколько иначе. В его стихах есть совершенно явные точки кристаллизации и опоры. Отец, мать, сестра, брат. Хотя чаще – нераздельный сестра-брат, как отметил Пётр Разумов в своей рецензии¹. Сам Гришаев себе в стихах тоже брат, и Ленинград ему брат. Марианна Ионова писала в упомянутой статье: «Что же до ленинградской традиции, то, вероятно, единственной нитью, которая привязывает к ней поэзию Гришаева, будет Леонид Аронзон. Собственно, на него всякий разговор о ленинградской традиции неизбежно и выводит, но здесь контакт непосредственный (что не значит умышленный)». И тут же отмечала разницу: для Аронзона главное – Поэт, живущий в идеализированном мире, а для Гришаева – человек в окружении мира реального. Это ровно так. Кажется, для поэта просто физически необходимо убеждать себя в реальности и плотности мира:

Зашёл я в магазин.
К молочному прошёл отделу.
Я торопился.
Там лежало:
Сырки, сырки, сырки,
Творог, сметана,
Молоко стояло –
Одно, другое.
Масло, масло.

¹ Пётр Разумов. Хрусталь внутри алмаза. Артикуляция. 2020 (ноябрь). № 172.

Я пачку масла взял.
Оно ожившей тяжестью
В ладонь легло.

И отпустило.

Наверное, отсюда же постоянное (и раздражающее некоторых) обращение Гришаева к братьям меньшим: брат-ёж, брат-лис, много-много братьев мышей. Или нечто вовсе мелкое, сопоставимое при этом с чем-то громадным. Так в стихотворении, начинающемся с облака, возникает букашка, а лирический герой связует их: «Я муравей, и я имею тело». Безграничное, квантовое, но при этом – вполне определённое тело.

Для определения тела и нужны они – звёздушки, облака, насекомые – почти мультяшные, по крайней мере, апроприированные человеческой культурой. Но настоящие, к ним смерть приходит:

В из земли вынутую коробочку
С мышки телом
Довложить забытое:

Трамвайный билет счастливый
(Для перемещения подземного)

Два боба лаковых
(Для роста и пропитания)

Спичку
(Для временного освещения)

Не оставь и нас
Здесь и сейчас
Исчезающих

Спой тело мышьино
Здесь и ниже и ниже и
Далее везде

Неживое ведь не умирает. Хотя не умирает и живое – до тех пор, пока мы говорим о нём. Прошлое реальней актуальной серости, когда: «*Это снег или что / За стеклом грязноватым / То ли есть, то ли нет...*». Тут, кажется, и наста-

ло время поговорить, отчего поэты Гришаев и Риц не могли появиться раньше.

Опять процитируем рецензию Вадима Каплинина: «Наша юность пришлась на вольные и опасные 90-е. Мы готовились к жизни в совсем другом мире. Мы ждали, что будущее окажется благосклонным к ярким неординарным личностям, обладающим уникальными умениями и неординарным мировоззрением. Мы учились жить среди опасной свободы. Мы научились любить опасную свободу и чувствовать себя в ней, как рыба в воде. Мы овладели сложными редкими знаниями и умениями. Мы стали самобытны и яркие. Но мир снова пресусществился. <...> Мир и общество упростились. Мы остались такими же, как и были».

Это так, но есть важный момент: девяностые были затянувшимся дебошем на выпускном вечере по случаю получения дипломов. Сформировались мы раньше. Стихи Риц при всей их необычности растут из тех сереньких времён, «где советский дёргает нерв / Жидовская нотка / Под окном старается изо всех москвич или волга». Лирический герой Гришаева, вглядываясь в зеркало, непременно видит «...черты лица / То деда, то матери, то сестры, то отца». Девяностые теперь выжаты досуха. В них ищут причины своих бед, успехов, проблем, возможностей. Ищут рифмы, темы, ищут детство, юность и молодость. То есть они, девяностые, присутствуют. Они – не прошлое. Они – настоящее, которое не нравится почти никому. Энергия же действительного прошлого прозябает втуне. И это очень грустно.

Прошлое реально, прошлое неизбежно, прошлое определённо. А настоящее... Тут лучше привести длинный, но необходимый текст Андрея Гришаева:

Я посетил пустое поле.
Я помню дни, когда красивый мяч
На нём парил, и школьники орали.

Но как-то потемнело, мяч ушёл,
И дети укатились по домам.

Сидят и ужинают, делают уроки.
Но души их, ну хорошо, не души,
Их мысленные контуры, которых
Они на нитке тихо отпускают –

Остервенело бегают по полю,
Толкая жирный и блестящий мяч.

И забивают гениальный гол.

А мысленный вратарь, жуя котлетку,
Летит и гениально достаёт.

Мы пролетаем детство, землю, дом –
Всё собрано из серебристых точек,

И в глубине футбольные ворота
Вышагивают с дикой хромотой.

Всё будет – там, а здесь – ничто не будет,
Ничто не будет – там, а здесь – здесь
будет всё,
Всё будет – но нигде.

Всё собрано из точек серебристых.

И поле, на котором ни души,
Ни мысленного контура.

То, что сложилось сейчас, уже сложилось. О нём говорят разное, оно существует, даже как-то цветёт и даёт плоды. Но в своём зародыше, в своей потенциальной энергии свершившееся настоящее было совсем иным. Увы, но всё, случившееся позже, не только зачастую печально, но и занесено огромным количеством ненужных слов и ненужных стихов.

Снова обратимся к прерафаэлитам. Ностальгия по временам раннего Возрождения существовала уже во времена Шекспира: во многом его творчество и было попыткой продолжить возрожденческую линию. Попыткой более чем успешной – лучшие цветы расцветают в финале сезона. А прерафаэлиты были вынуждены идти далеко в глубину, отвергая «за грубость чувств» и Шекспира, ставшего каноном, и ещё более каноничное Высокое Возрождение. Отвергая, разумеется, на крайне субъективных и очень личных основаниях, не ставя под сомнение значимость этих явлений для мировой культуры.

При всей условности аналогий, Гришаев и Риц делают нечто похожее. Выращивают собственную ветвь от *очень базового* ствола русской поэзии. Или собственные ветви – поэты они, скажем опять, совсем разные, и прерафаэ-

литов мы привели лишь как историческую аналогию, не более! Хотя «Сочетание романтического обобщения и реалистичности детали»¹ – определение довольно точное.

В любом случае, девяностые и последующие годы в том виде, в каком они состоялись и продолжают, оказали на рецензируемых поэтов крайне косвенное влияние. При этом те годы действительно были. Продолжая условные аналогии, можно представить, что в середине XX века появился барочный музыкальный цикл «Музыка на воде». При допущении, что Гендель не написал тот цикл двумя веками ранее. На этот цикл окружающий мир повлиял бы несомненно, хотя и непредсказуемым образом. Но музыка бы всё равно оказалась явлением двадцатого столетия.

Аналогично, книги Риц и Гришаева, как и в целом их работа – явление абсолютно современное. Но несложившееся прошлое просвечивает сквозь стихи. Как фантом, как сад внутри сада. При том, что и в наружный сад уже войти нельзя – время не пропускает:

Он увидит сквозь дырку в заборе
Вечереющий сад, и в саду
Механический сад, и всё горе
Сладкой взвесью осядет во рту.
Эта дырка – не память. На память
Только светлая дырка, и в ней
Пять минут собираются падать
Много листьев с ветвистых теней.
Он увидит сквозь дымку в просторе
Отцветающий глаз, и в глазу
Электрический лес из историй,
Отвечающих звуком на звук.
Молоточек ударит, и эхо
Из коленки по локтю пойдёт,
Это связан скелет человека,
Точно сад и оставленный плод,
Или лес и грибы в перелеске,
И сухая рука грибника,
Прижимаясь к колючей железке,
Ничего не снимает пока.

(Евгения Риц)

¹ Джон Рёскин. Лекции об искусстве / Пер. П. Когана под ред. Е. Кононенко. – М.: БСГ-Пресс, 2006. – 319 с.

В начале рецензии мы мельком сказали о значении и влиянии рассматриваемых поэтов. Действительно, подражателей у них много. И подражатели сплошь крайне неуспешные. Без исключений. Дабы найти примеры, довольно открыть любой выпуск любого хорошего сетевого издания. Формально момент странный: казалось бы, и у Гришаева, и у Риц стихи держатся сугубо на звуке и музыке. А это сути, которые можно скопировать. Только получается как у городских групп, которые лет сорок назад играли «Битлз» лучше, чем сами «Битлз». Видимо, мысль изречённая, хоть и ложь она, пропитывает тексты, предавая им нечто невозпроизводимое.

При лёгкости стиля и малом объёме книги получились тяжёлыми. Опять-таки, в нескольких смыслах: и как воспоминания о несложившихся мирах, которые были столь близки нам в пространстве и времени, и по неотменимости своей. Созданные вселенные существуют долго.

Юлия ПОДЛУБНОВА

МАК, ЛЮПИН, ПРИМУЛА,
КОЛОКОЛЬЧИК

Анна Бабяшкина. И это взойдет: усадебный роман. М.: Планж, 2021. — 528 с.

«Убить олигарха» — так мог называться роман Анны Бабяшкиной, будь автор несколько левее по своим убеждениям и несколько прямолинейнее в постановке социальных проблем. Но нет, хотя олигарх, действительно, умрет в финале романа, и будет в этой смерти что-то от кармического возмездия, единственный настоящий убийца здесь — сама пишущая — окажется далека от какой-либо идеологической платформы. Да и убийства будут больше похожи на роковые случайности: никакой революции, никаких народных мстителей, никаких яростно рокошующих 2020-х — действие происходит в тревожных, но социально стабильных 2014-2015 годах.

И все-таки Анне Бабяшкиной, для которой прямые политические высказывания не характерны, удалось запечатлеть запрос на

левую повестку в современной России. Состоятельный чиновник, возглавляющий технопарк «Школково» (да-да, почти Чубайс), у которого на жену записаны многомиллионные активы? — не может не быть жуликом и вором, как не может не иметь апартаментов в Майями на случай скоростного бегства из страны. Богатая усадьба с охраной, слугами и огромным садом? — не может не заполыхать, и желательно, чтобы феерически. Декорации гламурного романа моментально превращаются в пепел, герои яростно срывают маски — остается только неприглядная действительность живущей по понятиям России: вместо цивилизации и ее законов — право сильного ломать жизни. И где-то тут же вопрос: да когда это уже кончится, когда появится хоть какая-то надежда на справедливость?

«Оказалось, правильно сделал, что уехал. Его не стали преследовать, просто предупредили: возвращаться не стоит. Должность в “Школково” быстро занял другой человек, на чьих плечах еще сохранились следы погон. Он отдал все, что попросили...»

На самом деле Анна Бабяшкина написала крепкий бестселлер в западном его понимании. Вместо конвенций столь привычного для русской литературы усадебного романа, с которыми, как показала Марина Степнова в «Саде», можно еще работать и работать, герметичное пространство-лабиринт с неопознанной могилой в самом темном его углу. Усадьба, в которой — вот неожиданность! — не вершатся судьбы родины, не оплакивается прекрасное прошлое перед лицом сурового настоящего, не мучаются проклятыми вопросами, не останавливается время. Усадьба, хранящая страшную тайну. А еще место, где, как это водится в триллере, удерживают насильно, лишают связей с внешним миром, пытаются навязать участь жертвы и сформировать стокгольмский синдром.

Роман строится вокруг похищения героини с говорящим именем Флора. Она — молодая женщина, занимающаяся ландшафтным дизайном. Ее жизнь складывается не очень удачно: разрыв с любимым человеком в юности, кратковременное замужество, не принесшее ни малейшей радости, потеря ребенка, дальнейшая одинокая жизнь и попытки состояться

в профессии плюс невинное хобби партизанского озеленения городских пустошей. Тем не менее, каким бы ни было существование Флоры раньше, героиня всегда была способна к поступкам и к ответственности за свой выбор. Оказавшись в усадьбе Поленова в двусмысленном положении не то садовницы, не то наложницы, Флора не становится ни счастливее, ни менее решительной и задумывает самый необычный и самый реалистический в ситуации тотального контроля план побега. Так что, как это случается в фабульной беллетристике, в один жаркий летний день в усадьбе происходят кардинальные перемены: страшные тайны перестают быть таковыми, а вместе с исчезновением загадок и появлением ключей рассеивается и атмосфера нуара и тревоги, наполнявшая тщательно охраняемое пространство. Грядет возмездие: капли клубники падают с головы Поленова на дымящуюся траву.

И еще одна линия. Героиню ищет любовь всей ее жизни и один из грантополучателей «Школково» Егор. От заветной мечты Егора — переезда в Вильнюс с готовым бизнес-проектом в сфере новейших технологий, взращенным под покровительством Поленова, — отделяет один шаг, но шаг этот невозможно сделать, пока Флора находится в заточении. Противостояние Егора с Поленовым заканчивается не в пользу последнего: Поленову удается повесить на героя условный срок и перекрыть каналы вывоза бизнеса за границу. Егор вынужденно остается на родине, разрабатывает новый стартап и в конце концов оказывается рядом с Флорой. История заканчивается практически формулой «и жили они вместе долго и счастливо».

Собственно сочетание элементов триллера и дамского романа в «И это взойдет» создает общий эффект легкости для читателя, причем такой, которая заставляет заподозрить эту прозу в отсутствии какой-либо глубины (даже психологической), за что в свое время справедливо пеняли гламурной литературе, выбирающей блеск и поверхность вместо сущности и сложности. Однако я бы не спешила приклеивать ярлыки к роману Анны Бабяшкиной: он довольно-таки социален и четко обозначает конфликты современного российского общества, не меньше, к примеру, чем романы рас-

крученных авторов. «Меня доводило до ярости то, что я не смог придумать, что надо сделать со всей этой информацией, чтобы Флора оказалась на свободе. Даже читал прессу и смотрел сериалы в тему, чтобы понять: как и кому надо передать эту информацию, чтобы ее освободили? По всей льющейся из медиа житейской логике, мне надо было пойти в полицию, и там тут же примутся за дело. Но нет. Нет! В полиции меня просто послали и посоветовали искать “должностное лицо”, заинтересованное в компромате на Поленова».

А вот от дамского романа в романе Анны Бабяшкиной довольно патриархальная картина мира. Прекрасная и самостоятельная Флора все-таки свяжет жизнь с не очень дальновидным и расторопным Егором, хотя складывается ощущение, что она изобретательнее и самостоятельнее его. Да и Егор ей не особо нужен: морок стокгольмского синдрома развеивается, Поленов — в прошлом, но от истории с заточением остается сын. Флоре есть кого любить.

Анна Бабяшкина работает и с мифологией. С одной стороны, ее героиня предстает в качестве альтер эго писательницы, в одном из своих интервью признававшейся в увлечении ландшафтным дизайном, с другой — обращение к мифологеме сада подтягивает за собой конгломерат культурных смыслов. В том числе — традиционный для христианской культуры — миф о райском саде, Адаме и Еве, грехопадении, которое в романе ведет отнюдь не к потере рая. Сад вбирает в себя смерть (помним про до поры до времени неопознанную могилу), искушает живущих в нем и порождает новую жизнь. Главный его плод, плод его Флоры — сын.

И еще. Мечта Поленова (мертвого полена) о русском саде, саде непредсказуемом и своемольном, практически воплощена, но за нее нужно платить. Особый символизм смерти Поленова заключается в том, что его, сбежавшего из страны и от прежней жизни, буквально скидывает с себя беговая дорожка, призванная восстановить в нем жизнь. «Он бежал так, словно от этого зависело его спасение. Убегал от холодной, скудной земли, где поля засеяны тоской и страхом. Мчался к рассвету на побережье, к прибою и солнцу. Если бы только эта дорога не рвалась так стремительно из-под ног».

От себя, как это подчеркивает автор, не убежишь. И Флора займется выжженным и предоставленным самому себе садом самым неожиданным образом: раскидывая семена с неба, в полете над усадьбой. Мак, люпин, примула, колокольчик...

Гала УЗРЮТОВА

ПЕРЕВОД КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Стивен Эллис. Делай так / Пер. с англ. Г.-Д. Зингер. – Чебоксары: Free Poetry, 2020. – 98 с.

Книга стихотворений американского поэта из Вермонта Стивена Эллиса «Делай так» вышла в переводе израильского поэта Гали-Даны Зингер в издательстве Free poetry. Двухязычный сборник, представленный в мини-серии современной англоязычной поэзии, объединил тексты разных лет, собранные переводчиком. Заглавие книге дал автор. Стихотворения на русском языке, следующие сразу за оригиналом на английском, невозможно воспринимать как оригинал и перевод: это диалог поэта и переводчика, предотвращающий хаос.

В случае с Эллисом говорить о биографии поэта сложно: в его текстах этой биографии гораздо больше, чем могло бы быть просто в перечисленных датах и цифрах. В одном из интервью автор отмечает: «Вопрос не в том, откуда ты пришел, а в том, как можно подерживать настоящее в настоящем. Или как “предположить” настоящее, не уступающее “будущему”, которое в любом случае может существовать только в настоящем, где оно “предполагается”».

Как пишет критик Аллен Брэмхолл: «Эта поэзия вырастает из науки, истории и политики: условий человеческой жизни. Это не диковинное дополнение к наилучшим способам времяпровождения, но философская возможность и ее реализация». У автора вышло множество книг, часть из которых издана в различных DIY-форматах. Некоторые критики относят поэзию Эллиса к мистической традиции, вспоминая, к примеру, Роберта Дункана.

Сам же Стивен говорит, что не принадлежит ни к одной школе поэзии и объясняет, что в работе ориентируется на звук (просто на то, что звучит, и потому «хорошо» в любом смысле). Между тем, в своих интервью он часто отмечает поэзию Чарльза Олсона и Джона «Джека» Кларка.

«Делай так» – первая книга Стивена Эллиса, вышедшая на русском языке. Смелость – главное качество переводчика, с самого начала определяющее маршрут его работы, а еще раньше – выбор текста для перевода. Гали-Дана Зингер переводит не стихотворения, но целые словесные карты Стивена Эллиса, необходимые для проникновения в текстовую географию автора и движения в эллисовском поэтическом ландшафте без указателей.

К слову, о смелости. На онлайн-презентации книги «Делай так» переводчик так охарактеризовала свою работу: «Мне еще никого не было так сложно переводить, как Стивена. И речь не о технической стороне вопроса. Я никогда не сталкивалась с таким расхождением между значением слов в английском и русском языках. В этой книге зашкаливает количество слов автора, для которых нет прямого аналога в русском языке. Казалось бы, можно задать вопросы автору, но его объяснение превращается в новое стихотворение. В итоге я брала решение на себя и чувствовала себя преступницей».

<...> Если бы я знал, что заставляет стихотворение работать, я бы достиг того, чего очень немногие способны достичь: здесь нет

«дороги в магазин на углу»,
не только потому, что нет угла,
а потому что и магазина-то нет.

(«Стать причиной “Чего”?», Стивен Эллис)

И чем дальше углубляешься в этот ландшафт, тем больше понимаешь, что другого такого нет, и переводчику пришлось выучить новый язык – эллисовский – прежде чем решиться на поход. Язык, который переводит сам себя и отрастает заново, словно хвост ящерицы, как только ты пытаешься его ретранслиро-

вать. И чтобы «прочитать» этот хвост до того, как он останется в твоих руках (а «ящерица» ускользнет), нужна особая переводческая ловкость.

Если
смысл
истории –

это суть
истины, тогда почему
невозможно

обнаружить
точное имя
слова

способного
наделить даром
упорства, с которым язык

следует по пути
непрестанного
раздиранья себя на части?

(«Последовательность», Стивен Эллис)

И это не тот язык, что используют только для текстов и речи: этим языком не только пишут, соглашаются, отказываются, говорят и молчат, – им живут. Им ставят перед переводчиком почти биологическую задачу, на решение которой редко кто решается.

Я понимаю часть
того, что хочу сказать, но
не понимаю в целом:

я остаюсь новичком во всех аспектах
того, как работает «выражение»:
это «игра огня»:

при последовательном производстве
преобразующего воспроизводства,
семя в плоде, производящее

больше плодов, и плод,
производящий больше деревьев, которые
прорастают и производят больше

семян путем воспроизведения.
Когда я произношу слова того,
что хочу сказать, мне дано

только объяснение со словами,
не дающими в придачу
имена, что произведут

мыслеобразы того, о чем хочется
говорить. Что такое объяснение
как не биологическая «причина»

(«Значение», Стивен Эллис)

При этом Гали-Дана Зингер сохраняет верность языку до последнего, в то же время не забывая о верности тексту.

These sentences

have never been correct on arrival
for being true: Flourishes demean
your livelihood been otherwise if

already would have been to start
something. Look at me. It will to be
gone all the way to the corner store

(*I just went to get it*, Стивен Эллис)

Эти предложения

никогда не были правильными
по прибытии,
будучи правдивыми: завитушки
сокращают
ваши средства к существованию,
будучи наоборот,

несмотря на то, что уже пришлось бы
начать
хоть что-нибудь. Взгляни на меня. Это
возьмем быть
пройденным всю дорогу до магазина
на углу.

(«Я только вышел за этим», Стивен Эллис, перевод Гали-Даны Зингер)

Однако переводчик не пытается адаптировать ландшафт Эллиса под удобство шага, а оставляет нетронутой его специфическую неправильность, чтобы можно было спотыкаться, но идти дальше. Читая мелкими шагами, попадаешь в пещеру каждого стихотворения, и она становится отдельным миром, где быстро осознаешь ненужность языка. В этой стране невозможно говорить ни с кем, кроме себя, ведь язык вдруг открывшихся мест неизвестен и принадлежит только одному человеку.

«Стивен Эллис родился и вырос в стране, однако не в «такой» стране, у которой есть границы, государственность и имя. Он вырос среди кворума лиственного леса вдоль длинной береговой линии открытого моря. Наблюдая свет сквозь тень, которую свет образует, он развил в себе восприимчивость к географии человеческого сердца, и поэтому знает и то, что первостепенная задача поэзии состоит в том, чтобы не допустить попадания открытого и свободного выражения и воображения в деспотичные рамки государственной синекдохи», – из вступления переводчика к сборнику.

Углубляясь в эллисовский маршрут, понимаешь, почему выбран именно этот автор для перевода. Поэт Гали-Дана Зингер говорит на том же крае языка – крае резкости, отсутствия хаоса и уточнения самого себя.

Five blue metal tubes with a cork or wooden bobber (a clapper, like in a bell?) hanging among them make of common things dawn's wind chime that says softly always - but only when we leave the window open wide - swing me, baby (Стивен Эллис)

And then there is the question of these hanging leaves (and are 'leaves' really 'questions?') of what is possibly a beech, or a birch, or a species I don't know (Стивен Эллис)

Слушайте, господин блуждающих,
слушайте, господин, блуждающих.

в этот день пришли [ночи? звери? идущие?]
невыразимой [болью? ночью? улицей?]
[и] исчезли без слов презренного,
ибо ничто не прошло.

ибо ничто не прошло
ее [улицей? болью? ночью?]

(Гали-Дана Зингер)

Речевзаимность поэтов не ограничивается только подготовкой книги. Авторы известны также поэтической коллаборацией: они создают стихотворения на английском языке из своих чередующихся строк. Как говорит Стивен Эллис, в результате получается не его текст, не текст Гали-Даны, а нечто третье. Как «Албания Центральной Америки» в Вермонте. И эта способность ткать совместную языковую ткань (прозрачную и регенерирующуюся) – единственное условие возможности поэтического разговора, без которого ни коллаборация, ни перевод не состоятся.

Я никогда не мог
сказать, кто говорит, даже
если один из них – я.

Как жить дальше,
если не совершил
ничего незаконного, неэтичного,

аморального? Остается одно –
продолжать заниматься тем,
что умеешь лучше всего.

Просто молчи, жди появления
звезд или восхода солнца
и будь счастлив, что

можешь по-прежнему быть
«Албанией Центральной
Аmericи» в Вермонте.

(«Осознание», Стивен Эллис)

Контакты:

Анна Сафронова (гл. редактор, проза): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (зам. гл. редактора, поэзия, критика): alexandrov-volga21@yandex.ru

Алексей Голицын (документальные исследования): agolitzin@yandex.ru

Олег Рогов (архивные публикации, критика): rgv@mail.ru

Алексей Слаповский (проза)

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 21 июня 2021 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.